ПЕГГИ ГУГГЕНХАЙМ

НА ПИКЕ ВЕКА

ИСПОВЕДЬ ОДЕРЖИМОЙ ИСКУССТВОМ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Пегги Гуггенхайм (1898–1979) — главная покровительница художников XX века и страстный коллекционер — собрала лучшую коллекцию искусства первой половины прошлого столетия, в которую вошли произведения Пабло Пикассо, Джексона Поллока, Константина Бранкузи, Жоана Миро, Александра Кольдера, Виллема де Кунинга, Марка Ротко, Альберто Джакометти и Марселя Дюшана. В 1938 году она открыла свою первую галерею современного искусства в Лондоне, а впоследствии — культовую галерею «Искусство этого века» в Нью-Йорке. После короткого брака со своим третьим мужем, художником Максом Эрнстом, Гуггенхайм вернулась в Европу, обосновавшись в Венеции, где прожила всю оставшуюся жизнь, открыв там один из самых посещаемых сегодня музеев современного искусства в Италии. «На пике века» — невероятно откровенная и насыщенная история жизни одной из самых влиятельных женщин в мире искусства.

- Пегги Гуггенхайм
  - ○
  - ○
  - ○ Предисловие Гора Видала
  - ○ Предисловие Альфреда Х. Барра-младшего
  - ○ НА ПИКЕ ВЕКА
    - ■ Глава 1
    - ■ Глава 2
    - ■ Глава 3
    - ■ Глава 4
    - ■ Глава 5
    - ■ Глава 6
    - ■ Глава 7
    - ■ Глава 8
    - ■ Глава 9
    - ■ Глава 10
    - ■ Глава 11
    - ■ Глава 12
    - ■ Глава 13
    - ■ Глава 14
    - ■ Глава 15
    - ■ Глава 16
    - ■ Глава 17
    - ■ Интерлюдия

        - Глава 18
        - Глава 19
        - Глава 20
        - Глава 21
        - Заключение
        - Приложение. Венеция
    - Над книгой работали
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30
    - 31
    - 32
    - 33
    - 34
    - 35
    - 36

- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80

- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98

Пегги Гуггенхайм
НА ПИКЕ ВЕКА
Исповедь одержимой искусством

Peggy Guggenheim
OUT OF THIS CENTURY
Confessions of an Art Addict
André Deutsch

Данное издание осуществлено в рамках совместной издательской программы Музея современного искусства «Гараж» и ООО «Ад Маргинем Пресс»

Ad Marginem Press thanks all copyright owners for their kind permission to reproduce their material. Should, despite our intensive research, any person entitled to rights have been overlooked, legitimate claims shall be compensated within the usual provisions

Перевод — Светлана Кузнецова
Дизайн — ABCdesign

Copyright © Peggy Guggenheim 1946, 1960, 1979
Foreword © Gore Vidal 1979
'Venice' © Ugo Mursia Editore 1962
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2018
© Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС»/IRIS Foundation, 2018

* * *

Джеймсу Джонсону Суини

Касательно посвящения данной книги имел место следующий телефонный разговор:

> **Пегги Гуггенхайм:** Суини, хочу задать тебе неловкий вопрос. Ты не возражаешь, если я посвящу тебе свои мемуары?
>
> **Джеймс Джонсон Суини:** Напротив, я буду счастлив и польщен.
>
> **Пегги Гуггенхайм:** Надеюсь, ты не успеешь об этом

пожалеть.

Джеймс Джонсон Суини: Надеюсь, ты не имеешь в виду, что я умру раньше.

Предисловие Гора Видала

Зимой 1945/1946 года я был уорент-офицером армии США и служил в Митчелл-Филд, Лонг-Айленд. Я только что закончил свой первый роман «Уилливо», вдохновленный опытом работы в качестве старпома на грузовом транспортном судне на Алеутских островах. До того как я поступил на военную службу в возрасте семнадцати лет, я жил в Вашингтоне, округ Колумбия. В моей семье все были политиками и военными. Я перечисляю эти маленькие факты моей биографии, чтобы создать картину своей жизни на тот момент, когда я впервые встретил Пегги Гуггенхайм.

В начале той зимы я познакомился с Анаис Нин. Мне было двадцать. Ей было сорок два. Наши долгие и непростые отношения — Отношения — начались на холоде, как спел бы сладкоголосый певец из «Камелота». Анаис была блистательной дамой и выглядела моложе своего возраста; она говорила тихо и с любопытным акцентом; она сочиняла небылицы, которые своей красотой и странностью превосходили даже ее книги — возможно, потому что в книгах она была если не правдива, то хотя бы искренна, тогда как вслух она произносила вещи только с целью доставить удовольствие — как себе, так и окружающим.

«Я возьму тебя на вечеринку, *chéri*», — провозгласила она. Мы были в квартире в Гринвич-Виллидж в пятиэтажном доме без лифта, где она жила со своим мужем (банкиром, который снимал фильмы, делал гравюры и помогал Анаис изображать голодающую богему). Анаис всегда называла меня *chéri* с несколько насмешливой интонацией. Я тогда еще не читал Колетт и понял шутку только через несколько лет. Она, впрочем, тоже понимала не все мои шутки. Итак, *chéri* и Анаис отправились в дом Пегги Гуггенхайм (описанный на странице 275), и *chéri* с тех пор не забыл ни единой детали того яркого, магического (это слово часто использовали в те дни) события. Мне кажется, что тот вечер, как герой «Большого Мольна», все еще продолжается в одном из переулков Нью-Йорка, и Анаис все еще жива и молода, и *chéri* так же юн, и Джеймс Эйджи пьет без меры, и Лоуренс Вэйл хвастается бутылками, которые он расписал, предварительно влив их содержимое в себя как часть творческого процесса, и Андре Бретон так же царствует на троне, и Леже сам выглядит как те механизмы, которые он любил рисовать, и мир красок и юмора все еще где-то есть и в него можно было бы вновь войти, если бы только кто-то не спутал адрес. Недавно я наткнулся на старую телефонную книгу. Я нашел номер Анаис тридцатипятилетней

давности. Уоткинс что-то-там. Я позвонил по этому номеру; частичка меня ждала, что она ответит. Если бы она взяла трубку, я бы спросил, все еще ли сейчас 1945-й, и она бы сказала: «Конечно. А какой ты думал?», и я бы сказал: «Нет, сейчас 1979-й, и ты мертва». (*Chéri* никогда не отличался тактом.) Она бы засмеялась и ответила: «Еще нет».

Еще нет. Что ж, это «еще» по-прежнему живо. Как и Пегги Гуггенхайм. Когда я впервые ее увидел, она улыбалась — несколько сонно. Я помню, что у нее на шее висело что-то странное… Какое-то варварское украшение. Моя память не так безупречна, как я думал. На самом деле, я с большей четкостью запомнил красные пропитые глаза Эйджи и седые развевающиеся волосы Вэйла, чем Пегги, которая с плавной легкостью скользила по своей вечеринке, будто сама была гостьей, а не хозяйкой.

Вот оно. Периодически я, что называется (как сказал бы Генри Джеймс), улавливаю ауру Пегги. Хотя она устраивала вечеринки и собирала картины и людей, в ней было — и есть — нечто холодное и неприступное. Она не суетится. Она способна молчать; это редкий дар. Она способна слушать — дар еще более редкий. Она мастер одной фразой охарактеризовать некое понятие, черту характера или человека. Пока я пишу это, я пытаюсь вспомнить какой-нибудь остроумный пример, но не могу. Так что, возможно, ты просто с удовольствием вспоминаешь ее сухой тон и ту лаконичность, с которой она выдавала свои эпитафии.

Пегги никогда не испытывала теплых чувств к Анаис. По какой-то причине я ни разу не спросил у нее почему. В прошлом году незадолго до восьмидесятилетия Пегги мы сидели в *salone*[1] ее палаццо на Гранд-канале в Венеции (пока я пишу это предложение, я начинаю представлять Пегги как последнюю трансатлантическую героиню Генри Джеймса; Дейзи Миллер, только более дерзкую), и вдруг Пегги сказала: «Анаис была очень глупа, не так ли?» Эта тонкая манера делать утверждения в форме вопроса отличает поколение Пегги от современности, в которой нет места вопросам, а только громким самодовольным констатациям.

— Нет, — ответил я, — она была весьма дальновидна. И она добилась именно того, чего хотела. Она поставила себе целью стать легендарной фигурой, — Анаис всегда произносила слово «легенда» с благоговением. — И она прожила достаточно долго, чтобы увидеть себя героиней движения за освобождение женщин.

— Может, для этого и нужно быть дальновидной, — ответила Пегги; в закатном свете ее узкие сонные глаза вдруг вспыхнули, как кошачьи, — но мне кажется, это довольно глупая цель.

Теперь время — и отчасти собственная дальновидная натура Пегги — превратило ее в легенду того самого толка, к которому стремилась Анаис — в высоко романтического интеллектуала в духе Мюрже. И все же легендарная Пегги не спускает глаз с мира вокруг себя — а он сдает быстрее, чем она сама. Даже Венеция уходит в воду под ее недостроенным белым палаццо. Если заветная мечта любого солипсиста — это забрать мир с собой после своей смерти, то Пегги вполне может в конце концов забрать Венецию в свой собственный мир, где вечеринка продолжается, где все делают что-то новое и искусство пахнет не музеем, но мастерской творца.

Прошлым летом я спросил у нее: «Как ты?» Вежливый, но насущный вопрос: она испытывала довольно сильные боли из-за проблем с артериями. «О, — ответила она, — не так плохо для умирающего человека».

Эти мемуары в двух частях — а они скорее произведения искусства, нежели что-то еще, хотя несведущий читатель не поймет, в чем это искусство выражается, — отражают мир, который теперь потерян так же безвозвратно, как тот номер в Уоткинсе, у которого не хватало одной цифры. Но поскольку текст этой книги написан самой Пегги, кое-что все же сохранено. В этих строках можно услышать ее бодрый голос и ее манеру растягивать слова; увидеть тот беглый взгляд в сторону, который почти каждый раз сопровождает ее меткие суждения; получить удовольствие если не от встречи с ней самой, то с ее тенью на страницах.

В последний раз я видел Пегги очень мрачной на итальянском телевидении. Венеция праздновала ее восьмидесятый день рождения — или по крайней мере та часть Венеции, которая не погрузилась в праздность в отличие от остальной Адриатики.

В какой-то момент показали красивую голову Пегги крупным планом. Голос за кадром спросил, что она думает о современных итальянских художниках. Она перевела взгляд на невидимого автора вопроса, и уголок ее сложенных в полуулыбке губ приподнялся еще выше. «О, — ответила она, — они все очень плохи». Затем вечная героиня Джеймса добавила: «Не так ли?»

Вся Италия оцепенела. Героиня «Золотой чаши» вдребезги разбила чашу — и вновь восторжествовала.

Предисловие Альфреда Х. Барра-младшего

Смелость и видение, щедрость и скромность, время и деньги, острое чутье на историческую значимость и эстетические достоинства — это те факторы обстоятельств и характера Пегги Гуггенхайм, которые сделали ее выдающейся покровительницей искусства XX века. Когда земля под ее ногами содрогалась от распрей между фракциями, она стояла твердо и не принимала ничью сторону, веря только в ту революцию, которая действительно имела значение. Как следствие, мы видим в ее коллекции работы диаметрально противоположные по духу и форме, хоть они и могут казаться схожими в своем радикальном своеобразии.

Коллекция Пегги Гуггенхайм — ее самое долговечное достижение в качестве покровительницы искусства, но, возможно, не самое важное. Я использую избитое и несколько высокопарное слово «покровительница» с опасением. И все же оно точно отражает суть. Ведь покровитель — это не просто коллекционер, который собирает произведения искусства ради удовольствия, или филантроп, который помогает художникам, фондам или публичным музеям, но человек, который чувствует ответственность перед искусством и художником и имеет возможность и силу воли поступать соответственно этому чувству.

В юности Пегги Гуггенхайм не интересовалась модернизмом. Она любила и изучала живопись итальянского Ренессанса, в частности венецианскую. Ее учебниками были книги Беренсона, и, возможно, они развили в ней понимание истории искусства, которое она перенесла в XX век, к той самой точке во времени и развитии вкуса, на которой остановился ее наставник.

Затем в конце 1930-х годов она открыла свою авангардную галерею в Лондоне, что было во многом любительской авантюрой. Ее главным консультантом был Марсель Дюшан (тот самый, который за двадцать лет до этого в Нью-Йорке помогал Катерине Дрейер в создании новаторского общества *Société Anonyme*). «Младшая Гуггенхайм», как она с юмором окрестила свое детище, провела несколько великолепных выставок, в том числе первые английские персональные выставки Кандинского, первого абстрактного экспрессиониста, и Ива Танги, художника-сюрреалиста. Вместе с тем галерея организовывала первые выставки для молодых художников, например Джона Таннарда,

лучшего английского художника-абстракциониста того периода. И все же эти достижения ей казались слишком недолговечными.

В начале 1939 года у Пегги «возникла идея открыть музей модернизма в Лондоне» — проект, возможно, несколько преждевременный, учитывая, что незадолго до этого директор галереи Тейт объявил, что не пропустит через таможню скульптуры Колдера, Арпа, Певзнера и других на выставку в «Младшей Гуггенхайм», поскольку они не являются произведениями искусства.

Имея способность находить помощников среди самых талантливых людей, она попросила Герберта Рида, впоследствии сэра Рида, стать директором будущего музея. Она убедила Рида, который считается ведущим английским экспертом в искусстве модернизма, покинуть пост редактора в уважаемом журнале «Берлингтон», чтобы занять эту новую рискованную должность. Директор и покровительница вместе составили идеальный список произведений для нового музея — этот же список они собирались взять за основу для открывающейся выставки. Было найдено здание, но прежде чем они смогли подписать договор аренды, началась Вторая мировая война, и мечта рассыпалась — или, скорее, осталась ждать своего часа.

В Париже во время «Странной войны» Пегги Гуггенхайм, почти не поддаваясь страху, продолжила пополнять свою коллекцию, покупая «по картине в день», в чем она следовала советам своих друзей: Дюшана, Говарда Путцеля и Нелли ван Дусбург. Она даже арендовала помещение для галереи на Вандомской площади, но меж тем военному затишью пришел конец. «Птицу в пространстве» Бранкузи она купила, когда немцы подступали к Парижу.

На протяжении первого года немецкой оккупации ее коллекция хранилась в музее Гренобля, однако не выставлялась, поскольку директор опасался санкций коллаборационистского правительства Виши. Наконец, весной 1941 года коллекция и ее хозяйка добрались до Нью-Йорка.

Во многом благодаря наплыву художников и писателей из Европы Нью-Йорк во время войны занял место Парижа в качестве центра искусства Западного мира. Позже многие европейцы вернулись, и многие из них — во Францию, но все же в послевоенном мире Париж не смог вернуть себе былое положение, и Нью-Йорк остался его соперником, в частности, из-за подъема самой уважаемой в международном сообществе группы художников, какую когда-либо порождала Америка. В ее развитии Пегги Гуггенхайм как покровительница сыграла важную, а в некоторых аспектах ключевую роль.

Она потерпела неудачу в Лондоне, Париже и Гренобле, но в Нью-Йорке, вдали от конфликта, ей удалось временно воплотить свое видение в реальность. С помощью художника-сюрреалиста Макса Эрнста и поэта Андре Бретона она продолжила расширять свою коллекцию и издала великолепный каталог «Искусство этого века» — так же она назвала свою галерею.

Искусство этого века немедленно стала центром авангарда. Из-за влияния Дюшана, Эрнста и Бретона в галерее была сильна традиция сюрреализма, но им она никогда не ограничивалась. Великий художник-абстракционист Пит Мондриан был частым гостем галереи и активно выступал в качестве члена жюри, отбиравшего работы для периодических групповых выставок молодых американских художников.

На первом Весеннем салоне выделились три художника: Уильям Базиотис, Роберт Мазеруэлл и Джексон Поллок. В течение года галерея положила начало их карьерам, устроив для них персональные выставки. Выставка Поллока, для каталога которой Джеймс Джонсон Суини написал полное энтузиазма предисловие, пользовалась особенным успехом. Затем, опять-таки с удивительной дальновидностью, *Искусство этого века* провела выставки Марка Ротко, Клиффорда Стилла и других. Под дальновидностью я имею в виду тот факт, что, хотя в ту пору они не достигли своей творческой зрелости, Ротко, Стилл, Базиотис, Мазеруэлл, Поллок и еще два или три художника теперь нашли признание в США и постепенно находят его в Европе как столпы важнейшей новой школы Америки.

Ранние работы этих художников, купленные Пегги Гуггенхайм на их выставках в 1940-х, сейчас находятся в ее коллекции. Джексон Поллок, самый известный из них, представлен несколькими картинами, хотя среди них нет его самого большого монументального полотна, которое его покровительница заказала для вестибюля своей резиденции в Нью-Йорке. Она также обеспечивала Поллока финансово, а когда в 1947 году *Искусство этого века* закрылась, она помогла художникам перебраться в другие галереи.

Сейчас Пегги Гуггенхайм, ее коллекция и ее галерея продолжают работать в Венеции. Посетителям, которые изучают коллекцию под шум вод Гранд-канала, стоит узнать больше о прошлом ее хозяйки как покровительницы — в первую очередь, американцам, которые в особом долгу у своей соотечественницы Пегги Гуггенхайм.

НА ПИКЕ ВЕКА
Исповедь одержимой искусством

Глава 1
Привилегированное детство

У меня ужасная память. Я всегда говорю друзьям: «Если вы не хотите, чтобы что-то повторилось, не рассказывайте мне об этом. Я просто забываю, что так делать не надо». Я неизбежно все забываю и все повторяю.

Свои первые мемуары я начала писать в 1923 году. Их первые строки звучали так: «Обе семьи моих родителей принадлежат к числу лучших еврейских семей. Один мой дед родился в конюшне, как Иисус Христос, точнее, прямо над конюшней в Баварии, а другой мой дед был уличным торговцем». Далеко продвинуться в своем труде мне не удалось — вероятно, мне нечего было сказать, или я была еще слишком молода для подобной задачи. Сейчас я чувствую, что уже достаточно созрела. Если я буду дальше откладывать, я могу забыть все, что умудрилась помнить до сих пор.

Если мои деды и начинали жизнь в скромных условиях, то закончили они ее в роскоши. Рожденный в конюшне мистер Селигман прибыл в Америку в трюме корабля с сорока долларами в кармане, подхватив на борту оспу. Свое состояние он начал зарабатывать на поприще кровельщика, а во время Гражданской войны шил обмундирование для солдат армии Союза. Позже он стал известным банкиром и президентом храма Эману-Эль. С точки зрения социального статуса он поднялся куда выше моего другого деда, уличного торговца Гуггенхайма, родом из Ленгнау в немецкой Швейцарии. Мистер Гуггенхайм, хоть и преуспел значительно больше мистера Селигмана в накоплении богатства, скупив значительную часть медных шахт во всем мире, но так никогда и не достиг уровня социального признания мистера Селигмана. Когда моя мать вышла замуж за Бенджамина Гуггенхайма, Селигманы сочли их брак мезальянсом. Дабы заверить своих европейских родственников, что семья ее избранника — известные владельцы плавильных заводов, им послали телеграмму: «Жених Флоретты Гуггенхайм литейщик». Фраза надолго стала семейной шуткой: по ошибке в телеграмме напечатали, что он «ищейка».

К моменту моего рождения Селигманы и Гуггенхаймы чрезвычайно разбогатели. Гуггенхаймы уж точно, но и у Селигманов дела шли очень неплохо. Мой дед, Джеймс Селигман, был человеком весьма непритязательным: он отказывался тратить деньги на себя и морил голодом собственную сиделку. Он жил

очень скромно и все отдавал детям и внукам. Он помнил все наши дни рождения и неизменно до самой своей смерти в возрасте девяноста трех лет выписывал каждому в подарок по чеку. А поскольку у него было одиннадцать детей и пятнадцать внуков, чекам этим не было числа.

Большинство его детей отличались чудачеством, если не сказать сумасбродством. Виной тому дурная наследственность, доставшаяся им от моей бабушки. Деду пришлось в конце концов развестись с ней. По всей видимости, вела она себя возмутительно. Моя мать рассказывала мне, что всякий раз, когда она приглашала в дом молодых мужчин, ее мать устраивала сцену. Бабушка могла прийти в магазин и, склонившись над прилавком, доверительно спросить у продавца: «Вы знаете, когда мой муж в последний раз со мной спал?»

Братья и сестры моей матери были до крайности эксцентричны. Одна из моих любимых теток обладала неповторимым сопрано. Случись кому встретить ее на автобусной остановке на углу Пятой авеню, она широко открывала рот и начинала распевать гаммы, желая, чтобы за ней повторяли. Шляпу она носила либо за спиной, либо на одно ухо. В волосы она всегда втыкала розу и опасно закрепляла прическу длинными шляпными булавками вместо самой шляпы. Подолы ее платьев волочились по земле и собирали пыль улиц. На ней непременно было боа из перьев. Она великолепно готовила и умела делать красивое томатное желе. Если она не играла на фортепиано, она либо стряпала на кухне, либо читала тикерную ленту. Она была заядлой картежницей. Ее преследовал странный страх микробов, из-за чего она постоянно протирала мебель «Лизолом». И все же за ее экстравагантное очарование я очень ее любила. Чего не могу сказать о ее муже. После тридцати лет ссор он попытался убить ее и одного из их сыновей клюшкой для гольфа. Когда ему это не удалось, он бросился к пруду и утопился в нем, привязав к ногам груз.

Другая тетка, которая походила больше на слона, чем на человека, на склоне лет внушила себе, что у нее некогда был роман с аптекарем. Этот плод ее воображения заставил ее испытывать такие угрызения совести, что она впала в меланхолию и ее пришлось поместить в лечебницу.

Мой самый эффектный дядя был выдающимся джентльменом старой школы. Разведясь с женой, не менее богатой, чем он сам, он решил жить в чрезвычайной простоте и поселился в двух крохотных комнатах, тратя все свои деньги на шубы, которые раздавал девушкам. Почти любая девушка могла получить от него в подарок шубу, стоило ей попросить. Он носил орден Почетного

легиона, но никогда не говорил нам, за что его удостоился.

Другой дядя много лет питался углем, отчего его зубы стали черными. Он носил в оцинкованном футляре кусочки дробленого льда и постоянно их посасывал. Он пил виски до завтрака и почти не ел никакой еды. Он много играл в карты, как и большинство моих дядьев и теток, а когда у него кончались средства, он грозился самоубийством, чтобы вытянуть деньги из моего деда. У себя в комнате он прятал любовницу. Никому не разрешалось приходить к нему до тех пор, пока он, наконец, не застрелился и уже больше не мог держать семейство на расстоянии. На похоронах мой дед возмутил своих детей, пройдя по проходу церкви под руку с любовницей покойного сына. Все недоумевали: «Да как Па только может?»

Еще один дядя был скрягой и никогда не платил ни цента. Он приходил к середине трапезы и говорил, что не голоден, а затем съедал все, что видел перед собой. После ужина он устраивал для племянниц жуткое представление под названием «змея». Мы одновременно приходили в ужас и восторг. Он выстраивал несколько стульев в ряд, а потом, извиваясь, полз по ним на животе, чем и правда производил впечатление змеи. Два других моих дяди были почти нормальными. Один постоянно умывался, а другой писал пьесы, которые никто никогда не ставил. Последний был душкой, и его я любила больше всех.

Другой мой дед, Мейер Гуггенхайм, счастливо жил со своей женой — дочерью своей мачехи. Они вырастили семью еще большую, хоть и менее эксцентричную, чем Селигманы. Семь братьев и три сестры произвели на свет двадцать три внука. Когда моя бабушка умерла, за дедом стала ухаживать его кухарка. По всей видимости, она была его любовницей. Я помню, как она плакала навзрыд, когда деда рвало. В моем единственном воспоминании об этом джентльмене он в одиночестве разъезжал по Нью-Йорку в санях, запряженных лошадьми, одетый в пальто с воротником из тюленьего меха и такой же шапке. Он умер, когда я была еще совсем ребенком.

Я родилась в Нью-Йорке на Западной Шестьдесят девятой улице. Об этом я ничего не помню. Моя мать рассказала мне, что, пока акушерка наполняла бутылку горячей водой, я ворвалась в мир со своей обычной скоростью и закричала, как кошка. Передо мной почти тремя годами ранее на свет появилась моя старшая сестра Бенита. Она стала большой любовью моих ранних дней и даже всей моей незрелой жизни. Не исключено, что эта любовь не прошла до сих пор.

Вскоре мы переехали в дом на Восточной Семьдесят второй улице возле входа в Центральный парк. Нашими соседями

оказались Стиллманы и Рокфеллеры. Напротив жила вдова президента Гранта. Мой отец заново отремонтировал дом и сделал его очень элегантным. Здесь родилась моя вторая сестра, Хейзел, когда мне было почти пять. Я дьявольски к ней ревновала.

О каждой детали этого дома я по-прежнему храню ярчайшие воспоминания. Многие годы он даже снился мне. При входе в наше новое имение нужно было пройти не через одни, но через две пары стеклянных дверей, разделенных вестибюлем. После этого ты оказывался в небольшой мраморной прихожей с фонтаном. На стене висело чучело орла с цепями. Мой отец сам его подстрелил — незаконно — в горах Адирондак, куда мы ездили в свой загородный дом в конце лета.

В конце этой прихожей с мраморной лестницей была дверь к лифту. Когда я впервые за много лет вернулась в Нью-Йорк в 1941-м, я пришла в этот дом навестить свою тетку. Мне составила компанию моя шестнадцатилетняя дочь, и когда мы ехали в лифте, она неожиданно спросила меня: «Мама, ты жила здесь, когда была девочкой?» Я сдержанно ответила: «Да», и для убедительности добавила: «Здесь родилась Хейзел». Дочь посмотрела на меня удивленно и выдала следующее заключение: «Мама, ты явно потеряла в социальном статусе». С тех пор дворецкий, который сопровождал нас наверх, смотрел на меня с подозрением и неохотно пускал в дом. Хотя пропуском мне могли бы служить одни только мои воспоминания.

На приемном этаже располагалась столовая с высоким потолком, панелями и шестью непримечательными гобеленами. В дальней части дома была небольшая оранжерея, заполненная растениями. По центру этого этажа находилась гостиная с гигантским гобеленом, на котором Александр Македонский триумфально входил в Рим. Напротив гобелена стоял двойной чайный столик с несуразным серебряным сервизом. Именно в этой комнате моя мать раз в неделю собирала на чай наискучнейших представительниц еврейской великосветской буржуазии и заставляла меня при этом присутствовать.

В передней части дома располагалась приемная в стиле Людовика XVI с огромными зеркалами, гобеленами на стенах и обитой гобеленами мебелью. На полу лежала шкура медведя, у которого была громадная красная пасть с красным языком. Иногда язык отваливался, и отдельно от головы он выглядел омерзительно. Зубы зверя тоже выпадали, и их приходилось постоянно вставлять на место. Еще там стоял рояль. Я помню, как однажды вечером я спряталась под ним и ревела в темноте. Отец выгнал меня из-за стола, потому что я, будучи в нежном возрасте

семи лет, сказала ему: «Папа, у тебя, наверное, есть любовница, раз ты так часто задерживаешься по вечерам».

Над центром дома возвышался стеклянный купол, пропускавший внутрь дневной свет. По ночам его освещала люстра, которую обвивала по кругу спиральная лестница. Она начиналась на приемном этаже и заканчивалась на четвертом, где я жила. Я в точности помню мелодию, которую придумал и насвистывал мой папа, когда поздно приходил домой и поднимался по этой лестнице. Так он меня выманивал; я обожала отца и бросалась ему навстречу.

Третий этаж принадлежал родителям. В передней части на нем располагалась библиотека с красными бархатными панелями на стенах и большими стеклянными книжными шкафами с классикой на полках. Здесь на полу лежала еще одна шкура — тигриная. На стенах висели четыре портрета моих бабушек и дедушек. В этой комнате, как и во всех других, окна закрывали кружевные кремовые шторы.

И именно в этой комнате я сидела за огромным столом в стиле Людовика XVI с покрытой стеклом столешницей, пока меня кормила горничная, чьей единственной обязанностью на тот момент было следить, как я ем. У меня напрочь отсутствовал аппетит. Когда слезы не помогали, я продолжала сопротивляться так неистово, что меня рвало, и на этом кормежка заканчивалась.

В задней части дома находилась комната моей матери. При входе в нее было небольшое отгороженное помещение со стенными шкафами, где мама хранила свой богатый гардероб. В комнате все покрывал розовый шелк и стояли две односпальные кровати. Мебель там была из красного дерева с медной инкрустацией. На бюро, слишком высоком для роли туалетного столика, хранился набор серебряных кисточек и флаконов. Еще там стояло трюмо, напротив которого мать сидела, пока служанка-француженка или специально приглашенный парикмахер делали ей прическу. Этот час мне разрешалось играть в ее комнате. За спальней находилась гардеробная отца.

Этаж выше безраздельно принадлежал нам с сестрами, до тех пор пока в дом не переехал дедушка Селигман. Рядом с моей комнатой была крутая темная лестница в людскую. Я ужасно этой лестницы боялась и видела ее в кошмарах.

О комнатах прислуги я также храню отчетливые воспоминания: они едва ли отличались удобством и составляли разительный контраст нашим изысканным спальням. Хуже всего жилось слугам-мужчинам. Их комнаты располагались даже не на верхнем этаже, а в убогих пролетах подсобной лестницы. Кухня находилась ниже уровня земли, и, как следствие, света туда

проникало очень мало.

Моя мать часто давала званые ужины, и я помню, как во время одного из них моя нянька, стремглав сбежав вниз по лестнице, отвела мать от стола. Она услышала детский плач из комнаты кухарок и, начав выяснять, в чем дело, обнаружила спрятанного в чемодане младенца, задушенного пуповиной. Всего за несколько дней до того в наш дом пришла искать приюта девушка. Она разродилась в одиночестве, после чего умертвила своего незаконнорожденного ребенка. Наш семейный врач засвидетельствовал ее невменяемость, чем спас ее от тюрьмы.

Детство мое было чрезвычайно несчастливым; у меня не осталось ни одного хоть сколько-то радостного воспоминания. Сейчас те годы мне кажутся одной нескончаемой мукой. В раннем возрасте я ни с кем не дружила. Я пошла в школу только в пятнадцать лет, а до того мной занимались частные репетиторы. Помню, какое-то время я брала совместные уроки с девочкой по имени Дульси Шульцбергер. Я живо интересовалась двумя ее братьями, в особенности одним, Марионом.

Мой отец настаивал на нашем всестороннем образовании и следил за тем, чтобы нам прививали «хороший вкус». Он сам увлекался искусством и часто покупал картины. В Мюнхене по его заказу наш портрет написал Ленбах, но мне тогда было только четыре, и я ничего об этом не помню: мои самые ранние воспоминания относятся ко времени, когда уже родилась Хейзел. Ленбах нарисовал меня в платье а-ля Ван Дейк и по какой-то странной причине наградил меня карими глазами вместо зеленых и рыжими волосами вместо каштановых. С Бенитой он обошелся менее прихотливо. Вероятно, она сама по себе была такая хорошенькая, что он написал ее как есть, с ее темно-русыми волосами и карими глазами. У меня сохранилось два портрета, на одном — только я, на другом — мы с Бенитой, где у меня светлые волосы. Это два величайших сокровища из моего прошлого.

Из своих игрушек я помню только лошадку-качалку с огромным крупом и кукольный домик с медвежьими шкурами на полах и красивыми хрустальными канделябрами. Этот домик, по всей видимости, обладал для меня пугающей ностальгической ценностью, поскольку я годами пыталась воссоздать его для своей дочери. Я месяцами оклеивала стены обоями и покупала предметы для его обстановки. Я и по-прежнему не могу перестать покупать игрушки. Потом я сразу же отдаю их детям, но покупаю для собственного удовольствия. Еще я помню стеклянный комод, заставленный крошечной мебелью ручной работы из слоновой кости и серебра, от которого я хранила старомодный ажурный ключ из латуни. Я держала комод запертым и никому не давала

притронуться к своим сокровищам.

Самые яркие воспоминания у меня остались о Центральном парке. Когда я была совсем маленькой, мать возила меня по нему в электрической карете. У Восточной аллеи лежал камень, похожий на пантеру, готовую к прыжку. Я называла его кошкой, и каждый раз, когда мы проезжали мимо, я делала вид, что звоню ей — поздороваться или предупредить о нашем приближении. В качестве телефонного аппарата я использовала рупор нашего электромобиля. Позже я каталась там в маленькой машинке с педалями — Центральная аллея была идеальной трассой. В Рэмбле я одна карабкалась по камням, пока гувернантка ждала внизу. Зимой меня заставляли кататься на коньках, отчего я ужасно страдала. У меня были слишком слабые лодыжки и плохое кровообращение. Я никогда не забуду мучительную боль в заиндевевших пальцах ног, когда я прижималась к печи в домике для посетителей катка.

Все это оставило во мне такой болезненный след, что с тех пор я старательно избегала Центрального парка. Я обходила его стороной, даже когда вернулась в Нью-Йорк в начале 1940-х. И все же одним жарким летним вечером Альфред Барр привел меня туда. Я пыталась обнаружить призраки своего детства, но все переменилось. Верным моим воспоминаниям остался только Рэмбл с его древним замком.

Мало того что мое детство было до крайности одиноким и тоскливым; в нем мне пришлось пережить множество испытаний. У меня была нянька, которая грозилась отрезать мне язык, если я расскажу матери, какие она говорила мне гадости. От отчаяния и страха я все же на нее нажаловалась, после чего нянька была немедленно уволена. Я была слабым ребенком, и родители постоянно пеклись о моем здоровье. Они воображали у меня всевозможные болезни и без конца водили по врачам. В какой-то период моей жизни, когда мне было около десяти, они решили, что у меня некое пищеварительное расстройство, и нашли врача, который назначил мне кишечные орошения. Выполнять их поручили няне Хейзел, которая едва ли обладала нужной квалификацией для проведения этой процедуры, что в результате привело к катастрофе. Со мной случился острый приступ аппендицита; меня пришлось срочно везти в больницу и оперировать. Несколько дней мне ничего не говорили об операции, потому что считали, что я для этого слишком маленькая. Но я не верила их выдумкам и не сомневалась, что живот мне-таки разрезали.

Вскоре после этого моя сестра Бенита подхватила коклюш и меня пришлось изолировать, чтобы я, не дай Бог, не заразилась и

свежий шов на громадном разрезе не разошелся от кашля. Мама сняла дом в Лейквуде, Нью-Джерси, и уехала туда с Бенитой, а меня поселили в отеле с медсестрой. Надо ли говорить, как одиноко мне было той зимой — мне только иногда позволяли издалека переговариваться с Бенитой на улице. У моей матери было несколько племянниц на выданье, и она постоянно устраивала для них приемы, запирая Бениту в другом крыле дома. Бенита в результате очень загрустила. Меня, по всей видимости, считали не по годам развитой и испорченной, раз позволяли навещать мать и развлекать ее гостей. Я влюбилась в одного из них. Его звали Макс Россбах, и он учил меня играть в бильярд.

Еще через какое-то время со мной произошел несчастный случай, пока я каталась на лошади в Центральном парке. Там мальчишки катались на роликовых коньках по мосту, и когда я проезжала под ним, от грохота лошадь испугалась и понесла. Моя учительница верховой езды оказалась не в состоянии удержать зверя. Я выпала из седла и свалилась на землю, после чего лошадь еще долгое время волокла меня за собой. Нога у меня застряла в стремени, а юбка зацепилась за луку. Если б я не сидела боком, этого бы не случилось. Я не только повредила ногу, но и сильно ударилась лицом. Я сломала челюсть в двух местах и потеряла передний зуб. Потом этот зуб нашел в грязи полисмен и прислал мне его в письме, а на следующий день дантист его продезинфицировал и вставил обратно. На этом мои беды не закончились — мне нужно было вправить челюсть. Во время операции хирурги разругались между собой в пух и прах. В конце концов один из них одержал верх и вдолбил мою несчастную челюсть на место. Поверженный дантист, по фамилии Буксбаум, никогда не забыл той обиды. Он считал, что у него на мою челюсть особое право, раз он годами правил мне зубы. Я же была только рада тому, что на этом мучительное восстановление моей внешности подошло к концу. Поначалу сохранялся риск заражения крови. Когда эта опасность миновала, единственное, чего мне нужно было опасаться, это ударов по лицу, от которых мой еще не прижившийся зуб мог снова выпасть. В те дни моими единственными противниками были теннисные мячи, и на время игры я придумала себе способ защиты: привязывать на рот чайное ситечко. Все, кто меня видел, должно быть, думали, что у меня гидрофобия. Когда я полностью оправилась, отец получил счет на семь с половиной тысяч долларов от дантиста, который так и не признал своего поражения. Отцу неохотно пришлось убедить этого джентльмена принять две тысячи.

При всех стараниях, которых мне стоило сохранить зуб, я

знала, что он останется со мной в лучшем случае на десять лет, а потом его корень полностью рассосется и зуб придется заменять фарфоровым. Мне удалось предугадать время его жизни с точностью практически до дня. Через десять лет я записалась на прием к врачу, чтобы заменить зуб, пока он не выпал — что он и сделал за два дня до приема.

Одним из моих сильнейших увлечений был актер Уильям Джилетт. Я ходила на все его дневные спектакли и во время пьесы «Тайная служба» буквально каждый раз кричала ему, что в него сейчас будут стрелять.

После происшествия, как только мне позволили, я снова стала заниматься верховой ездой, но на этот раз не рисковала. Я не только пошла к учителю-мужчине, но и стала сидеть в седле по-мужски. В четырнадцать я влюбилась в своего тренера. Он был очаровательным ирландцем и флиртовал со всеми ученицами.

Бенита в детстве была моей единственной спутницей, и потому я глубоко к ней привязалась. Нас всегда сопровождали француженки-гувернантки, но они так часто менялись, что я ни одной толком не запомнила. Хейзел, будучи сильно младше, имела свою няньку и жила несколько отдельной от нас жизнью. Свою мать в те годы я совсем не помню.

Когда мне было пять или шесть, отец начал заводить любовниц. В нашем доме жила медсестра, которая делала ему массаж головы — он мучился невралгией. Со слов моей матери, эта массажистка стала корнем всех бед в ее жизни и каким-то образом дурно повлияла на отца, хоть сама и не была его пассией. Матери потребовались годы, чтобы избавиться от ее отравляющего присутствия в кругу семьи, поскольку отец крайне нуждался в ее массажах. В конце концов она ушла, но было слишком поздно. С того времени отец сменил целую череду любовниц. Маму чрезвычайно оскорбило, что мои тетки продолжили поддерживать отношения с той медсестрой, и долго враждовала с ними из-за их дружбы. Все это сказалось на моем детстве. Я постоянно оказывалась втянута в дрязги моих родителей и оттого рано повзрослела.

Отец всегда называл меня Мегги; Пегги я стала сильно позже. Он заказывал для нас прелестную бижутерию по собственным рисункам. Однажды он в честь моего имени — Маргарет — презентовал мне маленький браслет, похожий на венок из маргариток, из жемчуга и бриллиантов. Мать получала от него более солидные подарки, в том числе великолепную нить жемчуга.

Я обожала отца, потому что он был красив и обаятелен и еще потому что он любил меня. Но я страдала оттого, что он делал

мою мать несчастной, и порой ссорилась с ним из-за этого. Каждое лето он возил нас в Европу. Мы побывали в Париже и Лондоне, где мама навестила сотни французских и английских Селигманов. Еще мы ездили на модные курорты. Моя мать очень скупилась на чаевые, и я помню, как однажды, к моему ужасному стыду, я обнаружила на наших чемоданах нарисованные мелом кресты. Когда мы уезжали из Трувиля, швейцары пометили их так в предостережение для носильщиков следующего отеля — наших будущих жертв.

Отец нанял особу по имени миссис Хартман обучать нас искусству. Мы взяли ее с собой в Европу, где ее обязанностью было культурно нас просвещать. С ней мы посетили Лувр, музей Карнавале и замки Луары. Она учила нас истории Франции и познакомила с Диккенсом, Теккереем, Скоттом и Джорджем Элиотом. Еще она дала нам полный курс по операм Вагнера. Несомненно, миссис Хартман сделала все, чтобы стимулировать наше воображение, но лично меня в то время больше занимали другие вещи. Например, я сходила с ума по папиному другу Руди. Сейчас не могу себе представить, чем этот типичный повеса меня очаровал. Но тогда я безумно влюбилась и писала пылкие письма о своей страсти, где говорила, что мое тело распято на кресте из огня. Когда Руди женился на одной из моих кузин, которую мама пригласила с нами в Европу и чей плачевный брак, по моим опасениям, организовали они с папой, я рыдала горькими слезами и не могла простить такого предательства. Я причитала, что он не имел права играть чувствами двух женщин одновременно. Мне тогда было примерно одиннадцать.

Помимо сердечных метаний у меня в жизни было и более приземленное хобби — я собирала изящных куколок из воска и одевала их по последней моде, самостоятельно придумывая и делая для них наряды. Меня вдохновило на это лето в Трувиле, где нас окружали шикарно одетые леди и куртизанки.

Однажды, когда мы с Бенитой и нашей гувернанткой пили чай в кафе «Румпельмейер» в Париже, мое внимание привлекла женщина за соседним столиком. Я не могла оторвать от нее глаз. Мы, похоже, вызвали у нее такую же реакцию. Спустя много месяцев я допытывалась у гувернантки, кто же любовница моего отца, и в конце концов она ответила: «Ты ее знаешь». У меня перед глазами сразу же вспыхнуло лицо женщины из «Румпельмейера», и гувернантка подтвердила мою догадку.

Та женщина оказалась графиней Таверни. Она не была ни красива, ни молода. Я никогда не могла понять, чем она так страстно увлекла моего отца. Однако в ней ощущалась та же притягательность (наверное, чувственная), что и в его

массажистке. Она была смуглой и напоминала мартышку. У нее были некрасивые зубы — мать презрительно говорила, что они вовсе «черные». В Париже мы встречали ее повсюду и из-за этого оказывались в крайне неловких ситуациях. Как-то мама отправилась со мной и Бенитой в ателье портного Ленва и зашла в комнату, где уже сидела графиня Таверни. Мама тут же бросилась прочь, и мы последовали за ней. Персонал ателье отнесся к случаю с французским пониманием и выделил нам отдельный зал.

Графиня, как мы называли ее, или Г.Т., как кратко обращался к ней отец, одевалась в высшей степени элегантно. У нее был костюм, полностью сшитый из меха ягненка. Однажды во время утренней прогулки по парку на Авеню-дез-Акасья мы встретили графиню в этом самом костюме. Мать обрушилась на отца с упреками в излишней расточительности. В надежде задобрить ее, он дал ей денег, чтоб она сшила себе точно такой же костюм. Будучи предприимчивой женщиной, мать взяла деньги, но вместо этого вложила их в акции и облигации.

Графине Таверни предшествовала другая особа. Той женщине, которую я так ни разу и не видела, практически удалось женить на себе отца. Моя мать всерьез думала разводиться. Но все семейство Гуггенхаймов, группами и поодиночке, умоляло ее изменить свое решение. Поток посетителей в нашем доме не иссякал ни на минуту. Все они как один стремились во что бы то ни стало предотвратить катастрофу. В конце концов мама сдалась. Я не знаю, когда завершился их роман, но мне известно, что разочарованной любовнице достался богатый утешительный приз, и на протяжении многих лет она регулярно два раза в год получала часть моего дохода.

Графиня Таверни продержалась недолго, и за ней последовала молоденькая блондинка-певица. Она была с моим отцом, когда он утонул на «Титанике» в 1912 году, и оказалась в числе выживших, добравшихся до Нью-Йорка.

В 1911 году отец освободился от нас, насколько мог себе это позволить. Он оставил бизнес своих братьев и основал собственный в Париже. Несомненно, им двигало желание жить более привольной жизнью, но последствия этого поступка оказались куда более серьезными, чем он мог предположить. Расставшись с братьями и начав собственный бизнес, он лишился своей доли в колоссальном состоянии. У него была квартира в Париже, и он владел, частично или полностью, предприятием, которое построило лифты в Эйфелевой башне. Весной 1912 года он собирался наконец вернуться к нам после восьми месяцев

отсутствия. Он забронировал себе место на борту парохода, но рейс отменили из-за забастовки кочегаров. По роковому стечению обстоятельств ему суждено было лишиться жизни: новый билет он купил на злосчастный «Титаник».

14 апреля на выходе из здания Метрополитен-оперы людей встречали крики «Экстренный выпуск!», возвещавшие о трагическом крушении гигантского лайнера в его первом же плавании. В надежде поставить рекорд по времени рейса Брюс Исмей, президент судоходной компании «Уайт Стар Лайн», лично присутствовавший на борту, и капитан корабля проигнорировали предупреждение об айсбергах и продолжили путь, невзирая на опасность. «Титаник» несся навстречу своей гибели. Первый же айсберг на его пути распорол ему днище. Корабль потонул за час, и его корма и нос ушли под воду одновременно, после того как его расколол пополам чудовищный взрыв. Спасательных шлюпок хватало только на четверть людей на борту. Кто умел плавать, замерз в ледяной воде еще до того, как на помощь поспел капитан Ростром на почтовом судне «Карпатия». Спаслось семьсот человек из двух тысяч восьмисот. Трагедия потрясла весь мир. Все ждали задержав дыхание, когда «Карпатия» достигнет берега и станет известно, кому же посчастливилось выжить. Мы отправили телеграмму капитану Ростому с вопросом, на борту ли наш отец. Он ответил: «Нет». По какой-то причине мне сообщили об этом, тогда как мать держали в неведении до последнего момента. Две мои кузины поехали встречать выживших. Они встретили его любовницу.

Вместе с отцом погиб очаровательный молодой египтянин, Виктор Джильо — его секретарь. Ему довелось пережить в прошлом непростые времена, и он был счастлив работать на отца, полагая, что теперь его беды остались позади. Я увлекалась этим юношей, но папа не одобрял моего пыла. Выживший стюард «Титаника» пришел передать нам от него последнее послание нашего отца. Он рассказал, что отец и его секретарь решили одеться в вечернее и встретить смерть, как подобает джентльменам, галантно уступив места в шлюпках женщинам и детям, — очевидно, что и произошло.

Тело моего отца не нашли, поэтому он не похоронен в Галифаксе с другими жертвами, чьи тела вынесло на берег. На борту «Титаника» погибли и многие другие известные личности, в том числе, Гарри Элкинс Уайденер, Джон Б. Тайер, Джон Джейкоб Астор, Эдгар Мейер и Исидор Штраус с женой, которая отказалась оставить супруга. В те дни, до Первой мировой войны и потопления «Лузитании», крушение «Титаника» считалось трагедией мирового масштаба. Разумеется, проводилось

расследование, но капитан покончил с собой, а точнее, был достаточно порядочен, чтобы пойти на дно вместе со своим судном. С тех пор мы чурались компании «Уайт Стар Лайн» как чумы.

На момент смерти отца мы жили в отеле «Сент-Реджис», — дом мы сдавали одной из моих теток, — где занимали огромные апартаменты. В те дни отель «Сент-Реджис» был оплотом семейства Гуггенхаймов. Мой дядя Даниэль арендовал целый этаж под нами. Каждую пятницу там проходили семейные встречи, на которых дяди говорили о бизнесе, а тетки собирались в углу и обсуждали моду. Само собой, им всем было что сказать на этот счет, поскольку одевались они у лучших портных Нью-Йорка.

После смерти отца я ударилась в религию. Я регулярно ходила на службы в храм Эману-Эль и с особенной трепетной радостью поднималась во время кадиша (молитвы по умершим). Смерть отца оставила во мне глубокий след. Мне потребовались месяцы, чтобы справиться с мыслями о чудовищной трагедии «Титаника», и годы, чтобы смириться с потерей отца. В каком-то смысле мне так и не удалось смириться полностью, и я искала ему замену всю свою жизнь.

После смерти отца его дела остались в кошмарном беспорядке. Мало того что он потерял огромное состояние, разорвав партнерство со своими братьями, но и те деньги, которые у него были, порядка восьми миллионов долларов, он потерял в Париже. Те крохи, что от них остались, он вложил в акции, которые не приносили никакой прибыли и обладали такой низкой ценностью, что продать их не представлялось возможным. Однако моя мать об этом всем не знала и продолжала жить с прежним размахом. Мои дяди Гуггенхаймы галантно давали нам любые ссуды, продолжая держать нас в абсолютном неведении. В конце концов мать узнала правду и решительным образом покончила с этой иллюзией. Для начала она стала жить на собственные деньги. Мы переехали в более скромную квартиру и отказались от части прислуги. Она продала свои картины, гобелены и драгоценности. Она справлялась очень неплохо, и мы никогда не бедствовали, но с тех пор во мне поселился комплекс, что я больше не настоящая Гуггенхайм. Я чувствовала себя бедным родственником и испытывала ужасное унижение от мысли, что я неполноценный член семьи. Через четыре года после смерти отца умер мой дед Селигман, и от него матери досталось небольшое наследство. Им мы немедленно расплатились с братьями отца. Через семь лет мои дядья разделили отцовское имущество. Давая нам ссуды, они в результате добились того, что

моим сестрам и мне досталось по четыреста пятьдесят тысяч долларов и чуть больше — моей матери. Половина моей доли перешла в доверительный фонд, и дяди убедили меня добровольно распорядиться так же и второй половиной.

Конечно же, мы носили траур. Я чувствовала себя очень важной и сознательной в черном. К моему облегчению, к лету нам позволили надевать белое. Мы поехали в Алленхерст на берегу Нью-Джерси, где летом отдыхало большинство наших знакомых еврейских семей. Точнее, не в самом Алленхерсте, а поблизости — в Дил-Бич, Элбероне и Вест-Энде, большую часть которых составляли дома еврейской буржуазии. Это было самое уродливое место на свете. На голом берегу не росло ни кустов, ни деревьев. Из цветов я помню только вьющиеся розы, настурции и гортензии, которые я с тех пор не выношу. У дедушки был семейный особняк в Вест-Энде, где родились все его дети, в том числе моя мать, младшая. И именно в этом жутком викторианском поместье во время Первой мировой войны мой дед умер в возрасте девяноста трех лет.

Моим дядям Гуггенхаймам принадлежали самые роскошные дома на побережье. Жена одного из них была родом из Эльзаса, и с ее французским вкусом они выстроили точную копию Малого Трианона в Версале. Другой дядя владел роскошной итальянской виллой с мраморными внутренними дворами в помпейском стиле, красивыми гротами и садами, утопленными ниже уровня земли. По сравнению с ними дом дедушки Селигмана обладал скромными достоинствами. Его оба этажа полностью окольцовывали две террасы. На этих террасах всюду стояли кресла-качалки, на которых целый день сидело и раскачивалось все семейство. Этот дом доходил до такого уродства в своем викторианском совершенстве, что не мог не завораживать. Довершали все это семейные портреты. Мою мать с ее двумя сестрами и пятью братьями в детстве написали в костюмах того времени, из черного бархата и с белыми кружевными воротниками. В руках они держали птиц, Библии или обручи. Все они на этих портретах выглядели очень сонными, чем безошибочно выдавали свое семитское происхождение.

Поскольку большую часть того побережья населяли евреи, оно почти превратилось в гетто. В Алленхерсте, антисемитском городе, напротив нашего дома стоял отель, куда не пускали евреев. Тем летом, к нашему большому удовольствию, он сгорел дотла; мы стояли поодаль и за этим наблюдали. На том ужасном берегу мы проводили каждое лето, что не ездили в Европу. Мы купались в неистовых волнах Атлантики, играли в теннис и ездили на лошадях. Тем не менее я предпочитала Европу, и на

следующий 1913 год мы уговорили мать взять нас туда.

Когда в 1914 году началась война, мы снова были в Англии в гостях у одного из маминых кузенов, сэра Чарльза Селигмана. Я помню, как я возмутила его своим легкомысленным и экстравагантным аппетитом. Он волновался, что с приходом войны есть будет нечего, а я просила добавки говядины, чтобы прикончить остатки горчицы.

Глава 2
Девичество

Летом на шестнадцатом году жизни я впервые получила опыт сексуального характера. Впечатления от него у меня остались печальные и пугающие. Началось все с моей нежной влюбленности в Фредди Зингера, племянника владельцев компании по производству швейных машинок «Зингер». Мы жили в одном отеле в Аскоте. Его брат влюбился в Бениту, и мы все вместе танцевали, играли в теннис и прекрасно проводили время. Но после этого со мной произошел случай, который привил мне отторжение и страх к физической близости. Я гостила у одной из своих двоюродных теток в Кенте. У нее в доме жил молодой студент-медик из Мюнхена, который родился в Америке и потому не был интернирован. Он явно пытался совратить меня, а мой страх, по всей видимости, только раззадоривал его. Никогда еще я не испытывала такого ужаса. Когда я позже встретила его в Нью-Йорке, он снова принялся обхаживать меня — на этот раз с целью женитьбы. Я убедила его вместо меня взять в жены мою кузину. Она была моей лучшей подругой, и он испытывал чувства к нам обеим. Я тогда училась в школе, а кузина была уже взрослой женщиной и на пятнадцать лет старше нашего воздыхателя. Их брак оказался успешным, и они стали родителями двух очаровательных девочек-близняшек.

Во время войны меня наконец отправили учиться в школу. В частной школе Джекоби в Вест-Сайде учились девочки-еврейки, и я каждый день ходила туда через Центральный парк из нашей квартиры на углу Пятой авеню и Пятьдесят восьмой улицы. Но уже через несколько недель я слегла с коклюшем и бронхитом и всю зиму провела в постели. Я чувствовала себя одинокой и покинутой, поскольку в том году Бенита дебютировала в свете и мать занималась только ею. Каким-то образом я умудрилась самостоятельно делать все домашние задания, чтобы не отставать от класса и сдать экзамены. Я вовсе не наделена выдающимся умом, и далось мне это чрезвычайно трудно. Однако я любила читать, и в те дни я не расставалась с книгой. Я читала Ибсена, Харди, Тургенева, Чехова, Оскара Уайльда, Толстого, Стриндберга, Барри, Джорджа Мередита и Бернарда Шоу.

Мой второй год в школе проходил несколько успешнее первого. Я регулярно посещала уроки, если не считать того недолгого времени, что болела корью. Зимой мы были заняты репетициями постановки «Маленьких женщин» для выпускного.

Миссис Куайф, наша прекрасная учительница драматургии, всю жизнь относившаяся ко мне с большой теплотой, познакомила меня с поэзией Браунинга и дала мне в пьесе роль Эми. После окончания школы я отказалась от идеи пойти в колледж, не без влияния Бениты. Она отговорила меня, как я отговорила до того ее. Я жалела об этом решении многие годы.

На втором году школы я начала вести социальную жизнь. Я организовала маленький танцевальный клуб вместе с одноклассницами и еще несколькими девочками. Мы сами вносили средства на организацию ежемесячного бала. Нам разрешалось приглашать на него не больше одного-двух юношей. Мы составили список подходящих молодых людей из нашего еврейского круга, и я провела шуточный аукцион, победительницам которого выпала честь пригласить избранных кавалеров. Эти танцы проходили очень весело и безо всякого пуританства.

Примерно в то время, когда я заканчивала школу, я близко подружилась с прелестной девушкой по имени Фэй Льюисон. Она походила на Джеральдину Фаррар, что казалось крайне уместным сравнением с учетом того факта, что в ее доме регулярно собиралась труппа Метрополитен-оперы. Я испытывала к Фэй чувства куда более сильные, чем она ко мне; тогда я этого не осознавала, но теперь подозреваю, что эти чувства по характеру были близки «Девушкам в униформе». Возможно, Фэй об этом догадывалась. В любом случае, ее интересовали юноши.

Мать Фэй, миссис Адель Льюисон, и ее бабушка, миссис Рэндольф Гуггенхаймер, были очаровательными хозяйками. Они щедро развлекали не только певцов, но и интеллектуальную элиту Нью-Йорка. К сожалению, мы с Фэй были еще слишком юны, чтобы принимать в этих развлечениях участие. Или вернее было бы сказать, что Фэй противилась этому не меньше, чем я участию в социальной жизни своей матери. Ее семья жила в доме на Пятой авеню с причудливым балконом на верхнем этаже с каменными женскими изваяниями наподобие кариатид. Миссис Льюисон души во мне не чаяла, а я в ней; многие годы спустя, когда я встретила ее в Париже, она сказала мне, что высоко ценила нашу дружбу с Фэй и жалела, что того же нельзя было сказать о ее дочери. Она считала меня серьезной девушкой, тогда как Фэй думала только о развлечениях.

Летом 1915 года меня впервые поцеловали. Сделал это юноша, который каждый вечер катал меня на автомобиле моей матери. После этого он неизменно его одалживал, чтобы доехать до дома, и возвращал на следующий день в семь утра по дороге на станцию, откуда ехал на работу в Нью-Йорк. Мама не одобряла

моего поклонника, ведь он ничего не имел за душой. Она держала себя в руках ровно до того вечера, когда он поцеловал меня в первый и последний раз. Мы были в гараже, и он, наклонившись ко мне, случайно нажал на гудок автомобиля, чем разбудил мою мать. Она обрушилась на нас с потоком ругани. «Он решил, что мой автомобиль — это такси?» — кричала она. Разумеется, больше этого юношу я не видела. Мама торжествовала, но через несколько лет Судьба показала, какую она совершила ошибку с точки зрения собственных стандартов: молодой человек получил в наследство миллион долларов.

После окончания школы я оказалась в неприкаянном состоянии. Я по-прежнему запоем читала и посещала курсы истории, экономики и итальянского. Моя преподавательница по имени Люсиль Кон оказала на меня влияние сильнее, чем какая-либо другая женщина за всю мою жизнь. Из-за нее в моей судьбе произошел роковой поворот. Случилось это постепенно и не в одночасье. Она была одержима стремлением сделать мир лучше. Я прониклась ее радикальными взглядами и благодаря этому наконец смогла вырваться из удушающей атмосферы, в которой меня растили. Мое раскрепощение заняло долгое время, и хотя несколько лет ничего особенного не происходило, семена, которые она посеяла, всходили и росли в таких направлениях, о которых моя преподавательница едва ли могла и подумать. Ее круг интересов ограничивался политикой и экономикой. Она безоговорочно верила в Вудро Вильсона. Однако, когда он не смог осуществить свою программу, она, разочаровавшись, присоединилась к рабочему движению. Я не смогла сделать того же, поскольку была на тот момент в Европе, но поддерживала ее крупными суммами. Позже она сказала, что этими деньгами я тоже изменила ее жизнь. Она заняла важный пост в своем движении и после этого многие годы рьяно трудилась на его благо.

Во время войны я научилась вязать. Однажды начав, я не смогла остановиться. Я брала с собой вязание всюду — за стол, на концерты, даже в кровать. Я достигла такого мастерства, что могла связать носок за один день. Я помню, что дедушка Селигман не одобрял моих скоростей, потому что я тратила слишком много денег на шерсть. Боюсь, его бережливость превосходила даже его патриотизм.

Во время войны мы не могли ездить в Европу, и на одно лето мама повезла нас в Канаду. Мы проделали весь путь на автомобиле. Почти всю дорогу я вязала и пропустила большинство прекрасных видов за окном. Иногда я все же поднимала взгляд и сполна получала вознаграждение за эту

жертву. В Канаде мы завели близкое знакомство с канадскими солдатами, дислоцированными под Квебеком. Мы с Бенитой и нашей подругой Этель Франк замечательно проводили с ними время. По дороге домой в Вермонте нас вежливо, но твердо отказались пускать в отель из-за нашего еврейского происхождения. Поскольку закон запрещает отелям отказывать в размещении на ночь, нам разрешили остаться до утра, после чего сообщили, что наши комнаты сданы. От этого во мне развился новый комплекс неполноценности.

Позже я пошла в коммерческую школу учиться стенографии и машинописи. Я надеялась получить военную работу, но слишком отставала от девушек из рабочего класса и чувствовала себя среди них посторонней. Я быстро сдалась.

В 1916 году состоялся мой дебют в свете. Я устроила большой прием в честь високосного года в зале отеля «Ритц». С тех пор я постоянно разъезжала по приемам и проводила вечера в компании молодых людей. Пускай я любила танцевать и хорошо это делала, я находила такой образ жизни нелепым. Для меня все это отдавало фальшью, и я никогда не могла найти серьезного собеседника.

Потом мы переехали в дом двести семьдесят по Парк-авеню. Моя мать разрешила мне самой выбрать мебель для моей спальни и записать на ее счет. Увы, я ослушалась ее и отправилась за покупками в священный День искупления — великий иудейский праздник Йом-Кипур. Мне строго-настрого запретили это делать, и я была жестоко наказана за свой грех. Мама отказалась платить за мебель. Я оказалась в огромном долгу, который мне предстояло выплатить из своих карманных денег. Бенита пришла мне на помощь и несколько недель помогала мне. Я помню, как помимо всего прочего она заплатила за меня в салоне красоты Элизабет Арден.

С самого моего раннего детства к нам домой ровно в двенадцать приходила скорбная пожилая дама по имени миссис Мак. Эта шепелявая особа была закупщицей, которая записывала в свой маленький блокнот все, что требовалось в доме. В один день это могли быть три ярда кружева, бутылка клея и шесть пар чулок; в другой — упаковка мыла, швейный шелк и зеленое перо для шляпы. Ближе к Рождеству для нее наступало самое хлопотное время; тогда она уже приходила с большой тетрадью и с глазу на глаз узнавала у моих сестер и меня, что мы хотим приобрести в подарок для миссис Дэн, миссис Сол, миссис Саймон, миссис Мюррей и так далее — так она называла моих теток из семейства Гуггенхаймов. Затем она отправлялась по магазинам, где у нее были открыты счета и где ей полагалась

десятипроцентная скидка. Поскольку она неизменно покупала не то, что нужно, большую часть своей жизни она тратила на обмен вещей. Когда мы покупали все сами, мы справлялись быстрее и выигрывали не меньше, потому как все записывали на ее счет.

В 1918 году я получила военную работу. Я сидела за конторкой и помогала нашим офицерам-новобранцам покупать униформу и прочие принадлежности по сниженным ценам. В мои обязанности входило давать консультации и составлять бесконечные рекомендательные письма. Я работала вместе с Этель Франк, моей ближайшей подругой по школе. Когда она заболела, я взяла на себя ее долю обязанностей, но долгие рабочие часы оказались для меня чрезмерной нагрузкой. Я сломалась. Началось все с потери сна. Затем аппетита. Я неуклонно худела и становилась тревожней. Я обратилась к психологу и сказала ему, что мне кажется, будто я теряю рассудок. Он ответил: «А вы уверены, что вам есть что терять?» При всем остроумии его ответа мои опасения имели основания. Я собирала с полу все спички, попадавшиеся мне на глаза, и не могла заснуть по ночам, переживая за те дома, которые могли сгореть из-за того, что какую-то спичку я пропустила. Отмечу, что все они были уже сгоревшие, но я боялась, что среди них могла оказаться и целая. В отчаянии мама наняла для присмотра за мной мисс Холбрук, сиделку моего покойного деда. Я бесцельно бродила, прокручивая в голове проблемы Раскольникова и размышляя над тем, как много общего у меня с героем «Преступления и наказания» Достоевского. В конце концов мисс Холбрук усилием воли заставила меня думать о чем-то другом. Постепенно я вернулась в нормальное состояние. В то время я была помолвлена с оставшимся в стране офицером-летчиком. За время войны я сменила несколько женихов: мы все время развлекали солдат и моряков.

Весной 1919 года Бенита вышла замуж за Эдварда Майера, молодого американского авиатора, только что вернувшегося из Италии. Все это сложилось крайне неудачно. С 1914 года она была влюблена в русского барона, с которым она познакомилась в Европе. По какой-то причине, которая для меня осталась загадкой, этот русский, хоть, по всей видимости, и любил ее, так и не сделал ей предложения. Во время войны он находился с дипломатической миссией в Вашингтоне, и мы часто видели его в Нью-Йорке.

В некий момент помутнения разума Бенита все же согласилась выйти за летчика, когда тот стал грозиться покончить с собой, если она ему откажет. Мы с Пегги, нашей лучшей подругой, были их свидетелями на церемонии в ратуше.

Уже после заключения брака мы вернулись домой и рассказали обо всем матери. Она потребовала аннулировать его, и Бенита не сильно ей противилась. Но в результате они с авиатором таки отправились в медовый месяц и остались вместе. С моей точки зрения, он был ее совершенно недостоин. Он имел броскую внешность, но был недалек, не способен на подлинную страсть и чрезмерно склонен к мелодраме. Я ужасно ревновала и расстраивалась. Мне невыносимо не хватало Бениты дома, где я осталась наедине с матерью — Хейзел училась в пансионе. Моя мать стремилась отдать всю себя детям и после смерти отца не думала ни о чем другом. Мы жалели, что она не вышла замуж еще раз.

Летом 1919 года я вступила в права на свое наследство и стала независимой. Мою мать это опечалило. Больше она не могла меня контролировать. Первым делом я отправилась в дорогостоящее путешествие по всем Соединенным Штатам. В качестве спутницы я взяла с собой кузину своего зятя. Мы отправились к Ниагарскому водопаду, оттуда в Чикаго, затем в парк Йеллоустон, потом через всю Калифорнию к Мексике и вдоль всего берега к канадским Скалистым горам. В то время Голливуд только зарождался. Он был так мал, что практически еще вовсе не существовал. Там жила одна моя кузина, которая познакомила меня с несколькими людьми из мира кинематографа. Они все показались мне сумасшедшими. По пути домой мы заехали в Гранд-Каньон. Затем мы вернулись в Чикаго, где я встретилась со своим демобилизованным женихом-авиатором. Он представил меня своей семье, где все были родом из Чикаго, но я не произвела на них впечатления. Я слишком много жаловалась на провинциальность их города. Когда я садилась на поезд «Двадцатый век Лимитед», он сообщил мне, что помолвка отменяется. Я ужасно расстроилась, ведь мне казалось, будто я в него влюблена, и я терпеливо ждала, когда его бумажный бизнес принесет ему состояние и мы сможем наконец пожениться. Его звали Гарольд Вессел.

Зимой 1920 года мне было так скучно, что я не придумала ничего лучше, чем сделать операцию по исправлению формы носа. Он и так был уродлив, но после операции, вне сомнения, стал еще хуже. Я поехала в Цинциннати к хирургу, который занимался пластическими операциями. Он предложил мне выбрать желаемую форму носа из нескольких гипсовых слепков. Он так и не смог добиться той формы, которую я хотела («с приподнятым кончиком, словно цветок» — что-то подобное я вычитала у Теннисона). Во время самой операции под местным наркозом, пока я терпела муки проклятых, окруженная пятью

медсестрами в белых масках, врач внезапно попросил меня поменять выбор. Нужная форма у него никак не получалась. Боль была такая невыносимая, что я попросила прекратить операцию и оставить все как есть. В результате мой нос болезненно опух, отчего я долгое время не решалась вернуться в Нью-Йорк. Я пряталась на Среднем Западе и ждала, пока сойдет отек. Каждый раз я заранее знала, когда пойдет дождь, потому что мой нос превратился в барометр и всякий раз распухал в плохую погоду. Я отправилась с подругой во Френч-Лик, Индиана, и проиграла там в карты еще почти тысячу долларов — столько же стоила операция.

Спустя какое-то время ко мне приехала Маргарет Андерсон и спросила, не соглашусь ли я передать некоторую сумму денег для журнала «Литтл Ревью», а также представить ее моему дяде. Она сказала, если войны и можно предотвратить, то только пожертвованиями в пользу искусства. Будучи юной и наивной, я поверила, что смогу отсрочить следующую мировую войну на несколько лет, если дам пятьсот долларов «Литтл Ревью». Я отправила Маргарет к тому дяде, который раздавал шубы, и если она не добилась от него пятисот долларов (теперь я уже не помню точно), то наверняка получила шубу.

Благодаря Люсиль Кон радикальным образом изменились мои убеждения, но едва ли она могла предвидеть, каким образом я достигну настоящего освобождения. Однажды я отправилась на прием к своему дантисту и обнаружила его в затрудненном положении. Его медсестра заболела, и ему приходилось одному справляться со всей работой. Я вызвалась заменить ее, насколько мне это по силам. Он принял мое предложение и платил мне за это два доллара тридцать пять центов в день. Я встречала посетителей, принимала звонки, подавала инструменты и кипятила их. Еще я узнала, у кого из моих знакомых вставные зубы. Разумеется, некоторые пациенты меня узнавали и с большим удивлением спрашивали у доктора Скоби, не мисс ли Гуггенхайм встретила их при входе. Все это довольно скоро закончилось, когда вернулась настоящая медсестра.

Теперь я не могла оставаться без работы и предложила свои услуги кузену Гарольду Лебу. Он держал радикальный книжный магазинчик рядом с Центральным вокзалом. Так я стала клерком и вторую половину дня проводила на балконе магазина, выписывая чеки и занимаясь другими скучными делами. Вниз меня допускали в полдень, когда другие продавцы уходили на обед, и я их заменяла. Как-то раз я пожаловалась на свою судьбу Гилберту Кеннану, который долгие часы проводил в магазине, на что он сказал мне: «Не переживай, леди Гамильтон начинала

судомойкой».

Хоть я и была всего лишь клерком, я являлась в магазин каждый день, обильно надушившись, в нитке мелкого жемчуга и великолепном темно-сером пальто. Мама не одобряла того, что я работаю, часто заходила проверить, чем я занята, и приносила мне галоши, если шел дождь. Я очень смущалась. Приходили и мои богатые тетки и скупали книги для своих библиотек в буквальном смысле ярдами. Нам приходилось доставать мерную ленту и проверять, совпадает ли длина стопки книг с длиной книжных полок.

В этом книжном я встретила множество знаменитостей и писателей, в том числе Мадсена Хартли и моего будущего мужа, Лоуренса Вэйла, а также Леона Флейшмана и его жену Хелен, которая позже вышла замуж за сына Джеймса Джойса.

В книжном магазине «Санвайз-Терн» мне не платили жалованья, но Гарольд Леб и его партнерша, Мэри Мобрей Кларк, снижали для меня цену на все книги на десять процентов. Ради создания иллюзии, будто я работаю не задаром, я покупала множество книг современной литературы и читала их со своей обычной ненасытностью.

Люди в «Санвайз-Терн» восхищали меня. Они были такими настоящими, такими живыми, такими естественными. Они жили совсем другими ценностями. Я любила Мэри Мобрей Кларк; она стала для меня почти богиней. В конце концов она продала свой книжный сети «Даблдей Доран», выкупив задолго до того долю Гарольда Леба.

Мадсен Хартли восхищал и пугал меня, как и Гилберт Кеннан. Лоуренса я боялась куда меньше. В то время ему было двадцать восемь, и мне казалось, что он из другого мира. Я никогда раньше не встречала мужчину, который не носил бы шляпы. Разметанные прядки его красивых золотых волос струились на ветру. Меня шокировала и в то же время завораживала его свобода. Он всю жизнь прожил во Франции и говорил с акцентом, перекатывая «р» на французский манер. Он был словно дикий зверь. Казалось, ему совершенно нет дела, что думают окружающие. Когда я шла с ним по улице, мне чудилось, что он в любой момент может воспарить и улететь — так мало его связывало с обыденностью.

Флейшманы стали моими близкими друзьями. Они практически удочерили меня. После разбившего мне сердце ухода Бениты я была счастлива обрести новый дом. Я влюбилась в Леона, который мне казался похожим на греческого бога, но Хелен ничего не имела против. Они были очень свободомыслящими.

Однажды Леон взял меня с собой к Альфреду Стиглицу. Картина, которую они дали мне в руки, стала первым произведением абстрактной живописи, что я увидела в своей жизни. Ее написала Джорджия О'Кифф. Я перевернула ее четыре раза, прежде чем сообразила, с какой стороны на нее смотреть. Леона и Альфреда это повеселило. Стиглица в следующий раз я увидела только двадцать четыре года спустя, и, когда я с ним заговорила, мне показалось, что не прошло и минуты. Мы продолжили разговор ровно с того места, где остановились.

Вскоре после этого я отправилась в Европу. В тот момент я не думала, что останусь там на двадцать один год, но это бы меня не остановило. Мама поехала со мной и взяла с собой кузину моей тети Ирэн Гуггенхайм, Валери Дрейфус, чтобы за мной приглядывать. На тот момент я уже была неуправляема, и мать знала, что не сможет всюду за мной успевать. Сколько могла, я тащила за собой этих двух особ через Европу со своей обычной скоростью и энтузиазмом. Вскоре мама устала и оставила меня на попечение Валери. Она-то уж выдерживала мой темп. По правде говоря, она даже подталкивала меня. Она всюду уже побывала ранее и знала, как разумнее всего путешествовать, потому была прекрасным проводником. Мы посетили Голландию, Бельгию, Испанию и Италию. С моей матерью мы до того уже бывали в Шотландии, большей части Англии и долине Луары.

В то время мое желание увидеть все находилось в контрасте с отсутствием подлинного интереса к местам моих путешествий. Причиной тому была иная страсть. Очень скоро я знала наизусть, где в Европе хранится какая картина, и объездила все эти места, даже если мне приходилось часами добираться до крохотного городка, чтобы увидеть только одно полотно. У меня был замечательный друг, Арманд Лоуэнгард, племянник сэра Джозефа (а позже лорда) Дювина. Он изумительно разбирался в итальянской живописи. Разглядев во мне потенциал, он настойчиво подначивал меня к изучению искусства. Он сказал, что мне ни за что не понять Беренсона, и это заявление возымело свое действие. Я немедленно купила и проглотила семь томов великого критика. После этого я всю жизнь пыталась смотреть на все с точки зрения семи положений Беренсона. Если мне удавалось найти картину с тактильной ценностью, я приходила в восторг. Арманд был ранен в войну и быстро утомлялся. Моя энергичность его чуть не убила, и при всем его восхищении мной он вынужден был вскоре прервать наши отношения, поскольку я явно отнимала у него слишком много сил.

У меня был еще один кавалер, Пьер. Он приходился дальним кузеном моей матери. Я чувствовала себя очень порочной, потому

что как-то раз поцеловала и его, и Арманда в один и тот же день. Пьер хотел взять меня в жены, но в мои планы входило только заводить как можно больше поклонников. Вскоре мне стало мало и этого. Мы близко подружились с русской девушкой по имени Фира Бененсон. Мы жили в отеле «Крийон» в Париже и состязались, кто сможет получить больше предложений руки и сердца. Мы одевались по последней французской моде и, вне всякого сомнения, вели себя как идиотки.

Флейшманов я не видела до своего краткого приезда в Америку весной — на свадьбу Хейзел и Сигги Кемпнера. При встрече я убедила их пожить в Париже. У них был ребенок и почти не было денег после увольнения Леона с поста директора издательства «Бонай энд Лайврайт», поэтому переезд представлял для них непростую задачу. И все же они это сделали. Этим я изменила их жизнь не меньше, чем они мою — уже на тот момент и в дальнейшем.

Благодаря Флейшманам я вновь встретилась с Лоуренсом Вэйлом; Хелен была его подругой. У нее с ним закрутился небольшой роман, к которому ее подтолкнул Леон; он получал удовольствие от такого положения вещей. Хелен пригласила меня к ним на ужин с Лоуренсом, но при этом велела Лоуренсу не уделять мне слишком много внимания, иначе Леон будет недоволен. Думаю, Леона мы тогда все же обидели, поскольку заметно увлеклись друг другом.

Через несколько дней Лоуренс пригласил меня на прогулку. Мы отправились к могиле Неизвестного солдата, а потом прошлись вдоль Сены. На мне был изящный костюм, отороченный мехом колонка, сшитый по моему эскизу. Лоуренс привел меня в бистро и спросил, что я хочу заказать. Я попросила порто-флип, как обычно делала в барах, где привыкла бывать. В то время я вела исключительно роскошный образ жизни и ни разу не бывала в обычном кафе, поэтому не имела представления, что там заказывают.

На тот момент меня уже начала сильно беспокоить моя девственность. Мне было двадцать три, и она меня тяготила. Любой кавалер был готов жениться на мне, но приличия не позволяли им со мной спать. Я хранила коллекцию фотографий фресок, которые я видела в Помпеях. Они изображали людей в процессе занятия любовью в самых разных позах, и меня, разумеется, терзало любопытство и желание испробовать их самой. Вскоре мне пришло в голову, что я могу использовать в этих целях Лоуренса.

Лоуренс жил со своей матерью и сестрой Клотильдой в чрезвычайно буржуазной квартире рядом с Булонским лесом. Его

отец, если не лежал в санатории с *crise de nerfs*[2], тоже жил с ними, чем приводил в расстройство всю семью. Мать Лоуренса была аристократкой родом из Новой Англии, а отец — художником бретонских корней, наполовину французом, наполовину американцем. Уже многие годы он страдал неврастенией, и его семья не знала, что с ним делать. Они перепробовали все, но он оставался самым неизлечимым неврастеником на свете.

Лоуренс жаждал снова уехать из дома. Мать давала ему на расходы всего сто долларов в месяц, а если учесть, что в год она получала десять тысяч дохода, то едва ли эту сумму можно назвать слишком щедрой. Тем не менее она предпочитала тратить деньги на мужа, чей личный капитал уже давным-давно ушел на оплату счетов от врачей. Он побывал в каждом санатории Европы. Лоуренс мог бы и сам устроиться на работу, но ему не нравилось работать. Он обладал значительным писательским талантом, хотя пока еще не обрел свою славу.

Он рассказал мне, что собирается арендовать небольшую квартиру, и я спросила, не разрешит ли он мне разделить с ним саму квартиру и плату за нее, надеясь таким маневром добиться какого-то результата. Он согласился, но вскоре передумал. При нашей следующей встрече он сообщил мне, что снял комнату в отеле на рю де Верней на Левом берегу, в Латинском квартале. Он пришел ко мне в отель «Плаза-Авени», где я жила, и там попытался заняться со мной любовью. Когда он притянул меня к себе, я так легко поддалась, что он даже удивился отсутствию сопротивления с моей стороны. Тем не менее мне пришлось сказать ему, что сейчас не лучшее время, поскольку вот-вот должна вернуться моя мать. Он ответил, что мы могли бы как-нибудь уединиться в его номере. Я немедленно побежала за шляпой, и мы поехали на рю де Верней. Думаю, изначально это не входило в его намерения. Вот так просто я потеряла девственность. Скорее всего, Лоуренсу пришлось со мной нелегко: я хотела перепробовать все, что видела на помпейских фресках. После этого я вернулась домой на ужин с матерью и подругой, втайне торжествуя и воображая, какой была бы их реакция, если бы они знали мой секрет.

Глава 3
Замужество

Лоуренс считался королем богемы. Он был знаком со всеми американскими писателями и художниками и знал многих французских. В те дни они собирались в кафе «Ротонда» на Монпарнасе, но Лоуренс однажды повздорил там не то с официантом, не то с администратором и уговорил всех перебраться напротив — в кафе «Ле Дом». После этого они уже не вернулись в «Ротонду». Еще Лоуренс устраивал великолепные вечеринки в квартире своей матери. На первой, где я оказалась, творилось совершенное безумие. Я привела с собой буржуазного французского драматурга и, чтобы тот почувствовал себя в своей тарелке среди богемы, просидела у него на коленях почти весь вечер. В какой-то момент я получила предложение (едва ли руки и сердца) от Тельмы Вуд, ставшей потом известной как Робин из «Ночного леса» Джуны Барнс, которая для этого опустилась передо мной на одно колено. Всюду творились очень странные вещи. Отец Лоуренса был дома, и его раздражал бедлам вокруг него. В отчаянии он попытался укрыться в туалете, но обнаружил там двух рыдающих юношей. В другой уборной он наткнулся на двух хихикающих девушек. Поскольку ему нравилось быть в центре внимания, — в любой ситуации он стремился быть звездой, — он устроил сцену, после чего ему полегчало. И если из гостей на него никто не обратил особого внимания, то уж точно обратила жена.

Вскоре я познакомилась с двумя подругами и бывшими любовницами Лоуренса: Мэри Рейнольдс и Джуной Барнс. Они были красавицами; за таким носом, как у них обеих, я тщетно проделала путь в Цинциннати. Мэри была смуглой, высокой и изящной, со статной фигурой и мягкими глазами. Особенно в ней привлекала заостренная по середине лба линия волос — «вдовий пик». Во всем богемном обществе у нее единственной водились деньги, но у нее все равно от них не оставалось и гроша уже в тот момент, когда они приходили из Америки, — она все одалживала или просто раздавала. Мэри была военной вдовой. Теперь она ждала в Париже некоего мужчину по имени Норман, которому сперва надо было избавить себя от уз брака.

Совсем иной была Джуна. На тот момент она уже состоялась как писательница. Леон занял у меня сто долларов, чтобы помочь ей добраться до Европы. Позже она устроилась работать журналисткой — она носилась по Европе и брала интервью у

известных людей. Джуна писала статьи о знаменитостях, за которые ей платили баснословные гонорары. Но на момент нашего знакомства она еще не успела разбогатеть.

Хелен Флейшман попросила меня отдать Джуне свое белье. За этим последовал неприятный скандал, потому что я отдала ей штопаное шелковое белье «Кайзер». Мое исподнее делилось на три четкие категории: лучшее, отороченное настоящим французским кружевом, которое я хранила в качестве приданого, чуть менее хорошее, но не штопаное, и третье — то, что я послала Джуне. После высказанного ей недовольства я отправила ей белье второй категории. Когда я пришла к ней домой, она сидела за печатной машинкой в этом комплекте. Она смотрелась очень красиво с ее белой кожей, восхитительными рыжими волосами и стройным телом. Ее крайне смутило, что ее застали в том самом исподнем, из-за которого поднялось столько шума. Тем не менее я извинилась перед ней за первую посылку, и она меня простила. Когда Хелен передала Джуне подарки, та просто открыла комод и сказала: «Раскладывай». Мне показалось уместным проявить дружелюбие, и потому я отдала ей свой любимый желто-коричневый плащ и любимую шляпу с петушиными перьями. Когда Джуна ее надевала, она становилась похожа на итальянского солдата.

Как-то раз я отвела Джуну в Лувр и там прочитала ей лекцию о французской живописи. По-моему, она заскучала. Потом мы встретились с Мэри Рейнольдс и пошли вместе обедать. Во время еды мне было не до разговоров с ними: я готовила домашнее задание. Я тогда учила русский, чтобы Фира Бененсон не могла иметь от меня секретов. Все ее друзья были русскими, и я чувствовала себя лишней в их обществе, поэтому решила выучить русский язык.

Когда Лоуренс рассказал о наших отношениях Хелен, она хорошо восприняла это известие. Леон же пришел в ярость. Тем не менее на этом связь Лоуренса с Хелен закончилась, и с тех пор он принадлежал мне. Я решила серьезно подойти к этим отношениям и уговорила мать отправиться в короткую поездку в Рим с одной из ее племянниц. Исполнять роль моей надзирательницы она поручила Валери Дрейфус. Бедная Валери понятия не имела, что происходит, но тоже сняла комнату в отеле «Плаза-Атени» и старалась за мной приглядывать. Лоуренс бывал у меня почти каждый день.

Однажды Лоуренс привел меня на вершину Эйфелевой башни и, пока мы смотрели на Париж, спросил, соглашусь ли я выйти за него замуж. Я сразу ответила «да». Я была рада, но стоило Лоуренсу сделать предложение, как он пожалел о нем. Его начали

терзать сомнения. Каждый раз, когда мне казалось, будто он пытается проглотить свой кадык, я знала, что он жалеет о тех словах. Его беспокойство по поводу нашего будущего неуклонно росло, и в один день он сбежал в Руан, чтобы собраться с мыслями. Его мать, миссис Вэйл, настояла, чтобы с ним поехала Мэри Рейнольдс (и даже оплатила ее билет на поезд) в надежде, что это создаст необходимые условия для расторжения помолвки. Однако в Руане они только и делали что ругались, и вскоре Лоуренс сообщил мне телеграммой, что все еще хочет на мне жениться.

Когда наша помолвка более или менее подтвердилась, я решила рассказать об этом матери. Мама немедленно примчалась из Рима с намерением предотвратить этот брак. Она потребовала у Лоуренса рекомендаций. Тот обладал обширным кругом знакомств и однажды в Санкт-Морице даже встретил короля Греции, поэтому ради забавы дал моей матери его имя. Мать записала его в маленький блокнот, который всегда носила с собой. Эта ситуация ее озадачила, и она даже поинтересовалась у меня, как ей связаться с королем Греции. Разумеется, все были против нашей женитьбы. Леон приходил к моей матери и пугал ее катастрофическими последствиями этого брака, а Марион, брат Дульси Шульцбергер и мой давний друг, умолял меня отказаться от этой затеи. Он говорил: «Делай что хочешь, живи со мной как сестра, но только не выходи за Лоуренса». Конечно же, я за него вышла. Виной всему стал адвокат по имени Чарли Леб. Мы пришли к нему за консультацией, но прежде чем мы успели что-то понять, он уже собрал все бумаги, напечатал объявления и составил брачный контракт для защиты моих прав.

После публичной огласки я начала думать, что мы и вправду поженимся, но внезапно Лоуренс решил отправиться на Капри со своей сестрой Клотильдой и отложить свадьбу. Я должна была вернуться в Нью-Йорк, а он — приехать ко мне в мае, если сохранит намерение жениться. Как-то раз после полудня, уже собрав все вещи, он вышел купить билеты. Мы с моей матерью и миссис Вэйл сидели в отеле «Плаза-Атени», каждая со своими мыслями по поводу грядущего. Неожиданно Лоуренс появился в дверном проеме, бледный как призрак и спросил: «Пегги, ты выйдешь за меня завтра?» Само собой, я сказала «да». Даже тогда я все еще не могла быть уверена, что Лоуренс не сбежит, поэтому не стала покупать свадебное платье. Вместо этого я купила шляпку.

Утром в день свадьбы мне позвонила мать Лоуренса и сказала: «Он ушел». Я решила, будто он сбежал. Но нет; она имела в виду, что он вышел за мной. Мы отправились на трамвае

в муниципалитет Шестнадцатого округа на авеню Анри-Мартин, где должна была пройти церемония.

Мы пригласили огромное количество друзей. Гости свадьбы делились на четыре четкие категории. Во-первых, Лоуренс пригласил всех своих богемных приятелей, а поскольку жениться на мне ему было несколько стыдно, в качестве приглашений он разослал им *petit bleu*[3] с просьбой явиться, словно приглашая на вечеринку, даже не упомянув, кто его невеста. Моя мать пригласила живших в Париже французских Селигманов и всех своих друзей-буржуа. Мать Лоуренса пригласила американскую общину, в кругах которой ее хорошо знали как хозяйку салонов. Я пригласила всех своих друзей — в то время очень неоднородную компанию. Среди них были писатели и художники, в основном крайне уважаемого социального статуса, и, конечно, Борис Дембо, мой русский друг, который всю свадьбу рыдал из-за того, что я выхожу не за него. Моей свидетельницей стала Хелен Флейшман, а Лоуренса — его сестра. Мама почти заплакала, когда ее не пригласили поставить свою подпись в свидетельстве, поэтому нам пришлось добавить ее имя в список свидетелей. По нашей просьбе она закупила море шампанского и устроила большой прием в «Плаза-Атени» после церемонии.

После всего выпитого шампанского и многочасовых танцев кто-то предложил Лоуренсу увезти меня на медовый месяц. Мы собирались через три дня ехать в Италию, но Лоуренс как будто совсем не торопился с завершением свадебной вечеринки. У него уже был уговор с сестрой, и ему ужасно не хотелось уезжать от нее. Он словно боялся, что наш брак прекратит их отношения. Я пошла ему навстречу и сказала, что она может присоединиться к нам на Капри, куда мы собирались на медовый месяц. Но когда я позвала с нами моего преподавателя русского, Жака Шифрина, Лоуренс запротестовал и мне пришлось отменить приглашение. В конце концов Бетти Хьюмс, подруга Лоуренса из консульской службы, уговорила его увести невесту. Мы поехали в отель на рю де Риволи и легли спать. Встать нам пришлось довольно скоро, потому что многих друзей мы позвали на вторую свадебную вечеринку в ресторане «Бык на крыше» на рю Буасси д'Англа. По пути туда мы заехали в «Прюни» и съели гору устриц.

На следующее утро пришел врач сделать мне *piqûre*[4] — я еще не до конца оправилась после гриппа. Этот врач лечил Пруста и ухаживал за ним всю ту зиму, когда он умирал. Известие о моем замужестве вызвало у него искреннюю радость, и он сказал мне, что я вступаю в новую дивную жизнь. Сама я была в подавленном настроении и не ожидала от него таких слов, поэтому удивленно ответила: «Вы правда так думаете? Я — нет».

Как только я осознала, что замужем, я сразу пала духом. Тогда я впервые задумалась, действительно ли я хотела этого брака. Поскольку до самого последнего момента Лоуренс пребывал в сомнениях и метаниях, мне было не до размышлений о собственных чувствах. Теперь, когда я достигла заветной цели, она утратила для меня свою ценность.

Я встретилась с матерью за обедом. Ее разбирало любопытство, как прошло мое (как она думала) знакомство с любовью, а я в ответ стала хвастливо извиняться за то, что меня теперь всюду сопровождает запах «Лизола». Мама решила, что поняла мой намек, и спросила: «Сколько раз ты им пользовалась?» Меня возмутила ее бестактность, и я отказалась отвечать. Все официанты в «Плаза-Атени» смотрели на меня так, будто их тоже ужасно интересует этот вопрос.

Через два дня мы уехали в Рим. Мама привезла мне на вокзал срочный паспорт с моим новым именем, Маргарет Гуггенхайм Вэйл, на случай, если мне понадобится сбежать от Лоуренса, в чей паспорт я была вписана.

В Риме мы навестили моего кузена Гарольда Леба, который там издавал журнал «Брум» с Китти Кеннелл. Его возмутило, что Лоуренс носит сандалии без носков. Я хотела сохранить независимость, поэтому решила проведать в Риме своих бывших ухажеров, а Лоуренс отыскал нескольких прежних подруг. Меня не оставляло чувство разочарования в браке; я ждала от него чего-то куда более волнительного.

Лоуренс выбрал идеальное место для медового месяца. Он раньше жил на Капри, тогда как я провела там всего несколько часов во время нашей торопливой поездки с Валери и не имела никакого представления об этом месте. Мне только и показали с лодки Голубой грот. Теперь же мы поселились в вилле на Тиберийской стороне, высоко над морем. Каждый день мы спускались к воде, хотя подниматься обратно по жаре было весьма утомительно. Мы купались на нескольких пляжах, но больше всего нам полюбился Марина-Пиккола. В городке Марина-Гранде мы арендовали лодочки-«сандоло», которые управлялись двусторонним веслом. Сначала ты делал гребок с одного борта, потом с другого. Каждый день мы выходили на этих лодочках в море и встречали пароход из Неаполя. Мне еще никогда не доводилось бывать в столь первозданном месте, и я наслаждалась красотой нашей простой жизни.

Капри — магический остров. Приехав туда однажды, ты с трудом можешь заставить себя уехать. Большинство его жителей *с чудинкой*, но красота этого места и великолепие окружающего его голубого Неаполитанского залива заставляют забыть обо всем на

свете. Этот небольшой скалистый остров высится над морем; на вершине его находится еще один город, Анакапри, а под ним — рыбацкие деревушки. Главный город, Капри — это центр острова; на его пьяцце жизнь бурлит так же, как и в других итальянских городах. Там было кафе под названием «Моргано» — место встречи друзей и приобретения новых. Во время прогулок в окрестностях города Капри открываются великолепные виды, а растительность временами напоминает вересковые пустоши Шотландии.

На острове не было автомобилей и почти не было карет. От причала к городу Капри людей поднимал фуникулер. Жизнь на острове во многом зависела от провизии, которую доставляли на пароходе. Из-за неспокойного моря можно было оказаться на несколько дней отрезанным от большой суши. У людей на этом острове напрочь отсутствовало чувство ответственности; в воздухе царил дух оперы-буффа. В следующем году мне предстояло окунуться в местные интриги и по-настоящему узнать Капри. Но об этом позже.

У нас было много странных соседей. Ближе всех к нам жил шведский граф, в миле по дороге к руинам виллы Тиберия. У графа, потомка верного любовника Марии Антуанетты графа Ферзена, имелся на содержании пастух. Чтобы тот от него не сбежал, граф сначала дал ему образование, а потом приучил к курению опиума. Из них вышла очаровательная пара. Капри полнился такими людьми.

Другая пожилая особа продавала на улицах кораллы. Поговаривали, что раньше она была любовницей королевы Швеции.

На заработанные во время войны деньги здесь возвел шикарную виллу Густав Крупп. Миссис Комптон Маккензи владела великолепным особняком «Фаральони» с видом на скалы, а сам Маккензи построил себе каменную хижину на пустоши на вершине холма. За год до моего приезда по острову скиталась маркиза Казати с леопардом.

Через какое-то время мне стало ясно, что и семья моего мужа имеет свои странности. Его мать была придирчивой, но в остальном приятной женщиной старой школы. Она была Дочерью американской революции[5] и имела соответствующие взгляды. Сначала она не одобряла наш брак, но после его официального заключения приняла меня всем сердцем. Мне кажется, я действительно ей нравилась, и она стала первым человеком в моей жизни, кто восхищался моей внешностью. Мне с детства внушали, что я уродлива на фоне своих красавиц-сестер. Из-за этого у меня развился комплекс неполноценности. Когда миссис

Вэйл познакомилась с Бенитой и Хейзел, она уверила меня, что я красивее их обеих. Можете себе представить, как меня это удивило и порадовало. Миссис Вэйл приняла меня, как свою дочь, но никогда не давала разрешения называть ее мамой.

Если миссис Вэйл признала меня, то нельзя того же сказать о ее дочери Клотильде. Она стала тернием моего брака. Она обожала своего брата со страстью, достойной восхищения, и он отвечал ей взаимностью. (Складывалось впечатление, будто их чувства носят кровосмесительный характер, и от неудовлетворенности их влечение друг к другу как будто только росло.) Мир Клотильды крутился вокруг слов «мой брат». Она не готова была уступить мне его ни на йоту. Она постоянно давала мне понять, что я по ошибке зашла в комнату, где уже давно есть свой жилец, и должна либо спрятаться в углу, либо вежливо ретироваться. Она обладала сильным характером, и я скоро почувствовала, что она пытается занять главенство в моей семье. Мою жизнь вдвойне усложнял тот факт, что она была до крайности хороша собой и постоянно заводила новые романы. Поначалу меня это возмущало, но потом я переросла свои пуританские предубеждения. Каждый раз, когда она меняла любовника, Лоуренса переполняла ревность, а поскольку я была его мальчиком для битья, я ужасно страдала от всего этого. Клотильда была на три или четыре года старше меня и по сравнению со мной, сущим ребенком, отличалась зрелым характером, что тоже ставило меня в проигрышное положение. Она имела красивый голос меццо-сопрано и многие годы училась пению. У них с Лоуренсом были одинаковые светлые волосы. Они очень походили друг на друга, и оба унаследовали от матери римский нос с горбинкой. Но Клотильда не была высокой.

Как только мы обосновались на Капри, а точнее, спустя три недели, к нам присоединилась Клотильда. Она позволила нам побыть наедине это недолгое время. Она приехала со своей итальянской подругой по имени Элейн Ле Бург, которая значительно спасла ситуацию, но когда Лоуренс с Клотильдой прогуливались по пьяцце в час всеобщего сбора, я чувствовала себя так, словно меня не существует.

На Капри меня не обременяли никакие обязанности. Нашим домом управляли четыре итальянки-потаскухи, которые каждую ночь в саду занимались любовью с солдатами: Тересина (у нее был незаконнорожденный ребенок) и три ее младшие сестры. Платили мы только двум из них, и то крошечные деньги, а они в отместку бесстыдно обсчитывали нас, когда ходили за покупками, и уносили домой половину еды. Американцы такое положение вещей в Италии принимали практически как должное. Элейн,

добропорядочная итальянка, попыталась вмешаться, но Лоуренс, как иностранец, не пожелал ничего слышать. Потаскухи эти были очаровательны. Они целыми днями пели неаполитанские песни и даже расчесывали мне волосы — я не справлялась с их длиной. Они хорошо готовили, и мы считали, что нам очень с ними повезло.

Лоуренс относился к моей семье со снобизмом. Ему не нравились Гуггенхаймы, и он постоянно высмеивал их. Когда однажды моя тетка Роуз приехала к нашему дому на муле, потому что не могла подняться в гору пешком, он пошутил, что эта картина удивительно напоминает ветхозаветный сюжет. В другой раз он сказал мне, что с радостью скинул бы всех моих дядьев со скалы, откуда Тиберий сталкивал своих врагов. Меня это так оскорбило, что я разрыдалась.

В конце лета мы уехали с Капри в Санкт-Мориц. Мы проехали всю Италию на автомобиле, по пути остановившись в Ареццо и Сансеполькро, чтобы посмотреть на фрески Пьеро делла Франческа. Лоуренса раздражало, что я стала разглядывать их с точки зрения семи положений Беренсона, а не просто любовалась ими. Мы проехали через Венецию, Флоренцию и Милан и, наконец, сели на поезд, который повез нас зигзагом на север — в Энгадин.

Я до того никогда не бывала в Санкт-Морице, и на меня произвела большое впечатление жизнь местного общества; не то чтобы мы принимали в ней активное участие. Мы вели тихую семейную жизнь с миссис Вэйл, Клотильдой и несколькими друзьями, приехавшими ко мне из Англии и Нью-Йорка. Мы с Лоуренсом много играли в теннис и даже выиграли турнир. У нас хорошо получалось играть в паре, потому что он был силен в позиции у сетки, а я прикрывала его сзади. Я всегда следовала его указаниям и ни разу его не подвела.

Весной я поехала навестить Бениту в Нью-Йорке. Я планировала эту поездку задолго до замужества, и ничто на свете не могло удержать меня от нее. Лоуренс отправился с Клотильдой в Страну Басков на мотоцикле, который Бенита подарила ему на свадьбу.

В семейной жизни Бенита с мужем казались вполне счастливыми. Я по-прежнему ужасно ревновала к нему, и Бенита чувствовала себя меж двух огней. Перед отъездом из Нью-Йорка я подписала контракт с издателем, который взялся опубликовать давно написанный Лоуренсом роман.

Вскоре я поняла, что беременна. Чувствовала я себя плохо, но очень обрадовалась и отправила Лоуренсу телеграмму с известием. Моя прекрасная тетя Ирэн Гуггенхайм повезла меня в

Европу в своей каюте, опасаясь за мое здоровье. Я не вставала с кровати все плавание. Лоуренс встретил меня в Саутгемптоне, и мы счастливо воссоединились.

Мы стали строить планы на рождение ребенка. Мы сразу решили назвать его Год Вэйл Гуггенхайм и что он должен родиться в Лондоне. Мы не хотели, чтобы он получил французское гражданство, как вышло бы в случае его рождения в Париже. И Лоуренс, и его отец родились там, а значит, третье поколение их семьи уже считалось бы французами и попадало бы под воинскую повинность. У Лоуренса был американский паспорт, и в прошлом году он уже служил офицером связи в тяжелой артиллерии американской армии.

Дочь тети Ирэн, Элеанор, которая вышла замуж за графа Касл Стюарт, психоаналитика по профессии, отвела меня к своему врачу в Лондоне. Она только что родила ребенка и осталась очень довольна услугами доктора Хедли. Он сообщил мне, когда ожидать рождения Года, и мы решили на зиму уехать во Францию, а в Лондон вернуться в мае.

Мы погостили у Элеанор в Сассексе, и я помню, как ее муж сказал мне, что мне предстоит волнительная жизнь с Лоуренсом — совсем не то, что размеренная жизнь Элеанор с ним. Я не знаю, почему все были так уверены, что меня ждет бурное будущее. Они были правы, но я не понимаю, откуда они знали об этом раньше меня.

Лоуренс имел деятельную натуру. Он был незаурядной личностью и очень хорош собой. Он обладал огромным обаянием и с успехом пользовался им. Я всегда чувствовала себя второсортной рядом с ним. Я была очень неопытна, когда встретила его, и теперь ощущала себя полнейшим ребенком в его (как я тогда думала) изысканном мире. В Лоуренсе бурлили идеи. Их у него было так много, что он пускался в погоню за новыми, не успев реализовать старые. Он просто отметал их, как другие люди отметают что-то до крайности избитое. Это было невероятно. Его энергия потрясала воображение. Он способен был не ложиться три ночи подряд. Я же не могла обходиться без сна, и когда ждала его одна в кровати, зная, что он пьян и может попасть в неприятности, не находила покоя. Он познакомил меня с совершенно новым миром и научил совершенно новой жизни. Все это было очень волнительно, иногда даже сверх меры.

Сейчас мне уже сложно вспомнить, как мы с Лоуренсом начали ругаться. До свадьбы мы поссорились один раз, в отеле «Плаза-Атени», кажется, из-за каких-то слов Валери Дрейфус. Лоуренс устроил сцену и в ярости бросился вон из комнаты. Тогда мне не пришло в голову, что это малая толика того, с чем

мне придется регулярно сталкиваться в будущем. Лоуренс был жесток и любил играть на публику, поэтому чаще всего он устраивал сцены именно в общественных местах. Еще ему нравилось громить наш дом. Особенно он любил швырять мою обувь в окно, бить посуду, зеркала и атаковать канделябры. Скандалы могли продолжаться часами, а то и днями; один длился две недели. Мне стоило бы обороняться. Он хотел, чтобы я отвечала ему, но я могла только рыдать. Это раздражало его больше всего. Когда наши ссоры достигали торжественного финала, он размазывал мне по волосам джем. Больше всего я ненавидела, когда он бросал меня на землю на улице или начинал швыряться вещами в ресторанах. Однажды он держал меня под водой в ванне, пока я не начала захлебываться. Я знаю, что бывала невыносима, но в любом случае Лоуренс привык закатывать истерики, и на протяжении многих лет Клотильда была его зрителем. Она немедленно реагировала на приближение скандала и сразу становилась нервной и напуганной, а Лоуренс именно этого и добивался. Кому-то надо было сказать ему, чтобы он перестал вести себя как осел. Джуна однажды так и сделала в ресторане Вебера, и это сработало, как волшебство. Он немедленно отказался от финального акта истерики, до которого уже почти дошел. Из-за своих демонстративных приступов ярости он не раз имел проблемы с представителями власти и попадал под арест. Один такой большой скандал разразился во время спектакля «Locus Solus» по пьесе Реймонда Рассела. Все вокруг шипели на него, а Лоуренса, разумеется, это только раззадорило. Он устроил демонстрацию, за которой последовала королевская битва, а я, будучи беременна, не имела никакого желания быть в этом замешана. Лоуренса скрутили сразу несколько человек и повалили его на пол. Пришлось даже призвать ему на помощь комиссара полиции, который уступил нам свою ложу, чтобы мы могли досмотреть пьесу в безопасности.

Следующая большая ссора произошла в отеле «Лютеция». Причиной послужила исключительно моя бестактность. Я продолжала брать уроки русского у Жака Шифрина и объявила Лоуренсу, что влюблена в своего учителя. Лоуренс схватил чернильницу и запустил ее в стену. Он попал в телефон и разбил его, а чернила расплескались по всей комнате. В номере пришлось менять обои. Мне чудом посчастливилось найти маленького глухого мастера, который неделями приходил к нам каждый день. Он сидел на полу на корточках и доставал из сумки одну бутылочку за другой, по очереди нанося жидкости из них на пятна, пока те не исчезли полностью. Шифрин тем временем брал у меня взаймы деньги на оплату типографских счетов. Он

открывал свое издательство «Плеяда», и ему не хватало средств. В благодарность он подарил мне шестьсот экземпляров его чудесной первой книги «Пиковая дама». Я ходила по всем книжным магазинам Парижа в попытках избавиться от этих шестисот томов. Торговала я без особого успеха, и вскоре Шифрин, чьи дела стремительно пошли в гору, выкупил их у меня обратно.

Мое богатство позволяло мне чувствовать некоторое превосходство над Лоуренсом, и я чудовищно пользовалась этим: говорила ему, что мои деньги — это мои деньги и он не имеет права свободно ими распоряжаться. В отместку он развивал во мне комплекс неполноценности. Он говорил, что мне повезло оказаться принятой в мир богемы, и раз у меня за душой нет ничего, кроме денег, мой долг — отдавать их тем гениальным людям, с которыми мне дозволено общаться.

В начале нашей жизни в Париже мне часто бывало дурно из-за беременности, и я каждый день принимала лекарства. Боб Котс страдал каким-то пищеварительным расстройством и, не имея представления, что со мной на самом деле, настойчиво пытался их попробовать. Будучи тогда молодым писателем, он вел богемную жизнь в Париже и был одним из наших лучших друзей.

Лоуренс обожал большие вечеринки и не упускал возможности созвать гостей. Ему нравилось экстравагантно одеваться, и он водил меня к Полю Пуаре за шикарными костюмами, но моя стремительно растущая талия в них смотрелась не слишком изящно. В Париже к нам присоединилась Хейзел. К тому моменту она уже развелась и той зимой вышла за Мильтона Уолдмана.

В середине зимы мы поехали на юг, в Ривьеру. Мы нашли небольшую виллу в Ле Трайа и сняли ее на два месяца. Один из моих кузенов, занятый в автомобильном бизнесе, продал мне подержанный «Габрон», у которого не работал глушитель и потому он издавал страшный рев. Мы наняли шофера, и Лоуренс стал учиться водить. Мы вели очень простую жизнь. У нас была всего одна служанка, и мы почти не покидали виллу. Лоуренс всю зиму купался в море и ходил на рынок за провизией. Мне нездоровилось, и я неделями читала Достоевского. Разумеется, мы порой ссорились, чтобы скоротать время. Причиной жуткого скандала, который продолжался две недели, прежде чем мы смогли заключить перемирие, стал тот факт, что Боб Котс попросил у Лоуренса взаймы двести долларов на билет в Америку. Я почему-то не желала давать Лоуренсу эти деньги. Ему пришлось отказать Бобу. В конце концов к нам приехала Клотильда, и на этом наша битва закончилась.

В марте в Европу приехала Бенита — она хотела быть рядом со мной, когда родится Год. Когда она узнала, как протекает моя богемная жизнь, она пришла в ужас и отнеслась к этому с крайним неодобрением. Бенита была консервативна, а ее муж только усугубил в ней это качество. У нее в голове не укладывалось, как мы с ней можем жить настолько по-разному.

В конце апреля я отправилась в Лондон с Фирой Бененсон на поиски дома. Лоуренс следовал за нами на новом, только купленном автомобиле «Лорен-Дитрих». «Габрон» приказал долго жить. Я выглядела так, будто на мою тощую фигуру наложили яйцо Бранкузи.

Я сняла красивый дом с садом в Кенсингтоне, на Кэмпден-Хилл. Мы расположились там с комфортом, и в нем хватало комнат для гостей и нянек для грядущего события. С нами какое-то время жила Мэри Рейнольдс, но уехала, когда к ней наконец вернулся ее Норман из Америки. Бенита с мужем жили в отеле «Ритц» вместе с моей матерью. Мы не хотели говорить маме, какой мне поставили срок, — нас и так выматывала ее суета. Нам долгое время удавалось скрывать от нее существование Года, и теперь она думала, что он куда меньше, чем на самом деле.

Собственно говоря, в ночь его рождения рядом не оказалось никого из моей семьи. Я рассталась с Бенитой в городе в семь вечера и, хотя чувствовала себя нехорошо, присоединилась к званому ужину, который давали мы с Лоуренсом. У нас в гостях были Мэри Рейнольдс с Норманом, Томми Эрп и его жена, старый друг Лоуренса со времен Оксфорда с женой и Боб Макалмон. За ужином мы пили за здоровье того, кто под столом, имея в виду Года. Томми Эрп, ни о чем не догадываясь, стал искать собаку. После ужина жена университетского друга Лоуренса бросила в меня подушку, и это возымело немедленный эффект. К моему ужасному стыду, у меня отошли воды, и я поспешила наверх. Мэри пришла в истерику и пыталась уложить меня в постель. Лоуренс бросился вместе с Эрпом на машине за акушеркой. У нас с ней на тот день был назначен осмотр, и она ждала, когда ее вызовут. Приехав, она взяла все в свои руки и сказала, что мне делать. Все, что я помню, — это чудовищная боль, которая становилась нестерпимей с каждой волной. Каждый раз мне казалось, что я больше не выдержу. Мэри сидела на лестнице вместе с Лоуренсом. Наконец акушерка позволила ему вызвать доктора Хедли. Когда тот приехал, я корчилась от невыносимой боли. Он спросил, нужна ли мне анестезия, и я, естественно, сказала «да». Мне казалось, что меня рвут на части дикие лошади, и сил моих уже ни на что не осталось. Когда приехал второй джентльмен в цилиндре, который целую вечность надевал свои

белые гамаши, для меня труды закончились, но только начались для доктора. Хлороформ сработал так хорошо, что Год отказался сдвигаться с места, и его пришлось извлекать щипцами. Он появился на свет в восемь утра, как раз к завтраку, и Мэри с Лоуренсом увидели его первыми, чего я Мэри никогда не смогла простить. Когда я пришла в сознание и мне сказали, что у меня родился мальчик, я почувствовала смущение оттого, что я столько времени носила в себе существо мужского пола.

Лоуренс позвонил моей матери. Она решила, что он шутит, и не могла поверить, что у нее теперь есть внук. Мы так заморочили ей голову, что она не приходила до самого вечера, а когда пришла, ужасно удивилась наличию Года. Он родился 15 мая, в годовщину свадьбы Бениты и на следующий день после дня рождения миссис Вэйл. Мы дали ему имя Майкл Седрик Синдбад Вэйл. Мэри назвала его Седриком в честь Седрика Морриса, ее хорошего друга-художника. Синдбада (из «Арабских ночей») выбрал Лоуренс; я выбрала Майкла. Он был очень славным, хоть и уродливым. У него было сморщенное красное лицо, густые черные волосы, огромные торчащие уши и изумительные ручки и ножки. Дневная нянька была сущим драконом, но ночная — ангелом во плоти. Поэтому веселье мы откладывали до вечера.

Я кормила Синдбада месяц; после этого у меня кончилось молоко. Кормление проходило болезненно: по какой-то причине я никогда не могла естественно справляться с задачей матери и постоянно нуждалась в помощи няньки, когда давала своим детям грудь. Доктор Хедли не разрешал мне вставать с кровати три недели. Мне было скучно, и для развлечения я читала Джорджа Мура и Генри Джеймса.

В это время к нам приехала Пегги. Я не знаю, как называть ее в этой книге — столько раз она меняла имя. Впервые она появилась в моей жизни, когда мы учились в школе, но она была на год старше, и я толком не знала ее. Затем она вышла замуж за моего кузена Эдвина Леба. Их брак оказался неудачным, и Бенита уговорила ее развестись. Когда она приехала в Лондон, она только приходила в себя после разрыва. Пока что она не успела попасть ни в какие прочие неприятности. Лоуренс обожал ее, а я была счастлива встретить свою самую давнюю подругу. Сложно описать ее неуловимую натуру. Стоило ей сделать какое-нибудь заявление, как на следующий день ты слышал, что другому она заявила нечто ровно противоположное. Она интересовалась всем, что видела, потому не имела *parti pris*[6] ни о чем; из-за этого мы называли ее двуликой. И все же она обладала логичным рассудком мужчины. Она была похожа на Чеширского кота с ее огромным ртом и не сходящей с лица улыбкой. Она была ужасно

упряма. Складывалось впечатление, будто она твердо знает, чего хочет от жизни, но при этом постоянно принимала неверные решения. По какой-то причине она все время выходила замуж не за того мужчину, и делала это трижды. Роль матери давалась ей с большим успехом, и она не могла нарадоваться на своих трех детей. На тот момент у нее еще не было ни одного. Пегги всегда появлялась в решающие моменты моей жизни. Мне казалось, что стоит мне только потереть мою лампу Аладдина, как Пегги сразу выскочит из нее и выручит меня.

Мы вернулись в Париж на Четырнадцатое июля — Лоуренс неизменно в этот праздник три ночи танцевал на улицах. Я не имела возможности сопровождать его.

Из Парижа мы направились в Виллервиль в Нормандии, где остановились на лето. Мы жили в кошмарном старом доме с ванной в подвале; он очень напоминал дом моего деда, только здесь еще имелся красивый сад и студия, где мы все рисовали, даже я. С нами были Клотильда и Пегги, и еще Мина Лой. Нас навещали Луи Арагон, на тот момент, кавалер Клотильды, Гарольд Леб с Китти Кэннел и Ман Рей с его удивительной Кики в нарисованной маске. Однажды к нам в дом пришли Джеймс Джойс с Норой — они искали свою дочь, которая училась в пансионе где-то на побережье.

Бенита вернулась в Америку, и без нее я снова загрустила. Я смотрела, как пароходы «Френч Лайн» уходят в море из Гавра мимо нашего дома, и тоже мечтала уплыть.

Осенью мы вернулись на Капри. Пегги, Мэри и Клотильда отправились с нами. В этот раз мы остановились в небольшом отеле в центре города. Моя кузина Элеанор Касл Стюарт нашла мне няньку по имени Лили, которую мы привезли с собой на континент. Она была такой смуглой, что больше походила на иностранку, чем на английскую девушку. За ней постоянно увивались мужчины. Она была совершенно невинна и простодушна и путешествовала с большим восторгом. Лили хорошо заботилась о Синдбаде, поскольку прошла обучение в госпитале и была от природы добросовестна.

Вскоре после приезда на Капри Лоуренс впутался в историю. Он ревновал Клотильду к ее новому любовнику. Этот маленький итальянец каждый раз, когда ночевал не с женой, говорил, что был на *caccia*[7] или стрелял птичек на пустоши. Мы дразнили Клотильду и спрашивали у нее после ночей с ним, как прошла охота. Ей не нравилось, что капитан Патуни, как его звали, отказывается появляться с ней на публике. Из-за жены ему приходилось скрывать связь с ней. Однажды за ужином она стала жаловаться на это, и Лоуренс, будучи пьян, вышел из себя. Он

бросился в частный клуб, где капитан Патуни играл в карты с другими мужчинами, и бросил все карты, какие смог схватить, ему в лицо. За этим последовала драка. Полисмену в ней сломали большой палец. Лоуренса заковали в цепи и положили на стол — ждать переправки в тюрьму. Он уже как-то раз посмеялся над *sindaco*[8] Капри, и тот затаил на него обиду. Лоуренса бросили в тюрьму на десять дней в ожидании суда. Его держали в сырой камере, а нам велели присылать ему еду из отеля. Еще мы отправляли ему вино, виски и множество книг. Его охранял добрейший надзиратель, которого уже временно отстраняли за то, что он выпускал заключенных на ночь. Выходя на волю, они продолжали заниматься своим промыслом и приносили с собой добычу в тюрьму. Надзирателя после этого восстановили в должности, но уже без жалованья.

Этот же надзиратель сопровождал слепого судью по пути к зданию суда и обратно. Он сказал мне, что судья согласен разрешить мне навестить Лоуренса, но я должна получить это разрешение у него лично. Я пошла к судье и упала перед ним на колени, умоляя разрешить мне увидеться с отцом моего якобы больного ребенка. Я даже заплакала. Судья отвечал уклончиво, но вскоре надзиратель пришел ко мне домой. Он сказал мне надеть черное и прийти к условленному повороту дороги, где меня будет ждать большой черный пес, и проследовать за ним в тюрьму. Я ужасно испугалась, и, если бы Клотильда не заставила меня, я бы не решилась пойти. Добравшись до тюрьмы, куда я после этого ходила каждую ночь, я уснула, измотанная переживаниями и попытками вызволить Лоуренса. У каждого на острове был свой план его освобождения, но все эти планы включали в себя огромные взятки и выглядели опасными и сомнительными.

Наконец, благодаря Мэри выход нашелся. К ней обратился адвокат, синьор Тирелли, который на день приехал из Рима и принял ее за Клотильду. Услышав о скандале, он решил предложить свои услуги, и Мэри их приняла. Они вместе отправились в Рим на встречу с американским генконсулом, близким другом семьи Вэйлов, в надежде на его помощь, но тот только и сказал о Лоуренсе: «Этот юноша всегда был безумцем». Синьор Тирелли работал адвокатом при американском консульстве и был очень способным пожилым господином. Когда дату суда наконец назначили, он приехал к нам и подготовился к рассмотрению дела. Он обошел весь остров и нашел достаточное количество свидетелей, подтвердивших, что Лоуренс был пьян и не имел намерением причинить кому-то вред. Когда на десятый день начался суд, бармен отеля «Куизиана», где начался наш вечер, подтвердил, что Лоуренс не только выпил восемь

коктейлей, но что в них был джин — а это для Италии редкость — и после ужина мы выпили большое количество шампанского «Вдова Клико». Капитана Патуни вызвали в качестве свидетеля, но он отказался явиться. Тогда его силой привели два солдата; он не стал говорить ничего против Лоуренса. Полисмену мы заплатили за молчание. Лоуренса освободили, и в тот же день мы покинули Капри на яхте Тирелли. Я настояла на этом. Лоуренс сопротивлялся, но я наотрез отказалась оставаться. Перед отъездом он прогулялся по пьяцце с Клотильдой, чтобы продемонстрировать свою победу. Тирелли взял за свои услуги скромную сумму в тысячу долларов, в том числе за поездку на яхте. После этого мы еще заплатили ему пятьсот долларов за то, чтобы он убрал имя Лоуренса из реестра преступлений.

Я стыдилась того, что мой муж побывал в тюрьме, и всякий раз, когда об этом заходила речь, старалась сразу же объяснить, в чем состояла его провинность.

Мы распрощались с надсмотрщиком, который стал нам хорошим другом, и дали ему щедрые чаевые. Он немедленно их потерял, по крайней мере так он нам сообщил, и нам пришлось заплатить ему еще раз. Он сказал Лоуренсу, что его единственная мечта в жизни — служить такому человеку, как он, и стеречь его богатства. Он сказал, что хотел бы сидеть и смотреть на гору денег, сложенных на полу комнаты, и знать, что с ним они в сохранности.

Город Амальфи не уступал по красоте Капри, хоть это и была красота иного толка. Ему не хватало очарования острова. Мы прогуливались по сельским склонам, покрытым виноградниками. В округе было еще несколько городков, куда мы ездили на автомобиле. Один затерялся высоко в горах, и путь до него был самым долгим. Городок назывался Равелло, и в нем было красивейшее здание XII века с покрытыми девичьим виноградом галереями. Я мечтала купить этот дом — он назывался «Каза Родолфо», — но не имела нужной суммы, поскольку все мои деньги находились в доверительном фонде.

После Амальфи мы решили на зиму отправиться в Египет, а Клотильда и Пегги вернулись в Париж. В Египте нас всюду сопровождал драгоман и следил, чтобы мы не упустили ни одной покупки. Это было несложно — нас с Лоуренсом очаровали рынки Каира. Мы нашли восхитительные серьги и за бесценок купили сразу несколько дюжин, чтобы потом отвезти их в Париж — мы с Клотильдой и Мэри были заядлыми коллекционерами. Еще мы накупили тканей и сшили Лоуренсу костюмы из египетского сукна. Мне он приобрел духи, пару маленьких жакетов и накидку из Судана, а себе — набор престранных тряпичных куколок,

несколько красивых персидских гравюр и кальян. Мы ели только в арабских ресторанах, где в основном подавали баранину. В одном ресторане мы ели на улице, и это было сущей пыткой, потому что за едой нас без конца донимали попрошайки и торговцы. Мы могли бы прямо у них с рук купить себе весь ужин. Арабы постоянно пытались заработать *бакшиш* побольше и называли меня принцессой. Никогда не встречала столь бесстыдных людей. Они были словно мухи: стоило от них отмахнуться, как через минуту они снова налетали.

Нас пускали в мечети, но не в час священной молитвы, когда мужчины-арабы на корточках окружали фонтаны во дворах, омывая интимные места и мочась, перед тем как повернуться лицом к Мекке на закате и воззвать к Мухаммеду.

Мы целыми днями ходили по рынкам и пили турецкий кофе, самый густой и сладкий кофе в мире. Им угощают продавцы в магазинах, если надеются, что вы купите у них что-то дорогое. Покупки в Каире никогда не делались сразу — каждый раз приходилось торговаться по нескольку дней. Непременно нужно было соблюдать эту традицию, сколько бы она ни отнимала сил.

По вечерам мы ходили в арабский квартал. Считалось, что иностранцам там появляться не пристало, в особенности женщинам. Лоуренс заходил во все заведения, где висел знак «Вход британским офицерам и солдатам запрещен». Я помню красивую нубийскую девушку, которая исполняла *danse de ventre*[9]. Несмотря на чернейший цвет кожи, она мне сильно напомнила Хейзел, и я даже стала называть ее сестрой. Она очаровала Лоуренса, и я решила позволить ему провести вечер с ней. В то время мы жили в пустыне в отеле «Мена-Хаус» рядом с пирамидами Гизы. Как-то раз, когда мы ходили за покупками по Каиру, я оставила Лоуренса и вернулась одна в гостиницу. Принимая во внимание мою жертву, Лоуренс мог бы быть со мной обходительнее. Вместо этого, сажая меня в автобус, он намеренно разбросал мои покупки по земле — он хотел поставить меня в неловкое положение в отместку за то, что ему пришлось их весь день носить. Той ночью он вернулся поздно, и когда я случайно зашла с ним в ванную, я поняла, что с ним что-то не так. Ему пришлось сознаться. Неожиданно я разозлилась, когда подумала, что я могла увидеть, и несколько дней отказывалась заниматься с ним любовью. Он рассказал мне, что та девушка носила белое белье, и у нее была очень высокая кровать. Когда ему не удалось на нее забраться, она подхватила его под мышки и подняла, словно куклу.

На следующий день мы отправились в поход в пустыню. Название этого мероприятия совершенно не соответствует

сопутствовавшей невообразимой роскоши. Поход включал в себя целый караван верблюдов и сопровождающих, которые везли с собой поваров, шатры, мебель и еду. Оно определенно того стоило, потому что иначе пустыню никак нельзя было увидеть.

Пустыня — это бескрайнее море песка, которое расходится во все стороны волнами всевозможных очертаний. Это холмистый, а порой скалистый пейзаж; время от времени в нем показываются миражи и оазисы, и часто на пути встречаются другие караваны. Без них ты бы чувствовал себя совершенно потерянным. Ездить на верблюде чудовищно неудобно. Тебя сводят с ума и выматывают постоянные толчки и раскачивания. Ты не можешь пустить его в рысь или галоп. Ты просто сидишь и мучаешься. Позже я пересела на осликов, и на них ездить оказалось куда веселее. У них чудесная мелкая поступь — чуть ли не лучше, чем у лошади.

Потом мы решили совершить плавание вверх по Нилу, и все драгоманы Каира стали бегать за нами и предлагать в аренду свои лодки-дахабии. Один пригласил нас в свой дом в пустыне и устроил для нас шикарную трапезу из тринадцати блюд. В конце концов мы сбежали в Луксор и арендовали там скромную лодку, скорость которой полностью зависела от прихотливых ветров Нила и восьмерых рабочих-тягачей. Когда ветер утихал, рабочие выходили на берег и тащили ее за собой на веревках. У нас с Лоуренсом часто не хватало терпения, и мы сами шли по берегу, дожидаясь, когда дахабия нас догонит.

С географической точки зрения Египет — странная страна. Своим существованием она полностью обязана Нилу; без него это была бы просто пустыня. Ширина Египта сильно разнится — от многих миль, как в дельте, до чуть ли не одного фута. Сельское хозяйство существует только там, где земли увлажняет Нил. Вдоль берегов в бесконечном движении тянется система ирригации. Через равные промежутки пути тебя встречает мелодичная песня колеса, рядом с которым по кругу ходит верблюд и вращает его. На колесе закреплены ведра, которые зачерпывают воду из Нила и выливают ее в желоба, ведущие в ирригационные каналы. Иногда верблюдов заменяет человеческая сила и обычные ручные подъемные вышки.

Вдоль берегов то и дело встречаются маленькие деревни с домами из ила. Женщины выходят на берег за водой с кувшинами на головах. Лоуренс непременно хотел искупаться в Ниле, невзирая на крокодилов и микробов, и однажды напугал целую толпу женщин: они с криками бросились прочь, когда он вышел голым из воды.

Население Египта в основном составляют арабы, и они чрезвычайно бедны. Мы пытались научиться их языку от

драгомана, который сопровождал нас на дахабии, но сам он идеально говорил на английском. Он выпивал по бутылке виски в день. Капитан нашей лодки был хорош собой, и я даже испытывала к нему некоторое влечение. Он играл для нас арабскую музыку на тамтаме.

Оказавшись на Ниле, нужно забыть о чувстве времени, но у меня не получалось этого сделать. Я почти что сходила с ума от безделия. Лоуренс часы напролет проводил внизу в каюте и писал книгу: когда дело касалось его писательского призвания, в нем просыпалась совесть пуританина. Синдбада и Лили мы оставили в отеле в Асуане у первого порога. Мне было скучно, и для развлечения я купила беременную козу — я надеялась посмотреть, как она рожает. Однако она меня обхитрила и управилась за тот час, что я отлучилась навестить друзей на борту парохода Томаса Кука. Капитан отправил за мной матроса, но я все равно не успела. Вскоре вся лодка пропиталась козлиной вонью, которую мы не смогли терпеть. Я подарила козу капитану. Еще у нас на борту жило две овечки. Они были очень ласковыми и сидели у нас на коленях. В конце концов мы должны были их съесть, поскольку наш рацион почти полностью состоял из баранины. Порой мы ели до пяти по-разному приготовленных блюд из баранины за одну трапезу. Но я не могла вынести мысли о том, чтобы съесть этих славных овечек, и в результате их я тоже подарила капитану.

Мы продолжили идти вверх по течению до второго порога у города Вади-Хальфа. Мы посетили все известнейшие храмы и Долину царей с ее двумя гигантскими статуями-близнецами. Как раз вскоре после этого вскрыли гробницу Тутанхамона. То религиозное наследие Египта, которое произвело на меня сильнейшее впечатление, не имеет никакого отношения к арабам и их цивилизации. Египтяне верили во что-то невообразимо жестокое, неуловимое и благородное. Стены их гробниц покрыты искусной резьбой, а храмы настолько громадны, что рядом с ними чувствуешь себя карликом. Некоторые святилища в то время погрузились под воду из-за дамбы в Асуане. Мы проплыли на лодке по внутреннему двору храма Ком-Омбо, который был наполовину под водой, и увидели только верхушку храма в Филах.

В Вади-Хальфе нас принял губернатор. Люди редко заплывали так далеко на дахабиях, и он решил лично отдать нам честь. Британский правящий класс в колониях составлял малоприятное общество, и удовольствия от этой встречи мы не получили.

По пути обратно мы увязались за пароходом, который какое-

то время тащил нас за собой. Было странно видеть пролетающий мимо Египет в лунном свете, а не наблюдать, как он в свете дня медленно разворачивается перед тобой сам, будто замедленные кадры фильма. Мы радовались всякий раз, когда узнавали места, которые проплывали раньше.

После трех или четырех недель плавания наши матросы ожидали от нас чаевых, но мы не представляли, сколько нужно оставить. Я предложила по фунту каждому. Такая сумма их явно разочаровала, тогда мы добавили еще по фунту. Они воспрянули духом и отблагодарили нас радостным улюлюканьем. В тот период я отличалась скупостью, и Лоуренсу всегда нелегко давалось решение денежных вопросов, потому что я постоянно пыталась вмешаться. В конце концов ему пришлось дать чаевые драгоману из собственного кармана. Позже я рассказала Бените, какой я была ужасной с Лоуренсом, и она даже зарыдала от сочувствия к нему.

Вернувшись в Каир, мы оставили Синдбада с Лили в «Мена-Хаус» и отправились в Иерусалим. Впервые в жизни мне стало стыдно, что я вышла замуж за человека не своей веры. Евреи в Иерусалиме смотрели на меня косо. Палестина в то время была совсем молодой страной, несмотря на почтенный возраст. Тогда ее только-только отдали обратно евреям, но ничего хорошего, по всей видимости, из этого не вышло. Там постоянно происходили кошмарные столкновения между мусульманами, евреями и христианами. Все хотели иметь свой собственный ключ к храму Гроба Господня. Иерусалим в то время почти не был застроен, а местные жители в основном занимались сельским хозяйством. Единственное, что глубоко меня впечатлило, это Стена Плача. Я испытала жгучий стыд за свой народ. Мне стало дурно от созерцания их стенаний, воплей и корчей, и я была только рада вновь оказаться подальше от своих соплеменников.

Мы вернулись на пароходе другой судоходной компании, сошли на берег в Генуе и сели на ночной поезд в Париж. По прибытию я решила отослать Лоуренса, Синдбада и Лили и пройти таможню самостоятельно. Все, что мы купили в Каире, мы спрятали среди платьев в моем сундуке-шкафу. Это было не слишком умно, учитывая, что помимо бессчетных суданских одеяний для Клотильды, Мэри и меня мы везли еще необъятную коллекцию расшитых скатертей и наволочек. Грубее всего мы нарушили закон тем, что привезли во Францию турецкий табак. В последний момент Лоуренс вспорол купленную им огромную тряпичную куклу и засунул в нее около четырех сотен сигарет. Ничего из этого не нашли, и я прошла проверку без потерь. Приехав в отель «Лютеция», я стала распаковывать вещи и с

трудом могла поверить своим глазам. Я чувствовала себя фокусником, доставая вещи одну за другой, как из волшебной шляпы. Мы устраивали коктейльные вечеринки каждое воскресенье и хвастались перед гостями своими удивительными арабскими сокровищами.

С появлением Синдбада нам стало не хватать комнат в «Лютеции», поэтому мы на шесть месяцев сняли апартаменты на бульваре Сен-Жермен. Обстановка в них была прустианская, и мы постарались придать им какой-то уют. Виконт де Камбон, наш арендодатель, пришел в ужас, когда мы заменили его утварь в стиле Людовика XVI (ее мы спрятали в чулане) на французскую деревенскую мебель. Мы привезли с собой всю библиотеку Лоуренса и все книги, что я получила на свадьбу от своей американской семьи. Когда мы потом съезжали из этой квартиры, мы устроили из их перевозки на бульваре Сен-Жермен целое представление: швыряли их в окно и собирали на улице по страницам.

В новой квартире мы проводили потрясающие богемные вечеринки. Лоуренс заставил меня купить парчовое вечернее платье от Пуаре. Теперь, когда я снова похудела, оно сидело на мне идеально. Я носила головной убор, который мне сшила русская девушка, невеста Стравинского. Это была тугая золотая повязка-сетка, в которой я походила на Тутанхамона. Ман Рей сфотографировал меня в этом костюме с длинным мундштуком во рту. Вышло великолепно. В те дни я не пила и скучала на этих пьяных вечеринках. Я ненавидела, когда людей тошнило у меня дома, и в особенности не выносила, когда на моей постели занимались любовью. Одна особа как-то раз забыла у нас корсет и вернулась за ним позже. После ухода гостей я, как моя тетка, ходила по квартире с бутылкой «Лизола». Я ужасно боялась подцепить какое-нибудь венерическое заболевание.

На одну из таких вечеринок я пригласила племянницу моей матери, которая приехала в Париж на медовый месяц со своим вторым мужем, избавившись от того повесы, за которого она к моему негодованию вышла вместо одиннадцатилетней меня. На этой вечеринке ее привели в восторг двое красивых юношей, которые танцевали, близко прижавшись и заключив друг друга в объятия. Я заставила ее весь вечер сидеть и сторожить столовое серебро, сказав, что не знакома с половиной гостей, — Лоуренс выпивал в баре и позвал к нам случайных людей. По воскресным вечерам двери нашего дома не закрывались. На другой вечеринке Кики, любовница Ман Рея, ударила его в лицо и назвала грязным евреем. При этом присутствовала моя мать, и ее это так взбесило, что она высказала Кики все, что о ней думает.

Моя мать придерживалась куда более традиционных взглядов, чем я, и без конца приглашала нас с Лоуренсом на свои званые вечера в «Ритц». При этом ей все равно нравились наши богемные вечеринки. Она близко подружилась с миссис Вэйл, и та втянула ее в Американский женский клуб, ее оплот. То время, вероятно, было лучшим для моей матери, потому что она наконец могла жить для себя. Ее больше не истязали измены моего отца, и все ее дочери вышли замуж, хотя она продолжала упорно за нами следить. Она звонила мне каждое утро — сообщить, что на улице холодно или идет дождь, что мне нужно надеть теплое пальто или галоши. Это сводило меня с ума, но больше всего я не могла терпеть ее приемы в «Ритце» и то, что мне постоянно твердили, как я неправильно живу. Всех, кто не был богат, она называла попрошайками, а женщин, имевших любовников, — «Н. О.», то есть никчемными особами. Ее ужасно разочаровало, что я не вышла замуж за еврея-миллионера. Лоуренс ей все равно нравился, потому что с ней флиртовал. Ей много раз предлагали выйти замуж, но она всегда отказывала. Одно из предложений поступило от сицилийского герцога, который написал ей письмо с просьбой одолжить ему денег на обратный билет в Америку, сокрушаясь при этом, что она не согласится выйти за него, ведь он не сможет «обеспечить ей привычную роскошную жизнь». К сожалению, она, по всей видимости, была из тех, кто выходит замуж один раз, и после неудачного брака с моим отцом она решила все свои силы посвятить устройству чужих партий.

У нее была странная привычка повторять все по три раза. Однажды, когда мы ужинали в «Ритце», Лоуренс пощекотал ее ногой под столом, на что она сказала: «Тише, Пегги заметит, Пегги заметит, Пегги заметит». В другой раз она заказывала себе шляпу с пером у модистки и сказала ей: «Мне нужно перо, перо, перо». Говорят, в итоге ей сделали шляпу с тремя перьями. Когда она в возрасте пятидесяти лет таки научилась водить, в Нью-Йорке ее остановил полисмен, потому что она ехала по односторонней улице против движения. В ответ она ему сказала чистую правду, хоть и противоречащую здравому смыслу: «Я ведь ехала только в одну сторону, одну сторону, одну сторону». Она не только повторяла все по три раза, но носила с собой три пальто, которые постоянно меняла. В жару она надевала две черно-бурые лисицы и обмахивалась веером. Она всегда имела при себе трое часов: одни на руке, другие на шее и третьи — врезанные в лорнет. Третьими она не пользовалась, потому как без лорнета на глазах ничего не видела, поэтому большой пользы от этого сложного устройства не было. Она щедро спонсировала своих детей, хотя сама имела болезненный страх перед тратами. Она

каждый год дарила мне то шубу, то автомобиль и часто откладывала деньги в мой доверительный фонд, но, когда речь заходила о чаевых, начинались неприятности. С ней приходилось постоянно быть начеку, рискуя иначе оказаться в чудовищно неловкой ситуации. Она была закоренелой картежницей и держала свои доходы в страшной тайне.

В ту зиму Мэри, которой я тоже заказала платье от Пуаре, вела бурную жизнь. Как правило, в этом платье она оказывалась в постели еще с несколькими людьми. Как-то ночью она потеряла свои ключи и пошла домой к Марселю Дюшану. С этого началось то, что можно назвать Столетней войной. На следующее утро она зашла к нам одолжить денег на такси, чтобы поехать домой, потому что боялась просить у Марселя больше десяти франков. В то время она жила рядом с Эйфелевой башней в маленькой квартире, которую оклеила географическими картами и украсила серьгами на стенах вместо картин.

Марселя многие добивались. Заслужить его привязанность было непросто, и, в любом случае, он не одобрял той безумной жизни, которую Мэри вела в «Быке на крыше» в обществе геев. Ее хороший друг Моисей давал ей кредит в своем ночном клубе, и она проматывала там несметные суммы.

Марсель был загадочным человеком. Он ничего не нарисовал с 1911 года, со времен «Обнаженной, спускающейся по лестнице». Эта картина прославила его. Теперь он только играл в шахматы и даже состоял в шахматной сборной Франции. Еще он покупал и продавал работы Бранкузи. Марсель был статным нормандцем и походил на крестоносца. Каждая женщина в Париже мечтала оказаться в его постели. Его главным недостатком были некрасивые любовницы. Мэри для него была слишком красива, но в конце концов каким-то образом смогла его добиться. Это заняло у нее годы, но, вероятно, тем больше она пережила острых ощущений. Он постоянно уходил и возвращался. Под влиянием Пикабиа он даже женился на уродливой наследнице состояния. В то время они с Мэри не разговаривали, но после свадьбы он немедленно ее разыскал и помирился с ней, а потом развелся с женой.

Весной 1924 года граф Этьен де Бомон организовал и финансировал «Парижские вечера». Он арендовал «Ля Сигаль», знаменитый концертный зал на Монмартре, и привлек лучшие таланты Парижа к написанию музыки, постановке танцев и созданию декораций. Стравинский с его «шестеркой» писали музыку, Лифарь, Рябушинская, Лопухова, Боровановский, Туманова, Мясин, Данилова и другие звезды балета танцевали. Пикассо, Эрнст, Пикабиа, де Кирико и Миро работали над декорациями.

Все это было очень интересно, потому что участники творили сообща с графом де Бомоном, а не просто принимали указания, как в случае «Русского балета».

Тогда же этот балет начал входить в жизнь общества. Он стал очень модным, и в перерывах между актами мы ходили в бар, где встречались с друзьями. К слову, после того времени хорошие балеты уже не ставили.

Это была довольно приятная перемена в нашем обычном распорядке жизни. Почти каждый вечер мы проводили в кафе на Монпарнасе. Если суммировать часы, что мы скоротали в «Ле Дом», «Ля Куполь», «Ле Селект», «Динго», «Де маго» (в квартале Сен-Жермен) и «Быке на крыше», я уверена, вышли бы годы.

Помимо балета были популярны пьесы. Кокто написал «Ромео и Джульетту», а Тристан Тцара — «Платок облаков».

Зимой я задумала обрезать волосы. В нашем кругу из женщин только у меня и Клотильды оставались длинные волосы. Лоуренс обожал их, но я страшно устала от мучений, которые мне доставляло расчесывать и закалывать их, и от головных болей. Должна признать, они были красивыми — каштановыми, очень длинными и волнистыми. В один день я пошла и отрезала их. Вернувшись домой, я не решалась показаться на глаза Лоуренсу. Я попыталась спрятать свою прическу под шляпой. Когда он наконец раскусил меня, так разозлился, что швырнул меня под туалетный столик. Отрезанную шевелюру я сохранила, хотя уже не могла считать частью себя.

Весной в Европу снова приехали Бенита с мужем. Ее сильнее прежнего ужаснули мои богемные вечеринки. Они поехали в Италию, и мы с мамой без Лоуренса присоединились к ним в Венеции. Я считала себя опытным гидом, поскольку уже четыре раза бывала там и знала расположение всех церквей и картин. Пешком по Венеции мне еще ходить не доводилось, но скоро мне предстояло восполнить это упущение. Лоуренс уже дал мне некоторое представление о другой стороне жизни Венеции, когда водил меня на прогулки по извилистыми транспортным магистралям города. Но во время нашего визита там было слишком жарко, чтобы много ходить пешком, поэтому те несколько дней мы провели купаясь на пляжах острова Лидо. Он открыл для меня теплоходы-вапоретто, которые в Венеции выполняли функцию трамваев. До этого я перемещалась только на гондолах, подобно всем богатым и ленивым туристам, и толком не знала Венеции. Следующей осенью я изучила каждый дюйм моего любимого города, в котором прожила три месяца. Но об этом позже.

Расставаясь с Бенитой, я пообещала провести с ней лето в

Санкт-Морице. Лоуренс был верным мужем, но за время моей поездки в Венецию завел роман с красивой девушкой по имени Кэтрин Мерфи. С моим возвращением их связь прекратилась, но спустя девять месяцев мы с Лоуренсом навестили ее с ее новорожденным ребенком. Мы так никогда и не узнали, родила ли его Кэтрин от Лоуренса, своего мужа или Боба Макалмона.

Однажды вечером Боб Макалмон устроил большую вечеринку в ресторане на Елисейских Полях. Среди гостей были Луиза Брайант и ее муж Уильям Буллит, позже занявший пост посла во Франции. Мы оказались с ними за соседним столом, и Боб, поняв, что ему не хватает денег, попросил нас выписать ему чек, чтобы он мог оплатить счет. Меня возмутило, что он нас не пригласил, и я запретила Лоуренсу помогать ему. Лоуренс разозлился на меня, и, когда мы вернулись в квартиру миссис Вэйл, где тогда жили, ужасно поругались. В разгар скандала вмешалась Клотильда, которая услышала нас из соседней комнаты и пришла встать на защиту Лоуренса. Я сказала ей, что это не ее дело, и посоветовала не вмешиваться в дела женатых людей. Клотильда велела мне убираться из квартиры, и я в истерике стала метаться по комнатам в чем была — полуодетая. Миссис Вэйл взяла ситуацию в свои руки и сказала мне: «Это моя квартира, а не Клотильды, и ты никуда не пойдешь». Как свекровь она всегда была очень добра ко мне.

Летом мы отправились на озеро Карецца в австрийском Тироле. Мы поехали туда через перевал Стельвио, высочайшую трассу в Альпах, на которой итальянцы устраивают автомобильные гонки. Дорога эта серпантином поднимается на высоту одиннадцати тысяч футов. На каждом повороте нам приходилось останавливаться, сдавать назад и только потом поворачивать, поскольку рама нашего автомобиля не влезала в изгибы построенной для крошечных гоночных машин дороги. Каждый раз мы замирали от ужаса, боясь, что сорвемся с края ущелья. Наш автомобиль не выдержал напряжения от подъема на первой передаче — в нем выкипела вся вода. Мы нашли маленький горный родник и носили из него воду в своих шапочках для купания. Доехав до Больцано, мы обнаружили, что нам могут дать только одну комнату. С нами была Клотильда, а Лили с Синдбадом ехали следом на поезде. Мы провели там кошмарную ночь, и Лоуренс без конца устраивал сцены из-за того, что я хотела встретиться с Бенитой, а он не желал ехать к ней в Санкт-Мориц, раз она отказывалась приехать к озеру Карецца. К утру у нас с Клотильдой не оставалось сил, но мы продолжили путь.

Австрийский Тироль — самое живописное место Европы. В

нем нет пугающего величия Энгадина, и пейзажи куда более приятны взгляду. Лоуренс много занимался скалолазанием с местными проводниками. У него хорошо выходило — его с детства приучали ходить по ледникам и забираться на высочайшие горы Европы. Миссис Вэйл была одной из первых женщин-покорительниц Альп. Лично я терпеть не могла даже просто ходить вверх по склонам и не помнила себя от страха, когда Вэйлы единственный раз взяли меня с собой на ледник Диаволецца рядом с Санкт-Морицем. Мне казалось, что мы можем сорваться в любую расселину, и в какой-то момент мы и правда чуть не погибли, но это, по всей видимости, и составляет часть того удовольствия, которое заставляет людей заниматься этим противоестественным спортом. Они утверждают, что то чувство, когда они добираются до вершины горы высотой в несколько тысяч футов и видят восходящее солнце, сполна окупает часы трудов и все преодоленные опасности. Вне сомнения, они честно заслуживают свою награду.

В конце концов Лоуренс сдался и отвез меня в Санкт-Мориц. Полагаю, ему не нравилось бывать в кругу моей родни, хотя мне постоянно приходилось быть с его семьей. После Санкт-Морица мы отправились к озеру Комо с Бенитой и ее мужем и остановились в Тремеццо. Миссис Вэйл и Клотильда тоже к нам присоединились. Мы плавали в озере, играли в теннис, и я пыталась научиться играть в гольф, чтобы не отставать от Вэйлов. У меня получалось так плохо, что я решила, будто это я способствовала скорой смерти своего учителя, и насовсем оставила этот спорт. Бенита с ее мужем учили меня играть в маджонг. Я стала одержима этой игрой. По вечерам мы танцевали.

К тому времени Синдбад уже умел ходить и говорить и стал очень симпатичным. Его черные волосы превратились в густые светлые кудри; у него уже выросло порядком зубов, а щеки покрылись чудесным розовым румянцем. Я была от него без ума, как и все остальные члены моей семьи. Бенита тоже его обожала; ей после нескольких выкидышей так и не удалось завести своего ребенка. Лоуренс не хотел детей, но, когда Синдбад появился на свет, он влюбился в него. Он мечтал о дочери, и я обещала ему однажды ее подарить, скольких бы попыток для этого не требовалось. Так мы решили завести девочку. Поначалу у нас ничего не получалось — мы впустую старались три месяца. Синдбаду на тот момент было восемнадцать месяцев.

Бенита с мужем вернулись в Америку, а мы с Лоуренсом остались с его семьей в Тремеццо до конца лета. Нас даже ненадолго посетил мистер Вэйл, но потом вернулся в санаторий.

Мы поехали в Милан, где Клотильда должна была вступить в оперную труппу. Ей предстояло петь где-то в провинциальных театрах Италии. Мы с Лоуренсом оставили ее и отправились в Венецию, где остались на три месяца. За умеренные деньги мы сняли комнаты в гнетущем старомодном отеле на набережной Рива. До сих пор я останавливалась исключительно в роскошных гостиницах. У Лоуренса был кабинет с большой печью, которая распространяла такой жуткий запах, что он не мог работать. В конце концов мы решили выяснить, в чем дело, и нашли в ней гору французских писем. После их сожжения мы выскребли весь каучук, и Лоуренс смог вернуться к своему роману.

С нами была Мэри. Она любила Италию и каждый год несколько месяцев проводила в старом замке в Антиколи недалеко от Рима. К тому моменту она уже почти стала местной и испытывала самые теплые чувства к этому народу. Она со всеми говорила на уверенном итальянском. Я через какое-то время тоже стала говорить на нем свободней. Я много лет учила итальянский, но никогда не чувствовала, что это реальный язык, до тех пор пока не пожила в Италии. Особенно нереальными казались пьесы и романы Д'Аннунцио, когда я читала их в Нью-Йорке.

Лоуренс встретил в Венеции своего старого друга, Дженнаро Фаваи. Он был итальянским евреем, похожим на Эль Греко, с длинным лицом и черной бородой. На жизнь он зарабатывал тем, что подделывал старых мастеров, и его копии потом продавали доверчивой публике. Он временно оставил свою работу, чтобы помочь нам купить антикварную мебель, которой мы решили обставить наш дом. Пускай дома у нас не было, но я знала, что если мы решимся купить мебель, то найдем и куда ее поставить.

Совершать покупки в Италии оказалось почти так же утомительно, как в Каире. Невозможно было обойтись без торгов. Ужасно надоедало ходить в один и тот же магазин по шесть или семь раз, чтобы добиться сносной цены. Фаваи нашел несколько замечательных предметов, которые стоило бы уже хранить в музеях. Антиквариат представлял еще отдельную сложность в том смысле, что правительство запрещало вывозить его через итальянскую границу. Мы нашли прекрасный дубовый буфет XV века, который могли поднять только четверо мужчин. Он показался нам испанским, потому что когда-то он был обит красным бархатом, остатки которого сохранились вокруг металлических инкрустаций. На одном чердаке в Тревизо Фаваи обнаружил красивый сундук XIII века с замечательным резным изображением сцены крещения и женщины, падающей в обморок. Разумеется, мы его купили, а позже я обнаружила его близнеца в

музее Виктории и Альберта в Лондоне. Мы нашли одиннадцать трехногих дубовых стульев, все с разной резьбой. Ловкий продавец предложил нам заказать у него двенадцатый. Уже после этого мы обнаружили дюжины таких же стульев у множества других торговцев антиквариатом.

Заниматься этим было ужасно интересно, но больше всего мне понравилось узнавать Венецию пешком. Лоуренс жил там ребенком; его отец каждую осень ездил туда рисовать. Лоуренс знал каждый камень, каждую церковь, каждую картину в Венеции; он стал ее вторым Рёскиным. Он водил меня по улицам, свободным от лошадей и автомобилей, и я проникалась к этому месту страстью, оставшейся со мной на всю жизнь. В Венеции все не только красиво, но неожиданно; она очень маленькая, но очень сложно устроена из-за S-образной формы Гранд-канала, и ты без конца теряешься на ее крохотных улицах. Каждый раз ты все равно неизбежно выходишь к Гранд-каналу, но совсем не там, где ожидал. И ничто так не отнимает силы, как эти променады, когда тебе приходится пешком преодолевать бесконечные мосты со ступенями.

Площадь Сан-Марко с восхитительным византийским собором с куполом в форме мыльного пузыря и галереями XVII века — одна из самых красивых площадей в мире. По ней было бы приятно прогуляться — там тоже нет автомобилей и лошадей, если бы не толпы туристов. Чуть более возможным представляется сидеть в кафе по ее периметру или слушать по вечерам музыку духового оркестра. Гораздо больше мне нравились другие маленькие пьяццы, которые я встречала во время прогулок по городу. О них не знает никто, кроме самих венецианцев — туристы никогда не выходят за пределы площади Сан-Марко. Тем не менее у каждого прихода в Венеции есть своя пьяцца.

Совсем необязательно терпеть дурные запахи Венеции. Со временем они исчезают или перестают иметь значение по сравнению городом, сохранившим десять веков архитектуры. Само собой, я хотела купить *palazzo*, но этому вновь помешала предусмотрительность моих дядьев, заставивших меня поместить все мои деньги в доверительные фонды.

Пока мы жили в Венеции, Лили заболела пневмонией, и ответственность за Синдбада теперь лежала на мне каждый день, а не только по четвергам, как я привыкла. Я так устала всюду таскать тяжелого ребенка, которому не нравилось самому переходить мосты с их ступеньками, что наняла себе в помощницы маленькую служанку. К моему стыду, ей оказалось около четырнадцати лет, и размером она не сильно превосходила

Синдбада, но, полагаю, она привыкла справляться с большой семьей и младшими братьями и сестрами. Мы часто водили его на площадь кормить голубей.

Зимой туристы исчезли, и голуби без регулярной кормежки в буквальном смысле стали голодать. Мы чувствовали, как будто на нас возложена обязанность обеспечивать их дозволенным муниципалитетом Венеции рационом. Каждый день в полдень мы приходили на площадь с пятикилограммовыми мешками зерна. От хлопанья крыльев голодных существ становилось не по себе, и нас чуть не сдувало волнами взбаламученного воздуха.

Из-за своей любви к вниманию Лоуренс одевался весьма эксцентрично. Помимо того что он пренебрегал шляпами и ему на лицо падали золотистые волосы, он привлекал взгляды и другими способами. Он носил белые, лазурно-голубые, терракотовые или бежевые пальто. Свои рубашки он шил из материалов, предназначенных для совсем иных целей. Они были самых разных цветов, и больше всего он любил найти какую-нибудь причудливую ткань для штор или обивки в универмаге «Либертис» в Лондоне. Потом эти яркие, иногда с цветочным узором ткани он приносил к самым консервативным портным на Хаф-Мун-стрит и настаивал (к их изумлению) на том, чтобы они сшили ему из них рубашки. Сандалии он носил чаще, чем ботинки. Ступни у него сходились мысками, как у голубя. У него был какой-то комплекс, связанный с обувью: каждый раз, когда мы заходили в обувной магазин, он закатывал скандал и, чаще всего, в ярости покидал его, ничего не купив. Его пиджаки и брюки тоже отличались неординарностью. Он носил самые броские брюки, какие мог найти, и они бывали всех возможных цветов. Как-то раз ему сшил коричневый вельветовый костюм один из моднейших портных в Лондоне, но тем не менее он предпочел носить рабочие французские штаны из синего бархата, которые нашел на рынке в Тулоне. Помимо всего этого он обладал коллекцией несусветных галстуков.

В Венеции Лоуренсу пришла в голову нелепая идея сшить себе соболиную шапку, чтобы защитить уши от холода. Мне кажется, он видел в ней некий символ власти. Я отказалась удовлетворять это крайне экстравагантное желание. Вместо этого, после множества ссор, я заказала для него итальянскую офицерскую шапку из черной ткани с бархатным отворотом. Поначалу она ему не понравилась, но вскоре он понял, как хорошо она смотрится с его красивыми светлыми волосами, и сам привязался к ней.

Когда сезон дождей наконец прогнал нас из Венеции, мы поехали в Рапалло. Там по крайней мере было солнце, но за это

пришлось заплатить. Невероятно скучный городишко! Там мы встретили Эзру Паунда и, вступив в его теннисный клуб, каждый день играли с ним теннис. Эзра играл хорошо и голосил как петух при каждом удачном ударе. Позже, когда мы встретились в Париже, я сказала ему, что терпеть не могу его обожаемый Рапалло, на что он ответил: «Может, у тебя с ним связаны неприятные личные воспоминания?» Несомненно, так и было. Помимо ужасной скуки мою жизнь омрачали постоянные ссоры с Лоуренсом.

В канун Нового года мы посетили вечеринку в частном ночном клубе. Лоуренс приревновал меня к мужчине, который пригласил меня на танец, и, подойдя к его столу, оскорбил его. За этим последовал большой скандал. Лоуренс схватил меня за плечи и швырнул о стену. Такое обращение мне пришлось совсем не по нраву, особенно если учесть, что я снова носила ребенка. В конце концов нас насильно вывели из заведения и с тех пор косо смотрели в теннисном клубе.

Однажды вечером мы с Лоуренсом сильно поругались наедине. Началось все с того, что он назвал Бениту скучной, а я в отместку обозвала Клотильду шлюхой. Это так разозлило Лоуренса, что он разбил вдребезги туалетный набор из панциря черепахи, который я купила в тот день после нескольких месяцев торгов, как это всегда бывает у итальянцев. Он прекрасно знал, что набор для меня значил. У меня с детства был комплекс, связанный с туалетными наборами, из-за моего трепета перед серебряными щетками и гребнями моей матери. В детстве я потратила все свои сбережения в магазине на бульваре Осман на набор из двадцати трех предметов из слоновой кости для собственного туалетного столика. Они для меня были чем-то вроде фетиша; на каждом предмете я заказала гравировку своего имени, Пегги. Со времен своей поездки в Италию с Валери я мечтала приобрести набор из панциря черепахи на замену тому первому, из слоновой кости, который уже давным-давно потерялся.

Разбив его, Лоуренс ранил меня неописуемо. После этого он потащил меня на берег моря и, несмотря на холодную ночь, бросился в воду, не раздеваясь. Затем он настоял на том, чтобы мы пошли в кино, где он сидел и трясся в мокрой одежде. Так что предположение Эзры, что у меня от Рапалло остались не лучшие воспоминания, имело основания.

Мы поехали на автомобиле дальше по берегу и по дороге в Париж обнаружили очаровательное местечко под названием Ле Канадель. В то время о нем почти никто не знал, и оно оставалось неосвоенным. Находилось оно посередине между Сен-Рафаэлем и

Тулоном на берегу под Маурскими горами. Там был длинный безлюдный песчаный пляж, обрамленный сосновым лесом. Мы остановились в убогом мелкобуржуазном отеле, но ниже него обнаружили кафе-гостиницу мадам Октобон, где, несмотря на простую обстановку, подавали великолепную еду, и люди приезжали издалека, только чтобы поесть здесь. Мы решили поселиться в этом уголке мира и стали узнавать, есть ли в округе дома на продажу. Нам сказали, что есть один, примерно в миле. Дом назывался «Ля Круа Флери»; в нем каждую зиму останавливались Кокто с Раймоном Радиге. Он стоял почти у моря и имел собственный пляж, тянувшийся примерно милю в сторону мыса Кап-Негре. На этом пляже высадились первые американские войска в 1944 году для освобождения южной Франции.

Это был не слишком приветливый, но приятный белый оштукатуренный дом в прованском стиле. Двойная внешняя лестница вела на балкон, через который можно было пройти в три просторные комнаты. В задней части располагались еще три комнаты и ванная. Из-за скромных размеров дома владелец пристроил к нему крыло, что сделало его не только сносным, но даже заманчивым. Крыло это состояло из одной большой залы с огромным камином и тремя французскими окнами, которые упирались в высокий потолок и выходили на прелестную террасу с апельсиновыми деревьями и пальмами на высоте сорока футов над уровнем моря. На первом этаже находилась кухня с простой угольной печью, еще две комнаты и уборная. Там не было ни телефона, ни электричества, зато было много солнца и сосен, море и уединенный пляж. Чего было еще желать? На другой стороне дороги стоял двойной гараж с тремя комнатами для прислуги. Слева от дома было три четверти акра невозделанной земли, поросшей соснами, и в этом крошечном лесу затерялась зеленая деревянная хижина.

Мы купили дом, и его хозяин, как это всегда делают французы, немедленно заключил договор в присутствии нотариуса из Коголена, который оказался на месте, и мы подписали гарантийную бумагу.

Тем не менее, придя домой, я еще раз подумала о своем поспешном поступке и пожалела о нем. Не то чтобы мне не нравился дом — напротив, я влюбилась в него; однако я поняла, что мы предложили за него слишком много денег, и не просто предложили, а в письменной форме, заверили в присутствии нотариуса свою готовность их выплатить. Мы обсудили это с Лоуренсом и решили вернуться и сказать, что отправили телеграммой в Америку запрос на средства и получили отказ,

поскольку все деньги находились в доверительном фонде. Мы сказали, что через несколько месяцев поедем в Нью-Йорк и постараемся добыть необходимую сумму. Владельца дома это так испугало, что он согласился снизить цену на треть, что уже больше походило на ту сумму, которую нам стоило предложить с самого начала. Дабы сохранить лицо, он заявил, будто делает это только потому, что мы не претендуем на использование этого дома в качестве отеля. Таким образом, мы навсегда лишились привилегии называть нашу виллу очаровательным именем «Ля Круа Флери» и права сдавать ее в качестве гостиничных номеров или продать для тех же целей.

Наш новый дом должен был перейти в нашу собственность только летом. Мы ожидали рождения дочери в августе, так что знали, что не переедем туда до осени. Теперь мы подписали уже настоящий акт покупки в Коголене, муниципальном центре коммуны, и отметили это событие бутылкой шампанского. После этого мы нашли местных рабочих, которым Лоуренс поручил строительство маленького домика для своего кабинета на другой стороне дороги.

Затем мы отправились в Америку, но уже не за деньгами, поскольку я имела нужную сумму в своем распоряжении. Разумеется, я ехала повидаться с Бенитой. В последний момент Лоуренс решил ехать со мной, хотя сначала это не входило в его планы. Он писал роман и больше не хотел прерывать работу путешествиями.

Мы приехали в Штаты в марте, и Лоуренс выбрал в качестве резиденции отель «Бревурт». Синдбаду был год и десять месяцев; он пользовался большим успехом на борту нашего корабля под названием «Франс», хоть и не таким большим, как удивительная мастерица ведения беседы Эстер Мерфи (позднее миссис Честер Артур III), которая на неделю всех зачаровала своими бесконечными увлекательными разговорами. Казалось, она не прекращает говорить ни на минуту, и я недоумевала, как кто-то может знать так много и так мало спать.

Мина Лой, будучи не только поэтессой и художницей, постоянно изобретала что-то новое в надежде заработать состояние. Ее последнее изобретение представляло собой новую (или старую) форму *папье-колле* — она делала аппликации из цветов и обрамляла их красивыми старыми рамками времен Луи-Филиппа с блошиного рынка. Она попросила меня отвезти их в Нью-Йорк и там продать. Лоуренс дал им прекрасное название «Поникшие бутоны». Я устроила выставку в мастерской декора на Мэдисон-авеню. Хозяевам полагалась стандартная комиссия размером в треть дохода, а на мне лежала задача по привлечению

клиентов. Лоуренс вызвался помочь развесить работы на стенах. Он вел себя так своенравно и по-богемному, что хозяйка мастерской чуть не выгнала его, но, когда я сказала, что это мой муж, ей пришлось согласиться на его участие. Выставка прошла с большим успехом, и я стала продавать «Поникшие бутоны» повсюду. Бенита купила две картины, которые она предложила музею Метрополитен, но тот от них отказался. Я разыскала всех своих старых друзей. Я стала так одержима идеей продать как можно больше «Поникших бутонов», что обошла весь Нью-Йорк, таская их на своем стремительно растущем животе. Моя бедная дочь была под ними постоянно погребена.

Когда я решила, что продала уже достаточно «бутонов», мы стали искать дом на лето. Мы еще не задумывались над тем, где Пегин появится на свет. Перспектива провести лето в Америке угнетала нас все больше и больше, и в конце концов, отчаявшись, мы вернулись во Францию на «Аквитании» с моей матерью. Мы думали, что снова утаим от нее дату рождения дочери, но однажды она застала меня в ванной и дала понять, что на этот раз у меня ничего не получится.

Мы не имели намерения дарить Франции еще одного солдата, поэтому решили переехать в Швейцарию на случай, если Пегин окажется мальчиком. В конце июля мы отправились в Уши, город на Женевском озере прямо рядом с Лозанной. Миссис Вэйл нашла нам врача. Учитывая, что ее муж знал почти каждого невролога и психолога в Швейцарии, это не составило ей большого труда. Врач сказал, что Пегин родится в промежутке с первого по восемнадцатое августа. Я решила в этот раз не прибегать к хлороформу, и мы наняли для ухода за мной акушерку. Она вышла на дежурство с первого августа, и мы добавили для нее еще одну комнату к нашим апартаментам в огромном отеле «Бо Риваж». Медсестра оказалась красавицей. Она напоминала Мадонну Леонардо да Винчи, и я не могла ею налюбоваться. Она заскучала от безделья и каждый раз, желая мне спокойной ночи, умоляла меня родить до рассвета. После двух недель я начала терять веру, что вообще на это способна. Жена метрдотеля гостиницы тоже ждала ребенка, и мы каждый день вежливо интересовались друг у друга о прогнозах. На семнадцатый день августа Лоуренс устроил в столовой чудовищную сцену. Сейчас я не имею представления, что стало ее причиной, но помню, как он перевернул целую тарелку фасоли мне на колени, а потом метался в гневе по нашим апартаментам, опрокидывая мебель, и даже сломал стул. Возможно, это подтолкнуло Пегин, потому что на следующий день я почувствовала себя нехорошо. Акушерка отправила нас с

Лоуренсом на долгую прогулку вдоль озера. Мне было очень больно, и нам приходилось то и дело останавливаться, когда схватки становились совсем невыносимы. Ближе к вечеру мы достали кроватку Синдбада и застелили ее шторами. Конечно же, моя мать все поняла. Ей хватило такта притвориться, будто она ничего не замечает, но она весь вечер просидела в соседней комнате вместе с Клотильдой с перевернутой газетой в руках. Примерно в десять вечера мы послали за врачом. В этот раз к радости Лоуренса его не выдворили из комнаты, как было в Лондоне во время рождения Синдбада. Ему даже разрешили держать меня за ногу. Боль становилась все сильней и сильней, и я пожалела, что отказалась от хлороформа. Когда меня снова начали разрывать на части дикие лошади, я взмолилась о нескольких вдохах обезболивающего. Акушерка держала его наготове и давала мне подышать им каждый раз, когда приступала боль. Я только помню, как она говорила мне: «*Poussez, madame*!»[10] В итоге я, судя по всему, так и не справилась со своей задачей: в ход уже почти было пошли щипцы, когда Пегин сжалилась и сама появилась на свет в одиннадцать тридцать.

Все это прошло так тихо, что наш сосед по гостинице не мог поверить, что за стеной на свет появился ребенок. Я не закричала ни разу. На протяжении всех родов я сжимала в руке платок, и он каким-то странным образом давал мне чувство безопасности. Когда боль становилась особенно сильной, я вонзала ногти в ладони в надежде отвлечь себя или вцеплялась в медные поручни кровати.

В этот раз я заставила Лили пообещать мне, что никто не увидит моего ребенка раньше меня. Сразу, как он родился, она его спрятала ото всех и дождалась, пока я приду в чувства. Мою дочь мне принесли в полотенце. Я ожидала увидеть ее всю в крови, но вместо этого ее покрывало нечто, похожее на кольдкрем. Она была вся белая. Во всем остальном она ничем не отличалась от Синдбада. У нее были черные волосы и голубые глаза. Раз она оказалась девочкой, я знала, что больше никогда не буду рожать. Я сдержала свое обещание Лоуренсу.

После родов боли не проходили несколько дней. На восьмой день меня переложили на шезлонг, и вскоре после этого позволили подняться на ноги. Как-то раз, когда медсестры не оказалось рядом и я осталась одна с Пегин, она начала плакать. Я едва смогла дойти до нее — мне казалось, что из меня вот-вот вывалятся внутренности. Я смогла кормить ее только месяц. Вот что произошло.

Мы с Лоуренсом решили, что уже достаточно вытерпели Уши и пришло время переехать в наш новый дом на юге Франции.

Лоуренс отправился вперед нас на автомобиле, а я с двумя детьми, Лили и нянькой сели на поезд. На вокзале в Лионе нам сказали, что у нас есть три четверти часа до отправления. Я поспешила с Лили и Синдбадом купить нам обед. Когда мы вернулись, поезд уже уехал. Ни Пегин с нянькой, ни нашего багажа мы не обнаружили. Меня охватила паника: я решила, что больше никогда не увижу дочь. Нянька не имела представления, куда мы едем, и никогда раньше не путешествовала. У меня хватило трезвости ума обратиться к *chef de gare*[11]. Он немедленно отправил телеграмму на следующую станцию с указанием высадить няньку с Пегин и пятнадцатью чемоданами, после чего нас с Лили и Синдбадом посадили на следующий поезд. На следующей станции мы пробыли всего две минуты, но этого хватило, чтобы найти Пегин с нянькой и багажом. В результате этого потрясения я потеряла молоко. На тот момент Пегин выпивала уже бутылочку в день, но, к счастью, у нас с собой оказалась сухая смесь.

Наш новый дом находился в местечке под названием Прамускье. Моя мать всегда коверкала это слово и говорила «промискьюс». Его нельзя назвать ни городом, ни деревней; там только и было что железнодорожная станция и несколько лошадей. Восемь раз в день проезжал маленький поезд: четыре раза из Сен-Рафаэля в Тулон и четыре — из Тулона в Сен-Рафаэль. До обоих городов путь занимал четыре часа, поэтому, естественно, мы предпочитали ездить на автомобиле. Однажды на этой линии началась забастовка, и Лоуренс предложил мне дать бастующим тысячу долларов. В таком вложении он видел больше смысла, чем в моих щедрых пожертвованиях на дело Люсиль Кон. После этого нас единственных во время забастовки обслуживали на всей линии, и мы продолжали получать лед и другие посылки. Когда забастовка закончилась успехом, нам предоставили бесплатный проезд. На этом маленьком поезде мы ездили в соседнюю деревушку Кавальер, где был магазин, и Ле Канадель, где пили «Перно» у мадам Октобон. Тем не менее бóльшую часть своего времени я проводила не в этом игрушечном поезде, который гудел, как экспресс, но в нашем «ситроене», колеся по побережью в поисках еды. Я многие годы ездила наперегонки с этим поездом, но тщательно избегала встреч с ним на опасных перекрестках, где часто случались смертельные аварии. Так погиб сын нашего маляра — он попал под колеса на мотоцикле. Маляр принял соболезнования со слезами на глазах и в типичной французской манере сразу же попытался продать мне его мотоцикл.

Многие годы мы жили без электричества и поначалу даже без

телефона. У нас был старый холодильный ящик, и каждое утро нам поездом привозили лед. Его сбрасывали рядом с путями, и нередко мне приходилось ехать в Кавальер, где его выгружали по ошибке. В тех краях не было травы и пастбищ, а как следствие — и молока. Из настоящих городов ближе всего к нам находился Ле Лаванду. Там было почтовое отделение, из которого к нам каждый день на велосипеде приезжал почтальон. Я удивлялась, что он вообще привозил нам почту, потому что наша буйная овчарка кусалась и бросалась на любого человека в униформе. Ее как-то раз оставила у нас Габриэль Пикабиа. Мы обнаружили Лолу привязанной к апельсиновому дереву, и нам не оставалось ничего иного, кроме как принять ее в подарок, несмотря на ее свирепый нрав. К тому же, со всеми людьми не в униформе она была милейшим созданием. Мои безуспешные надежды увидеть роды воочию наконец сбылись благодаря Лоле, которая родила на нашем диване в гостиной. Она совершенно не осознавала, что вот-вот станет матерью, и очень трогательно этому удивилась. Я заставляла ее принять собственных щенят и ухаживать за ними. Мы оставили себе трех или четырех из них, и они выросли неуправляемыми. Они носились вместе с Лолой по округе и грызли всех кур у себя на пути. Нам постоянно приходилось платить за убитых птиц и один раз даже за тех, которые могли бы родиться в будущем. Позже мы завели девять кошек, и собаки иногда сжирали котят прямо при рождении.

У нас был итальянский садовник по имени Джозеф. Вместе с Лоуренсом они разбили прекрасный сад, но собаки без конца переворачивали его вверх дном, и Джозеф мечтал избавиться от них. В надежде склонить нас к этому он каждое утро собирал в саду лопаткой все их *merde*[12] и складывал на террасе неподалеку от стола, где мы завтракали. Мы месяцами гадали, почему собаки выбирали это место для справления нужды, пока я не догадалась, что это происки Джозефа.

Все наши служанки были итальянками, и как следствие кухня и кладовая содержались в ужасной грязи. Настоящее чудо, что мы ни разу не отравились гниющей на жаре едой и нечистотами. Постепенно мы обеспечили себе комфортное существование — вернее сказать, это была заслуга Лоуренса. Мы обставили наш дом красивой венецианской мебелью, но Лоуренс настоял на том, чтобы мы купили несколько удобных кресел и диванов. Он отремонтировал дом и сделал в нем очаровательную маленькую библиотеку. После этого он распорядился построить большую студию над гаражом для Клотильды. В конце концов в нашем владении оказалось четыре дома — еще один мы построили на отдаленном краю нашего участка для Боба и Эльзы Котс.

Прамускье стал нам настоящим домом, и со временем мы чувствовали это все больше. Теперь мы действительно могли назвать эту страну своей, а поскольку Лоуренс был почти француз, мы даже имели здесь корни. Постепенно к нам стало приезжать все больше и больше людей.

Одной из первых нас навестила Мина Лой с дочерями, Джоэллой и Фаби. Мина нарисовала фреску в своей спальне; на ней были лобстеры и русалки с солнечными зонтиками, привязанными к хвостам. Мы, наконец, ели хорошую еду, после того как наняли поваров из школы «Кордон-Блю» в Париже и заманили одного из них к себе на постоянную службу новым набором медных кастрюль. У нас был винный погреб, и Лоуренс следил, чтобы в нем всегда хватало вина. Помню, как в начале нашей местной жизни одна служанка слила вместе все вино из открытых бутылок, разделив только по цвету — красное или белое.

Зимой мы поехали в Венген кататься на лыжах. Лоуренс обожал этот спорт, но я не решалась составить ему компанию: чувство равновесия у меня было такое же слабое, как и лодыжки. После моих болезненных детских переживаний я старалась держаться подальше от всего, что доставляет мне дискомфорт. Разумеется, я заскучала, сидя целыми днями одна в номере с детьми. Как-то раз я прокатилась с Синдбадом на санках и получила трещину в ребре. Я решила поехать в Париж и оставить Лоуренса с Клотильдой. Я намеревалась втайне эти десять дней вести бурную жизнь и наслаждаться свободой.

Я устроила большую коктейльную вечеринку в студии Лоуренса. Это была старая грязная мастерская в тупиковом переулке, или *cul-de-sac*, но идеальная для богемной пирушки. Я впервые принимала богемное общество без Лоуренса и была крайне собой довольна.

После этой вечеринки я получила то, чего добивалась, но я выпила так много, что едва находилась в сознании. Когда приехал Лоуренс, он сразу почувствовал, что я имела тайные намерения, но моя безобидная прихоть явно не заслуживала столь бурной реакции с его стороны. Тем вечером, когда он объявился без предупреждения, я была с моим другом Борисом Дембо. Наша встреча носила совершенно невинный характер, но Борис сразу же ретировался, поскольку Лоуренс находился в состоянии бешенства. Он немедленно закатил скандал в отеле «Лютеция», где я жила. Лоуренс носился по комнатам, круша все на своем пути и швыряя мои вещи в центр комнаты. Туфли мои он выкинул в окно. Потом он попытался проникнуть в детскую. К счастью, наша новая нянька, недавно вышедшая на замену Лили,

заперлась там и не имела удовольствия увидеть Лоуренса в таком состоянии. Затем он нашел мои отрезанные волосы, которые я бережно хранила в комоде, и, целуя их, бросился вон, чтобы вернуться через несколько часов и начать сначала.

На этом все не закончилось. Скандал продолжался несколько дней и привел нас в результате к будущему мужу Клотильды. Я призналась Лоуренсу, что изменила ему, но солгала о том с кем. Он подозревал некоего несуществующего мужчину с авеню де ля Бурдоне. Как-то вечером за ужином в небольшом баре на Монпарнасе Лоуренс, все еще разъяренный моей неверностью, неожиданно встал и запустил в угол четыре бутылки вина, которые пролетели прямо над головами четырех мирно ужинающих французов. Разумеется, те пришли в негодование; в ситуацию вмешалась полиция, и Лоуренса увезли на ручной тележке. Я потеряла сознание на барной стойке, а когда пришла в себя, Лоуренс был уже в тюрьме.

Присутствовавшая при этом Клотильда предложила разыскать Марселя Дюшана и попросить у него помощи. Тот сразу же велел Клотильде уговорить четырех французов отозвать свои претензии. Все согласились, кроме одного, а еще один влюбился в Клотильду и позже взял ее в жены. Он был статным уроженцем Вандеи и происходил из старинной семьи французских военных, но даже будучи столь далек от нашего мира, сумел в него вжиться. Учитывая обстоятельства их знакомства, он уже был готов ко всему.

Мы с Марселем всю ночь бродили по Парижу, страстно желая оказаться в одной постели, но ситуация явно не нуждалась в том, чтобы мы вносили в нее дальнейшую смуту.

На следующее утро я отправилась в полицейский участок и сопроводила Лоуренса к комиссару. Лоуренс был весь в крови и без галстука и шел по улице в окружении нескольких полицейских. Это было очень романтично. После этого его освободили, и он думал, что на этом неприятности закончились, но он ошибался.

Наша ссора продолжилась, и как-то вечером в разгар перепалки он потащил меня на Восточный вокзал и сказал, что мы немедленно отправляемся в Прованс. Мы уже сидели в двухэтажном вагоне и ждали отправления, когда он внезапно передумал и вытащил меня наружу. Мы пошли гулять по улицам, и он вдруг предложил мне выпить стакан пива и подтолкнул к незнакомой двери. К моему удивлению, там нас встретили пятнадцать обнаженных девушек, умоляя нас выбрать по одной себе в спутницы. Я от изумления выбрала самую страшненькую. Мы сели, и партнерша Лоуренса, весьма симпатичная, сказала,

что знает, кто он такой. Она читала о его похождениях в газете и узнала его по описанию. Мне и до этого уже доводилось бывать в борделе. Как-то я зашла в публичный дом в Венеции, но на этот раз девушка захотела продолжить наше знакомство. Я дала ей свой адрес. Через какое-то время она вдруг приехала на автомобиле к нашему дому в Прамускье и встала у ворот в нерешительности, гадая, впущу ли я ее. Она путешествовала в компании подруги в свой ежегодный отпуск, и я не сразу узнала ее в одежде. В конце концов я пригласила ее внутрь; она час утомляла нас своими разговорами о деньгах, после чего уехала.

По-моему, в тот год британские шахтеры объявили забастовку. Я сочувствовала их борьбе, и когда стачка разрослась до масштабов национальной проблемы, решила пожертвовать им довольно большую сумму денег. Я отправила телеграмму в нью-йоркский банк, чтобы продать последние акции, оставшиеся у меня от дедушкиного наследства, стоимостью десять тысяч долларов. Все усложнило вмешательство моего дяди, который раздавал девушкам шубы. Он выразил недовольство моими намерениями и поинтересовался у банка, не возомнила ли я себя принцем Уэльским. В итоге я заполучила свои деньги, но было слишком поздно. Когда они дошли до Англии, стачка уже закончилась. Лоуренс утешил меня: «Не беда. Теперь каждому шахтеру точно хватит на стакан пива».

Пока я была в Париже, Беренис Эббот попросила у меня взаймы пять тысяч франков на фотокамеру. Она сказала, что хочет начать самостоятельно заниматься фотографией. В благодарность она приехала в Прамускье и сделала изумительные снимки меня с Синдбадом и Пегин, чем сполна искупила свой долг.

Примерно в то время мы с Миной Лой начали свое большое предприятие. Мина, как всегда, проявила большую изобретательность и придумала три необычных абажура. Один представлял собой земной шар с лампой по центру. На другой по отдельности крепилось несколько корабликов с натянутыми парусами. Они производили впечатление флотилии древних шхун, гонимых ветром. Третий изобретенный ей абажур имел двойную целлофановую оболочку с прослойкой из бумажных вырезок, которые отбрасывали красивые тени. Я обустроила для нее магазин на рю дю Колизе, а сама она имела мастерскую по соседству со студией Лоуренса на авеню дю Мен, где на нее трудилась артель девушек. Я управляла магазином, а ее дочь Джоэлла — мастерской. Когда я поехала в Америку и взяла с собой около пятидесяти абажуров, Мина строго проинструктировала меня, где их нельзя продавать. Боюсь, я не

слишком внимательно отнеслась к ее наставлениям.

Мы разрешили моей матери пригласить к участию в открытии магазина на рю де Колизе ее *lingère*[13] и одновременно выставить на продажу нижнее белье — мы подумали, что сможем заработать больше денег, но это так сильно расстроило Мину, что она отказалась присутствовать на *vernissage*. Еще мы продавали вручную расписанные Клотильдой домашние туфли, а позже я провела там выставку картин Лоуренса. Они неплохо смотрелись, хоть и были довольно наивными. Лучшая из них называлась «Женщины и дети». На ней заводские работницы прижимают к груди младенцев, и на них смотрят, отвратительно ухмыляясь, холеные владельцы завода с сигарами в зубах. На Лоуренсе никак не сказалось влияние сюрреалистов, которые большими группами приезжали летом в Ле Лаванду со своими вычурными женами и совершали рассеянные набеги на наш дом. С нами по соседству жили Андре Массон и Гастон-Луи Ру, и мы завели с ними близкое знакомство.

Магазин абажуров начал пользоваться большим успехом, как только я избавилась от белья. Дядя Лоуренса пришел в ужас, когда узнал, что я там работаю. Он спросил у миссис Вэйл, не сама ли я, чего доброго, стою на кассе. Семья Вэйлов отличалась чванством и пережила настоящее потрясение, когда их кузен Райнлендер женился на негритянке в Нью-Йорке.

Летом мы совершили поездку в Пиренеи; мы прилетели в Фон-Роме в полночь. Когда мы доехали до дверей нашего отеля, мы ввели в ступор консьержа, вручив ему сверток со спящим ребенком, Синдбадом. Тот едва успел оправиться от шока, как мы извлекли из глубины машины второй сверток и передали ему Пегин. Мы оставили с детьми няньку Дорис, а сами отправились в крошечную Андорру. Мы видели ее президента — он сгребал граблями сено. Звание демократической эта республика носила так же заслуженно, как и самой маленькой в мире. Оттуда мы выехали в Барселону.

Мы часами гуляли по Рамбле и часами ругались в своем номере. Каждый раз, когда мы сидели в кафе, появлялся мальчик — чистильщик сапог и предлагал свои услуги. Улицы там были такие пыльные, что эта процедура действительно требовалась каждые несколько минут. Я недоумевала, почему мои туфли после чистки каждый раз оказывались разного цвета — то серебряные, то розовые, то зеленые. Куда бы мы ни смотрели, мы видели таблички с надписью «Гомес Идеалес». На обратном пути мы проехали мимо монастыря на горе Монсеррат, но дорога там была такая плохая, что мы не решились к нему подняться.

Зимой Лоуренс закончил свой роман «Убийство! Убийство!».

В нем он сатирически изобразил нашу совместную жизнь, и хотя у него вышло довольно смешно, несколько сказанных обо мне вещей меня обидели. Он так расстроился, что схватил рукопись и сжег ее в печи своей студии. В тот день к нам как раз ехала из Ниццы Полин Теркел, чтобы перепечатать его. Лоуренсу пришлось диктовать ей сырой черновик по памяти. В этот раз он обошелся со мной мягче.

Нам замечательно жилось в Прамускье. Там всегда светило солнце, и мы не нуждались в отоплении. За вечер мы сжигали не больше одного полена в камине гостиной. Лоуренс плавал круглый год, в отличие от меня. Все, что для этого требовалось, это встать с кровати, надеть купальный костюм и выйти на пляж. Я там часами читала и загорала. Обычно я вставала в девять или десять утра, завтракала на террасе, затем совершала ежедневные покупки — хлеб, лед, или отправлялась на поиски молока и другой провизии первой необходимости. Остальную еду нам привозили из магазинов в Ле Лаванду или Йера. После этого я шла на пляж. Примерно в два часа дня мы обедали на другой террасе, где летом было заметно прохладнее в тени деревьев, и располагалась она на утесе, ее приятно обдували морские бризы. Мы каждый день пили вино, будь то местное сельское или Мюскаде из будущего родового имения Клотильды, и поэтому летом всегда отдыхали в сиесту. Круглый год мы обедали на свежем воздухе.

Зимой мы ели на большой террасе с видом на море. На ней росли пальмы, которые цвели в марте, и апельсиновые деревья, источавшие восхитительный запах, когда в начале зимы распускались апельсиновые соцветия. В округе повсюду росла мимоза и заполоняла наш сад, и на несколько месяцев все кругом становилось желтым. Помимо сосен там росли оливковые и пробковые деревья — последние обеспечивали югу богатую пробковую индустрию. Выше в горах в местечке под названием Коллобриер был небольшой завод. В нем пробки вырезали практически средневековым способом — с помощью ручной машины, с которой управлялась одна женщина. В Коллобриере был чудесный трактир, где нас потчевали обедами из шести блюд за восемь франков. Еще мы ездили в Форе дю Дом, где местные охотились на диких кабанов. Там нас кормили не менее вкусной кабанятиной по такой же скромной цене.

Во второй половине дня Лоуренс водил нас большими группами (в основном из женщин) на прогулки по окрестностям. У нас было всего два маршрута. Один мы назвали «*du côté de chez Swann*»[14], а другой *«le côté de Guermantes»*[15]. Иногда мы вносили разнообразие и ходили вглубь материка или по холмам. Лоуренс

время от времени совершал прогулки к самым вершинам этих гор, которые назывались Маурскими из-за мавров, когда-то населявших этот берег. В окрестностях то и дело встречались сторожевые башни, которые построили галлы в страхе возвращения мавров.

По вечерам мы всегда купались во второй раз. Иногда мы по инициативе Лоуренса разнообразили свою жизнь и ехали в Ле Канадель или пили «Перно» у мадам Октобон перед обедом или ужином.

Мадам Октобон была крепкой бельгийкой. Ее муж, вспыльчивый француз, не раз бросался на нее с разделочным ножом, но развестись они не могли из-за общего бизнеса. Их отношения напоминали пляску со смертью. Куда бы мы ни шли, нас сопровождали наши четверо псов, которых в округе невзлюбили. Моей любимицей всегда была Лола, а Лоуренс больше привязался к Лулу, старшей дочери, удивительно похожей на крокодила. Он настаивал на том, чтобы обе собаки спали с нами в одной постели. Лулу выросла такой огромной, что почти не оставляла места для меня.

Лоуренс пристрастился к игре в буль. Он проводил серьезные турниры на нашей террасе; титул непобедимого чемпиона носил садовник Джозеф. Они с Лоуренсом разбили фруктовый сад перед окнами мастерской. Еще они выращивали томаты, вкуснейшие и в свежем, и в приготовленном виде. Какое-то время у нас жил боров Чуто, который всюду ходил за Джозефом с преданностью собаки. С горечью на сердце мы его зарезали и съели, а из крови сделали черные сосиски. Из Ле Лаванду для этой процедуры приехал специальный повар. Чуто так растолстел, после того как Джозеф месяцами его откармливал и поил вином, что нам должно было бы хватить ветчины на несколько лет. К сожалению, нам пришлось взять с собой все мясо в поездку в Париж, и по пути оно позеленело от холода. Еще у нас был курятник, но мы тратили столько денег на зерно и получали так мало яиц, что в конце концов отказались от него.

Зимой мы страдали от мистраля. Он мог не утихать несколько дней кряду, и за это время заносил дом песком, разбивал окна и валил деревья поперек дорог.

Как только Синдбаду исполнилось несколько лет, мы стали всюду брать его с собой, а Пегин, все еще слишком маленькая, оставалась с Дорис. Мне кажется, из-за этого в ней несознательно зародилось чувство, будто мы любим ее меньше, и она сильно привязалась к своей няньке. Лоуренс, как и прежде, был полон энергии и возил нас на автомобиле по всей стране; он мог без сна доехать до Ниццы и обратно за одну ночь. Как-то раз мы

отправились навестить Эвелин Скотт в Кассис и приехали туда в четыре утра. Мы часто ездили в Тулон за деликатесами и проводили там веселые вечера или ужинали в Сен-Тропе. Из больших городов ближе всего к нам находился Йер, но там было так скучно и так много английских чиновников на пенсии, что туда мы ездили только за покупками. По вечерам, если мы оставались дома, мы принимали гостей и угощали их вкуснейшей едой и вином. Мы редко бывали одни. Либо у нас в доме жили друзья, либо мы приглашали своих соседей по побережью. В сезон дождей, который начинался в ноябре и длился два месяца, мы уезжали в Париж. Каждое лето в середине августа мы на три недели перебирались в горы, где укрывались от страшной жары.

Лоуренс любил путешествовать, особенно за рулем. Он водил так, будто за ним гонятся фурии. Один раз он довез меня до Парижа за девятнадцать часов без перерыва на сон. Мы только изредка останавливались, чтобы выпить, и продолжали путь. Лоуренс пил очень много и заставлял меня нервничать. Я не знала, что может произойти с машиной в такие моменты. Меня он никогда не пускал за руль. Многие годы мы ни разу не садились в поезд. Мы всюду ездили на своем «лорен-дитрихе», а позже — на «испано-сюизе». Разумеется, свой маленький «ситроен» я водила сама.

Зимой 1927 года мы снова отправились в Нью-Йорк на «Аквитании» и на этот раз взяли с собой двух детей и двух девушек. Одной из них была Дорис, наша няня-англичанка, которую Хейзел прислала на замену преемницы Лили, вернувшейся в Англию с фурункулезом. Дорис была очень хорошенькой. Она прошла обучение в госпитале, но больше походила на хористку из театра «Гэйети», чем на медсестру. К тому времени, как она добралась до Прамускье, наша жизнь уже стала гораздо веселее. Дорис вскоре обзавелась поклонником, и Лили сожалела о своем поспешном решении вернуться в Лондон, когда Прамускье ей наскучил, но теперь было слишком поздно. Второй с нами ехала одна из наших итальянских красавиц-служанок. Они обе всюду пользовались огромным успехом и получили невероятное удовольствие от поездки в Нью-Йорк.

На этот раз я ехала с пятьюдесятью абажурами и пятьюдесятью лампами. Мина добыла бутылки времен Луи-Филиппа на блошиных рынках, а еще Лоуренс предложил ей использовать винные бутылки из южного стекла, которые продавались в Ле Лаванду, в качестве основ для ее абажуров. Они стоили несколько центов, а продавала я их по двадцать пять долларов. Лампы Мина делала из серебряных, синих и зеленых «ведьминых шаров». Моя предприимчивость росла, и в какой-то

момент я обнаружила, что продала все абажуры в том числе и тем самым магазинам, которые Мина велела мне избегать. Никто не помогал мне их развешивать, и мне приходилось все делать самой. Я заработала в общей сложности пятьсот долларов и отправила Мине чек, но та все равно разозлилась оттого, что я не следовала ее инструкциям. Она боялась, что в универмагах ее изобретение станут продавать слишком дешево. В конце концов в Париже все ее идеи украли, и, несмотря на авторские права, ей пришлось забросить бизнес. Она не могла им управлять без помощи опытного предпринимателя и больших денежных вложений.

Когда я добралась до Нью-Йорка, Бенита сообщила мне, что ждет ребенка в августе, как раз ко дню моего рождения. Это была ее пятая попытка. Всех предыдущих детей она потеряла в первые месяцы беременности и теперь страстно мечтала родить, в первую очередь, для своего мужа. Она была полна надежды на удачный исход, в особенности теперь, когда ранее роковой для нее месяц миновал.

Бенита была красива как никогда. Беременность шла ей исключительно на пользу. Ее длинная тонкая шея казалась еще более изящной и подчеркнутой ее зрелыми формами. У нее было черное платье с розовым передом. Я шутила про него, что черная часть — это она, а розовая — это ребенок. Робкую Бениту эта шутка заставляла краснеть. Ее лицо ни капли не изменилось с тех пор, как Ленбах рисовал ее двадцать пять лет назад. Ее каштановые волосы и карие глаза, тонкий нос, оливковая кожа и красивые руки, казалось, оставались точно такими же. Она выглядела спокойной и счастливой в своем положении и была рада сопровождать меня, пока ее шведский шофер возил меня по Нью-Йорку и помогал разносить бутылки и абажуры Мины.

Само собой, я не хотела расставаться с ней, но Лоуренс настоял на том, чтобы мы поехали в Коннектикут, и он там закончил свой роман «Убийство! Убийство!». Мы остановились в доме, где жил на пансионе Харт Крейн. Не представляю, как Харт выносил нас с нашими шумными детьми, Дорис и служанкой, но принимал он нас весьма радушно. Он вел там аскетичную жизнь и мог не видеться ни с кем месяцами. Зимой он чуть не сошел с ума от тоски и однажды выбросил свою печатную машинку через окно прямо в снег. У него была коллекция необычных пластинок, в том числе с великолепной кубинской музыкой.

Позже я уехала и ненадолго вернулась к Бените, но Лоуренс вновь разлучил меня с ней. На этот раз мне было особенно больно, потому что я хотела быть рядом во время родов.

Увы, я позволила Лоуренсу увезти меня обратно в Европу. Я

пообещала Бените, что вернусь одна в сентябре, когда ребенок уже родится.

Вернувшись в Париж, Лоуренс обнаружил судебную повестку. Заседание прошло в его отсутствие, и его осудили на шесть месяцев заключения за те бутылки вина, что он швырнул в четырех джентльменов в ресторане. Один из них так и не отозвал свой иск. Дело было серьезное и требовало немедленных мер. Жених Клотильды вывел нас на одного из лучших адвокатов Франции, господина Анри Робера. Он был *батонье*[16], а значит, обладал квалификацией для защиты в суде. Лоуренсу сказали принести ему пятнадцать тысяч франков наличными, поскольку тому не полагалось брать деньги за услуги. Когда адвокат заметил смущение Лоуренса, который не знал, как предложить ему деньги, он с французской практичностью похлопал по столу и сказал: *«Mettez ça lá»*[17]. Заседание прошло во Дворце правосудия, но не принесло нужного результата. Была упомянута благородная фамилия Лафайета, друга дедушки Лоуренса, а также представлен его опубликованный в Америке роман. Тюремный срок заменили условным, что означало, если Лоуренс снова предстанет перед судом, к его новому сроку добавятся эти шесть месяцев.

Вскоре после этого я познакомилась с Айседорой Дункан, которая жила в отеле «Лютеция» и испытывала большие финансовые трудности, но при этом все равно угостила нас шампанским. Вероятнее, она надеялась, что я помогу ей, но, увы, я этого не сделала. Она приезжала к нам в Прамускье на том маленьком «бугатти», в котором ей скоро предстояло встретить свою смерть. У Айседоры были яркие рыжие волосы и чудесный фиолетово-розовый костюм. Она отказывалась называть меня миссис Вэйл и окрестила вместо этого Гугги Пеггенхайм. Она говорила: «Никогда не употребляй слово „жена“». Она была очень энергичной и яркой даже в свои зрелые годы, хотя и казалась подавленной. Известие о ее гибели совершенно разбило меня.

Летом 1927 года к нам приехала Мэри Баттс с дочерью Камиллой, очаровательной девочкой, которой явно не хватало внимания от витающей в облаках матери. Однажды ей стало очень плохо от солнечного удара, и ухаживать за ней пришлось мне с Дорис. Мэри как-то раз выпила целую пачку аспирина за день, когда у нее кончился опиум. Она верила в темную магию и постоянно пыталась втянуть Лоуренса в свои мистерии. Он любил ту атмосферу, которую она создавала вокруг себя, а она умела искусно ему льстить.

В один день среди всего этого я по ошибке открыла телеграмму, адресованную Лоуренсу. В ней говорилось, что он

должен известить меня о смерти Бениты во время родов. Меня это повергло в такой шок, что я не сразу осознала произошедшее. Я чувствовала себя как тот человек, которого разрубили пополам острейшим мечом, а он стал смеяться над своим убийцей. А потом убийца сказал ему: «Встань и пошевелись». Человек так и сделал, после чего распался на две части. Я повела себя так, словно ничего не произошло. Я продолжила заниматься своими делами, но, когда я встала, я в буквальном смысле ощутила, как разваливаюсь на две половины. Мне казалось, будто я физически потеряла часть себя. Первой моей мыслью было, что я бросила Бениту. Я не могла простить себе, что вернулась в Европу с Лоуренсом. Я начала плакать и не могла остановиться неделями и хотела видеть только цветы. Клотильда с Лоуренсом поехали в Тулон и привезли все цветы, что смогли найти, и расставили их повсюду в доме. Клотильда была со мной очень добра и впервые сказала то, что мне нужно было услышать; она понимала, что я чувствую, ведь она точно так же любила Лоуренса. Я несколько дней не могла взглянуть на своих детей. Мне казалось, у меня нет права их иметь.

Ребенок Бениты родился мертвым. Виной тому стало предлежание плаценты, самая опасная патология при родах. Она обычно приводит к смертельному кровоизлиянию. Врачи оправдывались тем, что это не имело никакого отношения к ее выкидышам, но, разумеется, ей ни в коем случае нельзя было вынашивать этого ребенка.

Мои страдания вызывали у Лоуренса болезненную ревность, и он настойчиво пытался не дать мне забыть про него. Очевидно, мои мысли были заняты совсем другим. Его это выводило из себя, и он закатывал чудовищные сцены. После этого я уже никогда не испытывала к нему прежних чувств и винила в том, что он столько лет разлучал меня с Бенитой.

Я получила множество писем с соболезнованиями и стала писать на них безумные ответы. В тот момент я немного тронулась умом. Единственное утешение я находила в прослушивании «Крейцеровой сонаты» на фонографе и чтении писем от Мэри Леб. Она была ближайшей подругой Бениты и страдала так же, как и я. Нам было бы гораздо легче, если бы мы могли находиться рядом в то время. Неожиданно из Америки приехала Пегги с ее новым мужем и дочерью, ровесницей Пегин. Они были в море во время смерти Бениты и еще ничего не знали. Мы поехали встретить их в Тулон, и мне понадобилось выпить много бренди, чтобы набраться смелости и сообщить ей это известие.

Каждое лето нам приходилось на три недели уезжать из

Прамускье, чтобы переждать ужасную южную жару, очень вредную для детей. В этот раз Лоуренс повез нас в маленькую хижину в горах, на которую он наткнулся в Альпах сразу за городком Барселоннет. Он обожал высокие горы и занимался скалолазанием. Мы взяли с собой Пегги, Дорис и троих детей. Муж Пегги с нами не поехал — он отправился в Париж по делам. Я была так несчастна, что не могла ни есть, ни спать. Я только и делала, что плакала. Дорис думала, я умру. Она силком кормила меня, чтобы я перестала терять вес. Лоуренс постоянно скандалил. Он сказал Пегги, что мне не нравится говорить о Бените и чтобы она перестала это делать. Я не могла понять, почему она отказывает мне в единственном утешении, и осталась наедине со своим горем. Только спустя несколько недель мы узнали, что Лоуренс сделал это из ревности.

В итоге следующий беспокойный год нанес сокрушительный удар по нашему браку. В Париже предсказательница сказала мне: «На юге Франции ты встретишь мужчину, который станет твоим следующим мужем». Я засмеялась и ответила: «На юге Франции из мужчин я вижу только нашего соседа, старого фермера». Но она оказалась права. 21 июля 1928 года, в первую годовщину смерти Бениты, я встретила мужчину, который подарил мне новую жизнь.

После смерти Бениты я решила больше никогда не возвращаться в Америку. Мне перешло от нее большое наследство, но я не могла вынести мысли о том, чтобы тратить ее деньги, поэтому отказалась от него. Из всех полученных соболезнований больше всего меня впечатлили слова начальницы вокзала в Ле Канадель. Она была приветливой, радушной женщиной и не раз выручала меня в трудную минуту. В таких отдаленных уголках этот типаж не редок. Может, она и слыла сельской шлюхой, но имела философский взгляд на жизнь. Когда она узнала о смерти Бениты, она сказала: *«Nous ne sommes tous que passagers sur cette terre»*[18]. С учетом того, что жила она на железнодорожной станции, ее слова прозвучали особенно убедительно.

Когда мы вернулись из гор, нас приехала навестить Бетти Хьюмс, подруга Лоуренса, с другом доктором Карлоцца, розенкрейцером из Рима. Он пытался утешить меня, посвящая в свою религию. Он читал мое будущее по ладони и тоже увидел моего нового мужа. Это так взбесило Лоуренса, что он устроил в Тулоне жуткую сцену. Он бросил меня на землю на бульваре де Страсбур, а затем сжег стофранковую купюру. Его отвели в полицейский участок, и я бросилась ему на помощь. Когда я возмутилась вмешательством в нашу личную жизнь, полицейские

мне сообщили, что Лоуренс имеет право бить свою жену, если желает, но не имеет права жечь деньги, поскольку это оскорбляет достоинство Банка Франции. Через час его отпустили невзирая на оскорбленный Банк Франции.

Осенью из Америки приехала моя мать. Лоуренс отвез меня через всю Францию в Шербур, чтобы я могла ее встретить. Это были выходные праздника мертвых и всех святых, и мы повсюду видели сотни плакальщиков, несущих хризантемы на могилы своих родственников.

Дети приехали в Париж, чтобы увидеться с моей матерью, и я отдала их в детский сад, где они немедленно подхватили коклюш. Я боялась, что нас выселят из отеля, но администратор делал вид, что ничего не слышит, и только когда мы съехали, прислал мне счет за дезинфекцию комнат.

Лоуренс уехал в Межев, в то время маленький и неизвестный горный курорт, кататься на лыжах вместе с Клотильдой. Там он сломал ребро и недолгое время провел в постели. Я осталась в Париже одна с детьми, все еще раздавленная своим горем. Я была рада избавиться от Лоуренса, который продолжал устраивать дикие сцены ревности из-за Бениты. Одним вечером он порвал все фотографии, которые я напечатала в увеличенном виде с ее старых снимков. Ими была заставлена вся моя комната, и Лоуренса это страшно раздражало.

Той зимой я познакомилась с Эммой Голдман и Александром (Сашей) Беркманом. Это были две эффектные фигуры, хотя от знакомства с парой революционеров ожидаешь другого. Эмма была очень тщеславна, и мне потребовались годы, чтобы разглядеть ее истинную сущность. Поначалу я боготворила ее, но, когда мои иллюзии развеялись, ей это не понравилось, и в отместку она не упомянула обо мне ни слова в своих мемуарах.

Моя мать подарила нам еще один автомобиль, на этот раз великолепную «испано-сюизу». Мы купили для нее ходовую часть и затем заказали серебристый открытый кузов. Лоуренс всегда требовал как можно больше воздуха. По ошибке кузов оказался небесно-голубого, а не серебряного цвета, и его пришлось перекрашивать. Наконец, заполучив его, мы отправились на юг вместе с Эммой Голдман. Та села за руль «испано-сюизы» и вела ее так, словно для нее это самое естественное занятие на свете.

К нашему расстройству, «испано-сюиза» вдруг начала барахлить. Было нелепо ехать на такой роскошной машине со скоростью десять миль в час. Она то и дело глохла. В итоге нам пришлось остановиться на ночь в городе Шалон, чтобы ей прочистили топливный бак. После этого она стала летать, как птица. У Эммы эта процедура вызвала отвращение.

Вскоре после того как мы достроили дом для Боба и Эльзы Котс в Прамускье, Боб решил вернуться в Америку. Эльза осталась одна еще на год, а потом последовала за ним. Свой дом она предложила Китти Кеннел и Роже Витраку. Они переехали к нам, и мы вместе хорошо проводили время. По вечерам мы читали вслух Монтеня и вели увлекательные беседы. Как-то вечером мы поехали в марсельский бордель на просмотр фильма. Китти тогда нездоровилось, и после просмотра она упала в обморок. Местные проститутки повели себя очень великодушно и заботливо хлопотали вокруг нее. За этот краткий промежуток времени Витрак успел попросить у Лоуренса сто франков и сбегать на верхний этаж. Он вернулся еще до того, как Китти пришла в себя, и она так ни о чем и не узнала.

Разумеется, через какое-то время мы снова заскучали и решили отправиться в путешествие. В Марселе мы с Лоуренсом погрузили нашу «испано-сюизу» на борт корабля и сошли на берег в Алжире. Этот город никак нельзя назвать самым интересным в Северной Африке — в нем слишком много от Европы. Мне куда больше понравился Танжер, куда мы когда-то ездили с Валери. Оттуда мы отправились на автомобиле через пустыню в Бискру, Бу-Саид, а оттуда в Кайруан. В Кайруане нам предлагали посмотреть на выступление шпагоглотателей, но мы не захотели, чтобы перед нами разыгрывали религиозное действо только для нашей утехи.

В пустыне мы проехали мимо сломанного «форда». Рядом с ним сидел араб и терпеливо ждал помощи, и спустя двадцать четыре часа мы обнаружили его в том же положении и таким же преисполненным терпения. Мне в самом деле кажется, что у этих людей отсутствует чувство времени. Один раз нас задержали за то, что мы подвезли двух арабских мальчиков, которые, как выяснилось, сбежали из дома. Когда мы заплатили за их проезд обратно, нас отпустили. Еще мы подвезли двух английских миссионерок. Уверена, они об этом пожалели, потому что одной из них так подурнело от выхлопов «испано-сюизы», что она чуть не упала в обморок. Лобовое стекло надежно защищало нас от ветра, но сзади сидеть было невозможно.

После этого мы поехали в Константину и Карфаген и закончили маршрут в Тунисе. Я всюду покупала немыслимые серьги для своей коллекции. Во многом эти места не отличались от Египта, но мы получили новый опыт вождения по пустыне.

В начале следующего лета я пригласила в Европу Элеонору Фицджеральд, известную также как Фици. Она переутомилась от своей театральной деятельности и явно нуждалась в отдыхе. Она горевала после смерти своего возлюбленного, а я все еще не

оправилась после смерти Бениты, и мы пытались утешить друг друга. Фици близко дружила с Эммой Голдман.

Глава 4
Конец моей жизни с Лоуренсом Вэйлом

Летом 1928 года Эмма Голдман жила в Сен-Тропе в чудесном домике, подаренном мной. Она трудилась над своими мемуарами. Мы таки убедили ее этим заняться и собрали деньги, чтобы обеспечить проживание на период работы. Я руководила процессом сбора и при необходимости добавляла средства из своего кармана. Поскольку Эмма не могла двух слов связать на вразумительном английском, ей помогала секретарша — сумасшедшая американка по имени Эмили Коулман. В отличие от многих сумасшедших, Эмили не скрывала своего помешательства. В целом это было приятное качество, потому что выражалось оно в неистовом энтузиазме и убеждениях, над которыми мое циничное окружение могло только насмехаться. Она разделяла веру Блейка в то, что все возможно, если только в это поверить. Она страстно интересовалась людьми, литературой и жизнью.

Эмили походила на куколку, хотя ей было двадцать девять и у нее был сын на несколько месяцев младше Синдбада. Она сразу мне понравилась, но я не могла предположить, какую роль она сыграет в моей жизни. Эмили утверждала, что она сама писательница и лишь помогает Эмме в ее затруднительном положении. Иными словами, она себя не считала секретаршей Эммы Голдман. Эмма ее обожала, лелеяла и баловала, а Эмили в обмен на это жила в ее доме, не получая жалования, и приводила ее чудовищную рукопись в сносный вид.

Бедная Эмма терпеть не могла писать. Она была женщиной действия и радовалась, когда мы по вечерам приезжали к ней на автомобиле, и она могла оставить свой дневной труд и приготовить для нас восхитительный ужин. Она великолепно готовила еврейские блюда, и ее *pièce de résistance*[19] была фаршированная рыба. Лоуренс считал, что вместо мемуаров ей стоит написать поваренную книгу.

Муж Эмили был приятным человеком. Он работал в рекламном бизнесе и написал книгу по психологии. Эмили уехала от него к Эмме, поскольку по состоянию здоровья нуждалась в теплом климате. Это послужило началом распада их брака, о чем она в тот момент еще не догадывалась. В то время она была влюблена в англичанина, которого она встретила в Сен-Тропе. Она постоянно проводила время с ним и его женой и говорила о них так, как она всегда говорила о своих открытиях, — с восторгом фокусника, достающего нечто из

шляпы. Их звали Джон и Дороти Холмс.

Когда я впервые встретила Джона, меня поразила его эластичность. Казалось, что физически его тело ничто не держит воедино, и он может в любой момент рассыпаться на части. Еще отчетливей это ощущалось при танце, потому что он мог незаметно задействовать любой мускул своего тела, не дергаясь при этом, как обычно происходит с другими. Он был очень высоким, более шести футов ростом. Он обладал великолепным телосложением с широчайшими плечами, узкими бедрами и массивной грудью. У него была маленькая рыжая борода, и он смахивал на Иисуса Христа с его волнистыми, густыми золотисто-рыжими волосами. У него была бледная кожа, покрывавшаяся румянцем на южном солнце, и темно-карие глаза. Он носил очки и имел классический прямой нос. У него были тонкие, но чувственные губы, которые казались поджатыми из-за усов. Как и все англичане, он гордился своими предками, но ненавидел своего отца, шотландца по происхождению и ранее генерал-губернатора Соединенных провинций Индии.

Джон родился в Индии и мальчиком был разлучен с родителями и отправлен вместе с сестрой учиться в пансионе в Англии. Он любил свою мать, красивую ирландку из потомков Николаса Феррара, основателя общины Литтл-Гиддинг. Он редко виделся с семьей, после отставки отца жившей в Челтнеме. Общение с ними давалось ему с трудом — они принадлежали другой реальности. Он знал слишком много об их мире, а они знали слишком мало о его. Его отец хотел, чтобы он стал дипломатом, но, когда началась война, Джон учился в военном колледже в Сандхерсте и в возрасте семнадцати лет поступил на службу. В то время он был силен как бык и голыми руками разнес головы четырем немцам, которых случайно застал за завтраком под деревом. За это, к его огромному стыду, он был удостоен Военного креста. После шести месяцев боев в легкой пехоте на реке Сомма его взял в плен ночной патруль, и остаток войны (два года) он провел в немецком лагере для пленных. В плену он познакомился с Хью Кингсмиллом, который оставался его другом всю жизнь. Другим его близким другом был Эдвин Мюир.

Благодаря офицерскому званию в лагере с ним обходились сносно и, к сожалению, позволяли покупать неограниченное количество выпивки. Это, несомненно, сослужило ему дурную службу: он пил больше всех, кого я встречала в своей жизни. Пока другой человек управлялся с одним напитком, он выпивал пять, и это на нем никак не сказывалось примерно до трех часов утра, когда он становился странным и у него начинали закрываться глаза. Тем не менее он никогда не вел себя агрессивно. От

алкоголя он становился очень разговорчив, а говорил он как Сократ. Свое разнообразное знание о людях и жизни, которое ему следовало бы перенести на бумагу, он выплескивал в разговорах. Он мог часами держать людей в оцепенении. Казалось, любая информация дается ему по щелчку пальцев, как будто между ним и всем на свете существовала некая связь и он все повидал и все осмыслил. Он был словно старая душа, которую ничем не удивить. О нем складывалось впечатление как о человеке бесстрастном, и я была невероятно удивлена, обнаружив, сколько страсти скрывается под этой равнодушной оболочкой. Мне он всегда казался призраком. Очевидно, он отчаялся как писатель, хотя в какой-то период жизни имел большой успех на поприще критики в Лондоне и до сих пор получал письма, в которых его умоляли продолжить писать статьи. Но он больше не мог заставить себя это делать. И хотя он крайне нуждался в деньгах и получал лишь скромное пособие от отца, он предпочитал вести простую жизнь в Сен-Тропе, чем возвращаться в Англию. После войны Джон успел пожить по всей Европе: в Рагузе, Зальцбурге, Дрездене, Форте-деи-Марми, Кань-сюр-Мер, Загребе и Париже. Он был вместе с женой Дороти девять лет, и она почти всюду сопровождала его. Теперь они жили вместе, скорее, как брат и сестра и не вели сексуальной жизни. Их отношения знавали бурные времена. Он увел ее от мужчины по имени Пикок и прошел через несколько месяцев ада, пока она металась между ними. Он постоянно носил с собой пистолет, чтобы застрелиться, если она таки решит оставить его. Дороти тогда была поглощена работой над своей книгой о Пикоке; это была удивительная и красивая книга. Она обожала Джона и клялась, что пишет для него. Я верю, что так оно и было и что с ним она пережила второе рождение. Никакая женщина не могла бы прожить с ним столько времени и не родиться заново.

Дороти без конца жаловалась на Джона, хоть и любила его. Она говорила, что чувствует себя гувернанткой при ребенке, должна все делать за него и не может оставить его ни на минуту. Она жаловалась на их бедность. Она жаловалась, что он не пишет. Она жаловалась, что он не хочет жить в Англии, не желает с ней больше спать и не женится на ней. Она происходила из среднего класса и потому чувствовала себя неполноценной рядом с ним. Она была статной и привлекательной и тоже, как ни странно, имела рыжие волосы, но совсем другие глаза — зеленые, как у кошки. У нее была белая кожа и хорошая фигура, но она переживала из-за разницы в возрасте с Джоном, который был младше ее на семь лет и близился к своему тридцатилетию. Ее печалило, что у них нет детей. На это она тоже жаловалась. Они

были очень странной парой, и я восхищалась ими.

Я впервые встретила Джона в вечер годовщины смерти Бениты, будучи в подавленном настроении. Лоуренс настаивал на том, чтобы мы поехали в Сен-Тропе на танцы в бистро. В конце концов я согласилась. Моя меланхолия переросла в отчаяние, и я помню, как сорвалась и стала танцевать на столе. По всей видимости, это произвело впечатление на Джона Холмса, но сейчас я помню только, что он привел меня в башню и поцеловал. Это определенно произвело впечатление на меня, и, по моему убеждению, дальнейшие события стали следствием именно этого маленького поцелуя.

Позже я пригласила Холмсов в Прамускье. Они остались у нас на ночь, и в полночь мы пошли купаться совсем без одежды. Мы с Джоном остались вдвоем на пляже и занялись любовью. Он говорил со мной очень серьезно и спросил, какое мое любимое литературное произведение, и по какой-то причине мне не пришло в голову назвать ничего лучше, чем Мэй Синклер. После этого я долго его не видела, потому что мы с Лоуренсом уехали с детьми, Фици, Клотильдой, Хейзел и Мильтоном Уолдманом в Малою на время жары. Я не забыла про Джона Холмса и, уверена, бессознательно откладывала мысли о нем на будущее, поскольку сразу же, как вернулась, отправилась на его поиски.

Как я уже сказала, вернувшись на юг Франции, я сразу стала искать Холмса. Они съехали из своего дома, и я не знала, где они теперь. Я пошла в почтовое отделение и, добыв новый адрес, отправилась прямиком к ним домой. Они были удивлены и, судя по всему, рады мне. Джон повел меня на прогулку на холм позади дома, где пейзаж напоминал английские пустоши. Потом он повез меня искупаться в Раматюэль. Я чувствовала себя с ним очень счастливой, и мы прекрасно ладили. Они наконец решились вернуться в Англию, чтобы Джон мог вернуться к писательству и снова оказаться в той интеллектуальной среде, из которой бежал. Я пригласила их прежде пожить с нами в Прамускье. Поначалу они отказались, но, когда я предложила им домик Эльзы Котс рядом с нашим, они сказали, что подумают. Дороти хотела закончить свою книгу в тишине и покое. В конце концов Джон уговорил ее переехать. Она всегда делала то, чего он от нее хотел. В то время она очень мне нравилась, а я нравилась ей. Меня увлекали ее беседы. Позже она начала чувствовать себя некомфортно в моем присутствии и стала аккуратно избегать моего общества, почувствовав во мне угрозу.

Накануне того дня, как я поехала за ними, во мне появилась уверенность в своем будущем. Я находилась в состоянии радостного предвкушения человека, который вот-вот начнет

новый роман. Я действовала исключительно по велению слепой силы, которая толкала меня вперед. С Лоуренсом я больше жить не могла: наши скандалы становились невыносимы. В Малое случился очередной кошмарный инцидент в кафе, где мы стали швыряться вещами. В Сен-Тропе после нашего возвращения он однажды вечером попытался сорвать с меня одежду в бистро, разозлившись из-за Клотильды, которая устроила представление и танцевала, задрав юбки до бедер, и из-за ревности к Джону. Мне на помощь пришлось прийти Александру Беркману. Он не позволил Лоуренсу раздеть меня догола на публике, после чего Лоуренс влепил мне такую сильную пощечину, что я, будучи изрядно пьяна, мгновенно протрезвела.

Мое терпение кончилось: я хотела уйти от Лоуренса, но боялась остаться одна. Эмма Голдман однажды спросила у меня, как я выношу такую жизнь. Я ответила ей, что не могу оставить детей и не хочу говорить об этом. Наконец, я решила, что так больше не может продолжаться. Несколько месяцев назад Лоуренс столкнул меня со ступеней своей мастерской, сжег мой свитер и четыре раза наступил мне на живот за один вечер. Я однажды полушутя намекнула ему, что, если мы расстанемся, я оставлю ему Синдбада, а Пегин возьму себе. Думаю, в тот момент, когда Джон Холмс поцеловал меня, я подсознательно решила использовать его для своего побега.

Поначалу я не была в него влюблена, но как-то вечером он вдруг пропал на целый час, и я чуть не впала в истерику. Так я впервые поняла, что люблю его. Мы ездили на природу и занимались любовью. Иногда мы спускались на каменистый берег под его домом. Как только Лоуренс уходил в мастерскую и там загорался свет, я бежала за Джоном. Это был наш час. Вскоре Джону стало сложно мириться с присутствием Лоуренса, и он попросил меня расторгнуть наш брак. Мне было сложно на это решиться. Ситуация выходила из-под контроля. Я хотела, чтобы Джон увез меня, но он не мог собраться с духом. Он жил в состоянии перманентного паралича воли и мучительно боялся оставить Дороти. Дороти не воспринимала меня всерьез, но Джон видел, кем он может стать для меня и как он может меня изменить. Он видел мою заурядную сторону, но видел и сторону страстную и верил, что может избавить меня от заурядности.

Мы стремились остаться наедине, хотя бы на одну ночь. Лоуренс пригласил нас всех на некую вечеринку в Тулоне. Мы с Джоном тщательно продумали предлоги, чтобы не ехать туда. Джон поступил так хитроумно, что даже я до последнего момента не знала, останется ли он со мной. Но он остался. Дороти уехала в Тулон с остальными, и мы наконец могли делать все, что

заблагорассудится. Мы впервые легли в одну постель, но проснулись среди ночи, опасаясь возвращения остальных. Мы несколько часов просидели в гостиной, жалея о том, что так рано выбрались из-под одеяла. Лоуренс вернулся очень поздно. Он оставил Дороти в Тулоне — она слишком много выпила и плохо себя чувствовала. На следующий день мы поехали за ней. Она вела себя истерично, но все еще не подозревала меня ни в чем.

Я выдержала несколько недель этой рискованной жизни, после чего несознательно подвела ситуацию к кризису, раз уж Джон ничего не предпринимал. Однажды вечером, зная, что Лоуренс поблизости и не у себя в мастерской, я пошла в дом к Джону и поцеловала его. Лоуренс последовал за мной и застал нас врасплох, чего я, вероятно, и добивалась, но не предполагала, что за этим последует ужасная драка, которая могла привести к летальному исходу. Джон был куда сильнее Лоуренса, но он не хотел причинить ему вреда, и когда Лоуренс напал на него, тот просто прижал его к полу и ждал, пока кто-нибудь придет на помощь. Я совершенно обезумела и побежала за Дороти, которая принимала ванну у нас в доме. Она так долго собиралась, что они могли уже десять раз убить друг друга. Наконец мы вызвали на помощь садовника, и, когда добрались до дома, Джон был уже готов от отчаяния нокаутировать Лоуренса, который пытался ударить его тяжелым оловянным подсвечником. Садовник поспешил на помощь Лоуренсу, своему хозяину. Лоуренс велел Джозефу не вмешиваться, но по крайней мере это положило конец их смертельной схватке. Они оба были совершенно разбиты. Лоуренс отправился обратно к нам домой, и я пошла с ним. Он сказал мне, что больше не собирается терпеть присутствие Холмсов в Прамускье и что я должна избавиться от них. Дороти вошла в комнату на середине разговора, и Лоуренс сообщил ей, что мы с Джоном — любовники. Она назвала Лоуренса сумасшедшим, но выглядела потрясенной. Лоуренс снова пошел к ним в дом и сказал Джону, что убьет его, если еще раз увидит. Я была совершенно не в себе и помогла Холмсам ретироваться по маленькой тропке в бистро мадам Октобон. По пути Дороти повредила ногу об изгородь из колючей проволоки. Лоуренс разыскивал Джона и у мадам Октобон, но та спрятала Холмса и не дала Лоуренсу увидеть его. Тогда я точно поняла, что все кончено, и спланировала побег для нас троих. Я подкупила садовника, чтобы тот отнес записку Холмсам. Я послала им деньги и назначила место встречи. Тем вечером Холмсы уехали в Йер, а я должна была присоединиться к ним в Авиньоне.

Было очень странно после семи лет отношений знать, что ты

проводишь с человеком последнюю ночь. Утром я попросила у Лоуренса разрешения поехать в Лондон к Пегги. Разумеется, он нашел мою идею странной. Он был против, и я не стала настаивать. Я отправила его в Йер, чтобы обналичить чек, и разрыдалась, целуя его на прощание. Не понимаю, как он ни о чем не догадался.

С нами в доме жила очень милая и простая девушка, золовка Клотильды. Она была влюблена в Лоуренса, и я все время подначивала его заняться с ней любовью, что, впрочем, он и сделал. Я надеялась, что после моего побега он женится на ней, но этого не произошло. Часть пути она проехала со мной, чтобы потом отвезти обратно автомобиль, и по дороге я сказала ей, что ухожу от Лоуренса. Я выразила надежду, что она за ним присмотрит. Она не подозревала о моих намерениях и пришла в страшное недоумение. Потом я замолчала и за минуту до отправления поезда из Сен-Рафаэля сказала ей, чтобы она передала Лоуренсу мои прощальные слова.

Джон с Дороти провели ночь в Йере и все еще были там, когда Лоуренс на следующее утро отправился туда в банк. Дороти его до смерти боялась. Она думала, что он сумасшедший. Увидев Лоуренса на улице в Йере, заставила Джона залезть в их комнату по водосточной трубе, поскольку решила, что тот приехал в Йер убить его. Все это было ужасно унизительно.

Глава 5
Моя жизнь с Джоном Холмсом

Доехав до Авиньона, я встретилась с Джоном и Дороти и первым делом выкинула свое обручальное кольцо. Я вышла на балкон и швырнула его вниз, на улицу.

Этот жест обладал для меня символическим значением, хотя потом я не раз пожалела о нем. Это было красивое маленькое колечко, и мне часто не хватало именно такого. Дороти переживала из-за инфекции, попавшей в рану от колючей проволоки. Она все еще не знала, что Джон в меня влюблен — у него не хватало духу признаться ей. Он постоянно откладывал все на потом. Мы продолжали заниматься любовью втайне от нее, но, думаю, этот факт вызвал бы у нее меньше беспокойства, чем то, что мы собираемся жить вместе.

Мы хотели отправиться в Лондон, но Дороти уговорила меня вызвать моего адвоката, с которым мы встретились в Дижоне — на полпути к Парижу. Когда он увидел Джона и Дороти, то предупредил меня, что я прыгаю со сковородки в открытое пламя. К сожалению, он был еще и адвокатом матери Лоуренса, и Вэйлы решили, что я пыталась таким образом получить преимущество у них за спиной. Я хотела лишь добиться признания раздельного проживания, но адвокат убедил меня разводиться. Я попросила его передать от меня Лоуренсу записку, поскольку он запретил мне писать ему лично. Хуже всего то, что он так эту записку не передал, а просто сообщил Лоуренсу о моих намерениях по телефону, чего тот, разумеется, мне никогда не простил. Адвокат сразу же отправил меня домой и сказал, что я поставила себя в невыгодное положение, покинув место жительства. После нескольких дней в Дижоне мы отправились на юг.

Вернувшись, мы тем же вечером заехали за Эммой Голдман и Эмили Коулман и все вместе поехали на ночь во Фрежюс, чтобы обговорить предстоящий развод. Эмма пожелала замолвить за меня слово и написала Лоуренсу письмо, которое его только привело в бешенство. Она просила его быть великодушным и оставить мне обоих детей. Я так боялась Лоуренса, что адвокат посоветовал мне нанять двух громил-охранников и без них не ходить домой, но от такой защиты я отказалась. Когда мы рассказали обо всем Эмили, она расстроилась, поскольку сама была влюблена в Джона, и мне кажется, Дороти только тогда догадалась, что к чему. Как бы то ни было, я оставила Джона с Дороти в отеле в Гримо и вернулась домой. Там я застала только

Пегин с Дорис и узнала, что Лоуренс уехал в Париж с Синдбадом и девушкой Папи, которая заботилась о нем и не отходила от него в ужасные первые часы после того, как он узнал о моем побеге.

Поначалу мы с Лоуренсом зашли в тупик в отношении детей. Я была готова оставить Синдбада Лоуренсу и взять себе Пегин, но хотела сохранить опеку над обоими. Лоуренс на последнее не соглашался. В конце концов он послал ко мне Пегги, нашу общую подругу, чтобы та уладила ситуацию. Адвокат три недели прождал нас в Сен-Тропе, пока мы приходили к соглашению и составляли документ для защиты прав Лоуренса. На этом настоял его адвокат прежде, чем мы официально подали на развод. Я очень хотела жить с Джоном Холмсом, но я могла сохранить опеку над обоими детьми, только отказавшись от него. Я считала, что несправедливо отнимать у Лоуренса все, к тому же я не представляла, как воспитывать мальчика. На тот момент я не могла знать, что проведу с Джоном Холмсом столько лет. Я сопереживала Лоуренсу и не думала, что он так быстро после всего этого устроит свою жизнь.

По нашему соглашению я становилась опекуном Пегин, а Лоуренс — Синдбада. Синдбад мог жить со мной шестьдесят дней в год, но никакого ограничения по количеству времени, что Пегин может жить с Лоуренсом, мы не установили. Мы подали на развод на основании оставления меня Лоуренсом. Дело рассматривал суд Драгиньяна, столицы Вара, департамента, где находится Прамускье. Через три месяца мы должны были прийти к мировому соглашению — иными словами, нам с Лоуренсом предстояло явиться в суд и в последний раз подтвердить свое нежелание продолжать совместную жизнь.

Перед Рождеством мы с Джоном наконец уехали вдвоем. Дороти отправилась в Париж. Мы проехали на автомобиле весь Буш-дю-Рон и весь Вар. По вечерам наступали жуткие холода, какие бывают только на юге Франции зимой после захода солнца, и я страдала от воспаления седалищного нерва, которое я заработала, судя по всему, во время наших с Джоном занятий любовью в лесах, когда нам больше некуда было податься. Так что наша поездка выдалась не самой приятной.

После этого мы поехали в Лондон, но не стали там задерживаться. До развода мне нужно было жить в Прамускье, и я решила, что должна спрятать Джона, поэтому ту зиму он прожил в отеле «Пардигон» в десяти милях от меня; я ездила к нему каждый вечер и возвращалась домой в четыре утра. Позже Лоуренс рассказал мне, что сестра Китти Кеннел видела нас вдвоем в отеле и доложила ему, поэтому все мои старания

оказались напрасны. В любом случае, это бы никак не сказалось на бракоразводном процессе, раз уж Лоуренс на него согласился.

Дороти уехала, понимая ситуацию так, что мы с Джоном собираемся попробовать жить вместе на протяжении шести месяцев. Она отправилась в Париж совершенно раздавленная, храня надежду, что Джон в итоге к ней вернется.

В январе я поехала в Драгиньян на процедуру мирного соглашения. На юге тогда впервые за двадцать лет выпал снег. Деревья придавило к земле, а по дорогам почти невозможно было проехать. Меня отвез Джон, которого я научила водить. Я оставила его в кафе в нескольких милях от Драгиньяна.

Встреча с Лоуренсом прошла болезненно и неловко. Я видела его впервые после своего побега. За это время я связала ему на день рождения красивый свитер, а он послал мне пару серег в подарок по случаю развода. Оказаться с ним лицом к лицу было тяжело. Лоуренс вел себя очень враждебно, и пока мы ждали на лестничной площадке, когда нас пустят к судье, отпускал язвительные комментарии в мой адрес.

Я не имела представления, как отвечать на вопросы, и все время спрашивала у Лоуренса, что мне говорить. Полагаю, это произвело плохое впечатление на судью. Он был учителем в пресвитерианской школе и решил, что имеет дело с очередным тайным сговором. Он не понимал, почему я хочу отдать Синдбада Лоуренсу. После процедуры мы с Лоуренсом выпили, и я разрыдалась. Наконец я оставила его и поехала в кафе к Джону. Тот не находил себе места от страха, думая, что я решила вернуться к Лоуренсу.

Оформление развода заняло два года, и его дали нам только на основании жестокого обращения. Дорис, Пегги и хозяин кафе в Сен-Тропе, бывшие свидетелями наших скандалов, должны были подтвердить в суде агрессию Лоуренса. За эти процедуры мне пришлось заплатить моему адвокату десять тысяч долларов (он сказал, что за разводы меньше не берет) и две тысячи адвокату Лоуренса. Определенно, их услуги не стоили таких денег, но я узнала, в какую сумму мне все это обернется, только когда было уже слишком поздно отступать.

Когда закончился этот этап, мы обрели относительную свободу и наконец могли путешествовать. Кажется, мы с Джоном два года только и делали, что странствовали. Мы побывали как минимум в двадцати странах и объехали десять миллионов миль. Мы решили отправиться в Вену. Мы сели на последний поезд — все остальные отменили из-за вьюг — и оказались единственными пассажирами во всех спальных вагонах. Денеб замерз, и на улице было невозможно находиться дольше

нескольких минут, да и то только если ты был закутан с макушки до пят. Мы почти не выходили и бóльшую часть времени проводили в постели. Я никогда раньше не получала такого удовольствия от жизни. Джон открыл для меня новый мир чувственности, о котором я раньше и не мечтала. Он любил меня и видел во мне настоящую женщину. Я не желала слушать его монологи, и ему нравилось, что я люблю в нем мужчину.

Хотя поначалу я засыпала, когда он начинал разглагольствовать по ночам, со временем он завладел моим вниманием, и за те пять лет, что я прожила с ним, он заложил основу для всех моих нынешних знаний. Когда я встретила его, я была девочкой из детского сада, но постепенно он всему меня научил и посеял семена, взошедшие, когда его уже давно не было рядом.

Первые два года нашей совместной жизни меня, без сомнения, интересовали только плотские утехи, но, когда они утратили свою яркость, я сосредоточилась на том, что Джон мог мне дать помимо этого. Я не спеша собирала крохи из невероятного изобилия его знаний. Мне не приходило в голову, что все это может вдруг закончиться. Он имел полную власть надо мной, и с того момента, как я стала принадлежать ему, и до дня его смерти, он руководил каждым моим действием, каждой мыслью. Он часто говорил, что люди получают от отношений совсем не то, чего ожидают. Я решительно не могла мечтать о том, что я получу от него. Я даже не догадывалась, что на свете бывают такие люди, как Джон. Не знаю, чего он ожидал от меня, но, я думаю, он не был разочарован. Главным образом он стремился раскрыть меня и сразу увидел во мне потенциал, который он позже помог мне реализовать. Потом он признавался, что получил даже больше, чем ожидал.

Когда я повстречала Джона, я ничего не знала не только о человеческой натуре, но и о самой себе. Я жила в ограниченном, бессознательном мире. За пять лет он открыл для меня, что такое жизнь. Он интерпретировал мои сны, анализировал меня, помог мне увидеть в себе добро и зло и заставил преодолеть это зло.

Джон не просто любил женщин — он понимал их. Он всегда говорил: «Бедные женщины», — как будто полагается особое сочувствие за то, что им не повезло родиться неправильного пола. Он чувствовал мысли окружающих, поэтому ему было тяжело находиться в помещении с людьми разного склада. По этой причине он с чрезвычайной осторожностью выбирал, кого приглашать вместе. Он обладал удивительным даром видеть в людях их лучшие качества. Большую часть времени он проводил за чтением, и я ни у кого до этого не встречала критических

способностей подобного уровня. Он оказывал неоценимую помощь своим друзьям-писателям, которые безоговорочно принимали его советы и критику. Он ни к чему не относился как к данности. Он во всем мог разглядеть глубинный смысл. Он знал, почему писатели пишут так, как они пишут, почему режиссеры так снимают свои фильмы, а художники так рисуют свои картины. Рядом с ним ты чувствовал себя в некоем непостижимом пятом измерении. Я даже не подозревала о существовании тех вещей, которые занимали его мысли. Он был единственным человеком, который мог мне дать удовлетворительный ответ на любой вопрос. Он никогда не говорил: «Я не знаю». Он всегда знал. Поскольку никто не мог соответствовать его поразительному интеллекту, ему было скучно разговаривать с большинством людей. Как следствие, он был очень одинок. Он знал, какими наделен талантами, и чувствовал вину за то, что не использует их. Его мучила его неспособность писать, и от этого он больше и больше пил. Все время, что я была с ним, я поражалась параличу его воли. Этот паралич неуклонно завладевал им, и под конец он едва мог заставить себя делать простейшие вещи.

Когда я познакомилась с Джоном, он плохо одевался. Он слишком отпускал бороду, и у него был сломан передний зуб после того, как он наткнулся на камень под водой. Я сумела разбудить в нем тщеславие, и со временем он исправил эти недостатки и сильно изменился. Поначалу я стригла его сама, а потом заставляла регулярно ходить к цирюльнику, что для него было мучением. В Лондоне он купил английскую одежду. На нем всегда лучше всего смотрелись серые фланелевые брюки и твидовый пиджак. Он не носил шляпы, но всегда надевал какой-нибудь шарф, который потом непременно оставлял в баре, когда напивался.

После шести дней в пустынной Вене, где никого не было в ресторанах и все умирали без угля, мы отправились в Берлин. Берлин был ужасен — полагаю, примерно как Чикаго в то время. Мы обошли весь город, и я не увидела ничего, что могло бы меня заинтересовать. Мы сходили в оперу и несколько ночных клубов, забитых гомосексуалами, но все это навевало только скуку. Я была счастлива вернуться домой.

Вскоре после этого мы отправились на Корсику на нашем только что купленном «ситроене» и объехали весь остров. Джон сказал, что природа напоминает ему Донегол в Ирландии, где он провел детство. Почти все время шел дождь, но это были прекрасные, суровые и дикие земли. И еда, и отели никуда не годились, за исключением нескольких модных английских

гостиниц, построенных в последние годы. Прибрежные районы во многом напоминали Италию. Там редко встречалась равнинная местность, и дороги извивались вокруг глубоко врезанных в сушу фьордов. Мы увидели, где родился Наполеон и где растет тот самый анис, из которого делают «Перно».

После нашего возвращения Джону предстояло нанести ежегодный видит своей семье. Разумеется, он не мог взять меня с собой, и хотя его родные думали, что он был женат на Дороти, та тоже ни разу их не видела. Он долго не решался узаконить отношения с ней, а по прошествии стольких лет уже не видел смысла возиться с брачной бюрократией. Только исключительные обстоятельства могли заставить его пойти на этот шаг.

Когда он вернулся из Англии, я встретила его в Марселе, и мы отправились в еще одно путешествие, на этот раз, на остров Поркероль. Это один из трех островов у побережья той части страны, где мы жили, и добраться туда можно было на парусной лодке из Жьена. Это было дикое, тропическое место — так я представляла себе острова Тихого океана, хотя ни разу их не видела. Там был один маленький порт, несколько пляжей для купания и простой гостиничный комплекс в джунглях. Мы много гуляли и так радовались нашему воссоединению, что нам было неважно, где мы.

Через какое-то время Дороти осознала серьезность нашего романа. Она провела шесть месяцев в Париже без Джона и, само собой, ненавидела меня. Она на каждом углу рассказывала безумные истории и писала Джону отвратительные вещи обо мне. За это время я видела ее единственный раз, и то по совершенной случайности. Возвращаясь из Лондона, мы задержались в Париже. Джон сказал ей, что он остановился на набережной Вольтера, но не осмелился сообщить, что со мной. Она пришла рано утром и застала нас в постели. Произошла кошмарная сцена. Она била меня по ногам и называла порочной женщиной, и ее насилу смог вывести *valet de chambre*[20]. Мне стало так стыдно, что я тайком выскользнула из отеля, предоставив Джону уведомить персонал о нашем отъезде.

Враждебность Дороти только добавляла мне уверенности в себе. Должна сказать, я была рада, что она не жена Джону, поскольку в таком случае я оказалась бы в худшем положении. Однако внезапно весной она решила, что возвращается в Англию, и поэтому Джон должен на ней жениться. Она говорила, что все уже многие годы считают ее миссис Холмс, и она будет скомпрометирована, если вдруг станет известно, что это не так. Ведь она и сама себя считала покинутой супругой. Джон ответил, что не станет этого делать. Естественно, если бы он кого-то и

брал в жены, то меня, но я все еще мучилась с волокитой развода. В конце концов она стала требовать этого так настойчиво, что Джон не выдержал ее страданий и поехал в Париж, где женился на ней.

Я в то время сидела с Пегин, пока Дорис уехала в ежегодный отпуск. Пегин очень привязалась к Дорис, особенно после развода — во всей этой смуте она оказалась совершенно неприкаяна и потеряна. Оставшись наедине со мной на месяц, она льнула ко мне, как плющ к дубу, и ни на минуту не упускала из виду. Я никогда еще не видела столь прелестного создания ее возраста. У нее были светлые волосы платинового оттенка и кожа цвета спелого фрукта. Ей еще не исполнилось и четырех, и жизнь в таких неопределенных условиях угнетала ее. Ей очень нравился Джон, но она удивилась, увидев его вновь. Они не встречались с тех пор, как Джону пришлось уехать из Прамускье. Пегин никогда не выказывала никаких признаков ревности к Джону, но она не выносила разлуки со мной, поэтому, когда я попыталась оставить ее на несколько дней в Париже с Пегги и ее детьми, ее друзьями, она устроила забастовку и мне пришлось взять ее с собой. Она чувствовала себя покинутой и напуганной.

В Париже Пегги познакомила нас с Джедом Харрисом. Он хотел арендовать нашу виллу в Прамускье, поэтому мы вернулись на юг, чтобы привести ее в порядок. Джед приехал вслед за нами, остановился у мадам Октобон в Ле Канадель и стал наведываться к нам каждый день, выдвигая все новые требования по обустройству дома. Мы установили сетки от комаров, перекрасили комнату и удовлетворили множество других его желаний. В конце концов он потерял решимость и сбежал, отправив мне чек на пять тысяч франков в качестве компенсации за труды. Это было щедро с его стороны, и позже я сдала дом американской аристократке по фамилии Мурат, которая, в отличие от Джеда Харриса, смогла его оценить по достоинству.

В Париже я впервые после своего побега увидела Синдбада. Тогда на меня нахлынуло все горе от потери его, которое я до этого в себе подавляла. Синдбад в то время жил с бабушкой, но Лоуренс не позволил мне побыть с ним наедине, и мы все вместе пошли в парк. Под надзором Лоуренса эта встреча прошла очень напряженно. Синдбад был в маленькой белой матроске и длинных брюках и выглядел непривычно. Я была близка к тому, чтобы потерять его, но этого все-таки удалось избежать. В первые годы Лоуренс делал все, чтобы разлучить меня с сыном. Отчасти из мести, отчасти из страха, что я заберу Синдбада. Официального развода нам еще не дали, и соглашение, которые мы составили с его адвокатом, не вступило в силу. Я тогда не

знала этого, но Лоуренс уже жил с женщиной по имени Кей Бойл, которой он позволил утешить его в период страданий, и она уже носила его ребенка.

Кей с Лоуренсом делали все возможное, чтобы не дать мне видеться с Синдбадом. К счастью, у них ничего не вышло — так сильна была привязанность между нами. Лоуренс постоянно угрожал увезти его и как-то раз даже обмолвился о том, что собирается пожить в России. В конце концов вмешался Джон и помог мне письмами добиться доверия Лоуренса и развеять его подозрения, будто я пытаюсь отобрать у него сына. Мы достигли относительного согласия, хотя Лоуренс никогда не позволял мне проводить с Синдбадом ни на минуту больше, чем те шестьдесят дней в году, что позволял договор. Все это отравило мои первые годы жизни с Джоном, потому что я обожала Синдбада и страшно тосковала по нему. Утешало только то, что Кей стала ему хорошей мачехой.

Мы решили отправиться в длительное путешествие по Северной Европе на нашем новом «ситроене». В нем как раз хватало места для Пегин, Дорис и моей собаки Лолы. Я поехала на юг, чтобы привести в порядок дом, который мы арендовали на лето, и забрать Дорис с Пегин. Я чувствовала себя неловко, сообщая Дорис новости о Джоне. Тем не менее, если моя жизнь в грехе и вызывала у нее неодобрение, перспектива поездки по Норвегии и Швеции сполна искупала ее душевный дискомфорт. Мы поехали на автомобиле в Париж, где забрали Джона — он на несколько дней ездил в Лондон. Затем отправились в наше большое путешествие.

Мы проехали насквозь Бельгию и Голландию, добрались до Германии и пересекли Кильский канал, после чего направились в Гамбург. Одно из самых отчетливых воспоминаний о той части поездки у меня осталось о дне, когда у меня весь день по щекам текли слезы: мне приснилось, будто меня разлучили с Синдбадом. Этот сон выпустил наружу мои подавленные страхи, и я больше не могла их контролировать. К моменту нашего приезда в Швецию я была так несчастна, что даже собралась вернуться к Лоуренсу. Я думала, что больше не вынесу жизни без Синдбада. Джон сказал, что Лоуренс не примет меня обратно и что ему живется гораздо легче без атмосферы напряжения, царившей между нами, пускай поначалу он и страдал.

Из Германии мы отправились в Копенгаген — скучный, провинциальный скандинавский город, который мне ужасно не понравился. Я никогда не могла найти общий язык с севером. Он всегда меня пугал и приводил в уныние. Многие годы назад на меня произвел такое же впечатление Эдинбург, хотя в целом он

показался мне красивым городом. Затем мы поехали в Осло, который мне понравился больше Копенгагена, но по-настоящему счастливой я себя чувствовала только в южных городах или по крайней мере латинских. После Копенгагена мы всюду добирались на судах и возили с собой автомобиль. Было ужасно страшно заезжать на борт по двум тоненьким кривым доскам. Иногда машину поднимали в воздух и грузили с помощью подъемного крана. Как-то раз я наблюдала, как такой же процедуре подвергают норвежскую лошадку и, глядя на ее болтающиеся ноги, посочувствовала ей. Между плаваниями мы самостоятельно добирались от парома до парома по отвратительным дорогам, и нам приходилось без конца останавливаться, чтобы открывать и закрывать за собой ворота для скота.

В Норвегии постоянно шел дождь, и мы могли наслаждаться ее живописными фьордами только по полчаса в день, между четырьмя и половиной пятого, когда неизменно выходило солнце. Мы не застали полярный день, да и в любом случае не заехали достаточно далеко на север, чтобы увидеть его в полной мере. Мы добрались только до Тронхейма — самого невыразительного города на моей памяти — и севернее него я уже не бывала.

В Тронхейме Лола забеременела, а поскольку места в машине ей и так едва хватало, ее растущее тело только усложняло ей жизнь. Они с Пегин делили одно спальное место на двоих, и когда Лола стала толстеть, Пегин пришлось бороться за свое пространство. За двадцать минут до приезда домой Лола родила первого щенка в автомобиле, прямо у Джона за шеей. Мы назвали его Тронджин — так мы произносили «Тронхейм».

Мы пересекли границу в той северной части Швеции, которая напоминает Шотландию. Это были дикие пустоши, где можно было за несколько часов не встретить ни души. Где-то мы увидели одинокий дом, у которого на крыше росло дерево. Многие мили ехали сквозь леса и мимо озер, и поскольку нам не встречалось ни одного населенного пункта, в темноте мы заблудились. В конце концов к четырем часам утра мы добрались до Стокгольма. Белой ночью он был очень красив, но я страшно разочаровалась, увидев его при свете дня. Люди там были очень дружелюбны, а еда — восхитительна, в особенности шведский стол — шутка ли, тридцать блюд на выбор! Нам предлагали большой выбор шнапсов, но пабы работали только в определенные часы. Мы не имели большого желания задерживаться в этой невзрачной стране вдали от цивилизации, поэтому поехали обратно через Германию и успели как раз к сентябрьскому бабьему лету в австрийский Тироль — какой он представлял разительный

контраст с унынием севера, и какое счастье было уехать от дождей! По пути мы заехали в Веймар и увидели родину Гёте, проехали через чудесные леса Тюрингии и провели несколько дней в Мюнхене. Из Мюнхена мы поехали в Бад-Райхенхалль.

Из-за хронического паралича воли Джон все лето не отвечал Дороти, хотя всюду возил с собой ее рукопись: он обещался прочитать ее и вернуть ей с рецензией. Я принимала его бездействие за бездушие и ужасалась, не подозревая о тех муках, которые он переживал из-за разрыва с Дороти и невозможности изменить что-либо. Позже он рассказал мне, что в то время постоянно чувствовал себя так, будто его грудь рвут волки. Добравшись до Тронхейма, он наконец провел несколько дней за ее книгой и вернул ее. По чудовищной случайности — как часто это бывает — в страницы рукописи, пока я ее читала, упало розовое перо от моего белья. Дороти нашла его и страшно расстроилась. Она страдала и надеялась, что после свадьбы Джон вернется к ней, но в тот момент она осознала, что этого не случится.

Мне кажется, Джона, помимо прочего, привлекало во мне то, что я была полной противоположностью Дороти. Я относилась к жизни совсем не так серьезно и никогда не суетилась. Я шутила обо всем на свете, и он помог мне развить остроумие и даже с удовольствием составлял мне контраст своей серьезностью. Я была так безответственна и полна энергии, что, без сомнения, со мной он получал совершенно новый опыт. Я была легка, а Дороти — тяжела. Она постоянно болела, а я имела отменное здоровье. Они с Джоном оба страдали от бессонницы. Со мной он мог всю ночь не сомкнуть глаз и читать книгу, пока я спала, словно младенец. Дороти была неряшлива и одевалась безвкусно. У нее были пухлые ноги, в отличие от моих. Джон даже называл меня «птичьими косточками». Его не смущал мой странный нос — в честь него он дал мне кличку «собачий нос». Занятно, что мы с Дороти обе обладали красивой формой черепа и напоминали друг друга только этим.

Когда мы добрались до Бад-Райхенхаля в Баварии, в нескольких милях от австрийского Тироля, мы решили остаться там на весь сентябрь. Джон хотел написать статью, которую он пообещал какой-то английской газете, но, конечно же, так этого и не сделал.

Австрийский Тироль — мой любимый край в Европе. Я обожаю его скалистые горы, на которых растут прямые, словно телеграфные столбы, деревья. Люблю тихо говорящих австрийцев и прекрасную атмосферу расслабленности, которая их окружает. Разумеется, это было до Аншлюса. Помимо того озера, что Дэвид

Лоуренс описывал в «Кукле капитана», там есть множество других, не менее живописных; посередине одного стоит монастырь. Мы съездили в будущую резиденцию Гитлера, Берхтесгаден, не подозревая, что будет значить это имя через несколько лет, а оттуда — в Зальцбург, но опоздали на музыкальный фестиваль. Джон когда-то жил в этом городе, и у него остались странные воспоминания о Стефане Цвейге, которого он там повстречал.

Думаю, это был один из самых счастливых периодов нашей жизни. Мы познакомились с англичанином и его женой-датчанкой, у которых была дочь возраста Пегин, так что мы все нашли себе компанию. Бад-Райхенхаль представлял собой одну из этих унылых здравниц, где положено принимать ванны и поправлять здоровье, но мы проводили там мало времени и больше ездили на автомобиле по окрестностям.

В Мюнхене мы купили фонограф и большое количество пластинок, и только тогда Джон начал учить меня по-настоящему ценить музыку. Он пришел в ужас от моего отвратительного вкуса. Ничего удивительного: в то время мне больше всего нравились «Мелодия фа-мажор» Рубинштейна и «Грезы» Шумана. Он привил мне любовь к Моцарту, Баху, Бетховену, Шуберту, Брамсу, Гайдну, Генделю, а позже к Стравинскому и его «Шестерке». Пройдя посвящение, я могла часами сидеть и слушать музыку, но всегда предпочитала делать это дома. Изредка Джон водил меня на концерты и оперы Моцарта.

Мы вернулись в Прамускье в начале октября и, как я уже сказала, всего на двадцать минут подвели Лолу — первого щенка она родила еще в автомобиле. Это были прелестные зверьки, но южный климат не пошел им на пользу, вероятно, из-за их северных корней: Тронджин погиб от чумки.

Скоро мы заскучали и отправились в Париж. Поначалу мы остановились в отеле «Бургундия и Монтана» рядом с площадью Пале-Бурбон. Я решила продать виллу в Прамускье и отдать Лоуренсу вырученные деньги, поскольку давно считала дом его собственностью и подарком от меня, хотя оформлен он был на мое имя. Я послала грузчиков за мебелью и разделила ее пополам с Лоуренсом. Свою часть я поместила в камеру хранения. До этого я уже отдала ему «испано-сюизу» в качестве компенсации расходов на развод.

Лоуренс скрывал подробности своей личной жизни, но вскоре я случайно узнала, что он снова стал отцом. У него родилась дочь, и я попросила разрешения увидеть ее. Я плохо себя чувствовала после операции, которую провел надо мной в монастыре замечательный русский врач Попов. Монахини там

были строгие и нечистоплотные и не понимали, что я там делаю. Тем не менее они пытались ухаживать за мной и как-то воскресным утром разбудили меня в шесть утра, чтобы я положила в рот термометр, но так и не вернулись за ним. Когда я возмутилась, они оправдались тем, что были заняты молитвой. Доктор Попов, предположительно, был акушером русской великой княгини и однажды прислал ее в этот монастырь для проведения *кюретажа*[21]; ему приписывают фразу, неожиданно произнесению прямо посреди операции: «*Tiens, tiens, cette femme est enceinte*»[22].

Вернувшись из Прамускье, я привезла с собой свою обожаемую Лолу. До этого она никогда не жила в большом городе и в первое же утро во время прогулки со служанкой от страха вырвалась и убежала. Мы надеялись отыскать ее в приюте для потерянных собак, или *fouriere*, и месяцами ходили туда каждый день. Потом мы сократили количество визитов до двух — трех в неделю. Никогда я еще не видела столь грустного и душераздирающего зрелища. *Fouriere* был полон созданий, которые поднимали ужасный вой, стоило кому-то к ним войти. Каждый день там появлялись новые потерявшиеся питомцы, но не Лола. Собаки, должно быть, думали, что мы пришли за ним, или надеялись снова увидеть своих хозяев. В конце концов нам пришлось сдаться. Кому-то Лола, видать, полюбилась так же, как и нам, иначе нам бы ее вернули — мы разместили трогательное объявление в «Пари-Миди» и пообещали за нее щедрое вознаграждение.

В то время наши отношения с Лоуренсом стали несколько теплее, и он каждый четверг позволял мне целый день проводить с Синдбадом, но никогда не давал ему оставаться на ночь у меня дома. Потом он переехал в Марну; мы встречались на полпути, и я везла Синдбада ненадолго в Париж и возвращала вечером. Для ребенка это оказалось слишком утомительно, поэтому я стала сама приезжать в Ла Ферте, где они жили, и там искать места для прогулок. Само собой, из этой затеи не вышло ничего хорошего, и однажды Лоуренс устроил сцену, когда я привела Синдбада домой, поэтому я решила отложить свои визиты в надежде, что мне позволят пожить с сыном часть лета.

Эмили Коулман была в Париже, и мы часто виделись с ней. Мы вместе по четвергам водили гулять Синдбада и Джонни, почти ровесников — они остались друзьями на всю жизнь. Как-то вечером в кафе я оставила Эмили и Джона и села за столик к Лоуренсу, не подозревая, какую реакцию это вызовет у Джона. Он совершенно обезумел, и Эмили пришлось пройтись с ним по улице, чтобы он успокоился. На следующий день она

предостерегла меня, что я играю с огнем; тогда я впервые осознала, какая страстная натура скрывалась под внешним спокойствием Джона Холмса.

Мы арендовали меблированные апартаменты со студией на рю Кампань-Премьер, и поскольку договор был заключен на мою фамилию по мужу, Джона часто называли Вэйлом, что немало раздражало Лоуренса. Во избежание дальнейшей путаницы я решила вернуть фамилию Гуггенхайм.

Я познакомила Джона с Хелен Флейшман и Джорджо Джойсом. Мы часто встречались с ними и его родителями — Джеймсом Джойсом и Норой. Их семья жила дружно, и Джона, противника семейных ценностей, поражало, как Джорджо может иметь столь близкие отношения с родителями. Лючия Джойс, сестра Джорджо, тоже часто бывала с ними. Это была милая девушка, студентка танцевального училища. Джорджо обладал приличным басом и пел для нас, иногда вместе с отцом-тенором. Джону нравилось беседовать с Джойсом, но поскольку он не умел льстить, их знакомство осталось поверхностным. Они оба раньше жили в Триесте, и я помню, как они жаловались друг другу на ветер борей, главную напасть Триеста. Когда он дул (а иногда он не утихал по несколько дней), на улицах натягивали веревки, чтобы люди могли передвигаться, держась за них.

Внезапно из Америки приехала моя мать. Я не виделась с ней с самого расставания с Лоуренсом, и хотя развод она одобряла, она считала, что я сошла с ума, отдав ему Синдбада, и никогда мне этого не простила. Она не подозревала о Джоне, и посвятить ее в ситуацию было непростой задачей. К счастью, на момент ее приезда в Париже оказались Эдвин Мюир с женой, и они были у меня в гостях, когда мама добралась до моего дома. Это было хорошее начало. Она не могла поверить, что я живу с Джоном и не собираюсь выходить за него замуж. Она всегда называла его мистер Холмс и держалась с ним формально. Он ей никогда не нравился; она считала его ужасным человеком, раз он женился на Дороти и к тому же не работал. Я попыталась впечатлить ее его происхождением. Она записала в свой блокнот: «Губернатор объединенных провинций Индии». После некоторого расследования она пришла ко мне и сообщила, что я ошиблась и на самом деле он должен носить имя лорд Ридинг. Тем не менее ей пришлось принять Джона, поскольку она понимала, что иначе я не смогу с ней видеться. Однажды вечером, когда у нас в гостях были Мюиры, к дверям подошла Дороти и стала кричать, что они не имеют права водить со мной дружбу.

Эдвин Мюир мне нравился с самого начала. Он был таким хрупким и застенчивым, таким чувствительным и чистым, что

невозможно было не проникнуться к нему симпатией. В нем чувствовался талант, хотя скромность не позволяла ему им кичиться. Он выглядел так, будто слишком долго спал у огня и никак не мог отделаться от дремоты. Им пришлось пережить непростые времена, когда они мучительно сводили концы с концами только благодаря переводческому труду. Из всех заслуг больше всего известности им принес перевод «Еврея Зюсса». Они перевели Кафку и, таким образом, открыли его для англоговорящего мира. Мюир всегда советовался с Джоном перед тем, как издавать свои книги. Однажды он этого не сделал, и книга, по мнению Джона, оказалась провалом. Мюир обожал Джона, и когда после его смерти я попросила его написать что-нибудь о нем, вот что он мне прислал. Позже он расширил этот фрагмент и включил его в свою автобиографию, «История и сказка»:

«Я впервые встретил Джона Холмса воскресным утром в Глазго летом 1919 года. Его привел ко мне в съемную квартиру Хью Кингсмилл, когда я собирался на прогулку за город: я открыл дверь и услышал, как по лестничному пролету эхом разносится их английский говор. Хью надо было ехать в Бридж-оф-Аллан, а Джон согласился присоединиться ко мне. Это был безветренный теплый день. Мы бродили по вересковым пустошам на юге Глазго, пообедали в небольшой чайной и вернулись вечером, по дороге пройдя мимо процессии влюбленных пар длиной в две мили. Холмс был в униформе шотландской армии — шотландском берете, рубашке цвета хаки и клетчатых штанах. О том дне я помню только, что в какой-то момент мы стали спорить о Патере, а потом обсуждали преимущества ветреной и безветренной погоды: Холмс ненавидел сильные ветра, а я, будучи тогда поклонником Ницше, наоборот, их любил. На обратном пути он стал цитировать Донна, о котором я тогда не знал, и помню, как мы стояли, прислонившись к воротам, вдыхая запах сена, и он мягко произнес:

> Так, плотский преступив порог,
> Качались души между нами.
> Пока они к согласию шли
> От нежного благоусобья,
> Тела застыли, где легли,
> Как бессловесные надгробья[23].

Затем он продекламировал первую строфу „Мощей“, с особым чувством задержавшись на образах воскресших любовников, чьи души, „вернувшись в тело“, встретятся вновь,

„на Суд спеша“. Эти строки были созвучны пейзажу вокруг нас — круглым стогам сена на полях и долгой череде пар, напоминавшей похоронную процессию в лучах вечернего солнца.

Первое, на что я обратил внимание в Джоне, — это его спокойная бдительность, которая навела меня на мысли о Ветхом Завете, близком каждому шотландцу. Под конец дня его бдительность превратилась в бдительную благожелательность, свойственную Холмсу черту в обществе тех, кто ему нравился. В следующий раз мы встретились в Лондоне после моей свадьбы и позже часто виделись в Дрездене, Форте-деи-Марми и на юге Франции, где нам обоим случилось жить; после этого — в Лондоне.

В Холмсе как ни в одном другом человеке чувствовался гений, и я полагаю, он был одной из самых выдающихся личностей своего времени — а может, и не только своего. Его инстинктивную твердость и грацию в физическом плане разделял странный контраст с болезненной скованностью его воли. Он двигался, как могучая кошка: он любил залезать на деревья и вообще все, на что можно залезть, и славился престранными достижениями: например, мог с огромной скоростью бегать на четвереньках, не сгибая ног; ходить пешком ему было скучно. Он умел быть и неподвижен, как кошка, — сидеть часами на одном месте без движения, но потом его вдруг наполняло бескрайнее уныние; он словно оказывался заперт в темнице глубоко внутри себя самого, без надежды на побег. Его тело как будто позволяло ему получить все возможные наслаждения; его воля — испытать любое страдание. В нем постоянно происходила борьба, которую Вордсворт отмечал в Кольридже: „невозможно описать ту силу воли, какой ему стоило хотеть чего-либо“. Сам процесс письма представлял для него громадную сложность, хотя его единственной амбицией было стать писателем. Осознание собственной слабости и страх, несмотря на все свои таланты, в коих он не сомневался, ничего не произвести на свет, накаляли вечную внутренюю борьбу и повергали его в состояние лихорадочного бессилия. Его преследовали жуткие сны и кошмары.

Его разуму была присуща величественная ясность и упорядоченность, и когда он обращал его на что-то, предметы как по волшебству возвращались в свою исконную форму и представали тем, что они есть на самом деле, в их подлинном соотношении между собой, как в самый день их создания. Однажды он замыслил написать поэму и наглядно описать в ней эволюцию видов и то, как различные формы жизни развились от одного архетипа, в сжатой временной ретроспективе; он часто

прибегал к такому приему в речи. В его речи не было поверхностной искрометности; она бывала неуклюжа; часто он как будто не мог закончить предложение и натыкался на то же препятствие, что не давало ему писать. Его ораторский талант делал уникальным тот факт, что он всегда говорил по существу; он никогда не бывал банален или вторичен, но всегда говорил о реальных вещах. Он мог развеселить и любил остроумную беседу, но именно в существенности заключалось его отличительное свойство. В его речи явственно проступала его благожелательность: он словно смотрел на вещи с братским участием и помогал им найти самих себя. Он не чурался и низменного юмора; я помню, как однажды он цитировал стихотворение Т. И. Брауна:

Бог ведает, как чуден этот сад…

Он делал это нарочито напыщенно и доходил до истеричного возмущения к строке:

Нет Бога! В саду, где вечера ПРОХЛАДНЫ?

И переходил на сдержанную снисходительность на последних строках:

Что ж, мне был дан знак…
Я знаю: Он гулял в моих садах.

Как и Хью Кингсмилл, я отчетливо ощущал в нем благость, хотя сам он себя считал далеким от собственного представления о благе. Из всех, кого я знал, он отчетливее всего дал мне представление о благости как о простейшей, осязаемой вещи. Порой он источал благость столь естественную и исконную, что казалось, будто Великое грехопадение еще не свершилось, и мир только ждет пришествие зла. Эти „благие“ времена вызывают в уме картины изобилия, сытого скота, богатых полей, полноводных рек, неиссякаемых яств и питья, когда всякая вещь радостно следует зову своего естества. Он обладал даром простого наслаждения, которое, как говорил Йейтс, сопутствует благости,

Коль скорбный не выдался час, —

Эта строка всегда вызывала у него улыбку. В равной степени остро он чувствовал зло и глубоко осуждал грех; однако в нем не было ни капли пуританства, и мне видится, что в конечном счете чувство вины в нем рождалось из ощущения себя бессмертной душой, пойманной в силки этого мира, узы которого ей одновременно приятны и ненавистны. Его неспособность выразить себя была по большей части вызвана силой этого чувства, но оно же усугубляло тяжесть вины, которая росла по мере того, как он терял волю к писательству».

Весной мы с Джоном, Пегин и ее нянькой, пока Дорис была в отпуске, проехали на автомобиле всю Бретань. Без конца либо шел дождь, либо от тумана казалось, будто он идет. Мы ни разу не увидели солнца. Бретани свойственна дикая и необузданная красота, с крутыми утесами и красными землями. Там часто встречались славные пляжи, но без солнца они выглядели малопривлекательными. Мы видели чудесные старые кельтские церкви и много раз проезжали мимо ранних скульптур Христа. Эти *calvaire*[24] были очень просты, но удивительно красивы.

Мы хотели арендовать дом на лето, но после бесплодных поисков по всему полуострову оставили эту идею. Идеального места мы найти не смогли. Когда речь шла о месте жительства, Джон никогда не шел на компромиссы. Он мог месяцами искать дом, где собирался прожить совсем недолго. Мы обычно тратили на поиски половину лета, но он всегда в итоге находил идеальное место. После Бретани мы объехали всю Нормандию, но и там ничего не нашлось. В конце концов, отчаявшись, я предложила поехать в Страну басков в Сен-Жан-де-Люз, где тогда проводили лето Хелен и Джорджо Джойс. Когда мы уже готовились к выезду, объявилась Эмили, и мы взяли ее с нами до Пуатье. Мы проехали по долине Луары и вновь посетили все замки. Мы ели роскошную еду и пили изумительное вино — Джон был гурманом и экспертом в урожаях винограда — во всех провинциальных городах на нашем пути. Мы никогда себе ни в чем не отказывали.

Добравшись до Сен-Жан-де-Люз, мы стали вновь искать дом. Хелен и Джорджо жили в центре города и хотели, чтобы мы остановились поблизости, но Джон, разумеется, запротестовал. В конце концов мы нашли очаровательную виллу в нескольких милях от города, у подножия Пиренеев. Она стояла на высоком холме, в совершенном уединении. Она называлась «Беттири Баита» и принадлежала художнику по имени месье де Боншуз — самому высокому человеку, что я встречала в жизни. Рядом с ним даже Джон казался карликом. Он самостоятельно построил этот дом из камня, добытого на том же участке. Месье де Боншуз на самом деле хотел продать и виллу, и землю, но в результате сдал

ее нам за крошечную сумму. Когда мы все же добрались туда, мы провели замечательное лето.

Наконец, мне разрешили провести с Синдбадом две недели. Лоуренс хотел это время жить неподалеку, по всей видимости, все еще опасаясь, что я сбегу с сыном. Дабы развеять его страхи, я предложила ему взять в заложницы Пегин в сопровождении Дорис. Когда он согласился, мы отправились через весь юг Франции на поезде в Сен-Максим, где обменялись детьми. Лоуренс тогда жил в Кавальер рядом с Прамускье. После обмена я поехала с Синдбадом к Эмме Голдман; у нее мы провели один день, и затем я вернулась с ним домой. Лоуренс забил ему голову небылицами и велел не дать себя украсть. По словам Синдбада, Лоуренс внушил ему, что если он не приедет сам, то я пошлю за ним полицию. Судя по всему, Синдбад также пообещал Лоуренсу не ступать ногой в Испанию (мы жили от нее всего в нескольких милях). Так, он отказался идти по мосту между границами, а когда мы осматривали подземные гроты, некоторые из которых заходили под испанскую землю, Синдбад все время просился наружу. Мы совершили небольшую поездку в Гаварни, где гуляли по леднику и катались по Пиренеям. С нами была Эмили, что нам сильно помогло. Я сидела с Синдбадом на заднем сиденье автомобиля и постепенно возобновляла наше общение. Я снова стала выдумывать для него удивительные истории, как я делала раньше. Он обожал их слушать.

Джон обладал потрясающим атлетизмом. Когда он был пьян, залезал на каминные трубы и стены домов с ловкостью кота. Он мог нырять с огромной высоты, словно птица, и плавал, словно рыба. Еще он хорошо играл в теннис и из-за своего роста непревзойденно держался в позиции у сетки. Все его тело было таким подвижным и эластичным, что он мог делать с ним что угодно. Он лазал по скалам, как горная коза, и ходил в опаснейшие походы на побережье. Я ужасно боялась скалолазания, и вместо меня его сопровождала Эмили. Он брал с собой Синдбада, и они стали хорошими друзьями, когда тот оттаял. Когда две недели подошли к концу, мне пришлось отвезти Синдбада обратно к Лоуренсу. Расставаться с ним было мучительно, особенно с учетом того, что в следующий раз нам предстояло увидеться только на Рождество.

Когда я вернулась с Пегин и Дорис, Джон повез меня и Эмили в короткое путешествие в Испанию к вершинам Пиренеев. Мы жили практически на границе, и округа полнилась контрабандистами, которые пешком выносили из-за границы огненную воду и сигары и прятали под кустами вокруг нашего дома. Мы поехали в Памплону, город, увековеченный Хемингуэем

в «И всходит солнце». Я снова так грустила из-за разлуки с Синдбадом, что поездка не произвела на меня большого впечатления. Я помню только быков, которых гнали на фермы через город.

Джон с Эмили часами могли разговаривать о литературе. Я часто оставляла их и шла спать рано. Целыми днями я пряталась в своей раковине и читала «Американскую трагедию» Драйзера. Однажды мне приснилось, что я зашла в уборную и застала Джона и Эмили в ванне за чтением поэзии. Я одновременно радовалась присутствию Эмили и не выносила его. В ней так кипела жизнь, что, несмотря на всю ревность, я всегда посылала за ней, когда мне становилось скучно. Она намеревалась выжать из Джона каждую каплю знаний до последней и не отступала от него ни на шаг. Как-то раз, разозлившись на него, она выкрикнула в ярости: «Надеюсь, я тебя больше никогда не увижу!» Я писала письмо Синдбаду и невозмутимо ответила ей: «Это можно устроить», но, разумеется, ничего такого не произошло, и наши жизни продолжили переплетаться только сильнее. Эмили постоянно жила с нами и сопровождала нас во всех поездках. Она словно была нашим ребенком. Она страстно любила писать и присылала Джону бессчетные страницы своих стихов, когда была не с нами. Когда-то он вздыхал и стонал от отчаяния; когда-то они ему нравились.

Тем летом я наконец, спустя два года, получила развод.

Осенью мы вернулись в Париж и поселились в отеле «Рояль-Канде» рядом с Одеоном. Мы начали исступленно искать дом, и Джон, как всегда, забраковывал все, что мы находили. В последний момент, когда я пыталась угрозами заставить его въехать в замечательную квартиру, которая пришлась ему не по душе, он нашел идеальный дом. Его как будто возвели специально для нас — так он безукоризненно подходил нам по всем параметрам. Его построил для себя Жорж Брак, художник. Это был словно маленький небоскреб с одной-двумя комнатами на каждом из его пяти этажей. Он располагался в далеком от центра Парижа рабочем квартале, на авеню Рей, почти в Порт-д'Орлеан; напротив нашего дома было подземное водохранилище, а позади — сад. По соседству с нами жили художники. С одной стороны находилась школа живописи Амеде Озанфана. С верхнего этажа открывался невероятный для Парижа вид. Перед домом простиралось целое поле травы, росшей на водохранилище, а летом сено собирали в аккуратные стога, и нам казалось, будто мы где-то вдали от города. На крыше была терраса и небольшой бассейн, о которых мы не подозревали много лет и узнали, только когда их обнаружила Габриэль

Пикабиа, арендовавшая у нас дом. Мы спали на верхнем этаже и чувствовали себя словно в гнезде на вершине дерева. Там же находился кабинет Джона. Окнами он выходил на водохранилище, отчего было холодно и неуютно, и едва ли Джон стал бы там работать, даже если мог писать. Этаж ниже занимала одна большая комната, которая служила и библиотекой, и гостиной, и столовой, и гостевой при необходимости; она же была музыкальной комнатой, где мы целыми днями слушали фонограф. На второй год мы купили английский граммофон ручной работы с огромной трубой из папье-маше. Эта комната представляла собой просторную студию с окнами до потолка, выходившими на оба фасада. Ниже был этаж Пегин и Дорис с двумя комнатами; еще ниже находилась кухня и комната повара, а на первом этаже был гараж, где мы держали свой «пежо».

Мы прожили в этом доме три года, но, конечно, никогда там подолгу не задерживались и постоянно были в разъездах. До того как мы сняли этот дом, мы подписали договор аренды на три маленькие квартирки в огромном здании рядом с авеню д'Орлеан. Оно было построено для художников, и в каждой квартире имелась своя мастерская. Строили его из дешевых материалов и с тонкими стенами. Джон не выносил шума и потребовал, чтобы в наших квартирах поставили пробковые стены. Компания, владевшая зданием, разорилась и закончила работу только через несколько лет. К тому времени мы уже жили в нашем доме-небоскребе. Мы пытались вернуть вложенные деньги, но французы умеют очень крепко держаться за то, что уже у них в руках. Нашему адвокату не удалось отвоевать ничего из тех двух тысяч долларов, которые мы заплатили за аренду, перепланировку и так далее. Могла ли я знать, какую услугу я оказываю своему будущему мужу. Когда спустя много лет я познакомилась с жильцом той квартиры, он рассказал мне, что его мастерскую значительно улучшила какая-то сумасшедшая американка, сделав в ней пробковые стены, как у Пруста. (Этим жильцом оказался Макс Эрнст.)

Джон отвез меня в Антверпен к Эмили на нашем новом «Деляже». Ей оставалось провести с мужем, менеджером рекламного агентства, последние шесть месяцев. Это было худшее время для поездки на север: всю дорогу мы ехали сквозь туман. Мы провели там недолгое время, и лучшее, что мы сделали, это послушали оперу Моцарта «Дон Жуан» на фламандском. На обратном пути я набила машину сигаретами «Плейер» бельгийского производства — они стоили гораздо дешевле французских. На границе автомобиль стали обыскивать и извлекли сигареты из всех тайников. Каждый раз, когда офицер

таможни спрашивал меня, есть у нас еще сигареты, я говорила, что он уже все нашел, и каждый раз он, к моему стыду, находил все новые. Наконец он забрал у нас все и серьезно оштрафовал, сказав, что мог бы и конфисковать автомобиль, но не станет. Он отнял у нас все до пенни и все сигареты, и нам пришлось ехать до дома с пустыми карманами.

Той зимой мы часто виделись с Гарольдом Лебом, моим кузеном и бывшим редактором журнала «Блум». Мы с Джоном испытывали большую симпатию к Джин Горман, чей муж, Герберт Горман, писал книгу о Джеймсе Джойсе. Горман носил в кармане ответы от людей, которым он писал о Джойсе. Они были ужасно обидные, но он радовался этим письмам и как будто не осознавал, насколько они для него оскорбительны.

Джон никогда не желал идти спать. Он любил сидеть за разговорами и выпивкой до поздней ночи. Джин Горман, с которой мы виделись почти каждый день, судя по всему, нажаловалась на нас Джойсу, потому что однажды она пришла к нам со стихотворением, которое он ей написал о нас:

Миссис Герберт Горман, которой не нравится, что ее гости засиживаются допоздна:

> Поставь коньяк на полку, не предлагай вина,
> Брось взгляд косой на стрелки, сама не будь пьяна,
> Пусть гости твое время транжирят почем зря,
> Они настолько с Холмсом, что Гуггенхайм нельзя.

Я сильно ревновала к Джин Горман — Джон был от нее в восторге. Мне самой она тоже нравилась; она была бойкой, гордой крошкой. Напоминала ящерицу. Она была несчастлива в браке, и, хотя собиралась расстаться с мужем, ей хватало гордости и характера хранить абсолютное молчание касательно своих личных дел даже в нетрезвом состоянии. В конце концов она уехала в Америку, получила развод и вышла замуж за Карла ван Дорена.

Пегин в то время ходила в двуязычную школу Мэри Джолас в Нюи и была очень счастлива. Дорис отвозила ее туда каждое утро на маленьком «пежо», который я ей купила для поездок по Парижу, и каждый вечер либо Дорис, либо мы с Джоном забирали ее оттуда. По большому счету, я проводила с ней в день только этот час — утром мы просыпались, когда она уже была в школе.

Джон спал плохо и поздно вставал. Большую часть дня он читал и каждый вечер ходил в клубы на Монмартре, кафе на Монпарнасе или в гости к друзьям, или же мы принимали знакомых у себя дома. Джон всегда искал общества после шести

вечера, поэтому, когда Пегин спускалась на ужин и ложилась спать, мы обычно отправлялись на поиски людей. Иногда мы приводили на ужин неожиданных гостей, но еды всегда хватало. У нас был удивительный повар. Когда Джон засиживался где-то допоздна, а делал он это часто, мне становилось скучно, и я шла домой без него. В те дни я почти не пила и не могла держаться с ним наравне. Порой он целый день проводил в постели с похмельем и поднимался только вечером. Я ужасно злилась, потому что мне казалось, что он лишает меня своего времени. Он никогда не просил меня уйти и расстраивался в мое отсутствие не меньше, чем я сама. Он очень зависел от меня и не любил терять меня из виду.

В мае мы вместе с Мэри Рейнольдс поехали в Италию — сначала во Флоренцию, потом в Ассизи, где Эмили уже несколько месяцев поправляла здоровье. Джон хотел посетить Абруцци — часть Италии, где я еще не бывала. Мы ехали вдоль берега Адриатики, не похожего на другое побережье Италии, которое я так хорошо знала. Джон мчал наш «деляж», словно самолет. Мне все время казалось, будто мы едем по воздуху, а не по земле.

На высокогорном переезде к Аквиле нас застала метель, хотя стоял май, и колеса нашего автомобиля обледенели. Мы остановились на очень скользкой дороге, покрытой снегом, чтобы посмотреть на вид за несколько футов до вершины. Справа от нас был обрыв глубиной в тысячу футов. Джон уговаривал нас развернуться и поехать обратно, пока мы не замерзли насмерть. Мы попробовали скатиться по склону несмотря на страшный риск сорваться с края дороги на повороте. Нам приходилось рассчитывать траекторию до сантиметра, да и то от этого было мало толку, потому что машина продолжала скользить по льду. Я не представляю, как мы справились; наверное, очень боялись умереть от холода.

Эмили тоже ехала с нами, но отказалась каким-либо образом помогать. Ей не нравилась вьюга, и она просто сидела в «деляже», пока мы Джоном и Мэри одной только силой воли пытались развернуть автомобиль и не дать ему сорваться с края. Джон подложил свой шарф под переднее колесо, чтобы оно меньше скользило, и мы стали раскачивать машину взад-вперед, опасаясь, что она в любой момент может упасть. Даже это не заставило Эмили сдвинуться с места. Мы толкали, дергали и разгребали в снегу пространство для колес. В конце концов мы спустились в долину и добрались до гостиницы в Норче, где нас приняли по-царски. Это было самое простое место, где мне довелось бывать. На стол подали целого ягненка и галлоны местного вина. Постели нам нагрели медными сковородами. Хозяева обходились

с нами так радушно, что мы вдвойне радовались своему спасению от смерти в снежной буре. Нам не терпелось увидеть край, где происходило действие «Пропавшей девушки» Дэвида Лоуренса — мы с Джоном были большими поклонниками его книг.

Оставив Эмили в Ассизи, мы отправились в Венецию. Впервые за мою жизнь с Джоном он разочаровал меня — он не разделил моей страсти к этому волшебному городу. Я вставала рано и каждое утро проходила многие мили, пока он спал. Всю вторую половину дня он этим возмущался, что меня расстраивало, и в итоге я решила уехать. Мне кажется, что его угнетала та атмосфера умирания, которая царит в Венеции. Я не могу придумать иного объяснения тому, что он не оценил место, где столько красоты всех форм и возрастов. Мы доехали до реки Брента и осмотрели причудливые летние дворцы венецианской знати, совершенно непохожие друг на друга, хоть и построенные все за одно столетие.

В июне мы снова начали колесить по Франции в поисках дома на лето. Наши отношения с Лоуренсом стали еще теплее, и теперь Синдбад приезжал ко мне на каждое Рождество, Пасху и на месяц летом. Пегин на такой же срок отправлялась к Лоуренсу. Это все сильно упрощало. Мы совершили поездку по живописной части Франции между Марселем и испанской границей. Она напоминала Вар, только там земли были более дикие и покрытые виноградниками. Местные маленькие городки — Пор-Вандр, Баниель, Сербер — полнились художниками и своей жизнью напоминали Сен-Тропе. После этого мы навестили своих друзей Негоев в Мирманде, в департаменте Дром близ Валанса. Они купили три старых дома в деревне на одной улице и жили безмятежной жизнью: он писал, а она рисовала, в этом странном средневековом городке, примостившемся на высоком холме и полном древних развалин. Джон не хотел уезжать, но я тянула его вперед, чтобы скорее найти дом для Синдбада — я не могла дождаться его приезда. Далее мы отправились в Верхнюю Савойю и обыскали все окрестности озера Анси, но в результате все равно оказались в Париже, где нам, к счастью, удалось разыскать месье Боншуза и снова снять его дом.

В том году Джойсы — Хелен и Джорджо — не жили в Сен-Жан-де-Люз. Они поженились весной и теперь уехали на лето с его родителями, Джеймсом и Норой, на север. Нам не хватало их и наших совместных партий в теннис. На часть лета к нам присоединилась Эмили и привезла с собой противного маленького итальянца, который до этого по очереди преследовал нас на улицах Ассизи, не отставая даже в церкви, где мы любовались на шедевры Джотто. Он был настолько

непривлекателен и неинтересен во всех отношениях, что Джон пришел в ужас. Он попытался раскрыть Эмили глаза, но это заняло у него месяцы. Я сказала, что как минимум воспользуюсь оказией и освежу в памяти итальянский, поскольку тот не говорил ни на французском, ни на английском. Джона этот факт избавил от многих пустых разговоров — он сам не говорил на итальянском.

Во время визита Синдбада они с Пегин начали ругаться, как кошка с собакой. Думаю, они ужасно ревновали друг друга из-за развода. Первые несколько дней всегда проходили в напряжении, потому что Синдбад всегда приезжал от Лоуренса с Кей полный ненависти к Джону. Синдбад говорил, что мы живем в роскоши, тогда как Лоуренсу и Кей приходится тяжело работать. Кей была посредственной новелисткой, но не настолько плохой, чтобы это помешало ей позже начать зарабатывать большие деньги, когда это стало для нее откровенной поденщиной. Они занимались переводами. Я обеспечила Лоуренса и Кей большим ежегодным доходом, который они держали в тайне, но Синдбад в это не верил, и мне многие годы приходилось терпеть упреки до тех пор, пока мне на помощь не пришла Джуна и не рассказала ему факты. Синдбад испытывал теплые чувства к Джону, который умел замечательно находить общий язык с детьми и подпитывать их духовно и умственно. Он брал их с собой лазать по скалам и плавать и играл с ними в хулиганские игры.

Однажды Джон повез меня с Эмили и ее итальянским другом в Испанию на выходные. Мы пришли в такой восторг от этой страны, что остались там на десять дней, не имея никакой одежды, кроме той, что была на нас. Я впервые в жизни присутствовала на боях быков, и они завораживали меня с каждым разом сильнее и сильнее. Мы увидели все виды корриды, от камерных деревенских боев до лучших боев Мадрида. Когда мы посмотрели на все, мое любопытство иссякло, и в следующий раз я увидела корриду только четырнадцать лет спустя, в Португалии. Самое яркое воспоминание из той поездки у меня осталось о пустыне, через которую мы ехали от Бургоса к Мадриду, потому что каждый раз при повороте перед нами открывался совершенно новый вид. Разнообразие пейзажей не знало предела, и дорога была отличная. Ее построил король Альфонсо для личного пользования. В Мадриде мы встретились с Джеем Алленом, старым другом Эмили. Они вместе работали в редакции чикагской газеты «Трибьюн» в Париже.

Как-то раз у нас сломался автомобиль и Джон попытался объяснить механику на ломаном испанском, что с ним не так. Механик вежливо сказал Джону не утруждать себя, поскольку наш

двигатель говорит на кастильском куда лучше самого Джона. В Авиле, куда мы приехали в четыре утра, на лужайке вокруг собора паслись овцы, а в Толедо мы целый день искали картину Эль Греко с видом этого города, не ведая, что она выставлена в музее Метрополитен в Нью-Йорке.

Нам пришлось мириться с итальянским другом Эмили всю зиму, после чего в один прекрасный день она вызвала Джона и сообщила ему, что все кончено. Я почувствовала огромное облегчение и теперь наконец могла сказать то, о чем раньше приходилось молчать. Я отзывалась о нем так грубо, что Эмили под конец не выдержала и поставила мне синяк под глазом, на чем не собиралась останавливаться, но Джон пришел мне на помощь и оттащил ее от меня. Она была не совсем вменяема. Разумеется, моя мать решила, что это Джон ударил меня. Я была зла на Эмили многие месяцы и не видела ее.

На время Пасхи я договорилась забрать Синдбада и увезти его куда-нибудь на юг на десять дней. Лоуренс и Кей тогда жили в Ницце и собирались жениться. По какой-то нездоровой причине Лоуренс решил, что нам с Джоном нужно присутствовать на церемонии и последующем приеме. Он просто-таки вынудил нас присутствовать, выбрав дату на той неделе, когда мы приезжали в Ниццу. Мы не хотели идти на эту свадьбу, но нам пришлось — чтобы не расстраивать детей. С нами была Эмили с ее сыном, и мы все вместе приехали на автомобиле из Ле Райоль в Ниццу. Со стороны мы все казались чрезмерно дружелюбными.

Петер Негой, который всегда называл меня «леди Пегги», приехал на юг специально на эту свадьбу и попросил нас захватить его с собой на обратном пути в Париж. Мы с радостью согласились, но не учли одной проблемы — отсутствия места в машине. С нами ехали Синдбад, Пегин, Джонни Коулман с Эмили, не говоря уж о бессчетных чемоданах. Не знаю, как мы все влезли в наш «деляж». Удобно было только Джону на водительском кресле. Как назло, Петер попросил нас заехать в Мирманд за какими-то таинственными свертками для его жены. После Мирманда один из этих свертков неожиданно вылетел из автомобиля. Нам пришлось остановиться и вернуться за тем, что оказалось корсетами для жены Негоя.

После возвращения в Париж мы на несколько дней отправились в Лондон, и внезапно Джону пришла в голову идея остаться в Англии на все лето. Он не жил там уже много лет и теперь почувствовал, что сможет найти там идеальный загородный дом на несколько месяцев. Мы арендовали машину и объехали весь Дорсет, Девоншир и Корнуолл. Нас привлекал Дорсет, но, конечно же, Джон не соглашался ни на один из

вариантов. Только когда мы вернулись в Париж, он решился написать владельцу великолепного дома на краю Девоншира. Мы сняли его на два месяца.

Дети тогда были с Лоуренсом в Австрии. Я полетела в Цюрих, чтобы встретить их на полпути, и вернулась с ними в Париж. Из всех моих полетов на самолете к тому моменту этот выдался самым живописным. Мы летели над восточной Францией, усыпанной сельскими угодьями самых разных цветов, и потом над департаментом Юра.

Когда я забрала детей, мы выехали в Англию на двух автомобилях с Джуной Барнс, нашим поваром, служанкой и Дорис, которая вела «пежо». Мы сели на ночной паром в Гавре и утром высадились в Саутгемптоне. Оттуда мы отправились в Девоншир.

Глава 6
Хейфорд-Холл

Дом, который мы арендовали, назывался Хейфорд-Холл. Это была просторная незамысловатая постройка из серого камня возрастом около ста лет. Комнаты в ней располагались вокруг центрального зала с камином. Зал этот обладал приятными пропорциями, но его стены покрывали новые уродливые деревянные панели, и стояла некрасивая, хоть и удобная мебель. Как обычно в таких домах, там висели портреты предков его хозяев, кораблестроителей из Клайда. В дальнем конце этой комнаты было большое соборное окно. Из него было видно только огромные деревья, которые закрывали зал от солнца. Помимо одиннадцати спален мы больше не пользовались никакими комнатами, кроме крайне мрачной столовой, откуда перемещались в зал сразу же после еды. Уверена, что в стенах этого зала никогда не звучало столько разговоров ни до, ни после нас.

Детям мы отвели собственное крыло с несколькими спальнями и большой классной комнатой на первом этаже, и там правила Дорис. Сложно вообразить более удачное устройство, но я все равно разрывалась между увлекательными беседами и компанией своих детей. Они обедали с нами, катались с нами на лошадях, купались с нами и играли с нами в теннис, но в зал их пускали только в редких случаях. Спальни были простые и вполне пристойные, но кровати в них стояли жесткие, как армейские койки. Одна спальня была оформлена в стиле рококо и так напомнила нам Джуну, что мы сразу отдали ее ей. Именно в этой комнате, в этой постели она написала большую часть «Ночного леса». Позже она утверждала, что мы выделили ей эту спальню, потому что больше никто не хотел там жить.

Мы никогда не пользовались респектабельной гостиной с обитой ситцем мебелью и маленьким кабинетом, где имелась библиотека с худшими книгами в мире, лисий хвост и урна из ноги слона. Не дом сделал то время таким примечательным, но совершенно невероятные обстоятельства нашей жизни там и окрестности. Задняя дверь Хейфорд-Холла выходила в сторону Дартмура. К парадному входу вела аллея араукарий. Рано утром нас будили грачи, жившие на дереве напротив нашего окна.

Хотя Хейфорд-Холл и находился на окраине бесплодного Дартмура, поместью принадлежали собственные огромные сады, наполовину облагороженные, наполовину дикие. Один сад,

длиной в полмили, был окружен цветочным бордюром. Там были прекрасные лужайки, теннисные корты с ухоженной травой и два пруда с лилиями, где мы купались, но тем не менее создавалось ощущение, будто окружающая нас природа девственна и является продолжением болотистой пустоши. С наступлением темноты во все стороны начинали разбегаться кролики. Через небольшой соседний лесок тек ручей, а еще один ручей был рядом с домом.

Вересковую пустошь сложно описать: так она разнообразна и огромна. Сотни квадратных миль, которые населяли только дикие пони, земли, усыпанные костями, а то и целыми скелетами. На них росли лишь полынь да вереск. Болота покрывали пушистые белые цветочки, как будто предупреждая об опасности. Пустошь изобиловала ручьями и валунами. Ее рельеф был холмист, но иногда встречались великолепные ровные участки для конных прогулок. Где-то на другой стороне пустоши стояла Дартмурская тюрьма, но дорога туда и обратно занимала целый день верхом. Диких пони раз в год загоняли и объезжали. Мы арендовали их для прогулок, и, хотя эти нелепые создания совершенно не подходили для верховой езды, дети кое-как научились управляться с ними в загоне. Через несколько недель мы взяли их с собой в пустошь. У нас была одна настоящая лошадь. Когда пони сбрасывали детей и начинали нести, эта лошадь, на которой обычно ездил Джон, бросалась вдогонку.

Пони принадлежали однорукому эпилептику, который был очень добр и терпелив с детьми. Он никогда не уставал и не жаловался и приводил к нам по восемь пони за раз. Их уздечки и седла все время соскальзывали или рвались, а стремена невозможно было выровнять. Я помню одно седло, у которого не держалась подпруга, и в нем я съезжала все дальше и дальше вперед, пока не оказалась у пони на шее. В первый год обошлось без несчастных случаев. Следующий год стал фатальным, но об этом позже.

Разумеется, Эмили проводила все лето с нами и постоянно пыталась заполучить лучшую лошадь (хотя у нас всего-то и была одна хорошая). Эту охотничью кобылу звали Кейти. Остальные жалкие существа носили имена Старлайт, Молли, Трикси, Полли, Рони и так далее.

Как-то раз Синдбада сбросил Старлайт, любимец детей. Синдбад встал по центру загона и стал кричать: «Старлайт, Старлайт, вернись!» Но Старлайт ускакал, и за ним пришлось гоняться несколько часов. Большую опасность представляли болота, по ним нас водил однорукий конюх, который знал все тропы через пустоши. Часто мы оставляли его с детьми и вдвоем с Джоном скакали прочь — мы могли идти галопом часами, потом

терялись и чудом не попадали в трясину. Однажды Джон заехал в болото. Мы с Эмили закричали ему, чтобы он спешился, что он сделал и едва успел вытащить из топи лошадь.

В Хейфорд-Холле мы жили в полном отрыве от внешнего мира. Мы не видели никого, кроме наших гостей. Джуна и Эмили с сыном были с нами все время, а по выходным мы приглашали к себе друзей.

Отец Эмили, джентльмен пуританских взглядов из Новой Англии, приехал к нам в первое лето. Само собой, он решил, что я замужем за Джоном, и стал называть меня миссис Холмс, как и две служанки, оставшиеся охранять дом на случай, если мы станем вести себя по-варварски. Отца Эмили восхитил наш образ жизни и в особенности Джон. Он сказал Эмили, что Джон кажется ему сверхчеловеком из другого мира. Джуна привела его в ужас. Она называла его Папой, и ему это совершенно не нравилось.

Отца Эмили возмутило поведение его дочери: она бывала жадной за столом и закатывала скандалы, когда ей не позволяли ездить на Кейти — а ведь та была лошадью Джона. Как-то раз, когда отец отчитал ее за манеры за столом, она сказала: «Не хочу быть свиньей». Я спросила: «А кем же ты тогда хочешь быть?»

Джуну раздражало, что Эмили монополизировала Джона и не желала отпускать его ни на минуту. Они часто засиживались до утра; Джон пил, а Эмили нет. Она очень редко дотрагивалась до алкоголя. Ей это было не нужно — она и так была постоянно перевозбуждена. Джуна как-то сказала, что она станет прекрасным собеседником, если ее слегка оглушить.

На несколько дней к нам приехал Мильтон Уолдман. Он переживал нервный срыв, и, хотя Хейфорд-Холл произвел на него большое впечатление, едва ли он получил удовольствие от своего визита. Нас навещала моя мать, но она никогда не ночевала со мной под одной крышей, так как я не была замужем за Джоном. Она удивилась тому, как мы живем, ведь она полагала, что я веду распутную богемную жизнь на грани полного морального разложения. Еще к нам приезжали Уильям Герхарди с Верой Бойс и Антония Уайт с ее мужем, Томом Хопкинсом. Все эти люди оживляли нашу жизнь, но на самом деле мы чувствовали себя лучше вчетвером, даже если ссорились и выходили из себя. Мы как будто все время подначивали друг друга. Нам нравилось пикироваться. Однажды Джон попросил Синдбада принести ему ножницы, но Синдбад был чем-то занят и отказался. Джон пришел в негодование. Он сказал: «Юноше десять лет, а он даже ножниц принести не может». Я ответила: «Тебе тридцать пять, а ты не можешь принести ничего». Когда я стала жаловаться, что Джон не пишет, он сказал Эмили: «Пегги хотела бы быть женой

Стравинского». «Которого из них?» — спросила я в ответ. Как-то Джуна сказала Джону: «Вот еще, я бы даже палкой до тебя дотрагиваться не стала с расстояния десяти футов». Я ответила за него, что он с такого расстояния мог бы запросто дотронуться до нее своей. Это был легкий комплимент в адрес Джона, а не Джуны. Как-то вечером Джуна спустилась к нам, только что вымыв голову, и выглядела иначе, нежели обычно. Я окрестила ее «прелесть-петушок». Позже я уснула, как всегда, утомленная разговорами Эмили и Джона, и, когда проснулась, увидела, как Джон играет с мягкими пушистыми волосами Джуны. Я посмотрела на них и сказала Джону: «Если у тебя встанет, доллар упадет». Джуна как-то выдала в адрес Джона тираду: «Рыжая выскочка, вообразил себя Шекспиром! Напрасно блеском хвалишься, громила!»[25]

Джуна писала «Ночной лес». Она целыми днями не покидала четырех стен, за исключением тех десяти минут, когда выходила на прогулку в сад и приносила мне оттуда розу. Эмили грозилась сжечь рукопись «Ночного леса», если Джуна упомянет в ней о чем-то, о чем Эмили ей случайно проговорилась. Из-за этого Джуна боялась выходить из дома, опасаясь оставлять рукопись без присмотра. У нее не было подходящей одежды для улицы, но по вечерам она надевала одно из своих двух красивых французских платьев. Эмили постоянно носила один и тот же грязный свитер. Она даже ездила верхом в нем же. Я обычно надевала брюки для езды, как и Джон. Они хорошо на нем смотрелись.

Всю еду нам привозили из Бакфастли, небольшого городка в нескольких милях от нас, где строили аббатство. Дорис каждый день ездила туда на машине вместе с Мэри, нашей поварихой-француженкой. По четвергам она возила Мэри и служанку Мадлен в их выходной к побережью. Мы жили примерно в двадцати милях от Торки, шумного морского курорта. По четвергам мы ели стейки, пирог с почками и пастуший пирог, приготовленные английской горничной, которая присматривала за нами и домом.

Джон часто возил нас к морю и находил дикие бухты, где мы купались в тишине и покое. Еще мы ходили на местные скачки, в которых участвовали наши пони, так что можете себе представить, какого рода это было зрелище. Оказалось, что участников подкупали — позже мы выяснили, что всем победителям покровительствовал местный мясник.

В конце лета Джуна увезла Синдбада в Париж к Лоуренсу. Она написала, что при встрече они чуть не задушили друг друга в объятиях. Мы разрешили Дорис с Пегин навестить Пегги и ее

детей, а сами отправились в Бат и собор в Гластонбери через Сомерсет вместе с Эмили и ее отцом. Расставшись с ними, мы с Джоном поехали в Челтнем, где Джон увиделся со своей семьей. Разумеется, я не могла пойти с ним, поскольку мы не были женаты, но в отеле со мной встретилась его сестра. Дороти рассказывала ей про меня безумные истории, и она, должно быть, недоумевала от происходящего. Джон попытался впечатлить ее историями о нашей жизни в Хейфорд-Холле и показать, насколько действительность отличается от того, что она себе могла вообразить. Прощаясь, она попросила меня заботиться о Джоне. Я удивилась, ведь из нас двоих, скорее, я нуждалась в постоянной опеке. Как покажут грядущие события, мне действительно не приходило в голову, что о Джоне надо заботиться.

В январе мы поехали в австрийский Гаргеллен кататься с детьми на лыжах. Пока нас не было, Лоуренс с Кей жили в нашем доме в Париже. Синдбад катался хорошо, и даже Пегин уже набралась достаточно навыка от Лоуренса и могла сама стоять на ногах. Эмили поехала с нами и позвала с собой друга, Сэмюэля Хоара. Это был маленький смуглый шотландец, несостоявшийся писатель, который от отчаяния похоронил себя заживо в министерстве иностранных дел. Эмили преследовала его уже четыре года. Он любил ее, но отказывался на ней жениться, и только человек с ее верой в чудеса мог столько времени сохранять упорство. Она на время отступила, когда он уезжал в Италию, но теперь снова принялась за свое. Джону нравился Хоар своим умом и тем, что с ним было о чем поговорить. У меня он тоже вызывал симпатию, но поначалу его шокировала моя прямолинейность. Я годами пыталась сдерживаться в его присутствии, чтобы не пугать его. У меня неплохо получалось, и в итоге я завоевала его доверие и дружбу. Хоар очень хорошо катался на лыжах и брал с собой Джонни, сына Эмили, и Синдбада на долгие выезды. Худшего лыжного курорта, чем Гаргеллен, мы просто не могли выбрать. На стороне долины не шел снег, и все время там мы провели в бесплодном ожидании снегопада. Не знаю, как у Джона хватило решимости впервые встать на лыжи на этих скользких ледяных склонах. Я, само собой, к лыжам не притрагивалась и каталась только на санках. Под конец Джонни заболел ветрянкой, но мы этого не заметили и продолжили отдыхать. Вскоре ее подхватили и Синдбад, и Пегин.

Синдбад уже больше года сходил с ума по Марлен Дитрих и той зимой написал ей очень трогательное письмо. Он написал, что любит пиво и кататься на лыжах, и добавил: «Терпеть не могу Грету Гарбо. А вы?» Он попросил ее прислать ему подписанную

фотографию. Через несколько месяцев ему пришел ответ от одного из ее секретарей, что он может получить фотографию за доллар.

В середине марта мы поехали в Лондон. Дороти, по всей видимости, захотела помириться со мной. Ее новым хобби стала астрология, и она составила для меня гороскоп на пятидесяти страницах. Мы взяли ее с собой в поездку по холмам Костуолдс и долине Уэй. Мы остановились в местечке под названием Мортон-ин-Марш, где мы с Джоном спали на кровати с периной. Эмили жила на ферме поблизости, и мы все вместе катались по окрестностям на автомобиле и закончили маршрут в Уэльсе. Все шло хорошо, и только один раз Дороти устроила ужасную сцену, когда узнала, что Эмили жила с нами в Хейфорд-Холле. Ко мне она больше не ревновала и всю свою ненависть перенесла на Эмили.

Джон хотел помочь Джуне опубликовать в Англии ее роман «Райдер», который уже издали в Нью-Йорке. Он написал своему старому другу, Дугласу Гарману, из авангардного издательства. Тот встретился с нами в пабе «Чандос». Между нами немедленно вспыхнула искра. Я очень понравилась Гарману, и после паба он запрыгнул со мной на заднее сиденье автомобиля. Он предложил выручить меня пятью фунтами — тогда объявили мораторий, и в Англии закрылись все американские банки. Моя мать уже догадалась прислать мне телеграмму с указанием не продавать мой капитал. Я не могла получить от банков ни пенни. Гарман не стал публиковать «Райдера». Судя по всему, роман ему не понравился, но он попросил разрешения навестить нас в Париже на Пасху. Когда он приехал, я влюбилась в него. Я ничего не сказала Джону. Меня застал врасплох и привел в смятение такой поворот событий. Наверное, в Гармане я увидела настоящего мужчину, а не Христа или призрака, как в Джоне. Мне нужен был кто-то материальный, чтобы вновь почувствовать себя женщиной. Джон был равнодушен к мирской стороне жизни, и ему было неважно, как я выгляжу и что ношу. Гарман, наоборот, подмечал каждую деталь и комментировал мои наряды, что мне было очень приятно. Однажды он застал меня с метлой в руках. Наша горничная заболела, и я пыталась сама убраться в доме. Он заставил меня отдать ему метлу и позволить подмести, поскольку я, как он сказал, с этой задачей не справлялась. Потом мы обнаружили, что нам постоянно снится один и тот же сон, в котором мы оказываемся посреди Атлантики на неведомом острове с тремя дымовыми трубами. Джон начал ревновать меня, а как-то раз я выпила слишком много, и меня после званого ужина пришлось укладывать спать. Гарман решил подняться ко

мне и проверить, все ли со мной в порядке, и из-за этого у нас возникло еще больше проблем. Потом он вернулся в Англию, и мы не видели его несколько месяцев. Но у меня было странное предчувствие, что однажды я стану его любовницей.

Весной Мильтон Уолдман предложил нам свой арендованный дом в Лондоне, и мы переехали на Тревор-сквер. Мы часто устраивали вечеринки и настолько обжились там, что решили остаться в Англии. Мы хотели вернуться в Хейфорд-Холл, поэтому послали за Пегин, Дорис и кухаркой. Пегин приехала в Фолкстон с такими растрепанными пышными волосами, что Джон прозвал ее Пушком, и это имя пристало к ней на много лет.

Гарман был разведен и имел дочь, Дебби, ровесницу Пушка. Однажды мы пригласили их на чай и поразились тому, насколько девочки похожи. Они обе отличались флегматичностью и походили на двух волов в одной упряжке. Гарман был чрезвычайно хорош собой. Он был выше Джона, у него были русые волосы и карие глаза (один поврежденный), красивый слегка вздернутый нос и бледная кожа. Он был еще одним отчаявшимся поэтом. Гарман написал книгу стихов и захотел обсудить ее с Джоном, чем поставил его в неловкое положение. Джон все же смог найти одну строчку, которая ему понравилась, и с привычным ему тактом и лицемерием справился с ситуацией. От бесед с Гарманом он не получал большого удовольствия.

В Париже той весной мы познакомились с Юджином Джоласом, редактором журнала «*transition*». Джону он очень нравился, и они ночами напролет пили и цитировали Гёлдерлина, чьи стихи Джолас знал наизусть. Жена Джоласа, Мария, пела дуэтом с Джорджо Джойсом — у нее тоже был очень красивый голос.

В июле мы вернулись в Хейфорд-Холл. На второй год он показался нам еще чудесней — в нем ничего не изменилось, но теперь мы чувствовали его своим. Разница заключалась в том, что мы заслужили доверие, и грозная горничная-домоправительница с помощницей больше не следили за нами. Вместо них мы привезли двух своих слуг, которые работали на нас на Тревор-сквер: Альберта, чудесного кокни, изображавшего дворецкого, и его жену, печальную бельгийку по имени Луиза. С нами приехала кухарка Мария, но Мадлен, горничная, осталась во Франции. Альберт теперь отвечал за провизию и каждое утро ездил с Дорис за продуктами. Он все взял в свои руки и следил за тем, чтобы нам хватало выпивки, к которой он имел пристрастие. Кроме нас, он обслуживал еще и других людей через черную дверь. Я велела ему продать все пустые бутылки, но он сказал, что их никто не купит. Тем не менее он попался с поличным, когда в шесть утра

попытался провезти эту фантастическую гору стекла мимо нашего окна. Он крепко сдружился с мясником и постоянно проворачивал с ним темные сделки на скачках. Не сомневаюсь, что он именно ему и продал или отдал все бутылки. По четвергам, когда Дорис возила слуг отдыхать в их выходной день, ей всегда стоило большого труда заставить изрядно выпившего Альберта вернуться домой. Еще он свидетельствовал в суде против миссис Бойс, с которой развелся муж вскоре после ее визита в Хейфорд-Холл.

Во второе лето у нас бывало гораздо больше гостей, чем в первое. Разумеется, с нами была Эмили, которая вела себя еще хуже обычного, Джонни, Джуна, и несколько раз приезжал Сэмюэль Хоар. По дороге в Корнуолл у нас остановилась моя новая подруга Уин Хендерсон, чье имя позже часто звучало рядом с моим. Нас снова навестила моя мать, одновременно с друзьями Джуны — американо-французским художником Луи Буше и его женой и дочерью. Это был громадный мужчина высотой около шести футов и необъятной ширины. Его жена была маленьким элегантным созданием с очень молодым лицом и белыми волосами. У них была красивая дочь возраста Синдбада, и Синдбад в нее влюбился. Буше пили столько же, сколько Джон, а то и больше, и через несколько дней слегли — так им стало плохо.

В конце августа дети с Дорис улетели в Мюнхен. Там их должен был встретить Лоуренс, а я проводила их до Лондона и осталась на ночь со своей матерью. До этого я написала Гарману, что хочу увидеть его. Он пытался приехать в Хейфорд-Холл и звонил нам по пути в Корнуолл, но не нашел нас. Когда я писала ему, мои намерения были однозначны для меня, но явно не для него. Он получил письмо в Корнуолле, и ему не пришло в голову, с какой целью я могу ему писать. Он решил, что мне одиноко в Лондоне, и я захотела увидеться с ним по дружбе.

Вскоре после того, как я вернулась в Хейфорд-Холл, произошел несчастный случай, ставший причиной смерти Джона пять месяцев спустя. Все это стало следствием череды случайностей, каждой из которых можно было бы избежать.

Как-то раз в конце августа во второй половине дня он отправился на верховую прогулку в типичный дартмурский дождь. Дождь шел не такой сильный, чтобы ехать было совсем неприятно, но достаточно сильный, чтобы застлать стекла его очков. Наполовину ослепший, он не доглядел за Кэти, его лошадью, и та угодила ногой в кроличью нору и сбросила его. Он полностью вывернул запястье. Я испытала странное удовольствие, увидев его беспомощным, но вскоре оправилась от этого

наваждения. Джон привел Кэти домой пешком, и Эмили вскочила в седло и пустилась галопом за врачом. Врач приехал из городка Тотнес в нескольких милях от нас. Я помогла ему применить хлороформ, и он из рук вон плохо вправил запястье Джона на место. Джон испытывал чудовищную боль, и я настояла на том, чтобы мы добыли для него морфий. На следующий день он все еще ужасно мучился, и мы повезли его по ухабистым дорогам в больницу на рентген. Ему наложили гипс и велели ходить с ним шесть недель, и это время мне приходилось одевать и раздевать его, как ребенка.

В самом конце лета я решила, что Эмили перегнула палку. За несколько дней до своего запланированного отъезда она сказала мне: «Я провела здесь прекрасное лето». Я ответила: «Только ты, больше никто». Она так обиделась, что сорвалась наверх в свою спальню и начала собирать сумки, намереваясь немедленно уехать. Все надеялись, что я попрошу ее остаться. Я не стала этого делать и не сдалась даже на станции. Джон умолял меня передумать, но я была непреклонна.

Как только мы вернулись в Париж, я отвела Джона в американский госпиталь, где его снова осмотрели и сделали рентгеновский снимок. Там нам сказали, что у него в запястье откололся небольшой кусочек кости и посоветовали делать теплые солевые ванночки и массаж. Массажист оказался слепым. Его задачей было избавиться от лишней мышечной ткани, которая наросла в запястье и мешала свободно двигаться. На страдания Джона при каждом сеансе у слепого массажиста было невозможно смотреть. Пот струился по его лицу и всему телу. В конце концов массажист прекратил сеансы и сказал, что больше ничего не может сделать.

Мы решили переехать в Лондон. За все годы со мной Джон написал только одно стихотворение. Я только и делала, что жаловалась всем на его праздность, не осознавая, как ему тяжело это слышать. Он думал, что в Лондоне его вдохновит общество, говорящее с ним на одном языке, и он сможет снова начать писать. Он так плохо говорил по-французски, что никогда не мог вести интеллектуальную беседу с французами.

Когда он напивался, он все время твердил: «Мне так скучно, так скучно!», и этот крик словно вырывался из глубины его души и причинял ему огромную боль.

Мы сдали наш дом на авеню Рей и отправили Пегин с Дорис в пансион рядом со школой миссис Джолас до того времени, как мы обустроимся в Лондоне. К тому моменту рука стала позволять Джону водить, но он все еще не мог ею свободно пользоваться.

Глава 7
Смерть Джона Холмса

Мильтон Уолдман и Пегги пригласили нас пожить у них в Орчард-Пойл, пока мы ищем дом. Каждый день мы ездили на автомобиле в Лондон, осматривали все возможные неподходящие дома и к ночи возвращались в Бакингемшир. Как-то раз с нами поехала Эмили, и я вдруг решила довериться ей и рассказала про свою попытку встретиться с Гарманом. Она пришла в ужас и сказала, что я чудовищно безответственна и сошла с ума, ведь я рискую потерять Джона. Она так меня напугала, что тогда я решила больше не видеться с Гарманом и держалась своего решения до смерти Джона.

В конце концов мы нашли дом через Уин Хендерсон. Он располагался на Уоберн-сквер и, несмотря на дух XVIII века, стал очень приятным, когда мы избавились от его излишней чопорности. Джону предстояло прожить там только шесть недель — в этом доме он умер. Само собой, он так и не собрался написать что-либо, но в Лондоне у него действительно нашлось много собеседников, в том числе Хью Кингсмилл, который вернулся в его жизнь незадолго до ее конца, его дорогой друг Эдвин Мюир, Герхарди, который страшно веселил его, Хоар и многие другие люди.

Вскоре после нашего переезда как-то вечером я сильно напилась и в приступе стервозности решила раздразнить Джона историей про Гармана. Я рассказала ему о своем письме и влечении к нему. Джон чуть не убил меня. Он заставил меня целую вечность стоять перед открытым окном обнаженной (в декабре) и плеснул виски мне в глаза. Он сказал: «Я бы с радостью разбил тебе лицо, чтобы ни один мужчина больше не взглянул на него». Я так испугалась, что попросила Эмили остаться со мной на всю ночь.

Джон отправлял Дороти все деньги, что ему доставались от отца. Это была совсем небольшая сумма, всего двести фунтов в год. В один из своих визитов в Англию ему удалось увеличить ее еще на сорок фунтов в год. Дороти этого все равно не хватало. Она предпочла бы единоразовую выплату, но, поскольку все мои деньги находились в доверительном фонде, мне пришлось подписать документ, которым я обязывалась до конца ее жизни — даже если я сама умру раньше — обеспечивать ее суммой в триста шестьдесят фунтов в год. Позже отец Джона прислал ему сразу пять тысяч фунтов, чтобы избежать налога на наследство.

Джон вложил их в какие-то надежные государственные облигации. Я заставила его написать завещание в свою пользу. Вынудив его выйти за нее замуж, Дороти стала его законной наследницей, и теперь, когда я обеспечила ее доходом, мне показалось справедливым самой иметь право на его наследство. Странно, что я так много думала о смерти, как будто у меня было предчувствие скорой гибели Джона. Я волновалась, что в случае его смерти я, не будучи его женой, не смогу похоронить его без разрешения Дороти или его семьи. Разумеется, я хотела выйти за него замуж, но Джон не мог вынести даже мысли о бракоразводном процессе с Дороти, а я была слишком горда, чтобы настаивать. К тому времени его волю почти полностью парализовало — он не мог заставить себя даже написать записку. Когда мы обосновались на Уоберн-сквер, он захотел было поговорить с Дороти о разводе, но, конечно же, до этого дело так и не дошло.

На Рождество Синдбад приехал в Лондон. Пегин была с нами, и я лихорадочно пыталась их развлечь. Они были так избалованы, что не желали ходить никуда, кроме кинотеатров, цирка и пантомимы.

Все время, что мы жили в Бакингемшире, Джону делал массаж врач, которого рекомендовал Мильтон Уолдман. Но через какое-то время он тоже сообщил нам, что больше не в силах ничего сделать. Он сказал, что, если Джон хочет полностью восстановиться, ему нужно сделать операцию. Это подтвердил доктор с Харли-стрит. Требовалось удалить лишнее новообразование в его запястье под действием анестезии. Это заняло бы три минуты. Джон решил пойти на это. Мы договорились об операции, но в последнюю минуту ее пришлось перенести, потому что Джон подхватил простуду.

В конце рождественских каникул я отвезла Синдбада в Цюрих и там встретилась с Лоуренсом, жившим в Австрии. Расставание прошло очень болезненно. Синдбад плакал, потому что не хотел, чтобы я на целый день оставалась одна на вокзале в ожидании обратного поезда — других вариантов у меня не было. Я тоже начала плакать и не смогла остановиться. Я плакала всю дорогу до Парижа, где я встретилась с Мэри Рейнольдс. Она умоляла меня побыть с ней, но какое-то странное чувство тянуло меня обратно к Джону, и я села на следующий же поезд. Когда я приехала на вокзал Виктория, я думала о Синдбаде и винила Джона во всех муках, которые я столько лет терпела в разлуке с сыном. Я дала себе ужасную клятву больше никогда не видеть Джона. Меньше чем через тридцать шесть часов он был мертв.

Он встретил меня на вокзале и отвез домой. Наш дом был

полон людей. Внезапно он объявил, что, пока меня не было, Эмили договорилась об операции и ее проведут завтра утром. Друзей новости обеспокоили. У всех как будто возникло предчувствие, что это не к добру. Герхарди, который тогда писал книгу про астрал, сказал, что его дух непременно покинет тело под действием анестезии. Джон спросил в ответ: «А что, если он никогда не вернется?» Он пил допоздна и с утра проснулся с похмельем. Если бы я имела хоть какое-то чувство ответственности, я бы не позволила проводить над ним операцию. Не могу понять, почему мне было неловко сказать об этом врачам, которые один раз уже откладывали процедуру из-за простуды Джона. Как бы то ни было, я позволила им прийти. Джон хотел, чтобы я осталась с ним, и я имела полное право присутствовать при процедуре. Я держала его за руку, пока он не уснул, но потом врачи твердо и вежливо попросили меня покинуть комнату и подождать внизу. Процесс должен был занять не более получаса. Когда прошло полчаса, я стала нервничать и поднялась, чтобы послушать под дверью. Оттуда не доносилось ни звука, поэтому я снова спустилась вниз. Вскоре один из врачей спустился в холл, чтобы взять какой-то маленький сверток. Я почувствовала неладное и запаниковала, но не знала, что мне делать. Мне казалось, что прошло несколько часов, прежде чем они все спустились вниз — наш врач общей практики, хирург и анестезиолог, чьими услугами пользовался сам король. В тот момент, когда они вошли в комнату, я поняла, что произошло. Сердце Джона не выдержало анестезии.

После операции все трое отошли на другой конец комнаты, оставив Джона без присмотра. В какой-то момент терапевт заметил, что с Джоном что-то неладное, и они попытались привести его в чувство, но было слишком поздно. Они вскрыли его грудную клетку, вкололи в сердце адреналин и сделали прямой массаж, но безуспешно. Они убили его и понимали это. Им было страшно. Все, что они говорили, только ухудшало их положение в моих глазах. Они имели наглость извиниться передо мной за то, что это недоразумение произошло под моей крышей. Потом они начали рассказывать истории о людях, у которых сердце отказывало прямо на улице. Они знали, что последует расследование, и пытались оправдаться. Наш терапевт, он же врач Мильтона, позвонил в Бакингемшир и попросил его с Пегги приехать и присмотреть за мной. Зная, что они приедут не раньше чем через несколько часов, врачи все равно разошлись и оставили меня в полном одиночестве. Я поднялась и посмотрела на Джона. Он был далеко. Надежды не осталось никакой. Я знала, что больше никогда не буду счастлива.

Странно то, что на секунду я почувствовала облегчение, когда врачи сообщили мне о его смерти. Меня как будто освободили из тюрьмы. Я годами была рабой Джона и на миг вообразила себе, что хочу на свободу, но все было совсем не так. Я не имела ни малейшего представления, что мне делать и как жить дальше. Я была абсолютно опустошена. Приехали Пегги с Мильтоном. Не было никакой мрачной торжественности или искусственных переживаний. Я вела себя спокойно, и никто не суетился. Они послали за Эмили. Пегги, будучи практичной женщиной, сразу попросила Эмили пожить со мной несколько дней, поскольку ей самой надо было возвращаться к детям.

Многие годы я говорила Эмили, что больше не стану видеться с ней, если Джон умрет. Теперь же я была счастлива, что она готова отказаться от своей жизни и остаться со мной. Она спала в нашей комнате, и мы два месяца подряд говорили о Джоне, что меня спасло. Не знаю, что для меня могло бы быть лучше в то время. Вся моя ревность испарилась; мы рыдали вместе и делили друг с другом свое горе. Я сказала ей: «Теперь, когда Джон умер, никто не спасет нас от бесконечной опасности». И это была правда.

Во второй половине дня пришел гробовщик и увез тело Джона. Я попросила его снять с Джона часы и халат, после чего немедленно надела их сама — я сразу почувствовала себя ближе к нему и немного спокойнее. Но когда его тело стали спускать по лестнице, я вдруг вспомнила ту клятву, которую дала себе на вокзале Виктория, решив, что не хочу его больше видеть, и из меня вырвался ужасный вопль. Мне показалось, будто это я его убила.

Я хотела кремировать тело Джона, и мы послали за его сестрой, Беатрис, и Дороти. Джон умер 19 января 1934 года в возрасте тридцати семи лет. На следующий день был день рождения Дороти, а кремировали его в день рождения Эмили, 21 января. Необходимо было провести вскрытие и расследование. Эдвин Мюир настоял на том, чтобы на дознании присутствовал мой адвокат на случай непредвиденных осложнений. Меня допросил коронер, и я рассказала ему историю несчастного случая и последствий. Коронер был очень вежлив и участлив. К моему огромному удивлению, он произнес скорее как утверждение, а не вопрос фразу: «И вы с ним жили». Я ответила: «Да, пять лет». Затем был зачитан отчет о вскрытии. На всех его органах сильно сказалось употребление алкоголя, и в целом его здоровье было в весьма плачевном состоянии. Всех врачей освободили от ответственности.

После состоялась кремация. Мне не хватило мужества

присутствовать. На ней были Мюир, Хью Кингсмилл, Дороти, сестра Джона, Эмили и Мильтон. Больше ничьего присутствия я не допустила. За этот час мы с Пегги сходили в католическую церковь в Сохо и поставили свечу. После я пришла домой, села на пол нашей спальни, где Джон умер, и стала слушать десятый квартет Бетховена на фонографе. Пока я сидела там и страдала, ко мне поднялась попрощаться сестра Джона. Она застала меня врасплох и, увидев мое состояние, впервые осознала, сколько Джон для меня значил. Она сказала: «Как бы ни сложилась твоя жизнь, я надеюсь, ты будешь счастлива». В тот момент мне казалось странным думать о будущем.

Эмили много времени проводила с Дороти и пыталась присматривать за Пегин. Мы не хотели сообщать ей о смерти Джона. Она очень его любила. Как-то раз в книжном она спросила у меня, когда он приедет из санатория, где, как она думала, он был. Я ответила: «Никогда. Он в раю с ангелами». Через несколько дней она пришла из школы в Блумсбери раньше времени и сказала, что больше туда не вернется. Мы с Эмили попробовали найти новую школу в том же районе. Все еще поглощенная своим горем, я решила поговорить с директором школы о Пегин. По странному совпадению я встретила ее снова много лет спустя, и она рассказала мне, что тот день, когда я пришла поговорить с ней, был худшим днем ее жизни. Он определенно был одним из худших и в моей. Дорис только что вышла замуж и хотела вернуться, но я невыносимо завидовала ее счастью, поэтому сказала, что не хочу отнимать ее у мужа и позабочусь о Пегин самостоятельно. Учитывая мое состояние, мне это удавалось не слишком хорошо. Пегин заболела инфлюэнцей и несколько недель провела в постели, потому что я давала ей держать градусник не во рту, и из-за этого врач думал, что температура у нее выше, чем на самом деле. Потом я нашла для нее хорошую школу в Хемпстеде, где она чувствовала себя гораздо лучше.

К отъезду Дороти мы достигли с ней нового соглашения о ее будущем. Я отдала ей все деньги и книги Джона и пообещала платить ей еще сто шестьдесят фунтов в год. В этот раз она поверила мне на слово и разорвала наш официальный договор.

После смерти Джона меня не покидал страх потерять свою душу. Каждый день я смотрела в зеркало и видела, как уголки моего рта опускаются все ниже. Это служило отражением моего страха. Я в самом деле потеряла душу, и знала об этом. Если бы я снова ее обрела, как бы я справлялась с ней без защиты Джона? Я верю, что однажды встречу его, и с ним моя душа снова будет в безопасности.

Эдвин Мюир и Хью Кингсмилл часто приходили ко мне домой. Там они чувствовали себя ближе к Джону. Мы все были очень несчастны. Я все время хватала кого-то за руку и просила сказать что-нибудь эмоциональное. Уильяма Герхарди задело, что я не пустила его на кремацию, и он даже расплакался по этому поводу, но вскоре мы помирились. Мне приходило много писем с соболезнованиями. Они приносили мне утешение. Все друзья Джона видели его с разных сторон.

В один день я получила письмо, написанное рукой Гармана. Я чуть не упала в обморок — совершенно забыла о его существовании. Он спрашивал, может ли он что-то сделать для меня. Он имел в виду бытовые вопросы, поскольку думал, что мне в Англии, как иностранке, может понадобиться помощь. Но было слишком поздно — все дела я уже уладила. Для остального же было слишком рано. Но я стала снова думать о нем, и постепенно пришла к мысли, что с ним я могу спастись от своего горя.

В феврале закончился срок аренды нашего дома на авеню Рей, и мне пришлось поехать в Париж и встретиться с хозяином, чтобы уладить вопрос о сделанной нами перепланировке первого этажа.

Мы передали этот дом в субаренду очаровательной паре, Шарлотте и Ронни Моррис. Шарлотта мне сразу очень понравилась тем, что напоминала мою подругу Пегги. Они не могли позволить себе этот дом, но мы согласились на их цену. Когда я поехала в Париж, как раз разгорелся скандал со Стависким, и буквально перед выездом я получила от матери телеграмму: «Не езди в Париж Опасно». Там правда было опасно. На балконе отеля «Крийон» застрелили горничную, после чего начались волнения на улицах и некое подобие революции. Но к тому времени, как я приехала, все уже закончилось. Когда я пришла в дом на авеню Рей за мебелью, обнаружила маленький букет роз, который Шарлотта Моррис оставила для меня на столе в гостиной. Так она, наверное, решила показать, что понимает, какие чувства у меня вызовет возвращение в дом, где я была так счастлива с Джоном, и меня это тронуло. Мне причиняла боль мысль о том, что они там жили, но по крайней мере они были хорошими людьми. Я забрала всю мебель и перевезла ее в хранилище. Когда дом опустел, мне полегчало — теперь другие люди не могли соприкасаться с тем, что напоминало о моей жизни с Джоном.

Глава 8
Моя жизнь с Гарманом

Помимо друзей Джона, которые приходили к нам домой в надежде почувствовать себя ближе к нему, я почти никого не видела. Уин Хендерсон жила с нами по соседству на Уоберн-сквер и постоянно посылала ко мне своего сына, Айона. Я разрешала ему сидеть у нас и слушать граммофон «И Эм Джи», но практически не замечала его присутствия. Я начинала все больше думать о Гармане. Это переросло в одержимость, и я решила, что никто кроме него не сможет избавить меня от страданий. Наконец, я сказала Эмили, что хочу его, но сразу же взяла свои слова обратно. Через какое-то время я заставила ее написать ему и при личной встрече узнать, что он чувствует ко мне. Они вместе выпили в кафе «Рояль». Вернувшись, она сказала, что он хорошо обо мне отзывался и по крайней мере разведен и свободен. Я пригласила его на ужин, а Эмили пригласила Хоара. В этот вечер, по всей видимости, я ясно обозначила свои намерения, и после ужина Гарман отвез меня к себе домой. Он считал меня смелой женщиной, готовой начать новую жизнь. Он понял свое заблуждение, когда я неожиданно расплакалась. На следующий день написал для меня стихотворение.

Лежу в смятеньи после слез,
Что пролила ты о том мире,
Где мы с тобой не вместе были,
Но твое тело заплелось
С моим в согласьи, и разбились
Оковы тягостные мысли,
И вновь раскрылся тайный клад,
Сокрытый между твоих бедер.
Спокойна кровь, и значит так
Мы вторим вековой природе,
И всей вселенной полноту
Объемлет контур наших рук.
Так дикий клад меж твоих бедер
Открыл мне путь к моей свободе.

Гарман влюбился в меня без памяти и нарек меня Клеопатрой; он говорил обо мне словами Шекспира: «Покойный Цезарь мне тебя оставил объедком…» Надо полагать, себя он считал Антонием, а Джона — Цезарем. Еще он сказал, что обо

мне ему напоминают следующие лестные строки: «Над ней не властны годы. Не прискучит / Ее разнообразие вовек. / В то время как другие пресыщают. / Она тем больше возбуждает голод, / Чем меньше заставляет голодать. / В ней даже и разнузданная похоть — / Священнодействие»[26]. Тем не менее я так терзалась из-за смерти Джона, что все это приносило мне только лишние мучения. Я полностью зависела от него; я не умела думать самостоятельно. Джон всегда принимал решения и был настолько умен, что мне было гораздо проще принимать его суждения обо всем, чем иметь собственные. Он говорил мне, что, когда я пытаюсь думать, я становлюсь похожа на озадаченную обезьянку. Неудивительно, что я всячески старалась избегать этого занятия! Я не могла себе простить, что предала его память всего спустя семь недель после его смерти, и старалась скрывать отношения с Гарманом. Я боялась, что кто-то узнает о нашей связи, и всегда возвращалась домой до зари.

Вскоре после гибели Джона в Лондон приехала по делам Мэри Рейнольдс и остановилась у меня на Уоберн-сквер. Я устроила в ее честь грандиозную вечеринку, но посреди веселья ушла в свою комнату и зарыдала. Я была не готова к встрече с миром.

Куда бы Гарман ни водил меня, у меня везде находились связанные с Джоном воспоминания, и я то и дело ударялась в слезы прямо на глазах у людей. Бедный Гарман не оставлял надежды, что я справлюсь со своим горем и мы в конце концов будем счастливы вместе. Много позже он сказал мне, что я рыдала у него на плече каждый день на протяжении полутора лет. Гарман заслуживал лучшей участи, особенно если вспомнить, как долго он был несчастлив в браке, под конец заработав нервный срыв. Он был женат девять лет, но жил с женой лишь часть этого времени. Они были совершенно несовместимы. Они поехали в Россию сразу после революции, и Гарман, сам революционер в душе, влюбился в женщину-большевичку. Он остался с ней на шесть месяцев после отъезда жены, но потом ему пришлось вернуться самому, когда истек срок действия его паспорта. После этого Гарман отправился в Бразилию на ранчо своего брата, чтобы поправить здоровье. Он болел уже несколько лет.

Гарман был сыном семейного врача с обширной практикой под Бирмингемом. Там он жил в большом доме с садом в полном отрыве от окружающего мира с братом и семью сестрами. Его отец умер, когда он еще учился в Кембридже, и на плечи юного Гармана вместе с этой тяжелой утратой легли обязанности главы семьи. Его мать-англичанка, кроткая леди, жила в скромном уединении. Предположительно она приходилась незаконной

дочерью графу Грею и в самом деле обладала аристократической статью. Она была столь женственна и столь смиренного нрава, что слушалась каждого слова своего мужа и теперь вела себя так же с Гарманом, в котором души не чаяла, хотя и видела редко. Он только недавно купил ей маленький домик в Сассексе недалеко от меловых холмов и намеревался ездить туда каждые выходные.

Гарман работал в авангардном издательстве, принадлежавшем одному из его зятьев, миллионеру, который решил с пользой вложить свои деньги.

Вскоре после начала наших отношений с Гарманом я оставила его и поехала на Пасху к Синдбаду. Я пообещала ему приехать еще на станции в Цюрихе, когда он так плакал. Делала я это против своей воли, ведь я считала Лоуренса злейшим врагом Джона, и совсем не хотела находиться рядом с ним и Кей в это время. В конце концов я решилась, узнав, что у них гостит Нина — ирландская подруга Кей, Лоуренса и, как ни странно, Джона; я знала, что с ней мне будет легче.

Я взяла с собой Пегин, и мы провели примерно десять дней в Кицбюэле. Мне было очень тяжело возвращаться в австрийский Тироль, где я была так счастлива с Джоном. Внезапно я осознала, что теперь мне не придется разрываться между ним и Синдбадом. Несколько лет назад гадалка сказала мне: «Тебе вернет твоего ребенка смерть другого человека». Я не допускала мысли, что это будет смерть Джона Холмса, и перебрала в голове всех, кроме него.

Лоуренс поднимался ко мне в комнату каждый день перед сном. Ему непременно надо было довести меня до слез. Он заставлял меня говорить о Джоне, чего мне совершенно не хотелось делать. Под конец я обвинила его в том, что он только рад смерти Джона, но сам он так и не признался в этом очевидном факте. Он говорил, что мне нужен новый мужчина. Конечно же, я ничего не сказала ему о Гармане, но он заподозрил его существование, когда я спешно вернулась в Лондон. Уехав домой, я оставила Пегин у Лоуренса до конца ее каникул.

Когда я приехала в Лондон, Гарман сообщил мне, что он сильно заболел в мое отсутствие и нам нужно немедленно уехать на природу. Мы поехали в Суррей и там остановились на несколько дней в гостинице. К тому времени у меня уже был новый «деляж» — после смерти Джона я не могла смотреть без слез на старый и тем более водить его. Новый автомобиль мне снова подарила моя мать. От старого «пежо» я тоже избавилась и купила новый, чтобы ездить на нем сама.

Гарман отвез меня в Сассекс и показал дом, который он купил для своей матери. Он находился в маленькой деревушке

под названием Саут-Хартинг, прямо у подножия меловых холмов. Деревня эта была совершенно безжизненной, как и все подобные поселения в Англии, но ее окружали прекрасные пейзажи. Естественно, в ней имелся приличный паб. Гарман повез меня знакомиться с его сестрой Лорной и ее мужем, издателем Эрнестом Уишартом, которого он называл Уиш. Они жили в очаровательном доме. Гарман и Уиш вместе учились в Кембридже и с тех пор остались лучшими друзьями. Жена Уиша, Лорна, была самым красивым созданием, что мне доводилось видеть. У нее были огромные голубые глаза, длинные ресницы и каштановые волосы. Ей было всего двадцать с небольшим, а замуж она вышла в шестнадцать. Из своих семи сестер Гарман любил ее больше всего, хотя все они отличались незаурядностью. Одна из сестер вышла замуж за рыбака из Мартига, а другая родила трех детей от всемирно известного скульптора. Еще одна жила в Херефордшире со своим незаконнорожденным ребенком, а четвертая полгода работала служанкой, чтобы потом полгода спокойно жить в своем коттедже на любимой пустоши Томаса Харди. Позже она усыновила мальчика и, по слухам, имела роман с Лоуренсом Аравийским, которого повстречала на той самой пустоши, но, когда я с ней познакомилась, она была еще совершенно невинна. Следующая сестра вышла замуж за знаменитого южноафриканского поэта Роя Кэмпбелла. Они были католиками, а потом стали фашистами и переехали в Испанию. Только одна сестра жила нормальной жизнью: вышла замуж за хозяина автомастерской, родила двух детей и была счастлива. В молодости Гарман, должно быть, пресытился женским окружением и теперь не имел большого желания их видеть. Тем не менее меня они крайне заинтриговали, и я в итоге познакомилась со всеми. Еще у Гармана был любимый младший брат. Он вернулся из Бразилии и теперь занимался фермерством в Хэмпшире.

Гарман был искренним, прямолинейным мужчиной с замечательным чувством юмора и живой мимикой. Будучи простым человеком, он не любил снобизма и претенциозности. Он был пуританином и несостоявшимся поэтом. В его душе жил революционер, но по своим привычкам и вкусам он принадлежал тому классу, в котором родился. Он красиво говорил по-английски и отлично знал русский, французский и итальянский. Он получил хорошее образование. Его темп сильно отличался от моего. Я была примерно в десять раз быстрее и сходила с ума от нетерпения, когда он никак не мог закончить фразу. Он был на пять лет меня моложе, отчего во мне поселилась неуверенность в себе. Он считал меня неряшливой и хотел, чтобы я одевалась

лучше. И не желал видеть у меня седых волос.

Спустя шесть месяцев закончился срок аренды моего дома на Уоберн-сквер, и я с радостью переехала в Хемпстед. Мне невыносимо было принимать Гармана в доме, где умер Джон. Я почувствовала большое облегчение, когда Гарман смог свободно приходить ко мне и даже оставаться на ночь. Хотя, конечно, я продолжала его прятать.

Школа Пегин находилась рядом с этим домом — поэтому я его и арендовала. Тогда впервые после ухода Дорис она выглядела по-настоящему счастливой.

Летом Гарман помог мне найти загородный дом для детей. Я придиралась к мелочам не меньше Джона Холмса, чем раздражала Гармана, но в итоге он заставил меня снять прекрасный дом в нескольких милях от его матери в Саут-Хартинге. Он редактировал книгу и хотел жить дома, где ему легко работалось, но при этом иметь возможность приезжать ко мне.

Коттедж, который я арендовала, назывался Уорблингтон-Касл. Это был приятный фермерский дом с красивыми садами и теннисным кортом, считавшийся историческим памятником со своей башней XII века, которая составляла часть стены надо рвом. Башня была открыта для посетителей, которые периодически там появлялись.

Эмили Коулман и Джонни приехали со мной и Синдбадом, который впервые пересек Европу самостоятельно. Я пригласила дочь Гармана, Дебби, жившую с его матерью, и одну из его племянниц погостить у Пегин. Подруга Эмили Филлис Джонс обожала наших детей, и я упросила ее приехать и приглядеть за ними. Пегин училась ездить на велосипеде, и этот факт все лето вызывал у меня нервные судороги. Я сама так никогда и не освоила этот незамысловатый навык.

Уорблингтон стоял на берегу грязного залива, и купаться нам приходилось ездить к морю за десять миль на остров Хейлинг.

Уорблингтон-Касл был очень просторным, поэтому мы имели возможность приглашать большое количество гостей. Гарман приезжал и уезжал, и когда он был со мной, я прятала его в своей спальне в башне, вдали от всех остальных. Как-то раз ко мне в комнату зашла Антония Уайт и увидела его серые фланелевые брюки на кровати. Чтобы сохранить свой секрет, я стала носить их сама, хоть они и были мне на несколько размеров велики. К завтраку мы с Гарманом спускались по отдельности и вежливо приветствовали друг друга. Даже Синдбад ни о чем не подозревал, но в конце концов ему пришлось рассказать, потому что он постоянно возмущался, когда Гарман поправлял его. Мы

смогли добыть лошадей и совершали прекрасные прогулки верхом. Я без конца вздыхала по Хейфорд-Холлу, но Уорблингтон-Касл все же был прекрасным местом для детей.

Однажды, пока Гарман работал над книгой у себя дома, мы послали за Сэмюэлем Хоаром и пригласили его присоединиться к нашей компании женщин и детей. Эмили постоянно умоляла меня позвать его. Ей вообще приходилось прикладывать немало усилий, чтобы заставить его делать то, чего он сам на самом деле хочет. Он сопротивлялся ей отчаянно. Он был без ума от той жизни, которую имел благодаря ей, но при этом вынуждал ее бороться за каждый шаг навстречу этой жизни, зная, что без этого просто умрет. Естественно, он приехал в Уорблингтон.

Когда у меня жила Антония Уайт, ее смутило мое неопределенное поведение, и Эмили посоветовала мне вести себя в соответствии с представлениями Антонии о порядочной хозяйке. Я бросилась покупать набор для крикета и прочие вещи для ее увеселения. Тогда Эмили сказала: «Не старайся слишком сильно». Я ответила: «Я не могу иначе».

Мильтон Уолдман до этого подарил нам чудесного маленького силихем-терьера. Это был симпатичный и смешной пес, пускай он и не отличался чистыми кровями. Когда умер Джон, он впал в тоску по хозяину. Его взял под свою ответственность наш дворецкий Блиссет и всюду брал его с собой — даже в кино, где Робин (так звали пса) зашелся диким лаем при виде своего собрата на экране.

Тем летом я купила жену для Робина. Она была силихем-терьером с идеальной родословной, и Синдбад, одержимый страстью к звездам тенниса, окрестил ее Боротра[27]. Когда я привезла ее домой, я обнаружила, что один глаз у нее больной, и поняла, почему ее продали так дешево.

У нас гостили самые разные люди, в том числе Мильтон с Пегги, Мэри и Уиллард Леб, приехавшие из Нью-Йорка с двумя дочерями. Уиллард был одним из моих любимых кузенов. Он обожал музыку и имел десять тысяч пластинок для фонографа. Он играл в теннис, как чемпион. Мэри была лучшей подругой Бениты, и я впервые увиделась с ней после ее смерти. Гибель Джона затмила боль от утраты Бениты, но я все равно была рада поговорить о ней с Мэри. Я продолжила скрывать ото всех свои отношения с Гарманом, по крайней мере я так думала. Через пять недель закончился срок аренды дома, и детям предстояло отправиться в Кицбюэль к Лоуренсу. Мы с Гарманом отвезли их на автомобиле в Довер и там посадили на корабль. Синдбаду было одиннадцать, а Пегин девять. Они чудесно смотрелись вместе. На Синдбаде были тирольские брючки с кинжалом на

поясе.

После их отъезда Гарман привез меня в свой дом в Саут-Хартинге. Его мать уехала на летние каникулы с одной из дочерей и позволила мне пожить у них. Гарман заканчивал свою книгу, и мне целый день было почти нечем заняться. Я лежала на кровати и допоздна читала «Бесов» Достоевского. Это единственный его роман, который я поняла, и то после того, как прочитала его дважды. В нем легко запутаться, и нет главного персонажа. Мне понравилась только одна сцена, где в одной комнате появляется на свет ребенок, а в соседней разгорается политическая драма.

Когда Гарман закончил редактировать книгу, мы отправились в Уэльс. Лорна с Уишем до этого побывали в Пембрукшире и так нахваливали его, что мы решили тоже туда съездить. Это единственное место на Британских островах, которое хоть чем-то напоминает континент. Дома там красили в яркие цвета, как в Италии. Пляжи, усыпанные валунами, простирались на мили, и нигде не встречалось ни души. Все побережье было каменистым и диким.

Мы ходили на долгие прогулки по полям и поросшими вереском пустошам и посещали господские поместья. В жизни валлийского дворянства царил уклад XVIII века — как и в Ирландии.

Мы жили на берегу реки в небольшом деревянном пансионе, которым владел полубезумный бывший капитан с женой, в прошлом служанкой герцогини Манчестер. Она предоставила нам спальню, гостиную и великолепное питание с пятью сменами блюд за трапезу и тремя блюдами на выбор в каждой смене, и все это за скромную сумму в пятнадцать шиллингов за человека в неделю. (Пятнадцать шиллингов тогда равнялись трем долларам семидесяти пяти центам.) Это было невероятно. Ее муж, капитан, построил дом по подобию корабля, и его окружал заброшенный флот, на котором этот капитан когда-то плавал вдоль берегов острова. В былые дни он был успешным судовым агентом. Теперь же от него было проку не больше, чем от его лодок. Он постоянно твердил, что починит их, но мы понимали, что этого не произойдет.

На другой стороне реки напротив нашего дома жила сумасшедшая семья. Кажется, у них было две дочери, которых они годами держали зашитыми в мешках под столом, пока не вмешались власти.

В Уэльсе я все еще сильно горевала из-за Джона.

На обратном пути Гарман отвез меня в Черную страну, где он родился и вырос. Он показал мне дом его семьи, проданный на

тот момент, а я в ответ отвезла его в Уорикский замок, где жил один из моих дядьев с любовницей. По-моему, Гарман не верил мне до тех пор, пока гид, который водил нас по замку, не упомянул их имена.

Вернувшись в Саут-Хартинг, я попыталась арендовать дом неподалеку от миссис Гарман, чтобы Пегин смогла ходить в одну школу с Дебби, дочерью Гармана, и его племянницей Китти. Никто не сдавал дома в аренду, зато нашелся один елизаветинский коттедж на продажу, и Гарман убедил меня его купить. Примерно в то время я, не в силах справиться с утратой Джона, решила покончить жизнь самоубийством. По этой причине дом я купила на имя Гармана. Разумеется, я этого в итоге не сделала и просто поселилась в этом доме.

Мне потребовалось какое-то время на перевозку мебели из Парижа и обустройство. Пегин тем временем вернулась из Кацбюэля и стала жить у матери Гармана. У миссис Гарман было тринадцать внуков. Она жила только для них и своих детей, тем не менее она с готовностью приняла Пегин и была добра к нам обеим.

Глава 9
Коттедж «Тисовое дерево»

Коттедж «Тисовое дерево» стал моим новым домом. Он получил свое имя в честь пятисотлетнего тиса, росшего перед ним, возвышаясь над крышей. Благодаря открытым балкам и брусьям этот коттедж имел особый шарм. В его гостиной стоял такой огромный камин, что в нем могли усесться несколько человек. Окна там были маленькие, и в гостиной они выходили на луг с коровами, которые паслись всего в нескольких футах от стены. Дом был небольшой и вмещал две гостиные, четыре спальни, одну ванную, кухню и кладовую. Его окружали чудесные земли. К коттеджу прилегал участок площадью в акр, но казалось, будто вся округа принадлежит нам. Несмотря на близость меловых холмов, наш дом стоял в зеленой долине, и сквозь сад, целиком разбитый на склоне, тек ручей.

На самом деле я решила купить коттедж потому, что он располагался на автобусной линии между Хартингом и Питерсфилдом, куда Пегин хотела ездить в школу вместе с дочерью Гармана Дебби и его племянницей Китти. В ста ярдах от дома проходила узенькая дорога, которую я после стольких летних месяцев, проведенных на вересковых пустошах, настойчиво называла магистралью, коей она не являлась. Меня расстраивала такая близость внешнего мира, но позже я осознала, как нам повезло с автобусом и возможностью иметь доставку из магазинов.

Гарман немедленно нанял для меня садовника и занялся обустройством лужаек и цветочных клумб. Он сам отлично управлялся с садом и многое сделал своими руками. Про таких прирожденных садовников, как он, говорят, что у них есть «зеленый палец».

Мы с Пегин жили в этом коттедже одни со славной маленькой горничной-итальянкой, которая работала у нас еще на Уоберн-сквер. Гарман навещал меня, но не жил со мной, и каждый раз после его отъезда я впадала в уныние.

Рождество я планировала провести с Синдбадом, вновь в Кицбюэле. Я хотела, чтобы Гарман поехал со мной; он отказывался, но в последний момент все же передумал. Я ехала с Пегин, а для Гармана заняла отдельное спальное место в другом купе. Так вышло, что то купе мы делили с Айрой Моррисом, с которым мы еще не были лично знакомы, но несколькими годами ранее он принял участие в составлении «Календаря современных

писем», обзорного журнала, вышедшего под редакцией Эджела Рикуорда и Гармана. Он путешествовал со своей красавицей-женой, шведкой Эдитой, и их сыном Айваном. Айра был племянником моей тети Ирэн, но я, хотя много слышала о нем, еще ни разу его не встречала. Его отца я знала довольно хорошо. Тот был эксцентричным мясопромышленником, а до этого работал в американском посольстве в Швеции. И Эдита, и Айра имели большие писательские амбиции.

Гарман, до того никогда не ездивший на лыжах, в результате своего безрассудства в первый же день получил травму. Он сломал несколько пальцев, и ему пришлось держать руку в чудовищном аппарате, который укладывал его пальцы обратно на место. Аппарат этот был длиной примерно в один фут, и Гарман всюду ходил с ним, держа перед собой. Каждый день он проходил тепловое лечение у врача. Все это портило мне настроение, поскольку напоминало о мучениях Джона перед его смертью. Боюсь, я не выказывала Гарману и малой доли должного сочувствия.

Многие часы подряд я читала Синдбаду, который только оправлялся от плеврита и еще не вставал с кровати. Кей изображала опытную медсестру и изо всех сил старалась сделать так, чтобы я почувствовала себя никчемной. Бедного Гармана я совсем игнорировала, и он чувствовал себя в стороне от моей семейной жизни. Ему очень нравилась Эдита, и он был в хороших отношениях с Кей, чей первый рассказ был напечатан под его редакцией, но теперь, когда она писала все хуже и хуже, Гарман охладел к ее книгам.

Вопреки здравому смыслу Гарман поддался на мои уговоры и переехал ко мне в коттедж «Тисовое дерево» вместе со своей дочерью Дебби. Когда мы сообщили об этом Кей, она имела наглость спросить у меня, как я решилась взять на себя ответственность по воспитанию Дебби. Это было странно с учетом того, что она сама уже на тот момент пять лет растила Синдбада. Я ответила, что Дебби такая ответственная, что ей впору воспитывать нас всех. Но Кей обожала выставлять меня неумелой матерью и подчеркивать свое превосходство.

Когда мы вернулись в Англию, Гарман с Дебби поселились в «Тисовом дереве», и я снова оказалась матерью двух детей. Я любила Дебби. Она решительно не походила на всех детей, что я знала. Она была очень развитой, спокойной, разумной, сдержанной и послушной и не доставляла никаких хлопот. Как и отец, она обладала интеллектуальным складом ума и любила читать и слушать, как читают ей. Она самым благотворным образом влияла на Пегин, а Пегин — на нее. У нас дома Дебби

стала менее педантичной. Девочки души друг в друге не чаяли и полюбили друг друга, как сестры. Они одевались в причудливые старые наряды и костюмы, которые мы хранили в сундуке, и устраивали пантомиму, спектакли и прочие представления. Китти, племянница Гармана, была третьей актрисой. Единственными их зрителями были мать Гармана, ее компаньонка и я, и иногда Гарман, когда мог оторваться от своей бурной интеллектуальной деятельности. По вечерам я читала Дебби и Пегин, пока они ужинали.

Гарман прекрасно ладил с детьми. Они его обожали. Правда, как-то раз Дебби сказала ему: «Па, ты такой монотонный». Когда мы спросили, что она имеет в виду, она ответила: «Ты все делаешь и делаешь одно и то же». Гарман решил просветить девочек по вопросам цикла жизни и деторождения. Он нарисовал для них всевозможные схемы, но Пегин все равно ничего не поняла. В конце концов нам пришлось напомнить ей о случае, когда она застала двух собак за случкой. Она пришла в ужас и, повернувшись ко мне, спросила: «Хочешь сказать, ты тоже этим занималась?» А потом подумала и поправила себя: «Конечно, только два раза, чтобы сделать меня и Синдбада».

Вскоре после переезда Гармана в «Тисовое дерево» я заставила его уйти с поста директора издательства его зятя. В дальней части нашего сада он построил себе домик с одной комнатой, чтобы там писать. Он был слаб здоровьем и нуждался в спокойной жизни, чистом воздухе, физических упражнениях и умеренности в выпивке. Он много писал и интересовался новым обзорным журналом, в редакции которого он принял участие. Потом он начал читать «Капитал» Карла Маркса и погрузился в него на несколько месяцев.

В то время я читала Пруста. Я сидела в кровати под розой Тюдоров, украшавшей мою стену, в шерстяных перчатках и тряслась от холода. Дом пронизывали ужасные сквозняки, дувшие из щелей вокруг потолочных балок. Моя комната была такая большая, что ее невозможно было прогреть. Я завела несколько маленьких масляных грелок, которые носила с собой, когда вставала, одевалась и шла в ванную. Гарману не нравилось, что я читаю Пруста. Он хотел, чтобы я тоже читала Карла Маркса.

Гостиная с огромным камином на первом этаже была постоянно заполнена дымом. Гарман приложил все усилия в попытках изменить это бедственное положение вещей. В конце концов два местных строителя по имени Пикок и Уоллер, построившие домик для Гармана, справились с проблемой дыма, подняв трубу камина на несколько футов и спилив пару веток тиса. После этого Гарман, который обожал строить и

ремонтировать дома, заново отделал вторую гостиную. До этого он уже поставил там печь, которая топилась день и ночь. По крайней мере в эту комнату по утрам можно было спуститься в тепло, что было настоящим счастьем. Гарман передвинул стены и замуровал уродливый парадный вход, после чего эта гостиная значительно похорошела. Гарман имел прекрасный вкус и выбрал идеальную мебель и глянцевые ситцевые шторы. Потом он заказал замечательные полки для моих пластинок. Окна гостиной выходили в сад, и летом в них струился сладкий аромат табачного дерева.

Гарман предусмотрел все, кроме одной вещи. При перепланировке дома он случайно замуровал в нем старый дубовый сундук из Венеции, и мы слишком поздно поняли, что его теперь никак не вынести наружу. Он стоит там по сей день, хотя дом уже продали, и, если я захочу вернуть его, мне придется поехать туда и снести стену.

Гарман сделал для меня не только красивый дом, но гравийный теннисный корт, небольшой бассейн и крикетную площадку для Синдбада. Он засеял лужайки травой. Он совершенно преобразил участок и разбил на нем прелестные сады, где посадил все растения, какие только смог добыть.

У нас работал славный садовник по имени Джек, который играл в местной команде по крикету в Питерсфилде. Ему приходилось управляться с двумя моторами, которые снабжали нас водой и электричеством. Примерно в четверти мили от дома у соседского озера стоял сарай с бензиновым насосом. Из-за маленького бака вода доставляла нам неприятности чуть ли не каждый день. Насос постоянно ломался, но Джек умел его чинить. Когда он уезжал в отпуск, я сильно нервничала, и однажды нам пришлось три дня таскать на себе ведра с водой.

Генератор электричества находился в гараже прямо перед домом. Он издавал ужасный стрекот, и его мощности едва хватало на тусклый свет. Только спустя четыре года жизни в этом доме я смогла подключить его к линии электропередач и избавить нас от этих проблем.

В нашу первую зиму в «Тисовом дереве» мы с Гарманом арендовали квартиру в Лондоне в квартале Адельфи вместе с Филлис Джонс. Она только что вернулась из путешествия по Америке, куда она поехала по моему настоянию — ей крайне необходимо было развеяться.

Я редко ездила в Лондон с Гарманом и предпочитала скрываться в «Тисовом дереве», поскольку мне все еще было стыдно, что я предала память Джона. Кроме того, у меня было занятие: я перепечатывала все рукописи Джона, которые мне

достались от него по наследству. Я намеревалась издать их. У Хью Кингсмилла осталась целая коллекция его писем, а Дороти хранила ответы на них. Мы решили составить из них книгу. Я не хотела, чтобы Гарман знал, как сильно мои мысли заняты Джоном, и старалась скрывать от него свою работу.

Мы с Гарманом оказались слишком несовместимы, и ситуация становилась все более очевидной и болезненной. Нам нравились разные люди и разные вещи. Он ненавидел, когда я пила, и из какого-то упрямства я пила ему назло, хотя при жизни с Лоуренсом и Джоном, каждый из которых злоупотреблял алкоголем, я редко себе это позволяла. Я без конца сравнивала Гармана с Джоном и даже сказала Гарману, что он утомлял Джона и тот поехал к нему в Лондон только потому, что хотел издать книгу Джуны.

Гарману плохо удавалось писать, и это его расстраивало. Он все больше времени проводил за Карлом Марксом.

Весной к нам на два месяца приехал Синдбад. Лоуренс решил отправить его в английскую школу и сам на первый год переехал вместе с ним, хотя всей душой не любил Англию. Гарман учил Синдбада латыни, а я — английской грамматике.

Приехав, Лоуренс и Кей оставили своих многочисленных дочек в пабе в Саут-Хартинге и отправились в Девон на поиски дома. Синдбаду нужен был теплый климат после недавнего приступа плеврита. В итоге они обосновались в Ситоне и провели там год, не скрывая своего недовольства.

Синдбад подружился с нашим садовником Джеком и ездил смотреть, как тот играет в крикет. С того времени началась его страсть к этой невыносимо скучной игре, и еще много лет Синдбад не мог думать ни о чем другом. Он скоро выучил показатели и имена всех известных игроков и стал большим авторитетом в данном вопросе. Он играл в своей школьной команде. Я не могла разделить его энтузиазм и так никогда и не поняла правил этой игры. Синдбад хорошо играл в теннис и плавал, и коттедж «Тисовое дерево» с его кортом, бассейном и площадкой для крикета был для него идеальным домом.

После полутора лет отношений с Гарманом я начала думать о том, чтобы уйти от него. Я пыталась сделать это несколько раз, но он каждый раз меня возвращал. Я не хотела жить с ним и не хотела жить без него. Он по-прежнему сильно любил меня, хотя я прилагала все усилия, чтобы растоптать его любовь. Не понимаю, как он так долго терпел меня. Один раз я повела себя настолько отвратительно, что он дал мне пощечину, а потом пришел от себя в ужас и разрыдался.

Летом мы повторили свою поездку в Уэльс, а на следующее

Рождество полетели в Париж и оттуда поехали в Мартиг к сестре Гармана, которая была замужем за рыбаком. Она мне сразу понравилась. Она была красива, как и остальные сестры Гармана, но несчастна. Она мучилась в безвыходной ситуации, в которую сама себя загнала. Судя по всему, она хотела расстаться со своим мужем. Это был большой, неотесанный, красивый, похожий на шведа рыбак, страдавший комплексом неполноценности из-за того, что женился на девушке из другого класса. Хелен, его жена, не могла уйти от него из-за ребенка, которого они оба обожали. Они жили очень просто, и ей приходилось тяжело работать, потому что одного дохода от рыбной ловли им не хватало на жизнь.

На обратном пути мы задержались в Париже. Гарман хотел встретиться с Дороти Дадли, которая переводила книгу о Муссолини для его фирмы, где он все еще работал консультантом. Тогда мы впервые встретили Галу Дали. Она была подругой Мэри; при всей своей красоте она была настолько вычурна, что не вызывала симпатии. Гармана впечатлил вкус Мэри, и он нашел ее новый дом в Монсури необычайно изысканным. Я не увидела в нем ничего особенного, хотя, конечно, Гарман был прав.

В «Тисовом дереве» я вела исключительно домашний образ жизни и только и делала, что возилась с Пегин и Дебби. Они постоянно простужались и подхватывали грипп. Неудивительно, если учесть, как холодно было у нас дома и насколько отличалась температура в разных комнатах. Я неделями разносила ингаляции и лекарства, мерила температуру и читала вслух для больных девочек. Все это вызвало у меня желание завести общего ребенка с Гарманом. После его продолжительной болезни он был, судя по всему, не способен зачать, и я хотела знать наверняка, в ком же из нас дело. Позже я выяснила, что в нем.

Моя мать любила своих внуков неистовой любовью. Пегин отвечала ей взаимностью, тогда как Синдбад был более сдержан. Однажды мама приехала из Америки после долгого отсутствия из-за проблем со здоровьем и нескольких операций, и Пегин ей сказала: «Бабушка, ты вся в полосочку!» Моя бедная мать действительно сильно состарилась.

В «Тисовом дереве» она познакомилась с Эмили. Мама приплыла на лайнере «Иль-де-Франс» и спросила у Эмили, которая только что сошла с десятидневного судна, доводилось ли ей плавать на «Иль-де-Франс», и добавила: «Вибрация там просто ужасная, ужасная, ужасная». Как-то раз я сказала матери, что Лоуренс боится Кей и она держит его под каблуком, на что мама ответила: «Жаль, тебя он не боялся, тебя он не боялся, тебя он не

боялся».

В третье лето Гарман повез меня в круиз по Норфолк-Бродс. Вместе с нами он пригласил в плавание Эджела Рикуорда с его женой Джеки. Рикуорд был самым давним другом Гармана. Они совместно редактировали «Календарь», и оба были директорами издательского дома Уиша. Рикуорд был талантливым поэтом и критиком. В трезвом состоянии он вел себя очень замкнуто и застенчиво. Джеки я знала уже много лет. Она была добродушной, веселой девушкой, и Рикуорду, благодаря ее естественности, даже сердечности, гораздо легче давалось взаимодействие с миром. Не представляю, как ее угораздило попасть в среду богемы, но она прочно в ней осела.

Во время круиза они составили нам приятную компанию, и мы хорошо проводили время, если не считать того факта, что я ненавижу путешествия по воде больше всего на свете. На борту я становлюсь суетной, нервной и неприятной. Должно быть, я всем испортила отдых. По-моему, мы с Джеки в конце концов оставили мужчин плавать вдвоем, а сами пошли по берегу.

Потом все вместе мы поехали в Вудбридж, удивительный город XVIII века, славный своей овчинной промышленностью, в котором есть как минимум сто пабов и старая рыночная площадь с красивым зданием. Всем домам там не меньше двухсот лет. Я купила пару прелестных перчаток, и вскоре после этого «Тисовое дерево» заполнилось коврами из натуральной овечьей шерсти, которые я заказывала оттуда по почте.

Через некоторое время после нашего возвращения из Вудбриджа жена Гармана захотела снова выйти замуж. Уже многие годы она была влюблена в молодого актера и наконец решилась на развод. Гарман сказал, что мне придется быть соответчицей. Я яростно запротестовала, поскольку миссис Гарман ушла от Гармана задолго до моего с ним знакомства, и я сочла это в крайней степени нечестным. Но Гарман сказал, что, раз я живу с ним и сам он не стал бы разводиться, то иного пути нет. Все это было очень глупо. Нас должны были застать в одной комнате: Гармана в халате, а меня в постели. Рано утром, чтобы дети ничего не видели, из Лондона приехал детектив. Он хотел после этого приехать еще раз, но Гарман сказал, что не будет дважды проходить через это и что одного свидетельства должно быть достаточно. Развод дали на основании «слезной просьбы миссис Сэдди Гарман». В бумагах значилось, что мы с Гарманом согрешили далеко не единожды. Я часто задумывалась, как они об этом узнали. Единственным письменным свидетельством тому была запись в моем дневнике: «Ругаемся целый день, е-ся целую ночь».

Гости к нам в «Тисовое дерево» приезжали нечасто, и я вела очень одинокую жизнь, все больше и больше тоскуя. Я почти впала в меланхолию. Длинные зимы, когда заняться было нечем, кроме как сидеть в четырех стенах, гулять по грязи или играть в теннис и мерзнуть, лишали меня какой-либо активности. Единственную отраду я находила в чтении. Я перечитала «Анну Каренину», мою любимую книгу, «Войну и мир», «Грозовой перевал», романы Генри Джеймса, все романы Дефо, которые мне дал Гарман, «Дневник» Пипса и жизнеописание мужа графини Толстой, написанное ей самой. В какой-то момент я даже начала подражать ее немыслимой жестокости и вести себя как она. По вечерам я читала детям вслух «Робинзона Крузо» и «Последние дни Помпеи». Я тратила огромное количество времени на покупку еды — я все время что-то забывала и по нескольку раз в день ездила на автомобиле в город. Эмили изредка навещала нас, но ей всегда казалось, будто Гарман ей не рад, хотя он и говорил: «Эмили, рядом с тобой я чувствую себя желанным гостем».

Как-то раз я предложила Эмили, которая всей душой ненавидела теннис, сыграть партию, из-за чего она пришла в ярость и пригрозилась сломать все теннисные ракетки в доме, если я еще раз ей это предложу. У меня дома было несколько ракеток, которые я взяла на пробу из магазина в Питерсфилде, и я в страхе поспешила вернуть их обратно продавцу. Но Эмили любила детей, а они души не чаяли в ней. Она умела найти общий язык с людьми любого возраста.

Несколько раз к нам приезжали Джеки и Рикуорд. После своего переезда в Англию нас навестили Лоуренс и Кей, но Гарман решил больше с ними не видеться, поскольку не верил в эту притворную дружбу. Мы с Кей терпеть не могли друг друга. Один раз приехала Джуна, и несколько раз — Дороти Холмс. Бывали у нас и Моррисы, хотя они нечасто наведывались в Англию. Однажды к нам приехали Мюиры с их странным ребенком-вундеркиндом, который в возрасте восьми лет виртуозно играл на фортепиано. Один раз приехала Мэри, один раз Филлис — она подхватила грипп, и после этого мы долго не встречались. Большую часть времени я жила одна, если не считать семьи Гармана, которых я видела часто. Мне нравились Лорна с ее мужем и брат Гармана, фермер. У Гармана был друг по имени Уилсон Плант, который служил в британских колониальных войсках на западном побережье Африки посреди буша. Там он читал книги Джойса и Джуны Барнс и был в курсе современных тенденций. Он навещал нас в каждый свой отпуск.

В чем моя новая жизнь не уступала предыдущей, так это в пейзажах. Меловые холмы были так же хороши, как и вересковые

пустоши, только ходить по ним было безопасней: меньше шансов заблудиться или утонуть в трясине. Они раскинулись на многие мили, и хотя вид они предлагали не такой разнообразный, как в Дартмуре, здесь было не менее красиво, а растительность и дикие цветы явно затмевали флору Девона. Мы часто гуляли по холмам и иногда ездили на лошадях. На автомобиле можно было доехать до самой высокой точки, оставить его там и часами бродить по окрестностям.

В тех краях находился дом Бертрана Рассела. По-моему, он жил там с женой и маленьким ребенком. Как-то вечером он прочитал в Питерсфилде лекцию о грядущей войне, и все, что он предсказывал, довольно близко отразило суть грядущих событий. Но это пророчество не могло спасти мир от его судьбы.

Те края изобиловали фазанами, которых отстреливали в сезон охоты в лесах нашего соседа-генерала. Это был неприятный кривоногий мужчина, который владел в окрестностях самыми большими угодьями с псевдоелизаветинским поместьем. Мы часто ходили на долгие прогулки, имея полное право ходить по его землям. Как-то я гуляла там с Пегин и Дебби, и Робин, наш силихем-терьер, стал гоняться за фазанами. В поле мы встретили генерала, и он накричал на нас за то, что мы не держим пса на поводке. Он был так груб, что Гарман хотел письменно потребовать от него извинений, но не смог придумать, как меня назвать. Дебби предложила «дорогая Пегги». В итоге мы отступились.

Поскольку мы не были женаты, местное дворянство не жаловало нас визитами, — слава богу, — и сами мы к ним не навязывались.

На окраине нашего участка стоял красивый лес. Ранней весной он зарастал черемшой, а позже — колокольчиками, дремой, ирисами и странными цветами, похожими на орхидеи. Эти цветы контрастно отличались от клумб и альпийских горок, которые высаживал Гарман. Дети любили искать птичьи гнезда; днем по округе разносились райские крики кукушки, а по ночам пели соловьи. Больше всего детям нравилось голышом гулять по саду и купаться в бассейне.

Питались мы плохо, поскольку Джек, наш садовник, привел к нам дом в качестве кухарки свою невесту, Китти. Она умела готовить только йоркширский пудинг да жареного фазана. Я решила научить ее кулинарному искусству и пригласила для этого Уохаба, давнего друга Джона, который ходил в одну школу с Дороти. У нас началась настоящая фиеста. Целую неделю мы каждый день делали по четыре блюда. Чтобы подать пример Китти, я сама научилась их готовить — а это был мой первый

кулинарный опыт. До тех пор я не пыталась приготовить ничего, кроме яичницы.

Мы готовили восхитительные блюда и проверяли их на Гармане. Ему все нравилось, и он говорил, что ему все равно, кто что приготовил. К концу десяти дней стало ясно, что я явно лучший повар, чем Китти. Я едва смогла заставить ее добавлять в еду нужное количество соли и перца, что считала большим достижением. После этого на нашем столе стала появляться вкуснейшая *paella*[28], *boeuf en daubes*[29], испанские омлеты, луковый суп, *coq au vin*[30] и курица в шерри. В тех редких случаях, когда я куда-то ездила, я привозила для Китти новые рецепты.

Вскоре после этого Китти и Джек обручились в церкви Питерсфилда. Это было волнительное торжество, на котором Пегин с Дебби выступали в роли подружек невесты. Бедная Китти не знала, чего ожидать, поэтому ужасно переживала, и еще сильнее переживал Джек — потому что знал, чего ожидать. Они уехали в медовый месяц, а когда вернулись, рассказывали обо всем на свете, кроме того, из-за чего они, собственно, так переживали. Они были счастливы вместе и наполняли коттедж атмосферой любви. Гарман пристроил для них крыло к кухне. К счастью, детей они завели много позже.

Той зимой, когда Лоуренс жил в Девоншире, он потерял своего отца, дядю и Клотильду. Его сестра умерла в Американском госпитале в Нейи, где обследовался Джон. Как ни странно, погибла она при аналогичных обстоятельствах, не выдержав анестезии во время операции. Лоуренс был совершенно разбит, и когда я увиделась с ним вскоре после этого, мои соболезнования он воспринял с агрессией, зная, как я ненавидела Клотильду.

Лоуренс приехал в Питерсфилд посмотреть на Пегин в школьном спектакле «Гамельнский крысолов», где она играла главную роль. Я сшила для нее очаровательный желто-красный костюм. В Питерсфилде она училась в маленькой «дамской школе» вместе с Дебби и ее кузиной Китти, которая все еще жила с миссис Гарман. Я чувствовала себя виноватой, когда Дебби переехала к нам и оказалась в разлуке с сестрой, но миссис Гарман заверила меня, что Дебби гораздо лучше жить с отцом, что и правда шло ей на пользу.

Пегин смущал тот факт, что у нас разные фамилии. Она хотела, чтобы я носила ее фамилию — Вэйл, а сама я больше склонялась к фамилии Гармана. Он отправил меня к директору школы, почтенной старой деве, и велел спросить у нее, что мне делать. Мы целую вечность прогуливались по саду, прежде чем я

решилась подойти к этому деликатному вопросу. Наконец я сказала, в чем дело, а та в ответ спросила, собираюсь ли я выходить замуж за Гармана. Когда я ответила отрицательно, она сказала мне оставить свою нынешнюю фамилию, раз уж она настоящая. Это решило мою проблему, но я не простила Гарману, что он заставил меня пройти через это идиотское собеседование.

Весной 1936 года прошла большая выставка французских сюрреалистов в Берлингтон-Хаусе. Это была их первая выставка в Лондоне, и она прошла с грандиозным успехом. Гарман ждал ее с нетерпением и звал нас Джуной с собой. Мы обе уже многое повидали и отказались, сказав, что сюрреализм надоел нам еще в двадцатые годы. В свете последующих событий это было престранное совпадение.

Глава 10
Коммунизм

Со временем Гарман все сильнее увлекался Карлом Марксом и становился его ярым приверженцем. Он начал применять его теории ко всему. Он прочитал курс лекций, в которых доказывал, что все великие писатели были революционерами. Он потерял всякое чувство меры и способность к критической оценке и начал смотреть на мир исключительно с одной точки зрения. Я ходила на его лекции и задавала ему вопросы, чтобы его смутить и запутать. После интеллектуального уровня и беспристрастности Джона все это казалось мне очень глупым.

Гарман так проникся всеми этими идеями, что в конце концов вступил в Коммунистическую партию. Все деньги, которые я ему давала и которые раньше шли на перестройку дома и прочего, теперь он отдавал партии. Я нисколько этому не противилась и только скучала, слушая последние указания из Москвы, которым мне положено было подчиняться. Гарман хотел, чтобы я тоже вступила в партию, но утверждал, что меня примут только в том случае, если я соглашусь работать на нее. Я написала письмо Гарри Поллиту, главе партии, в котором говорила, что хочу стать членом, но не имею возможности работать, поскольку живу за городом, воспитываю двух девочек и совсем не располагаю свободным временем. Разумеется, меня приняли, что я и пыталась продемонстрировать Гарману.

Гарман ездил по стране на автомобиле, который он купил с рук специально для этой цели, читал лекции и вербовал новых членов. Он был так занят, что виделись мы реже и реже. Я чувствовала себя все более одинокой и несчастной. Тогда шла война в Испании, и Гарман сильно из-за нее переживал. Я боялась, что он встанет под знамена Интернациональной бригады, но ему не позволяло здоровье.

Теперь он приглашал в «Тисовое дерево» исключительно коммунистов, не придавая значения их прочим качествам. Мне приходилось развлекать самых странных гостей. Любой человек из рабочего класса в глазах Гармана превращался практически в божество. Чем больше я начинала скучать от всего этого, тем чаще я ругалась с Гарманом. Не то чтобы мне претил коммунизм как принцип; просто я была не готова к тому, чтобы всю мою жизнь определяла новая религия Гармана — а именно таковой для него стал коммунизм. Он был словно сэр Галахад, который увидел Святой Грааль. У меня вызвали негодование московские

чистки: Сталин, на мой взгляд, тогда зашел слишком далеко, но Гарман всему находил оправдание. Ему поразительным образом удавалось убеждать меня, будто все, что делают коммунисты, правильно. С этой точки зрения в уме им никак нельзя было отказать.

В коттедже «Тисовое дерево» наш терьер Робин стал свирепеть и неожиданно превратился в идеального сторожевого пса: он лаял на каждого прохожего и кусал всех людей в униформе. Почтальон доставлял нам почту, трясясь от страха. В конце концов Гарману пришлось крепко связать Робина и так его избить, что я перепугалась, но тем не менее это помогло, и мы снова смогли спускать его с поводка. Робин наконец выполнил супружеский долг перед Боротра и подарил ей выводок щенков. После этого он сразу потерял всякий интерес к ней и ее потомству, и нам пришлось ее отдать. Зимой дом утопал в грязи, которую собаки приносили на лапах после долгих прогулок по меловым холмам. Это было совершенно невыносимо. Робин старел и грустнел, но позже он нашел отраду в играх с кошками.

Гарман купил сиамскую кошку, которая целыми днями ходила по дому и кричала, как ребенок. Однажды мы нашли ее отравленной позади домика Гармана. Мы подозревали генерала.

Гарман любил ездить верхом и купил себе лошадь, но, когда коммунистическая деятельность целиком поглотила его, он отдал ее брату. Он отказался от всего ради коммунизма и получал удовольствие от своего аскетичного образа жизни. Очевидно, мне в таких условиях становилось только хуже и хуже.

У Гармана не получилось «сделать коммуниста» из меня, но со своим зятем Уишем он преуспел больше — бедная Лорна скоро стала сходить с ума от его доктрин из «Дейли Уоркера». В конце концов Уиш превратил свое издательство в рупор Москвы. Стал убежденным коммунистом и Рикуорд, а Джеки, будучи примерной женой, с готовностью приняла его взгляды — лишь бы сохранить мир в семье. Я честно предприняла попытку притворяться, но попросту не смогла пересилить себя. Вскоре на любое упоминание коммунизма я реагировала как бык на красную тряпку. Когда Гарман на меня злился, он называл меня не шлюхой, а троцкисткой.

Старшая сестра Гармана с мужем, южноафриканским поэтом Роем Кэмпбеллом, бежала из Испании во время революции, и мы поехали навестить их. Они жили в доме Уиша, словно беженцы. Они стали такими прожженными фашистами, что Гарман больше не желал их видеть.

Как-то раз, когда Гарман уехал по делам Коммунистической партии, ко мне в «Тисовое дерево» приехал Герхарди. Он заставил

меня пообещать ему, что он не пересечется с Гарманом: они радикально расходились в интеллектуальных и политических вопросах. Внезапно Гарман вернулся без предупреждения, и возникла крайне неловкая ситуация. Между ними постоянно разгорались ужасные споры, и Герхарди так и не поверил, что я не специально все это подстроила.

Мы страдали от набегов крыс, и поскольку в наших краях не водилось крысоловов, Гарману пришлось самому заняться их истреблением. Он заманивал их в стога сена, а затем поджигал их. Когда крысы начинали удирать, он забивал их длинной палкой. Чтобы найти в себе силу духа на это жуткое занятие, он представлял, что крысы — это фашисты, и выкрикивал ругательства при каждом ударе. Крысы забирались в дом и там травились разложенным ядом. Они издыхали в самых неожиданных местах: под половыми досками, которые приходилось вынимать, а одна крыса забралась в бак для воды. Это доставило нам кучу хлопот, поскольку ее тушка перекрыла ток воды, и нам пришлось прочищать весь бак.

Летом 1936 года я поехала одна в Венецию на десять дней. Мне нужно было вернуть Синдбада Лоуренсу, который снова перебрался на континент, и еще я решила задержаться, чтобы встретиться с Мэри в Италии. Первые несколько дней я провела в компании Синдбада и Мэри, но когда они уехали, я, оставшись одна, испытала невероятное счастье. До сих пор мне даже в голову не приходило, что я могу с удовольствием проводить время в одиночестве и дни кряду не говорить ни с кем, кроме случайных встречных. Я жила в очень своеобразном режиме и делала все, что пожелаю. Меня не сдерживало ничье влияние или критика, и я могла всей душой наслаждаться Венецией.

Я проходила по городу многие мили в любое время дня и ночи, заходя в кафе там, куда меня занесут ноги. Я вновь увидела все свои любимые церкви и музеи и ела карпаччо с прежним восторгом. Я столкнулась только с одним соблазном за эти десять дней, но я бежала от него, как от дьявола. Это был привлекательный молодой человек, который встречался мне на каждом шагу, но тогда я еще была влюблена в Гармана.

На обратном пути я остановилась в Париже у своей матери, и мы отправились вместе за покупками. Это всегда поднимало ей настроение. Она несколько раз на один день приезжала в «Тисовое дерево» и, недоумевая от моего нового образа жизни, не одобряла его еще сильнее прежнего. Она хотела отдать мне свое жемчужное ожерелье, но Гарман сказал, если я приму его, я должна буду его продать и отдать деньги партии. Само собой, ожерелье осталось у матери.

Когда я вернулась в Лондон, Гарман нашел там трехкомнатную квартиру напротив «Фаундлинг Эстейт». Она находилась на одном из верхних этажей, в кронах деревьев, и была крохотной, но уютной. Мы давным-давно забросили квартиру в Адельфи, поскольку она была слишком мала для Гармана и Филлис. Гарман, как всегда, обставил квартиру с большим вкусом. Я редко там жила и в основном оставалась в Питерсфилде.

Синдбад теперь был студентом Бидэльской школы-интерната. Это была первая в Англии школа с совместным обучением и поэтому считалась очень прогрессивной. Синдбаду там ужасно нравилось: он играл в школьной команде по крикету и больше ни о чем не думал. Я была счастлива, что Лоуренс устроил его в школу рядом со мной — всего в шести милях от «Тисового дерева». Каждое воскресенье я забирала его на весь день, и он играл в теннис, плавал в бассейне и ел паэлью Китти и английские трюфели.

Дебби выпустилась из дамской школы и теперь училась в прогрессивном интернате в Уимблдоне. Пегин хотела быть с ней, поэтому мы отправили ее следом. Поначалу и Пегин, и Синдбад терпеть не могли учиться в интернате, но очень скоро их недовольство сменилось восторгом. Пегин приезжала домой каждые выходные вместе с Дебби.

В декабре 1936 года в американские газеты стали просачиваться слухи о грядущей свадьбе короля и миссис Симпсон. Англичане об этом не знали. Журнал «Тайм» подвергали цензуре и резали перед тем, как он появлялся в продаже, но Кей поделилась со мной подпиской, которую доставляли прямиком из Америки; я была одной из немногих, кто обо всем знал. Мы с Гарманом поспорили, правдивы ли слухи, и в случае свадьбы короля с миссис Симпсон он должен был жениться на мне.

Однажды вечером, когда я была в «Тисовом дереве» с Эмили, Гарман прислал мне телеграмму с известием о «большой американской победе» и поздравлениями. Разумеется, я сказала ему, что теперь он должен сдержать слово и взять меня в жены. Но он понимал, что уже поздно и мы слишком расходимся в своих взглядах на коммунизм, чтобы пытаться наладить отношения. Как раз перед этим он предпринял последнюю попытку обратить меня, завербовав под свои знамена Эмили, но и это не сработало.

Я так взбесилась, когда он отказался жениться на мне, что пошла в сад и разворотила его любимую клумбу. На ней было много редких растений, и я вырвала каждое и швырнула их через забор на соседнее поле. Та ночь выдалась самой холодной в году.

На следующий день мне стало так стыдно, что я собрала все растения и попросила Джека мне помочь. Он отреагировал так, будто ничего необычного не произошло, и вместе со мной погрузил их на тележку. Мы высадили их заново, за исключением тех, что замерзли за ночь. Этот инцидент едва ли помог воплотить в жизнь мои надежды на брак. А клумбу я потом назвала именем миссис Симпсон.

Неделю перед отречением мы находились в состоянии крайнего возбуждения. Вся жизнь в Англии замерла, за исключением продажи экстренных выпусков газет. В магазинах было пусто — люди просто не могли думать ни о чем другом. Наконец мы услышали по радио речь короля по случаю его отречения от престола, во время которой расплакался даже Гарман.

Синдбад в то время жил со мной — он поправлялся после скарлатины. На неделю он забыл о крикете и тоже ждал последних известий о королевском отречении.

И вдруг наши с Гарманом отношения подошли к концу. Его терпение лопнуло. Он сказал, что за три года сделал для меня все, что мог, но все это было напрасно и не то, чего я ждала. Я убила его чувства ко мне, и продолжать в том же духе он не желал. Он не лукавил. Не представляю, как он держался так долго. Проблема заключалась в том, что я все еще была в него влюблена. Как раз это его выводило из себя — то, что я никогда по-настоящему не любила его, а только была влюблена. И он был прав.

После расставания Гарману осталась квартира в Лондоне, а мне — коттедж. Гарман попросил разрешения приезжать по выходным. Он хотел видеться с Дебби, и он любил «Тисовое дерево» — коттедж в самом деле был творением его рук. Конечно же, я согласилась и потом горько поплатилась за это.

Я жила одна всю неделю, пока дети были в школе, а по выходным ждала визитов Гармана. Когда он приезжал, он непременно спал со мной, чем еще сильнее запутывал ситуацию. В одни выходные, когда у меня гостила Филлис Джонс, мы с Гарманом поругались из-за коммунизма, и я так нахамила ему, что он ударил меня. Я поскользнулась и упала. Кровь была повсюду. Филлис пыталась уговорить меня не спать с ним, но ему всегда удавалось начать все сначала.

На Пасху я поехала в Париж в надежде забыть Гармана. Я не смогла. Когда я вернулась, он сообщил мне, что влюблен в молодую коммунистку по имени Пэдди, которая раньше работала в издательстве, слившимся с его издательским домом, и теперь служила делу партии. Она была очаровательна, и я первая вслух

отметила это. Она смахивала на американку с ее вздернутым носом и аккуратной фигуркой. Я как-то раз застала ее в квартире Гармана, где они работали допоздна.

У Гармана была еще одна ярая последовательница, Грета. Она была влюблена в него, и когда я рассказала ей о Пэдди, чтобы прояснить ситуацию, она еще больше ударилась в политику и даже записалась в летнюю коммунистическую школу. Впрочем, этим она пыталась хоть как-то занять свою жизнь. Бедная женщина жила одна с тремя дочерями на холме с другой стороны Питерсфилда. Грета обожала мужское общество и возлагала в этом плане на летний лагерь последние надежды. Ее надежды сбылись: она подружилась с ранеными солдатами Интербригады и пригласила их восстанавливать силы у нее дома. Грета происходила из верхушки среднего класса и прожила своеобразную жизнь, став решительно *declassée*[31]. При первой встрече я подумала, что она вылитая героиня Дэвида Лоуренса. Тем не менее она стала моей близкой подругой, и когда Гарман отверг ее, я по-дружески ее утешала. Когда ее старшая дочь вышла замуж за водителя грузовика, Грета нисколько этому не противилась: она считала, что это наглядное отражение духа времени.

Гарману причинял душевные муки его новый роман, поскольку у Пэдди был муж. Их обоих настолько поглотило дело партии, что они как будто не имели права решать что-то в своей личной жизни. Гарман не хотел вмешиваться и разрушать их брак, а сама Пэдди не решалась уйти от мужа, который был намного ее старше и которого она редко видела. У них был ребенок, и они оба были из рабочего класса. Внезапно они уехали в заграничную миссию, оставив Гармана в печали.

Нам с Гарманом потребовалось шесть месяцев, чтобы положить конец нашим отношениям. Он продолжал приезжать ко мне в коттедж и спать со мной, и это было мучением. Меня затягивало в нашу прошлую жизнь, и я никак не могла начать все с чистого листа. Как-то раз мы даже попробовали снова жить вместе в Лондоне. Когда я приезжала в столицу, я обычно останавливалась у Филлис, но неожиданно Гарман пригласил меня к себе. Конечно, из этого ничего не вышло. Мы были уже слишком разными, чтобы жить вместе.

Единственное, что у нас оставалось общего, — это дети. Он обожал их, и именно они раньше держали нас вместе. Они отвечали ему взаимностью.

Летом Гарман поехал в Суонедж в летний коммунистический лагерь. Он хотел, чтобы я и дети поехали с ним. Я долго не могла решиться, но в конце концов согласилась. Мы могли бы прекрасно

отдохнуть, если бы не наши разногласия. Я полюбила Дорсет с тех пор, как мы побывали там с Джоном. Гарман водил нас по красивым местам, мы купались и получали удовольствие от общества троих детей.

Гарман не находил себе места из-за Пэдди и беспокоился, что думает по поводу их связи Гарри Поллит. Я жестоко разыграла его и сказала, что это Гарри Поллит подослал меня к нему с целью поговорить с ним, и Гарман мне поверил. Самое странное, что через год Гарри Поллит действительно захотел увидеть меня; так что по сути я только поторопилась с датой.

Моя мать приехала тем летом в Европу в очень плохом состоянии, и, хотя я знала, что она перенесла несколько операций, для меня стало шоком, когда ее служанка сообщила мне, что ей осталось жить полгода. Я осталась с ней в Лондоне и позже летом приехала к ней в Париж.

Все силы, которые оставались у бедной женщины, она потратила на посещение Всемирной выставки, проходившей в Париже летом 1937 года. Она ей очень понравилась, и мы провели там несколько часов.

В то время я как-то раз сказала Эмили: «Мне кажется, моя жизнь кончена». Эмили ответила: «Если тебе так кажется, то может, так и есть».

Глава 11
«Младшая Гуггенхайм»

Когда я осознала, что наша совместная жизнь с Гарманом закончена, я оказалась лишена всякого занятия — до этого пятнадцать лет я только и делала, что была чьей-то женой. Проблему решила моя подруга Пегги Уолдман, которая предложила мне открыть свое издательство или галерею искусств. Я сразу же отмела идею издательства, поскольку сочла ее слишком дорогостоящей. Откуда мне было знать, что очень скоро искусство отнимет у меня тысячи долларов.

На роль моего помощника напрашивался друг Эмили, Хамфри Дженнингс. Это был молодой художник-сюрреалист тридцати лет, а по совместительству фотограф, поэт и кинематографист. Он был бойким юношей, в котором бурлили идеи, но их изобилие мешало их воплощению в жизнь. В нем были задатки гениальности, а внешне он смахивал на Дональда Дака. Наше сотрудничество он начал с поиска помещения для галереи. Я принимала в процессе очень неопределенное участие: моя мать умирала, и я знала, что до ее смерти я не смогу принимать никаких решений. Я думала, что поеду к ней в Нью-Йорк на Рождество, последнее в ее жизни; вся затея с галереей для меня была не более чем забавой.

Хамфри приехал на выходные в Питерсфилд. Там была Эмили, и поскольку между ними на тот момент уже все закончилось, она предложила мне его, словно вещь, которая ей больше не нужна; я пошла в его комнату и поимела его, словно он в самом деле был вещью. У него были странные представления об удовольствиях этой жизни; одно из них, например, заключалось в том, чтобы провести выходные в яхт-клубе для миллионеров. Со мной ему не удалось реализовать эту амбицию — я была далека от подобных увеселений. Тем не менее он последовал за мной в Париж, где я вместе со своей матерью остановилась в отеле «Крийон». Когда он приехал, я сняла небольшую комнату в гостинице на левом берегу, обставленную помпезной наполеоновской мебелью.

Хамфри чрезвычайно гордился своим некрасивым телом, из которого словно выкачали весь воздух. Он все время прыгал по кровати и приговаривал: «Взгляни на меня! Ну, разве я тебе не нравлюсь? Разве я не красавец?» Я не имела желания проводить все выходные в постели, поэтому при любой возможности вытаскивала его на Всемирную выставку. Он хотел познакомиться

с Марселем Дюшаном, и я устроила эту встречу, а он в ответ повел меня знакомиться с Андре Бретоном в его маленькой галерее «Градива». Бретон походил на льва, который расхаживает взад-вперед по своей клетке.

Хамфри приехал на вторые выходные, но на этот раз я отказалась покидать отель «Крийон», и ему пришлось снимать комнату одному. Со мной была Дебби, и я использовала ее в качестве предлога, чтобы не жить с ним. Мне вправду была невыносима мысль о том, чтобы провести вторые выходные с ним в постели. Мы встретились с Ивом Танги и спросили, не хочет ли он выставить свои работы в Лондоне. У Хамфри были безумные идеи касательно того, как можно оформить экспозицию. Никто из нас не понял, чего он хочет, но Танги вежливо согласился. Его, должно быть, привело в недоумение наше причудливое трио.

Наконец я сказала Хамфри, что наши отношения закончены, и в будущем мы можем быть только друзьями. Я обвинила в этом Гармана, сказав, что все еще в него влюблена. Мы стояли на одном из мостов через Сену, и я помню, как Хамфри зарыдал. Наверное, он рисовал у себя в голове картины удивительной жизни со мной, полной роскоши, веселья и сюрреализма. После того как мы разобрались с этим вопросом, мы замечательно провели время на Всемирной выставке, где состоялось мое первое знакомство с искусством модернизма.

После отъезда Хамфри ко мне приехал Гарман, чтобы обсудить последствия нашего расставания. Сложность в этом вопросе составляли дети, дом и квартира. Большого прогресса мы не добились, поскольку я, неожиданно для Гармана, сняла комнату на двоих, и мы в результате только и делали, что занимались любовью и гуляли по Всемирной выставке. Ему очень нравилось в Париже, где тогда у власти был Народный фронт[32].

Я умоляла Гармана не оставлять меня до тех пор, пока я не открою галерею, однако он был непреклонен и настаивал на том, чтобы к его приезду в Лондон между нами было все кончено. Я помню, как я целый день провела на выставке, и все это время у меня по щекам катились слезы. Это, впрочем, никак не повлияло на ситуацию. Гарман рассчитывал в скором времени начать жить с Пэдди, но, приехав в Лондон, он написал мне, что его ждало большое разочарование — Пэдди не собиралась уходить от мужа. В отношении меня его решение при этом не изменилось.

Мои дети приехали из Межева, и мы все вместе поселились в отеле «Крийон» с моей матерью. Это были наши последние дни, проведенные с ней; она умерла в ноябре в Нью-Йорке прежде, чем я успела с ней еще раз повидаться.

Когда я привезла детей в Англию, мы с Гарманом наконец

смогли решить практические вопросы нашего разрыва. Он переехал в Хемпстед, а квартира осталась мне. Я отдала ему мебель и арендовала у него коттедж «Тисовое дерево». Он теперь работал на Коммунистическую партию, и деньги от аренды ему пришлись очень на руку. Он попросил меня разрешить Дебби и дальше приезжать по выходным с Пегин. Я была только рада, но с ее матерью возникло столько проблем, что все стало почти так же сложно, как при моем разводе с Лоуренсом. В конце концов мы решили, что Дебби будет приезжать каждые третьи выходные.

Через какое-то время наше сотрудничество с Хамфри исчерпало себя. У него было столько других занятий, что нам пришлось отказаться от совместной работы. Я наконец-то арендовала второй этаж здания на Корк-стрит и наняла свою подругу Уин Хендерсон в качестве секретаря. Она была чрезвычайно сообразительна, и, пока я ездила в Париж в попытке организовать выставку Бранкузи, она полностью отремонтировала помещение. Она дала моей галерее имя «Младшая Гуггенхайм».

В Париже Бранкузи не оказалось. Однако Марсель Дюшан и Мэри познакомили меня с Кокто, и мы решили предоставить ему первую выставку в галерее.

На тот момент я совершенно не разбиралась в искусстве. Марсель пытался просветить меня. Не знаю, что бы я делала без него. Для начала он объяснил мне разницу между абстракционизмом и сюрреализмом. Потом он познакомил меня с художниками. Все его обожали, и я повсюду встречала теплый прием. Он составил для меня план выставок и дал уйму советов. Именно он открыл мне двери в мир модернизма.

Через Марселя я узнала Жана Арпа, скульптора, изумительного поэта и занятнейшего человека. Он повез меня в Медон, чтобы показать модернистский дом, который он построил для себя и своей жены Софи. У каждого из них был свой этаж-мастерская, а весь сад заставлен скульптурами Арпа. Софи была художницей-абстракционисткой и скульптором. Его работы, скорее, относились к сюрреализму, но он умудрялся сохранять позиции по обе стороны баррикад и выставлялся с обеими группами. Софи, бывшая учительница из Швейцарии, работала редактором в интересном журнале под названием «Пластик». Арп пытался устроить карьеру Софи, а поскольку ее собственные работы не представляли собой ничего выдающегося, я не раз оказывалась в неприятной ситуации, когда он обращался ко мне с просьбами. Они вдвоем создали достойную скульптуру под названием «*Sculpture Conjugale*»[33]. Софи была чудесной женой. Она делала для Арпа все, а помимо этого еще умудрялась

находить время для своих работ и журнала. Первое, что я купила для своей коллекции, была бронзовая скульптура Арпа. Он отвез меня в литейную мастерскую, где ее отлили, и я, влюбившись с первого взгляда, попросила подержать ее в руках. В ту секунду, когда я дотронулась до нее, я поняла, что должна ею обладать.

Наверняка я ехала в Париж в предвкушении чего-то нового, но я представить не могла, что меня ждет. Хотя я и поддавалась любым соблазнам на своем пути, но уже примерно год я была одержима странным созданием по имени Сэмюэль Беккет. Он появился в моей жизни на следующий день после Рождества 1937 года. До этого я имела с ним поверхностное знакомство — он бывал у нас на авеню Рей. Я знала, что он близок с Джеймсом Джойсом, что он был помолвлен с его дочерью и причинил ей много страданий. Беккет не работал на Джойса, как все утверждают с тех пор, хотя бесконечно выполнял его поручения. Секретарем Джойса тогда был русский еврей-интеллигент по имени Поль Леон, которого позже убили немцы.

Беккет был тощим долговязым ирландцем примерно тридцати лет с огромными зелеными глазами, которыми он никогда не смотрел на собеседника. Он носил очки, и казалось, он всегда витает где-то далеко и бьется над интеллектуальными вопросами; он участвовал в разговорах очень редко и никогда не говорил глупостей. Он был чрезвычайно вежлив, но несколько неловок. Он плохо одевался — носил узкие французские костюмы и не имел ни капли тщеславия в отношении своей внешности. Беккет принимал жизнь с фатализмом и считал, что ничего не может изменить. Он не состоялся как писатель и был чистым интеллектуалом. Я встретила его вновь у Хелен Джойс.

Тем вечером мы были в ресторане «Фукетс», где Джеймс Джойс устроил прекрасный ужин. Он много спрашивал меня о моей галерее в Лондоне и, как обычно, был обаятелен и хорош собой. На нем был красивый ирландский жилет, доставшийся ему от деда.

После ужина мы пошли к Хелен, а после этого Беккет предложил проводить меня домой. Я была удивлена, когда он взял меня под руку и провел до самой рю де Лилль, где мне одолжили квартиру. Он не давал мне ясно понять свои намерения, но в какой-то момент неловко попросил меня лечь рядом с ним на диван. После этого мы оказались в постели, где оставались до следующего вечера. Мы могли бы остаться там и дольше, но я договорилась об ужине с Арпом, у которого, к сожалению, не было телефона. Не знаю почему, но я вдруг упомянула шампанское, после чего Беккет бросился на улицу и вернулся с несколькими бутылками, которые мы выпили прямо в

кровати. Уходя, Беккет попрощался очень просто и фаталистично, как будто мы больше никогда не увидимся: «Спасибо. Мне будет что вспомнить». За время его недолгого отсутствия Джойс, при котором Беккет практически состоял рабом, успел переволноваться. Хелен догадалась, что он со мной, так что наш секрет стал достоянием общественности. После этого я переехала в дом Мэри Рейнольдс, пока та лежала в больнице, и некоторое время не видела Беккета. Как-то вечером я встретила его на разделительном островке посреди бульвара Монпарнас. Должно быть, я бессознательно искала его в это время, потому что совсем ему не удивилась. Мы как будто пришли на условленную встречу.

Мы отправились в дом Мэри и провели там двенадцать дней. Нам было суждено быть счастливыми вместе только это короткое время. Из тринадцати месяцев, что я была влюблена в него, воспоминания о тех днях остались для меня самыми волнительными. Он был тоже влюблен, и мы оба находились в крайнем интеллектуальном возбуждении. После смерти Джона я не имела возможности ни с кем разговаривать на своем, а точнее, на его языке. И вот неожиданно я вновь могла говорить все, что я думаю и чувствую.

Несмотря на то что я открывала в Лондоне галерею модернизма, я сама предпочитала старых мастеров. Беккет сказал мне, что современное тебе искусство нужно воспринимать как живое существо. Помимо Джеймса Джойса у него было две страсти: Джек Йейтс и голландский художник Гер ван Вельде, мужчина примерно сорока лет, чье творчество полностью поглотило влияние Пикассо, и Беккет хотел, чтобы я устроила выставки их обоих. Я не могла ни в чем ему отказать. Джек Йейтс, к счастью, осознал, что его живопись совершенно не соответствует духу моей галереи, и не принял предложения. Но выставку ван Вельде я все же провела. Чтобы порадовать Беккета, я даже купила несколько его картин, похожих на Пикассо, — тайно и под разными именами, — а потом ван Вельде, не зная об этом, потребовал с меня пятьсот долларов, в которых я не могла ему отказать.

Беккет писал и приносил мне свои работы. Я считала, что у него плохие, слишком детские стихи. Однако одна из его книг, «Мерфи», которую тогда только издали, была определенно незаурядна, как и его предыдущий анализ Пруста. Полагаю, он во многом находился под влиянием Джойса, но его собственные своеобразные и мрачные идеи были достаточно оригинальны и проникнуты великолепным сардоническим чувством юмора.

Больше всего в нашей жизни мне нравилось, что я никогда не знала, в какое время дня или ночи он явится. Он приходил и

уходил совершенно спонтанно, и меня это приводило в восторг. Он был постоянно пьян и бродил словно во сне. У меня было много дел, связанных с галереей, и часто мне приходилось во второй половине дня уходить на встречу с Кокто, чьей выставкой должна была открыться моя галерея. Беккет протестовал: он хотел, чтобы я оставалась с ним в постели.

Есть какая-то ирония в том, что мне пришлось искать для себя занятие, когда я лишилась личной жизни, а теперь, когда она снова у меня появилась, ей приходилось жертвовать. На десятый день нашей связи Беккет изменил мне. Он позволил своей подруге из Дублина забраться к нему в постель. Не помню, как я узнала об этом, но он признался и сказал, что просто не стал ее прогонять, когда она пришла к нему, и что заниматься любовью, не будучи влюбленным, — все равно что пить кофе без бренди. Из этого я заключила, что я в его жизни — бренди, но тем не менее пришла в ярость и заявила, что все кончено. Он позвонил мне на следующий вечер, но я была так зла, что не стала с ним разговаривать. Через несколько минут после этого неизвестный маньяк вогнал ему нож между ребер на авеню д'Орлеан, и его увезли в больницу. Я ни о чем не подозревала, но поскольку собиралась в Лондон, то захотела попрощаться с Беккетом. Когда я позвонила в его отель, хозяин рассказал мне, что случилось. Я чуть не сошла с ума. Я объехала все госпитали Парижа, но не нашла его. В конце концов я позвонила Норе Джойс, и та мне сказала, где он. Я сразу же отправилась туда и оставила ему цветы и записку, в которой говорила, как я люблю его и что все ему простила. На следующий день его навестил Джойс, и вместе с ним я. Секретарю наполовину слепого Джойса потребовалось много времени, чтобы провести его в палату. Я же, ведомая каким-то чутьем, сразу же бросилась в нужную дверь и нашла Беккета. Он удивился, так как думал, что я уже уехала в Лондон. Он был очень рад. Я попрощалась с ним. Я знала, что оставляю его в надежных руках Джойса и что он будет долго прикован к постели. Мне нужно было возвращаться в Лондон на открытие своей галереи, но я намеревалась вернуться в Париж при первой возможности.

Подготовить выставку Кокто оказалось непростым занятием. Чтобы поговорить с Кокто, надо было ехать к нему в отель на рю де Камбон и пытаться добиться от него ответов, пока он лежал в кровати и курил опиум. Дым пах приятно, но мне было не по себе обсуждать деловые вопросы в такой обстановке. В один вечер он решил пригласить меня на ужин. Он сидел напротив зеркала, стоявшего за моей спиной, и весь вечер не мог оторвать от себя глаз. Он был невероятно красив с его длинным восточным лицом

и изящными руками с заостренными пальцами, так что я могу понять, чем его заворожило собственное отражение.

Беседы с Кокто не уступали очарованием его лицу и рукам, и я с нетерпением ждала его приезда в Лондон на выставку, но ему не позволило здоровье. Тем не менее он написал предисловие к каталогу, а Беккет его перевел.

В Лондоне я жила в страшной суматохе. У меня было столько дел, что я не знаю, как я только выжила. Сначала мне надо было меблировать свою квартиру, поскольку я отдала всю мебель Гарману. Потом мне нужно было подготовить галерею к открытию и пригласить на него сотни людей, а также напечатать и разослать каталог и приглашения. К счастью, на открытие прилетели Мэри Рейнольдс и Марсель Дюшан, и Марсель сам красиво развесил всю экспозицию.

Кокто прислал мне порядка тридцати оригинальных рисунков, сделанных для декораций к его пьесе «Рыцари Круглого стола». Кроме того, я одолжила мебель, которую он сам разработал для спектакля, и набор тарелок, выдержанных в том же духе. В схожем стиле он сделал еще несколько чернильных рисунков и два — на льняных простынях специально для выставки. Один из последних представлял собой аллегорическую зарисовку под названием «Страх, дающий крылья Мужеству», на которой среди прочих был изображен актер Жан Маре. У него и еще двух фигур декадентского вида имелись лобковые волосы. Кокто приколол на них сверху листья, но они все равно вызвали большой скандал на британской таможне, которая задержала рисунок в Кройдоне. Мы с Марселем бросились вызволять его. В ответ на мой вопрос, чем их смущает нагота в искусстве, они ответили, что смущает их не нагота, а лобковые волосы. Пообещав не выставлять рисунок на публике, а только показывать друзьям в своем кабинете, я смогла забрать его у них. Мне так полюбилась эта работа, что я в итоге купила ее.

Тогда я еще не думала о том, чтобы начать коллекционировать. Однако я неизменно покупала хотя бы одну картину с каждой своей выставки, чтобы не разочаровывать художников, если у меня не слишком хорошо выходило находить покупателей. В те времена я не имела представления, как продавать, и сама никогда не покупала картины, поэтому это казалось мне лучшим выходом и меньшим, что я могу сделать для художников.

Открытие галереи «Младшая Гуггенхайм» в январе 1938 года прошло с большим успехом, но больше всего меня осчастливила телеграмма с *auguri*[34], подписанная «Обломов».

Я называла Беккета Обломовым по имени героя романа

Гончарова, который когда-то давно мне дала прочитать Джуна Барнс. При встрече с Беккетом меня поразило, что он живет точь-в-точь как Обломов. Я заставила его прочитать книгу, и, разумеется, он сразу же увидел сходство между собой и этим странным апатичным героем, у которого в конце концов не хватило сил даже встать с кровати.

Говорить с Беккетом было сложно. Он никогда не бывал разговорчив, и требовались долгие часы и большое количество выпивки, чтобы разогреть его и заставить раскрыться. Если ему случалось дать повод думать, что он любит меня, то как только я хваталась за это, он сразу брал свои слова обратно и говорил, что был слишком пьян. Когда я спрашивала его, что он собирается делать с нашей жизнью, он неизменно отвечал: «Ничего».

Как только у меня появилась возможность уехать из Лондона, мы с Мэри и Марселем Дюшаном вернулись в Париж. Беккет выписался из госпиталя и теперь восстанавливал силы в своем отеле. Я сняла комнату там же, но, кажется, совсем его этим не обрадовала. У моей сестры Хейзел была замечательная квартира на острове Сен-Луи, где она позволяла мне на время останавливаться. Там не было мебели — только одна большая кровать и множество ее картин (она была хорошей художницей-примитивисткой). Я пыталась уговорить Беккета жить со мной на острове, но он отказывался быть там все время. Он то приезжал, то уезжал и приносил с собой в постель шампанское.

У Беккета был близкий друг по имени Брайан Коффи. Это был маленький смуглый мужчина, эдакий иссушенный интеллектуал и томист. Он настойчиво пытался добиться моего расположения, и я крайне бестактно дразнила им Беккета. Я то и дело говорила ему, что хочу переспать с Коффи. Беккет страдал от комплекса неполноценности, и поскольку я с такой страстью говорила о Джоне Холмсе и высмеивала Хамфри Дженнингса, он пришел к выводу, что он не тот мужчина, который мне нужен. В итоге однажды он заявил, что больше не будет спать со мной и я могу забирать Брайана — может, с ним я буду довольна. Меня так вывело из себя его предложение (хотя сейчас я понимаю, что исключительно моя глупость выдавила из Беккета эти слова), что я пошла и переспала с Брайаном. Оставляя нас, Беккет выглядел гордым и печальным, зная, что сейчас произойдет. На следующий день Беккет спросил у меня, нравится ли мне Брайан, на что я, должно быть, ответила «нет», поскольку Беккет вновь вернулся ко мне. Мы были счастливы вместе двадцать четыре часа, после чего все пошло прахом. Мы встретились с Брайаном за обедом, и тот спросил у Беккета, не создает ли он препятствие в его личной жизни — он только сейчас понял, что мы вместе. К моему

огромному изумлению, Беккет уступил меня Брайану. Меня это так потрясло, что я бросилась прочь из кафе и в страшном гневе обошла весь Париж. Потом я вернулась в отель к Беккету и устроила ужасный скандал, чем не помогла себе. Он сказал, что больше не влюблен в меня.

Наша сексуальная жизнь действительно закончилась, но не более того. Во всем остальном наши отношения остались точно такими же. Мы постоянно были вместе, и я испытывала такой же экстаз в его обществе, как и прежде. По вечерам он провожал меня домой по мосту позади собора Парижской Богоматери. Когда мы доходили до моей двери, Беккет начинал мучиться в нерешительности, но в конце концов всегда брал себя в руки и убегал. Мне это причиняло немыслимую боль, и я ночи напролет лежала без сна в надежде, что он вернется.

Беккету была свойственна апатия, и он всегда следовал по пути наименьшего сопротивления. Однако для Джойса он был готов на все и оставлял меня по первому зову своего кумира. Я очень ревновала. Джойс, мне кажется, любил Беккета как сына.

В феврале 1938 года Джойсу исполнилось пятьдесят шесть лет. Мария Джолас устроила в его честь ужин у Хелен Джойс. Беккет в большом волнении искал подходящие подарки. Он пошел со мной в магазин и заставил меня купить терновую трость. Одному богу известно зачем. Сам он хотел найти в подарок швейцарское вино, любимый напиток Джойса. Я вспомнила, что мы с Джоном Холмсом несколько лет назад ужинали с Джойсом в швейцарском ресторане; я поехала на рю Сент-Анн, нашла это место и спросила, не продают ли они свое вино. Разумеется, они согласились, когда узнали, для кого оно. Беккет забрал его и был крайне доволен. На ужине Джойс предложил сто франков тому, кто угадает название его новой книги («Поминки по Финнегану»), которая вот-вот должна была выйти в свет. Уверена, что Беккет выиграл. На вечере присутствовали исключительно адепты Джойса. Я вновь встретила Герберта Гормана, с которым не виделась много лет. Стол украшал гипсовый макет Дублина с зеленой лентой, изображавшей любимую реку Джойса, Лиффи. Джойс сильно напился и даже станцевал джигу посреди комнаты.

Марсель отправил меня к Кандинскому. Это был чудесный старик семидесяти лет, веселый и обаятельный, с кошмарной женой на тридцать лет его моложе по имени Нина. Все обожали его и ненавидели ее. Я спросила, не хочет ли он провести выставку в Лондоне; он еще ни разу там не выставлялся и с радостью согласился. У него был друг в Англии, который владел большим количеством его работ — сэр Майкл Садлейр.

Кандинский был расстроен тем фактом, что мой дядя Соломон Гуггенхайм предпочел Рудольфа Бауэра, его третьесортного имитатора. Как утверждал Кандинский, он сам советовал моему дяде купить картины Бауэра, тогда как Бауэр, заняв его место, ни разу не предложил моему дяде купить Кандинского. Он хотел, чтобы я уговорила дядю приобрести одну его раннюю работу. Я пообещала сделать все, что в моих силах, но не могла ожидать, к какому это приведет результату.

В Лондоне Кандинский с женой сами полностью организовали выставку. В нее вошли картины с 1910 по 1937 год. Я только и сделала, что отправила им план галереи, а они сам решили, где какую картину повесить. Они были очень практичны. Кандинский куда больше смахивал на брокера с Уолл-стрит, чем на художника. Госпожа Кандинская вела себя отвратительно, и я удивлена, что они вообще продали хоть одну картину — такая она была жадная. В конце выставки я купила одно полотно 1937 года и одну из его великолепных ранних работ. Позже в Нью-Йорке я приобрела много других, но я бы хотела сейчас иметь несколько картин с той выставки.

Как-то раз во время выставки в галерею пришел учитель искусства из Северной Англии и стал умолять меня дать ему показать десять работ Кандинского ученикам его школы. Меня умилила эта идея, и я написала Кандинскому. Он ответил, что с удовольствием даст свое разрешение, но со своей обычной деловитостью добавил, что картины необходимо застраховать. Когда выставка закончилась, приехал директор школы, пристегнул десять холстов к своему автомобилю и уехал. Уверена, с Кандинским никогда до тех пор не обходились столь фамильярно. Возвращая картины, директор сказал мне, как много это значило для его школы.

Как я и обещала, я написала своему дяде и поинтересовалась, имеет ли он все еще желание купить ту раннюю картину Кандинского. В ответном письме дядя вежливо сообщил мне, что он передал мое послание баронессе Ребай, куратору музея, и что она сама мне ответит. Через какое-то время я получила шедевральный документ:

Уважаемая миссис «младшая» Гуггенхайм,

Мне было передано для ответа ваше предложение о продаже картины Кандинского.

В первую очередь считаю необходимым сообщить, что мы не приобретаем произведения у дилеров, поскольку величайшие художники сами предлагают нам свои работы, а во-вторых, даже если острая нужда вынудит нас обратиться к галерее за исторически важным произведением искусства, ваша галерея в

нашем списке будет последней.

Чрезвычайно горько видеть, как сейчас, когда имя Гуггенхайм ассоциируется с высокими идеалами в искусстве, вы очерняете его попытками использовать для торговли, как будто наше великое филантропическое дело можно превратить в подспорье для маленькой лавчонки. Шедевры беспредметного искусства, как вам предстоит узнать, не рождаются десятками, чтобы галереи могли на них наживаться. Коммерция и настоящее искусство несовместимы именно по этой причине. Вскоре вы обнаружите, что плодите посредственность, если не откровенную бездарность. Вы вполне можете себе позволить покупать произведения беспредметного искусства, если оно вас интересует, и начать собирать собственную коллекцию. Таким образом вы вступите в плодотворное сотрудничество с художниками и оставите своей стране достойную коллекцию, если вы умеете выбирать. Если не умеете, то и в торговле вас ждет неудача.

Благодаря дальновидности человека, который многие годы собирал и защищал настоящее искусство, и моей работе и опыту, имя Гуггенхайм стало символом великого искусства, и крайне безнравственно использовать его, а также наш труд и славу, в погоне за прибылью.

С уважением,

Х.Р.

P.S. В ближайшее время мы не планируем высылать нашу новейшую публикацию в Англию.

Во время выставки Кандинского ко мне в Лондон приехал Брайан. Мы только и делали, что говорили о Беккете, которого оба обожали. Думаю, Брайан хотел жениться на мне, но я не имела такого намерения. Я испытала большое облегчение, когда он спустя неделю вернулся в Париж.

Седрик Моррис, один из моих самых давних друзей, был художником и рисовал цветы; у него была своя ирисовая ферма и школа живописи в Саффолке. Он хотел провести выставку в моей галерее, но не желал выставлять свои чудесные картины с цветами, коими был знаменит. Вместо них он предлагал пятьдесят портретов лондонских знаменитостей. Портреты эти, скорее, смахивали на карикатуры, причем нелестные. Совершенно ни к чему было выставлять их в галерее сюрреализма и абстракционизма, но мы с Уин так любили Седрика, что не смогли ему отказать. Он покрыл все стены в три ряда. Мне кажется, он развесил не меньше сотни этих портретов. В один из вечеров мы устроили небольшую вечеринку, чтобы дать толчок продажам. Обернулась она для нас полной неожиданностью: вместо взлета продаж нас ждал жуткий скандал. Одному из

гостей, архитектору по имени мистер Сильвертоу (или как-то так) очень не понравился его портрет, и чтобы выразить свое недовольство, он начал жечь каталоги. Седрик Моррис, который, естественно, пришел в негодование, ударил мистера Сильвертоу, за чем последовала кровавая драка. Стены галереи были забрызганы кровью. На следующий день Седрик позвонил с извинениями и предложил увезти картины. Разумеется, мы отказались.

Через несколько месяцев меня навестил Арп. Марсель Дюшан помог мне организовать выставку современной скульптуры, и Арп, один из участников, приехал, чтобы лично принять участие в подготовке. Арп отличался большой домовитостью. Он рано вставал и с нетерпением ждал, пока я проснусь. Каждое утро он подавал завтрак и сам мыл посуду. Всю неделю мы веселились и прекрасно проводили время. Мы съездили в Питерсфилд. Арп восхищался английскими пейзажами и церквями Сассекса. Домой он уехал со шляпой-поркпай и хлебницей под мышкой. Он знал только одно слово на английском — *candlesticks*[35], и за время визита его лексикон не пополнился.

Пока Арп был в Англии, меня пригласил взглянуть на свои работы Джейкоб Эпстайн. Разумеется, я взяла Арпа с собой. Это разозлило Эпстайна, который не желал допускать до своего творчества Арпа, но мы заверили, что Арп — большой его поклонник. Эпстайн ненавидел сюрреалистов и считал, что Арпу нет никакого дела до его работ. Однако, напротив, Арпа заворожили странные вещи, которые мы увидели, в частности огромная фигура погребенного Христа. Эпстайн писал дивные портреты. Они точно ничем не уступают произведениям итальянского Ренессанса; прочие же его фантазии я терпеть не могу.

После этого у меня снова возникли неприятности с британской таможней. Марсель Дюшан отправил ко мне из Парижа скульптуры для выставки, среди которых были работы Бранкузи, Раймона Дюшан-Вийона, Антуана Певзнера, Арпа, его жены, Анри Лорана и Александра Колдера. Англию на выставке должен был представлять Генри Мур, однако таможня отказалась пропускать работы на территорию Англии в качестве экспонатов одной выставки. Джеймс Мэнсон, директор галереи Тейт, не выдал такового разрешения, и экспонаты можно было провезти только в качестве отдельных объектов из бронзы, мрамора, дерева и так далее. В таком случае за них пришлось бы платить огромную пошлину, что я бы сделала, если бы иного выхода у меня не нашлось. Причиной тому был нелепый старый закон, призванный защищать английских камнерезов от зарубежной

конкуренции. Решить, является тот или иной предмет произведением искусства, мог только директор галереи Тейт. Мистер Мэнсон злоупотребил своим правом и отказался пропускать мои экспонаты, заявив, что они не имеют права называться искусством. Это вызвало большой скандал, и Уин Хендерсон собрала подписи художественных критиков против его вердикта. В результате мой случай оказался на повестке палаты общин и решение вынесли в мою пользу. Мистер Мэнсон не только проиграл дело, но и вскоре потерял свою должность. Таким образом я оказала большую услугу всем зарубежным художникам и самой Англии.

Историю немедленно подхватили все газеты, и выставка приобрела огромную популярность. Фотография «Скульптуры для слепых» Бранкузи появилась в колонке Тома Драйберга в «Дейли Экспресс».

В этот момент сбылось то, о чем я в издевку сказала Гарману годом ранее. Гарри Поллит, всюду прочитав о моем успехе в борьбе с мистером Мэнсоном, решил, что я слишком важна и меня нельзя потерять. Он написал мне, что при встрече сможет развеять все мои сомнения в отношении коммунизма за десять минут. В ответном письме я сказала, что слишком занята и что ему «стоит как-нибудь навестить меня самому», чего он не сделал. К тому времени Гарман уже жил с Пэдди, а позже женился на ней.

Однажды меня пригласил на ужин Эджел Рикуорд и спросил, не окажу ли я важную услугу Коммунистической партии. Они просили меня предоставить мою квартиру для Луи Арагона и целого съезда писателей-коммунистов в Лондоне. Им нужны были роскошные апартаменты, поскольку в Париже английских писателей встретили по-королевски и разместили в отеле на авеню де Опера. Я отказалась, сказав, что моя квартирка в Блумсбери вовсе не такая шикарная, что в ней нет прислуги и расположена она на третьем этаже в доме без лифта. Коммунистам пришлось продолжить поиски.

Уин Хендерсон была удивительной женщиной. Не представляю, что бы я делала без нее. Благодаря ей в галерее все работало как часы, хотя прежде она не имела подобного опыта работы. По профессии она была полиграфистом и умела обращаться со многими современными типографскими станками. Ее стараниями мы всегда печатали изумительные приглашения и каталоги. Она обладала практическим умом, необычайным тактом и светскими манерами и запоминала лица всех посетителей галереи, на что я была не способна. Она умела наслаждаться жизнью. Как-то раз я заставила ее пересчитать всех

своих любовников. Она оставила это занятие, дойдя до сотни. В то время она сильно растолстела, но в молодости, должно быть, была настоящей венецианской красавицей. К ее печали она уже не пользовалась таким успехом у мужчин, но никогда не завидовала чужому счастью. Более того, она все время побуждала меня радоваться жизни. Несколько лет назад она пыталась свести меня со своим любимым сыном Айоном, а потом переключилась на младшего, Найджела. Он был душкой, но я всегда относилась к нему лишь как к славному ребенку, хотя любила его нрав и чувствовала, что мы сделаны из одного теста. Когда Уин поняла, что ничего не выйдет и что я все еще влюблена в Беккета, она отправила меня обратно в Париж. Беккету польстил мой визит и моя настойчивость. Он находился в странном состоянии и сказал, что однажды наша жизнь наладится. С самого рождения у него оставались ужасные воспоминания о жизни в материнской утробе. Они без конца его преследовали, и у него случались кошмарные приступы удушья. Он не мог определиться, хочет ли он меня, но отпускать меня он не решался. (В качестве замены нашей сексуальной жизни мы беспробудно пьянствовали и гуляли по Парижу до утра.)

Моя влюбленность в Беккета зиждилась на уверенности в том, что он способен на большую страсть и что я могу ее в нем разбудить. Он же это всегда отрицал и говорил, что мертв, что не способен на человеческие чувства и потому не смог полюбить дочь Джойса[36].

Я спросила у Хелен Джойс, что мне делать с Беккетом, и та посоветовала взять его силой. И вот однажды вечером, когда он вел себя нерешительно и будто бы против своей воли склонялся ко мне, мы шли с ним домой, и я подумала о том, насколько меньше он станет мне нравиться, если я его заполучу. Когда он взял меня под руку и у меня в голове промелькнула иллюзия, будто все решено, я поймала себя на мысли: «Как же скучно». Тем не менее я настояла на том, чтобы остаться у него на ночь. Внезапно он испугался и бросился прочь, оставив меня одну в квартире. Мне было так плохо, что я встала в четыре утра и написала стихотворение, которое оставила у него на столе, а затем уехала обратно в Англию.

К моим вратам пришла гроза:
Женщина. Или судьба?
Я слышу колокола звон.
По жизни иль по смерти он?

Ей движет страсть, мной — пустота.

Возьмет ли верх мой вечный страх?
Предпочту ли боль разрыва
Тому, что время нам сулило?
Чем дольше я веду с ней бой,
Тем громче звон за упокой.
Дать ли отсутствию желаний
Сгубить ее Святое пламя?

Итак, мне вновь пришлось отказаться от своих притязаний на Беккета. Но вскоре мне было суждено снова увидеть его, когда он приехал в Лондон на открытие выставки его обожаемого ван Вельде. Когда картины развесили на стенах моей галереи, они еще сильнее стали смахивать на Пикассо. Судя по всему, все критики сошлись на том же и не стали привлекать к этой выставке большого общественного внимания. Ван Вельде же был счастлив, так как я продолжила покупать его картины под разными именами и часть из них раздаривать друзьям. Все потому, что я любила Беккета, а Беккет любил ван Вельде.

На выходные я пригласила ван Вельде с женой в Питерсфилд и там развесила по всему дому его гуаши. После долгих раздумий к нам присоединился и Беккет. Мы неплохо провели вечер, особенно благодаря компании Джорджа Риви с супругой. Когда я легла спать в столовой, предоставив спальню чете Риви, ко мне пришел Беккет. Он сообщил мне, что у него появилась любовница, и спросил, не имею ли я что-то против. Разумеется, я ответила, что нет. По его описанию она скорее походила на мать, чем на любовницу. Она пришла к нему в квартиру, развесила там шторы и стала ухаживать за ним. Он не был в нее влюблен, но она не устраивала сцен, в отличие от меня. Я видела ее однажды еще до того, как она стала его любовницей, тогда ею была я, и мне не пришло в голову ревновать к ней; для этого ей не хватало привлекательности. Она была примерно моего возраста, и мы обе были старше Беккета. После его признания я таки решила найти утешение в Мезенсе.

Э. Л. Т. Мезенс был поэтом-сюрреалистом и директором Лондонской галереи — моим соседом по Корк-стрит. Наши галереи делили один фасад здания, и мы прикладывали все усилия, чтобы не мешать выставкам друг друга. Я покупала у Мезенса картины. Это был веселый маленький фламандец, несколько вульгарный, но в остальном крайне приятный и сердечный. Он хотел заполучить меня в любовницы, и мы договорились об ужине. Наша связь началась еще до отъезда Беккета в Париж, и я получала дьявольское удовольствие от этого.

Роман с Мезенсом продлился недолго. Я призналась, что влюблена в Беккета, и помчалась в Париж в надежде снова увидеть его. Мезенс был редактором сюрреалистической газеты «Лондон Буллетин», весьма неплохой, но слишком коммерческого склада, как и сам Мезенс. Газета эта рекламировала все, что Мезенс продавал в своей галерее, и он бесплатно печатал мои каталоги в обмен на рекламу, за которую я платила. Я хотела сама управлять этой газетой и сделать ее лучше, но Мезенс ревновал меня и не желал иметь других напарников, кроме Хамфри Дженнингса. В этот раз я переправила в Париж автомобиль для Беккета. Я известила его телеграммой о своем приезде, но он не встретил меня в Кале, как я надеялась. Он с равнодушным видом ждал меня в своей квартире и вел себя так, будто я его утомляю.

Как-то раз днем, когда мы были с ван Вельде и его женой в квартире Беккета, они с ван Вельде вдруг стали меняться одеждой. Это было зрелище весьма гомосексуального характера, но исполненное ими с таким видом, будто ничего необычного не происходит. В обличительном порыве я заявила, что Беккет влюблен в ван Вельде. Затем мы пошли на танцы, и там случился ужасный скандал; Беккет ушел, оставив меня с четой ван Вельде.

После этого случая наши отношения стали прохладными, и мы практически перестали встречаться. Я жила у Мэри и спустя какое-то время сказала ей: «Мне нет смысла тут оставаться, раз я не вижусь с Беккетом». Я решила вернуться в Лондон. Перед отъездом я написала ему, что хотела бы попрощаться. Он несколько оживился, и мы решили напоследок вместе отвезти ван Вельде с женой на юг, где они собирались жить.

Спланировать отъезд оказалось непросто, поскольку Беккет каждые выходные проводил с любовницей и не мог просто так изменить своим привычкам. В конце концов мы таки собрались и выехали в два часа дня в воскресенье на моем «деляже». Беккет отвез нас в Марсель, и оттуда мы на день отправились в Кассис. ван Вельде и его жена недоумевали от происходящего: они совершенно не понимали, что между нами происходит. Они много раз оказывались свидетелями наших ссор и не могли понять, почему мы постоянно начинаем все сначала.

Мы оставили их в Марселе и отправились на север. Я столько времени прождала Беккета в Париже, что теперь спешила обратно, поскольку мне еще предстояло везти Ива Танги в Лондон на выставку. На обратном пути мы остановились в Дижоне. У меня было много воспоминаний об этом скорбном городе; я не думала, что к ним добавятся новые. Беккет вел себя так странно, что я навсегда запомнила тот день. Мы случайно

выбрали для ужина кошмарный ресторан, что было крайне нелепо с учетом того, что Дижон славится превосходной едой. Беккет не обладал чутьем на хорошие заведения, и из-за своего протестантского воспитания он рефлекторно избегал в жизни всего, что доставляет удовольствие. Когда мы приехали в отель, он снял номер на двоих. Я подумала, что это странно, но потом он повел себя еще более необъяснимо. Мы легли на раздельные кровати. Через какое-то время я попыталась перебраться к нему, но Беккет вскочил и перелег в мою кровать, назвав меня обманщицей. Когда я спросила, зачем тогда он взял комнату на двоих, он ответил, что она была на тридцать франков дешевле, чем две раздельные.

На следующее утро мы обошли весь Дижон. Я была счастлива в компании Беккета: он любил смотреть на все красивое и был для меня идеальным спутником. Ходить по музеям с ним было одно удовольствие. Мы чудесно ладили, и я сказала ему, что с ним теперь куда приятней, чем раньше. Он ответил, что со мной легче находить общий язык, когда я не закатываю скандалы. Наше путешествие пришлось закончить слишком скоро из-за Танги. Мы расставались с болью, и Беккет вновь жалел о том, что решил уйти от меня.

Ранним утром я выехала в Лондон. По какой-то причине мой автомобиль не желал заводиться. Я потратила целый час и опоздала на встречу с Танги и его женой. Мы в страшной спешке отправились в Булонь и чуть не упустили свой корабль. Танги до этого никогда не бывали в Англии, и для них это было волнительное приключение. Они настолько отличались своей неизбалованностью от всех моих пресыщенных жизнью знакомых, что я получала огромное удовольствие от их общества. Когда мы приехали в Лондон, я передала их в руки Питера Доусона, английского сюрреалиста, который пригласил их пожить у него. Он сходил с ума от восторга по поводу их приезда в Лондон и чувствовал себя у них в долгу, хотя они были едва знакомы и до этого встречались только один раз в Париже.

Мне нужно было уехать в Питерсфилд к Пегин, которую я не видела уже пять недель. Питер и Танги должны были за выходные подготовить выставку к открытию. В моем доме жила Хейзел, и Пегин проводила с ней выходные. Мы распаковали громадный чемодан с маминым столовым серебром, который прислали из Америки. Мы с Хейзел разделили серебро между собой, а роль судьи выполняла наша подруга. Мы обе не то чтобы претендовали на него — это была довольно уродливая викторианская посуда, в том числе огромный чайный сервиз, о котором я уже рассказывала. Мы с Хейзел обе отказались от него и решили его

продать. Позже, когда его увидела Джуна, она сказала, что нам стоит отдать его Норе Джойс: сервиз был как раз в ее стиле. Увы, я тогда ее не послушала и велела отнести его в ювелирный магазин в Питерсфилде, и теперь не имею представления, где он. После выходных я отвезла Пегин в ее школу в Уимблдоне и вернулась в город.

Картины Танги замечательно смотрелись на стенах галереи. Это была ретроспектива, и некоторые из его ранних картин не имели ничего общего по духу с его поздними работами. Мне особенно приглянулись две картины из раннего периода. Одна называлась «Дворец высокого мыса» и принадлежала мадам Танги, которая отказывалась ее продавать. В ней практически отсутствовали цвета, что подчеркивало достоинства рисунка. Другой желтый холст принадлежал Питеру Доусону. Вместо них я приобрела «Наряд из воздуха», яркую картину, которая производит причудливый эффект радуги, когда на нее смотришь вверх ногами. Мезенс настоял на том, чтобы я приняла маленькую картину в подарок за то, что заключила сделку с Танги. Этот поступок у всех нас вызвал раздражение. Еще там была удивительная картина «Солнце в футляре». Она долгое время пугала меня, хотя я и знала, что она жемчужина выставки. В конце концов я преодолела свой страх, и теперь она в моей коллекции.

Мы ходили на бесконечные вечеринки; самую безумную из них устроил Мезенс в доме Роланда Пенроуза, где он тогда жил. У Пенроуза, владельца галереи, которой управлял Мезенс, был замечательный дом в Хемпстеде. Самого его тогда не было в Лондоне. Он был богат и постоянно путешествовал. Все ужасно напились, и на следующий день соседи пожаловались на беспорядок в саду. Питер Доусон пригласил девушку, которая под самыми нелепыми предлогами каждый час появлялась в разных костюмах.

Под конец мы с Танги решили вместе поехать ко мне домой. Судя по всему, мы сообщили об этом Уин, и она помогла нам выбраться оттуда, но некто по имени Чарльз Раттон настойчиво увязался за нами. Уже в кэбе он вспомнил, что забыл свои подтяжки, и захотел вернуться. Мы не желали об этом слышать и избавились от него при первой возможности, а затем поехали ко мне и провели ночь в моей квартире. После этого нам было сложно видеться наедине из-за жены Танги. Уин пришла к нам на помощь и пригласила мадам Танги на обед, заняв ее тем на целых полдня.

Вскоре Танги и его жене наскучил дом Доусона, и они переехали ко мне. Танги страдал язвой, и внезапно у него

случилось обострение. Я обежала весь Лондон в поисках лекарства под названием «тулейн». Когда я добыла его, Танги пришел в себя, и мы отправились на выходные в Питерсфилд. Танги быстро нашел общий язык с моей сестрой и прозвал ее *La Noisette*[37]. В доме было так много людей, в том числе друзей Хейзел, что никто не мог найти себе места для сна. Наконец Хейзел уехала, а точнее, отлучилась в Лондон на несколько дней, а я собрала ее вещи и отправила следом. Хейзел нисколько не обиделась на подобное хамство с моей стороны.

Мы с четой Танги остались с Пегин и Дебби. Галерею мы оставили на Уин. Танги души не чаяли в девочках, в особенности мадам Танги, у которой не было своих детей. Девочки были словно создания из волшебной сказки. Они одевались в прелестные платья, и у обеих были длинные развевающиеся волосы — у Дебби темные, у Пегин светлые. Они занимались рисованием в домике Гармана. Танги с Пегин обменялись своими картинами.

Мадам Танги была недовольна тем, сколько времени мы с Ивом проводили вместе. Однажды днем она пропала, а позже нам позвонили из паба в Саут-Хартинге и спросили, знаем ли мы эту женщину и одолжить ли ей денег на автобус до нашего дома. Они решили, что это гувернантка детей, раз она говорит по-французски. Для гувернантки она была, пожалуй, слишком пьяна.

Наш огромный камин имел на меня странное воздействие; годами меня преследовало желание запрыгнуть в него. Мне приходилось сдерживаться, чтобы этого не сделать. Как-то вечером, когда я была с Танги, я практически осуществила свое желание, правда, по случайности. Мы о чем-то жарко спорили, и я в порыве чувств поскользнулась; Танги спас меня в самый последний момент, иначе я бы оказалась там, куда меня так тянуло: в языках пламени.

Перед нашим отъездом из Лондона Уин пришла в голову замечательная идея устроить вечеринку на моторной лодке на Темзе. Мы взяли на борт множество людей и выпивки, и в полночь оказались в Гринвиче. Вечеринка выдалась совершенно безумной и пьяной и была отмечена не одной сценой ревности. Мы затеяли ее вместо обычных званых вечеров, которые давали в галерее, но на этот раз я точно не продала ни одной картины.

Внезапно Танги впервые в жизни оказался богат. Сюрреализм тогда только дошел до Лондона, и его выставка пользовалась громадным успехом. Он был простым бретонцем и многие годы служил в торговом флоте. Его отец когда-то имел должность в одном из министерств, и Танги рассказывал, что родился в доме на площади Согласия. Он нисколько этим не кичился; напротив,

держался очень скромно. Он пришел к Андре Бретону в 1926 году и присоединился к движению сюрреалистов. Когда-то Ив страдал психическим расстройством, из-за чего его, разумеется, освободили от службы во французской армии. Он обладал чудесным нравом, неприхотливым и по-детски застенчивым. У него было мало волос (они вставали у него на голове дыбом, когда он напивался, а это случалось часто) и красивые маленькие ступни, которыми он очень гордился. Танги тогда было примерно тридцать девять. Он обожал Бретона так же, как Беккет обожал Джойса, и считал, что звание сюрреалиста определяет всю его жизнь. Он руководствовался сюрреализмом во всех своих поступках, как религией — подобно Гарману в его служении коммунизму. Ив оставил свою мэнскую кошку другу в Париже и каждый день посылал ему письмом банкноту в один фунт. Этот фунт скорее предназначался для самого друга, румынского художника Виктора Браунера, нежели для кошки. Через несколько недель я отвезла Танги с женой в Ньюхейвен, откуда они отправились обратно во Францию. Меня печалил их отъезд, а мадам Танги вовсе расплакалась, но я знала, что вскоре снова увижу Ива.

Пегин отправилась на лето к Лоуренсу в Межев. Синдбад проводил те каникулы со мной. В Париж какое-то время назад приехала служанка моей матери и привезла мне ее нить жемчуга — это была малая доля моего наследства.

Я хотела увидеть Танги. Мне нужно было действовать быстро и осмотрительно. Я отправила Синдбада на выходные к Гарману и поехала с Пегин на автомобиле в Ньюхейвен, где мы сели на дневной паром и отправили матери Лоуренса телеграмму с просьбой нас встретить. Она с радостью взяла под свое крыло Пегин и оставалась с ней до самого поезда в Межев. Затем я отправилась к служанке моей матери за жемчугом. Этот жемчуг доставлял ей большие мучения, и она была рада избавиться от него. Но меня он заботил меньше всего. Я договорилась встретиться с Танги в кафе в шесть часов.

Пока мы сидели и планировали свой побег, нас увидело столько людей, что мы решили перебраться в менее популярное кафе, а потом и вовсе сочли, что безопаснее всего будет немедленно покинуть Париж. У Танги с собой не было никакого багажа, у меня — только маленькая сумка. Мы сели на поезд до Руана, куда приехали в три утра. Найти комнату там оказалось практически невозможно, и мы обошли по меньшей мере десять отелей, прежде чем нам повезло. Весь следующий день мы гуляли по Руану и потом сели на поезд до Дьепа, где шел проливной дождь. Мы опоздали на последний корабль, так что ночь мы

провели в Дьепе в роскошном портовом отеле. До сих пор мы не встретили никого, кроме Нэнси Кунард, которая тактично притворилась, будто нас не заметила. Мы боялись, что мадам Танги узнает о нашем местонахождении. Когда мы добрались до Ньюхейвена и сели в автомобиль, мы почувствовали себя в безопасности и радостно поехали домой.

Синдбад души не чаял в Танги, но недоумевал, почему тот приехал без жены и постоянно об этом спрашивал. Пока Танги жил с нами, он сделал много рисунков зелеными чернилами — он всегда использовал этот цвет. Один его рисунок был так похож на меня, что я заставила его мне подарить. На нем у меня было перо в качестве хвоста, а глаза походили на глаза фарфоровой куклы, если ей расколоть голову и посмотреть, что там внутри. Танги читал Пруста, который, по всей видимости, нагонял на него тоску; мы много гуляли, ходили на матчи по крикету и были очень счастливы. Однако вскоре Танги начал беспокоиться и захотел вернуться в Париж, чтобы подготовиться к скорому возвращению Бретона из Мексики. Мы с Синдбадом отвезли его на автомобиле в Ньюхейвен и затем поехали в Кент к Хейзел. После этого мы несколько дней провели в Лондоне, где Синдбад собирался сходить на матч по крикету.

Неожиданно объявился Беккет. Он направлялся в Ирландию, и я приняла его в своей лондонской квартире. Когда он увидел на камине нашу счастливую совместную фотографию с Танги, он не смог скрыть своего любопытства. На следующий день я уезжала в Париж и предложила ему переночевать в квартире. Он хотел, чтобы я осталась с ним до завтрашнего дня, когда он сам уезжал в Дублин. Я отказалась. Полагаю, он захотел меня только потому, что у меня появился кто-то другой. Я сказала, что он вынуждает меня заводить любовников, чтобы мы с ним могли оставаться друзьями, и обвинила его в своей двойной жизни. Он предложил мне свою квартиру в Париже. Она располагалась на рю де Фаворит, что вызывало смех у каждого, кому я давала этот адрес. Находилась она в доме для рабочих, но состояла из хорошей студии, спальни, кухни и ванной. Квартира была без телефона и далеко от центра — в пятнадцатом *arrondisement*[38] — но я все равно согласилась, поскольку знала, что мадам Танги меня там точно не найдет.

Я отвезла Синдбада в Париж и посадила на поезд, к которому мы успели в самую последнюю минуту. Мы мчались через Париж, как сумасшедшие. Не знаю, как нам удалось успеть вовремя. Синдбад, конечно, не догадывался, что, пока я прощалась с ним, меня на вокзале уже ждал Танги. Первую ночь мы с Ивом провели в квартире Беккета, после чего он исчез на сорок восемь часов. У

нас обоих не было телефона, и я пришла в большое беспокойство и вообразила самые ужасные вещи. Наконец он пришел и рассказал мне, что случилось. На вечеринке сюрреалистов произошел жуткий скандал, в результате которого бедный художник Браунер лишился глаза. Он никак не участвовал в самой перепалке и был всего лишь очевидцем. Художник-сюрреалист Домингес, несносный грубиян, схватил бутылку и в кого-то ее запустил; та разбилась, и осколок угодил прямо в глаз Браунеру и выбил его. Танги отвез его в больницу, где над ним провели операцию: вынули куски стекла и вычистили глаз. Танги обещал Бретону, что будет навещать Браунера каждый день. Поскольку Браунер был сюрреалистом, Бретон считал, что несет за него личную ответственность. Нам с Танги пришлось отказаться от затеи поехать в Бретань, и я продолжила прятаться от мадам Танги в Париже. Мне приходилось с осторожностью выбирать кафе так, чтобы не встретить ее.

Как-то раз мы обедали с Мэри Рейнольдс, и в ресторан зашел Танги с женой. Я совершенно растерялась и не знала, что делать. Мэри сказала мне подойти и сказать ей *bonjour*[39]. Она встретила меня без энтузиазма, но весьма недвусмысленно. Она не произнесла ни слова. Она просто взяла свой нож и вилку и швырнула в меня три куска рыбы. Танги поспешил отвезти ее домой, но хозяева заведения остались недовольны. Случилось так, что это был тот ресторан, в который мы все время ходили с Беккетом. Мы давно знали его хозяев. Они как-то раз позволили нам подняться в их личную квартиру над рестораном, чтобы мы могли послушать по радио, как поет Джорджо Джойс. Мы уже было отчаялись в поисках радиоприемника, когда они пришли к нам на помощь.

Теперь, когда мадам Танги знала, что я в Париже, жизнь стала сложнее. Ив боялся, что она проследит за ним или застукает нас вместе. Разумеется, ей не было известно, где я живу, но она была из женщин с мистическим чутьем и часто узнавала о вещах каким-то неведомым образом. Она мне искренне нравилась, и я не хотела делать ее несчастной. Я не думала уводить у нее мужа — у того и до меня было много любовниц. Танги сказал мне, что она не выходит из дома и рыдает. Это сильно расстроило меня. Однажды он пошел проведать Браунера, запретив мне идти с ним в госпиталь из страха встретить жену, и я стала ждать Ива в соседнем кафе. Мы планировали вместе сходить к врачу по поводу его язвы. Мадам Танги пошла за ним в кафе и устроила кошмарную сцену. Ему пришлось увезти ее на такси. Все сложилось очень некстати, и он в результате пропустил прием у врача. Танги совсем запустил

свое здоровье, а мадам Танги была не состоянии заботиться о нем. Она сама была как ребенок. Они оба слишком много пили и жутко ссорились, но в каком-то смысле они были сильно друг к другу привязаны. Иногда после их скандалов она могла пропасть на несколько дней.

Каждое утро за мной заходил Танги, мы проводили вместе целый день, а потом он шел домой к жене. Я жила в квартире Беккета. Тот со своей любовницей уехал на моем автомобиле в Бретань. Я все еще была сильно в него влюблена. Танги мне как-то сказал: «Ты приезжаешь в Париж не ко мне, ты приезжаешь к Беккету».

Нас всех крайне расстроило происшествие с Браунером. Бедолаге пришлось перенести вторую операцию, потому что врач удалил не все стекло. После этого мы купили ему стеклянный глаз. Он обладал большой смелостью и чувством собственного достоинства и начал хорошо рисовать сразу же, как только вернулся к жизни. Я навестила его вместе с Танги и купила одну из его картин. Он показал мне свой автопортрет, который он сделал годом ранее и на котором у него вываливается один глаз. Он каким-то образом предвидел катастрофу, и после нее он начал делать большие успехи в живописи, как будто освободился от гнета некоего нависшего над ним злого рока.

Если у мадам Танги и Браунера и вправду имелось мистическое чутье, то я от них не сильно в этом отставала. Однажды Танги привел меня в книжный магазин и стал искать книгу под названием «Гуон Бордоский» Гастона Париса с иллюстрациями Ораци. Такой том ему подарили в школе за достижения. Я толком не интересовалась его поисками и даже не знала, что он ищет. Я пошла в соседний магазин за энциклопедией Ларусса, которую хотела ему купить. Когда я вернулась, я стала в рассеянности прохаживаться между стеллажами, и первая же книга, которую я взяла в руки, оказалась той, которую Танги искал уже полчаса. По-моему, это впечатлило его больше всего другого, что я для него делала. Танги по-настоящему любил меня, и если бы он не был таким ребенком, я бы задумалась о том, чтобы выйти за него замуж, хотя речи об этом не заходило. Он постоянно укоризненно говорил, что он сделает для меня все, чего я только ни пожелаю. Лоуренс и мои дети не возражали против моего замужества, но мне нужен был отец, а не еще один ребенок.

Я вернулась в Лондон как раз к мюнхенскому кризису. Мне никогда в жизни не было так страшно. Я совершенно потеряла голову. Когда в следующем году началась война, я уже не испытывала никакого страха за свою личную жизнь; но именно

тогда я чуть не сошла с ума от паники. Для начала я перевезла все картины из галереи в Питерсфилд. Они не принадлежали мне, поэтому я ощущала за них большую ответственность и не хотела оставлять в Лондоне. Сама я планировала уехать с детьми и Джуной в Ирландию. Джуна в один день села в ногах моей кровати, закутавшись в покрывало из марабу, и сказала: «Нас разбомбят в пух». Однако Синдбад отказывался оставлять школу, а Лоуренс позвонил мне из Межева и сказал, что, если мы уедем в Ирландию, он больше нас не увидит. Тогда мы все же решили остаться. Я переживала за Танги и отправила ему телеграмму с просьбой покинуть Париж. Я была уверена, что Лондон и Париж разбомбят в первый же день войны. Тот вечер, когда Чемберлен возвратился из Мюнхена, я проводила с Айрой и Эдитой Моррис. Они привели меня в гости к Эдварду О'Брайену, и у него дома мы слушали выступление Чемберлена по радио. Тогда мы поняли, что все миновало. Он «привез мир нашему поколению» — а если точнее, то мир на один год.

Вернувшись из Мексики, Бретон привез с собой коллекцию удивительных портретов XIX века и самые разные произведения народного искусства. Я хотела устроить выставку его коллекции, но большая ее часть оказалась слишком хрупкой, чтобы ее можно было привезти в Англию без внушительного страхового взноса. Тем не менее в Париже выставка состоялась. У Бретона была квартира-мастерская на Монмартре, где он уже многие годы собирал картины и другие предметы искусства. Лучшие экземпляры он отказывался продавать, но порой нехватка денег вынуждала его расставаться с менее ценными для него произведениями. Это был как раз тот случай. Танги привел меня к нему в мастерскую, и я купила пару очаровательных мексиканских гипсовых подсвечников, расписанных вручную. Они были такие хрупкие, что постоянно ломались, и мне в конце концов пришлось с ними расстаться.

Бретон обладал удивительным красноречием; он скорее производил впечатление актера или проповедника, чем поэта. В кафе его окружали последователи; иногда их число доходило до сорока. Когда началась война, было смешно видеть его в униформе офицера медицинской службы. Во время прошлой войны он служил в армии в качестве психиатра, и теперь его назначили врачом, хотя он уже забыл все, что знал о медицине. Он все время носил в карманах медицинские справочники. Бретон был красивым мужчиной сорока лет с большой гривой волос, как у льва. Он обладал царской внешностью и столь безукоризненными манерами, что мне было сложно привыкнуть к такому торжественному обращению. Он был высокопарен и как

будто совсем не имел чувства юмора. Его белокурую вычурную жену звали Жаклин, и она выглядела совершенно в духе сюрреализма. Раньше она была пловчихой водного балета, но происходила из буржуазной семьи. У них была дочь по имени Об. И Жаклин, и Об всюду сопровождали Бретона; их ребенок ужасно вел себя в кафе. Танги же обожал всю семью Бретонов.

Как раз в то время в рядах сюрреалистов произошел раскол, и они разделились на два враждующих лагеря. Поль Элюар увел за собой половину, а то и больше последователей Бретона. Они оба обладали слишком сильными характерами, чтобы руководить одной партией, и ситуацию могла разрешить только капитуляция одного из них, чего бы в любом случае не произошло, поэтому партия разбилась на две. Бретон, должно быть, велел своим приверженцам не разговаривать с бунтарями, потому что Танги теперь не мог себе позволить находиться в одной комнате с кем-либо из другой группировки. Все это было крайне нелепо и только усложняло мне жизнь: я не могла никуда ходить с Танги, боясь встретить мадам Танги, а он никуда не мог ходить со мной, боясь встретить своих соперников.

Вернув картины из Питерсфилда в лондонскую галерею, мы открыли сезон выставкой детских рисунков. Я сходила в школу к Пегин и поговорила с преподавателем живописи. Он был идеальным учителем и давал детям полную свободу, в результате чего они создавали удивительные вещи. Я позаимствовала у него работы лучших учеников, а также мне прислал рисунки своих детей Лоуренс. Еще мне пришла партия работ от учеников школы Марии Джолас в Париже, школы Доры Рассел и школы того директора, который был большим поклонником Кандинского. Питер Доусон, директор собственной художественной школы, прислал мне произведения своих учеников, но все говорили, что он нарисовал их сам. В последний момент невестка Фрейда прислала рисунки внука Фрейда, Люсьена. На одном из них было трое обнаженных мужчин, взбегающих по лестнице. Мне кажется, это был портрет Фрейда. Мы продали все работы Пегин, а мой дантист даже попросил сделать для него копию одной из них. Дочь Роя Кэмпбелла сделала очаровательный рисунок акварелью. Одна из ее бабушек привезла его, а другая выкупила и увезла обратно в Южную Африку. Мезенс купил гуашь одного из детей Лоуренса, которая показалась ему весьма сюрреалистичной, а другую приобрел Роланд Пенроуз.

Однажды в мою галерею зашел удивительный человек в изысканном твидовом пальто. Он чем-то походил на Граучо Маркса. Своей буйной энергией он производил впечатление лидера джаз-бэнда, коим и оказался. Он показал нам свои гуаши,

которые не уступали в музыкальности Кандинскому, в изящности — Клее, а в живости красок — Миро. Он мастерски использовал цвет и превосходно выстраивал композицию. Его звали Джон Таннард. Он скромно спросил меня, смогу ли я устроить его выставку, и я не сходя с места назначила дату. (Позже он сказал мне, что не мог поверить своим ушам: он привык к отказам.) Во время выставки, которая со всех точек зрения имела большой успех, в галерею вошла женщина и спросила: «Кто этот Джон Таннард?» Тот сделал три сальто и, приземлившись к ее ногам, объявил: «Я — Джон Таннард!» В конце выставки я купила одну из его лучших картин с причудливым названием *«PSI»*, написанным на ней зелеными буквами. Много лет спустя она произвела большое впечатление на Альфреда Барра, директора Музея современного искусства Нью-Йорка, и он хотел выкупить ее у меня для коллекции музея, но я не смогла с ней расстаться, и ему пришлось искать другое полотно. Меня делала счастливой мысль о том, что я открыла гения.

Как-то раз в двери галереи «Младшей Гуггенхайм» зашел Пит Мондриан, знаменитый голландский художник-абстракционист, и вместо того чтобы разговаривать со мной об искусстве, спросил, какие ночные клубы с танцами я могу ему порекомендовать. Я пришла в немалое изумление от этого вопроса, учитывая, что ему было шестьдесят шесть лет, однако во время танца с ним я почувствовала, что он все еще способен получать от таких развлечений искреннее удовольствие. Он был изумительным танцором с военной осанкой, полный жизни и энергии, хотя с ним невозможно было поговорить ни на одном языке. Вероятно, на голландском он изъяснялся бы понятнее, чем на ломаном французском и английском, но я почему-то сомневалась, что он внятно говорит даже на своем родном языке.

У меня в Лондоне оставалось много картин Танги, и я активно их продавала. Я хотела, чтобы одну купил Роланд Пенроуз — обладатель лучшей коллекции сюрреализма в Англии. Когда он пришел в галерею посмотреть, он сразу влюбился и купил картину, хотя уже имел несколько полотен Танги. Пытаясь сделать как лучше для Танги, я вместе с тем подвела его, поскольку в процессе сблизилась с Пенроузом. У него был очаровательный домик в Хемпстеде, где он устраивал роскошные вечеринки и разнообразно развлекал гостей. Если страсти в нем не хватало, он сполна компенсировал ее харизмой и хорошим вкусом. Он определенно был способен на любовь. Все стены его дома были покрыты картинами сюрреалистов. Он внес колоссальный вклад в популяризацию сюрреализма в Англии и организовал знаменитую выставку сюрреализма в 1936 году.

Пенроуз был чрезвычайно привлекателен и хорош собой и, пользуясь успехом у женщин, постоянно заводил новые интрижки. У него была одна странность: когда он спал с женщинами, он всегда связывал им запястья тем, что попадалось под руку. Однажды он использовал мой пояс, а в другой раз достал пару браслетов из слоновой кости из Судана. Они соединялись цепью и застегивались на замок, от которого у Пенроуза был ключ. Было ужасно неудобно проводить так целую ночь, но с Пенроузом нельзя было иначе. У него дома висели прекрасные полотна бельгийского сюрреалиста-романтика Поля Дельво, которого открыл Мезенс и теперь содействовал его карьере. Один раз мы занялись любовью под моей любимой картиной Дельво, «Зов ночи». Меня будоражило чувство, будто я одна из женщин, изображенных на ней. Одну из картин Дельво я купила у Мезенса и владею ею до сих пор. На ней четыре женщины растут из деревьев: вместо ног у них стволы, покрытые корой. У женщин на его полотнах всегда одно и то же лицо — он писал со своей жены, которую обожал. Удивительно, какой разной она может быть с разных углов зрения. На картинах она очень красивая, но слишком большегрудая.

Спустя несколько месяцев в Лондон наконец приехал Танги, который уже вечность обещал навестить меня. Я встретила его на вокзале, и он с первого взгляда понял, что что-то не так. Я не признавалась ему несколько дней, но в конце концов сказала, что оказалась в ловушке и должна найти из нее выход и что я несчастлива. Я знала, что Пенроуз влюблен в американку, которая была в Египте. Я не сказала Танги, кто причиняет мне страдания, но после того как во время вечеринки у Пенроуза мы с ним весь вечер сидели держась за руки, Танги, должно быть, догадался. Он был печален все время своего пребывания в Лондоне, хотя мы много гуляли и вполне счастливо жили вместе. Мы пошли на коктейльную вечеринку, где хозяин спросил, я ли мадам Танги. Мы решили, что я буду зваться лондонской мадам Танги.

Танги чувствовал себя богачом, оттого что продавал столько картин. Он уже потратил, раздарил и потерял все деньги, которые заработал на выставке. Когда он вернулся в Париж, он развлекался тем, что сминал в комок фунтовые купюры и швыряся ими в соседей по кафе. Кажется, он даже сжигал деньги. Я жалею, что не оставила его выручку храниться у себя. Он говорил мне, что не стоит отдавать ему все сразу. Теперь же он всем покупал подарки. Он каждый день дарил мне по орхидее и отдал свою картину. Синдбаду он подарил замечательный хитрый секундомер, Пегин — миниатюрный набор красок, а себе купил

английскую одежду. В скором времени мы отправились обратно в Париж, потому что ситуация с Пенроузом изводила Танги. По дороге он подружился с капитаном парома, и тот дал ему встать к штурвалу, когда корабль заходил в порт.

Генри Мур был очень простым, прямолинейным мужчиной из Йоркшира, около сорока лет от роду, и на жизнь зарабатывал уроками искусства. В Лондоне он с большим успехом продавал свои работы и выставлялся во всех галереях. Он делал замечательные сюрреалистичные рисунки, которые мне нравились даже больше его скульптур. Он предоставил нам огромную деревянную скульптуру полулежащего человека, которая красиво смотрелась в центре галереи. Я хотела ее купить, но она была слишком велика для моего дома. Пока мы с Танги были в Лондоне, нас пригласили на ужин к Муру вместе с Пенроузом. Русская жена Мура приготовила для нас восхитительную трапезу. После ужина Мур показал нам свои новые скульптуры; они были крошечные. Мне кажется, это я навела его на мысль уменьшить масштаб произведений, когда написала ему во время выставки скульптур в моей галерее, как я восхищаюсь его работами и как мне жаль, что у меня дома для них совсем нет места. Теперь такой проблемы не стояло. Спустя несколько месяцев он пришел в галерею, словно бродячий торговец, с маленьким чемоданом. Он извлек из него две изящные полулежачие фигуры, одну из бронзы, другую из свинца, и предложил мне выбрать одну. Мне сразу больше понравилась бронзовая, и она-то мне и досталась.

В то время я проводила выставку коллажей. Половину из них прислал из Парижа Арп, которому немалых трудов стоило их собрать. Остальные я нашла в Лондоне. Какие-то я одолжила у Пенроуза и других, и еще я уговорила всех художников сделать новые коллажи специально для выставки. Поскольку выбор материалов был не ограничен, мы получили самые немыслимые творения. Бенно в своей работе использовал кухонную терку. Экспозицию для меня оформил Пенроуз. В одном зале мы поместили Пикассо, Брака, Арпа и Массона, а все прочие, более смелые работы, — в другом. Лоуренс прислал несколько до крайности неприличных коллажей, которые нам пришлось спрятать. Пенроуз одолжил мне несколько произведений Макса Эрнста — тот определенно был мастером коллажа. Критики не упомянули его имени в обзорах, и такое невежество привело Пенроуза в негодование. После открытия я, по своему обыкновению, устроила большую вечеринку в кафе «Рояль». Помню, как я посреди ужина внезапно стала уговаривать Пенроуза поехать в Египет к его возлюбленной. Он удивился и

спросил, почему меня так интересует его личная жизнь. Я ответила: «Потому что ты мне дорог, и я желаю тебе счастья, и, если ты сейчас не завоюешь ее, она никогда не вернется». Его тронула моя забота, и он последовал моему совету: уехал и привез с собой обратно женщину, которой так долго добивался.

В январе 1939 года я отправилась в Париж, где наконец справилась со своей одержимостью Беккетом. Помню, как я однажды ему сказала: «Боже, я и забыла, что больше в тебя не влюблена». Вероятно, толчком к тому послужила моя встреча с гадалкой. По ее словам, пришло время либо выходить за него замуж, либо забыть о нем. Она назвала его ужасным деспотом. Когда я пересказала это Беккету, он спросил: «И ты решила не выходить за меня?» Я с облегчением ответила: «Да». После тринадцати месяцев пришло самое время поставить точку в этой безнадежной истории.

Я все еще была дружна с Танги и постоянно его видела. Он расписал для меня пару маленьких сережек. Я пришла в такой восторг, что не смогла дождаться, пока они высохнут, и надела их слишком рано и в результате одну испортила. Я упросила Танги сделать ей замену. Первые две сережки были розовые, но я подумала, что будет интересно, если они будут разных цветов, и в этот раз Танги вторую сделал голубой. Это были две изумительные миниатюрные картинки, и Герберт Рид назвал их лучшими работами Танги из всех, что ему доводилось видеть. Еще Танги сделал небольшой рисунок фаллической фигуры для зажигалки и заказал у «Данхилла» гравировку. Это было самое маленькое произведение Танги в мире, но я, к несчастью, позже оставила его в такси.

Вернувшись в Лондон, я окончательно порвала как с Беккетом, так и с Танги. Но скоро меня ждала еще бóльшая напасть. Я завела роман с английским художником по имени Ллевелин. Наши отношения носили весьма неопределенный характер, но их последствия привели к настоящей катастрофе. Удовольствия от них я получила явно не столько, чтобы оно оправдало мои дальнейшие мучения. Он перебивался с одного заработка на другой, его жена была больна, и, когда я как-то вечером привезла его к себе домой, у него это вызвало ужасные угрызения совести. Ему приходилось вести себя очень осторожно, и виделся он со мной только тайком либо по делу. Мы усердно трудились на благо основанного им Комитета помощи Испании. Он собрал картины, пожертвованные всеми нашими художниками из Парижа и Лондона, и хотел провести в моей галерее благотворительный аукцион, но в итоге нашел более подходящее место в доме рядом с Риджентс-парком. Мы провели три

аукциона в три вечера подряд и продали картины по смехотворным ценам; большинство пришедших просто-напросто воспользовались щедростью художников. Все это проходило в жуткой неразберихе, а покупатели ровным счетом ничего не понимали в искусстве. За достойные деньги ушли только портрет Джойса — рисунок Огастеса Джона — и красивое полотно Пикассо 1937 года. Я приобрела тогда свои первые картины Ллевелина и Эрнста за сносные деньги, но за большинство остальных лотов предлагали меньше, чем они стоили, и нам пришлось установить на них минимальную цену. Мы заработали всего несколько сотен фунтов, хотя могли бы собрать гораздо больше, учитывая качество произведений и дело, во имя которого мы все это затеяли.

У Ллевелина был чудесный дом, где они с женой работали и проводили вечеринки, приглашение на которые считалось большой честью. Они оба были весьма чванливы и происходили из древних английских семей.

Неурядицы начались с того, что Джон Давенпорт пригласил нас на выходные во Францию — меня с Ллевелином и еще одну пару. Никто не знал о моей связи с Ллевелином; бóльшую часть дня он проводил за рисованием с женой Джона, а я разговаривала с Джоном, который был замечательным собеседником. Он водил нас по великолепным ресторанам, и мы провели два замечательных дня, после чего все отправились в Париж, а я вернулась к Синдбаду, который проводил у меня пасхальные каникулы. Когда я уезжала, Ллевелин принес мне на борт бутылочку бренди, вне сомнения, радуясь тому факту, что я уезжаю прежде, чем нас раскусили. После этого я три месяца провела в состоянии крайней неопределенности, гадая, беременна я или нет.

Стоило мне подумать, что да, как я сразу убеждала себя, что это не так, и наоборот. Я наблюдалась у глупейшей женщины-врача, которая отказывалась меня осматривать и только говорила со мной по телефону. Она была убеждена, что у меня уже был выкидыш. Мне казалось, что у меня их было уже три. Со временем мне становилось только хуже, и я целыми днями не вставала с кровати. Джон Давенпорт пригласил меня на выходные в свой очаровательный дом в Котсуолдс. Я полдня полола его сад и таскала тяжелую тележку, в надежде, что это возымеет эффект, но это не изменило положение вещей.

Как-то раз днем Ллевелин пригласил меня к себе домой взглянуть на работы его жены. В тот момент, когда я вошла и увидела ее, я поняла, что мы обе беременны. Вскоре после этого у нее случился выкидыш. Ее увезли в больницу посреди ночи в

опасном состоянии. Ирония состояла в том, что они-то как раз хотели ребенка. Я предложила Ллевелину своего, но он отказался, сказав, что сможет зачать еще не одного.

После нескольких недель сомнений я поехала в Питерсфилд к своему местному терапевту. Я шла на большой риск, но он со спокойствием отнесся к моей ситуации. Он сделал анализ на мыши в Эдинбурге, и тот оказался положительным. Я попросила его помочь мне, но он отказался идти на такой риск. Я возмутилась и сослалась на свое ужасное самочувствие, но он был уверен, что недомогание пройдет через несколько недель. Тогда я вернулась в Лондон и нашла немецкого врача-беженца. По его словам, даже слепому было понятно, что я беременна и что я слишком стара для ребенка, особенно если учесть, что в последний раз я рожала четырнадцать лет назад. Я испытала большое облегчение, найдя человека, готового меня выручить.

Пока я лежала в лечебнице, меня навестил Джон Давенпорт и принес мне огромную охапку цветов. Он не имел ни малейшего представления ни о причине моего недомогания, ни об опасности, которую я навлекла на себя во Франции. Другим посетителем был Герберт Рид, который вел себя со мной очень по-отечески и еще меньше Давенпорта догадывался о моем положении. Уверена, все медсестры решили, что это он отец моего ребенка, а он пришел поговорить о нашем проекте музея, подготовка которого тогда уже шла полным ходом.

В марте 1939 года я уже вынашивала идею открытия музея современного искусства в Лондоне. Продолжать держать галерею казалось нелепым с учетом того, что в год она приносила убыток примерно в шестьсот фунтов, хотя и выглядела успешным предприятием. Я решила, раз уж я теряю деньги, то почему бы не терять еще больше, но по крайней мере делать что-то стоящее. Я связалась с Гербертом Ридом, который упорно пытался популяризировать искусство модернизма в Англии. Он мне очень нравился, и я чувствовала, что мы можем сработаться. Я заставила его уйти с позиции редактора журнала «Берлингтон» и в обмен предложила ему пятилетний контракт на должность директора нового музея, который мы планировали открыть осенью. Уин Хендерсон выбрала для себя звание «регистратора». Одному Богу известно, какая роль при этом доставалась мне. Герберт Рид согласился помогать мне бесплатно на протяжении шести месяцев до открытия музея, однако попросил выплатить ему годовое жалованье авансом, поскольку он хотел стать партнером в издательстве «Рутледж» и выкупить его акции.

Мы многие недели провели в поисках подходящего помещения для музея и управились только к лету. Я пыталась

урезать свои личные расходы, чтобы мне хватило денег на нужды проекта. Я приняла решение жить чуть ли не монашеской жизнью. По правде говоря, у меня и близко не было нужных средств, поскольку я уже имела обязательства на десять тысяч долларов в год перед всевозможными друзьями и художниками, которых я обеспечивала многие годы. Я не могла ни с того ни с сего отказать им в поддержке в пользу музея, как бы мне этого ни хотелось. Я решила больше не покупать одежду, продала «деляж» и купила дешевый маленький «талбот». Каждый пенни, что мне удавалось сохранить, шел на нужды музея. Поскольку денег на покупку картин у нас не было, мы решили заимствовать работы или пытаться заполучить их в подарок. Я обратилась к своей тете Ирэн Гуггенхайм и спросила, не согласится ли мой дядя Соломон что-то мне дать, но она ответила, что по этому вопросу придется консультироваться с баронессой Ребай и после этого, быть может, я получу одного Бауэра. Я поблагодарила ее и ушла. У мистера Рида дела шли лучше — он заручился поддержкой многих. Пресса оказала нам замечательную услугу. Фото мистера Рида появилось во всех газетах. В «Ивнинг Стандард» напечатали чудовищную фотографию меня с Пегин. Я на ней выглядела просто кошмарно, хотя обычно я фотогенична. Джуна Барнс по этому поводу отпустила великолепный комментарий: «У тебя был единственный шанс, и тот ты проворонила».

Однажды в галерею пришла молодая женщина мужеподобного вида. Она сказала, что ее прислал Марсель Дюшан, поэтому мы с радостью ее приняли. Она хотела сделать цветную фотографию меня с Ридом. У нее уже имелась внушительная коллекция портретов знаменитостей, и теперь она расширяла ее в Лондоне, где уже уговорила позировать всю интеллектуальную элиту. Я подумала, что было бы неплохо дать ей шанс провести у меня в галерее выставку снимков. Я совместила этот показ с прощальной вечеринкой. На нее пришли сотни людей, в основном случайных. Жизель Фройнд выставила свои фотографии. Все пришли в восторг от цветных портретов знаменитостей — они вызвали куда больше энтузиазма, чем черно-белые. В нашем распоряжении был огромный бар, так что вечеринка прошла с успехом. Мне сильно нездоровилось, и я чуть не передумала идти в последнюю минуту. Жена Ллевелина, только что оправившись от своего выкидыша и не догадываясь о моей беременности, предложила Ллевелину забросить меня на плечо и отнести на другую вечеринку. Я сказала, что не могу встать, и когда она спросила, что со мной, я ответила, что потянула лодыжку.

После этого мисс Фройнд сфотографировала меня и мистера

Рида в моей маленькой квартире. Там не было места, чтобы достаточно далеко отодвинуть камеру, поэтому мне пришлось сидеть в ногах у Рида, пока он показывал мне книгу Дюшана. Позади нас висела картина Танги. Нам пришлось решать, от кого отрезать половину — от нее или нас. Мы решили в свою пользу. Позже мисс Фройнд передала мне два портрета Рида крупным планом. Она проделала восхитительную работу. На фотографии можно разглядеть еле заметную щетину на его гладко выбритом подбородке.

Мистер Рид имел выдающуюся внешность. Он выглядел как премьер-министр и производил впечатление человека высокого происхождения, но с гордостью всем говорил, что на самом деле он сын фермера из Йоркшира. У него были седые волосы и голубые глаза; он был сдержан, степенен и молчалив. Он обладал большой эрудицией и написал бессчетное количество книг, экземпляр каждой из которых у меня имелся, и каждый я заставила его подписать. Я начала воспринимать его как отца и за спиной даже называла Папой. Он обращался со мной как Дизраэли с королевой Викторией. Наверное, я даже была влюблена в него, в духовном смысле. Мы часто ели вместе и стали близки; мы много говорили о Джоне Холмсе, и я заставила мистера Рида дать мне слово, что он издаст для меня книгу писем Джона. Он сказал, что высоко ценил критику Джона. Я нашла старую статью Джона о Риде, но лестного в ней было мало, поэтому я не стала ему ее показывать. Статья вышла за несколько лет до «Календаря», квартального журнала писем, который редактировал Гарман. Мы с мистером Ридом имели большие планы на будущее. После открытия мы собирались ехать в Нью-Йорк в надежде собрать денег и изучить порядок работы Музея современного искусства. Сейчас мне стыдно вспоминать нашу наивность.

Джуна была настроена категорически против всего проекта и не скрывала своего скепсиса. Она говорила, что скоро я буду подписывать чеки для мистера Рида, а он возьмет бразды правления в свои руки. Мистер Рид чувствовал сильное беспокойство из-за того, что он связывал со мной свое будущее. Он хотел получить какие-то рекомендации, а поскольку я не могла их ему предоставить, обратился к своему лучшему другу Т. С. Эллиоту и спросил, что ему делать. Мистер Эллиот, которого я никогда не встречала, успокоил его: «Я никогда не слышал, чтобы о миссис Гуггенхайм отзывались иначе, кроме как самыми лестными словами». Это, должно быть, развеяло сомнения мистера Рида.

Мистер Рид не мог поверить в свою удачу. Для него я,

наверное, была настоящим подарком небес. Он имел опыт работы куратором в нескольких музеях и мог бы с легкостью получить новую аналогичную должность, а позже даже был посвящен в рыцари; однако всю жизнь он мечтал о том, чтобы открыть свой идеальный музей модернизма, и написал статью, где изложил мысли на этот счет. Первым делом он предложил позаимствовать картины и в качестве открытия провести выставку произведений всей той области искусства, которой мы собирались посвятить музей. Большинство из них предстояло привезти из Парижа. Этот список, многочисленные поправки в который позже внесли Марсель Дюшан, Нелли ван Дусбург и я сама, стал основой моей нынешней коллекции. Он хотел начать с первых полотен абстракционизма и кубизма из 1910-х, но периодически вставлял Сезанна, Матисса, Руссо и других художников, которых я уже не думала включать в экспозицию.

Мистер Рид пришел навестить меня в лечебницу и передал мне предложение от Мезенса и Пенроуза, которые хотели участвовать в проекте. Как оказалось, им предложили бесплатно целый этаж в здании знаменитого ателье на Беркли-сквер. Если бы мы согласились на этот подарок и вместе с ним наняли Мезенса на небольшую ставку, то Пенроуз согласился бы одолжить нам несколько своих лучших Пикассо. Все это показалось мне неуместным, ведь к тому моменту мы с Мезенсом и Пенроузом были заклятыми врагами. Мы рассорились в пух и прах по поводу выставки абстракционизма, которую я провела в своей галерее. Можно себе вообразить, каким было мое удивление, когда мистер Рид озвучил их предложение. Я наотрез отказалась, хотя мистер Рид, судя по всему, рассчитывал его принять.

Филлис Джонс забрала меня из лечебницы и отвезла в Питерсфилд восстанавливаться после операции. Я все время была в полуобморочном состоянии и большую часть времени лежала в кровати, читая Пруста и составляя бюджет для мистера Рида.

В один день мне позвонил мистер Рид и сообщил, что ему предложили прекрасное место для музея. Это был дом сэра Кеннета Кларка на Портленд-плейс. Я сделала над собой гигантское усилие, чтобы приехать в город и посмотреть на него. Я все еще была очень слаба. Я не могла прийти в себя еще три месяца — в общей сложности, недуг отнял у меня полгода жизни.

Леди Кларк показала мне свой очаровательный дом. Это действительно было идеальное здание для музея, несмотря на свой совершенно не современный стиль эпохи Регентства. Леди Кларк, учительница физкультуры, особенно гордилась бомбоубежищем в подвале. Ради детей она собиралась переехать

на природу. Я была глупа и не поняла, что она готовится к грядущей войне, и считала, что нам страшно повезло с ее домом. Единственная проблема заключалась в том, что он был слишком велик, но у меня родилась идея поселиться самой на одном из верхних этажей. К моему несчастью, у мистера Рида возникла та же мысль. Мы начали спорить, кому достанется какой этаж.

Мы заняли дом, но поскольку наши адвокаты были в отпуске, мы не подписали официального договора аренды, и когда началась война, я не имела никаких финансовых обязательств перед сэром Кеннетом Кларком. Он же однако думал, что я имею моральное обязательство, и сказал мистеру Риду, что он рассчитывает получить от нас компенсацию, ведь он мог бы успеть сдать дом кому-то еще. Он предложил мне передать эту компенсацию комитету, сформированному им для помощи художникам в бедственном положении, которым он к тому времени пожертвовал свой дом. Мистер Рид считал, что у сэра Кеннета Кларка больше денег, чем у меня. В итоге я сосредоточилась на мистере Риде, перед которым я была в долгу и денежном, и моральном.

Я стала планировать летний отпуск. Мне нужен был хороший отдых, и я надеялась съездить за границу перед открытием музея. Осенью я должна была встретиться с мистером Ридом в Париже и к тому времени уже собрать все необходимые картины. Я несколько месяцев собиралась добраться до замка Кемийе в Эне, где Гордон Онслоу-Форд развлекал сюрреалистов, в надежде, что тот даст нам несколько картин из своей коллекции для музея. Танги ждал меня там, но мне пришлось отложить поездку из-за состояния здоровья. Я написала Танги, но его ответы становились все более уклончивы, и я поняла, что встретиться с ним не получится и что у него, должно быть, новая пассия.

Тогда я приняла приглашение Нелли ван Дусбург и поехала с ней на юг Франции. Мы с Нелли подружились совсем недавно, и я еще не очень хорошо ее знала. Примерно за год до того она пришла ко мне в галерею и пустилась в долгий рассказ о том, кем был ее муж и кто она такая. Я ни капли не впечатлилась и подумала, что она смешна. Но я позволила ей понемногу пробиться в мою жизнь. Мне не очень нравится женское общество, и я предпочту ему если не мужчин, то хотя бы геев. Женщины ужасно скучны. Тем не менее я предложила Нелли пожить в моей квартире, а точнее, она сама напросилась, а я согласилась пустить ее в свою гостевую комнату.

Нелли была ухоженной женщиной моего возраста с аккуратной фигуркой, голубыми глазами и рыжими волосами — редкими и крашеными. Она опрятно одевалась и выглядела

привлекательно, но носила слишком яркий макияж. Из-за ее чрезмерной энергичности я порой избегала ее общества. Она сходила с ума по абстрактному искусству, почему и обратилась ко мне. Она уже десять лет была вдовой Тео ван Дусбурга, который вместе с Мондрианом редактировал журнал «Де Стейл». Еще он был художником, архитектором и теоретиком искусства. Он был практически Да Винчи XX века, и Нелли благоговела перед его памятью, что меня очень тронуло.

Однажды вечером нас повел ужинать Карл Нирендорф, и мы так напились, что я и Нелли в итоге рыдали у него на плече по нашим покойным мужьям. На сентиментального немца это произвело неизгладимое впечатление. Он говорил, что это было прекрасно, и это правда было так. Когда Нелли приезжала в Лондон, я всегда пускала ее к себе в квартиру, а когда я бывала в Париже, она уговаривала меня остановиться в Медоне в доме, который построил перед смертью ее муж. Я все время отказывалась жить в Медоне из-за Танги, но никогда не говорила ей истинной причины своего отказа. Один раз я привезла Нелли в Питерсфилд, где она подружилась с моими детьми. Она была так молода душой и полна энергии, что они влюбились в нее.

В августе я выехала на своем маленьком «тальботе» во Францию, не догадываясь, что прощаюсь с «Тисовым деревом» навсегда. Я позволила Синдбаду вести автомобиль через Нормандию. Тогда же я в последний раз видела Нормандию. Мне невыносимо думать о том разорении и упадке, которые в эти прекрасные края принесла война.

Приехав в Париж, я посадила Синдбада в спальный вагон до Межева и затем совсем обессилела. Мое здоровье по-прежнему оставляло желать лучшего. Как только смогли, мы с Нелли отправились на юг. Мы решили поехать в Межев и, если получится, остановиться по дороге у Онслоу-Форда. По какой-то причине у нас не вышло этого сделать, но до Межева мы все же добрались. Дети уже несколько лет умоляли меня приехать к ним. Лоуренс купил там дом в 1936 году. Благодаря компании Нелли я имела предлог, чтобы остановиться в отеле и не задерживаться надолго. В итоге мы провели неделю в этом горнолыжном поселке, который к тому времени начал становиться модным зимним курортом. Мне никогда не нравилось это место, но дети его обожали. Лоуренс и Кей были очень гостеприимны; у них был красивый дом, и дети нам очень обрадовались.

Оттуда мы направились в Грас, где остановились у мистера Сайдса, друга Нелли. Это был сердечный бизнесмен армянского происхождения и авантюрист, не способный выносить присутствия денег без желания завладеть ими тем или иным

путем. Он предлагал мне сотрудничество самого разного толка, лишь бы добраться до моего состояния, но поскольку он не обладал достаточной изобретательностью или умом, ни одно из его предложений не встретило отклика. Его новейшим увлечением было современное искусство, в котором он ничего не понимал, но ради которого был готов пойти на все. Он даже выразил желание заменить мистера Рида, хотя и близко не обладал необходимой для этого квалификацией.

Сайдс и Нелли только что провели три выставки абстрактного искусства в Париже. Художники говорили, что они показали себя отвратительно, но художники вечно недовольны, поэтому я не поверила, что все было так плохо. Нелли действительно хорошо делала свою работу. Она обладала удивительной рассудительностью, и я никогда не видела, чтобы она ошибалась.

Мистер Сайдс арендовал дом, и мы с Нелли поселились у него. В доме было два этажа; мистер Сайдс жил внизу, а мы наверху. На всех была одна ванная. В нее можно было пройти только через наши спальни, которые она соединяла, поэтому я прозвала ее Польским коридором.

Мистер Сайдс следил за тем, чтобы мы отменно питались и много пили. Нам в действительности неплохо жилось в этом маленьком домике, затерянном среди холмов Граса. В Сайдсе энергия била ключом, и хотя он пока ходил с помощью двух палок после несчастного случая на железной дороге, который чуть не стоил ему жизни, это не помешало ему умчаться на моем автомобиле через всю округу и купить часовню в Ля Турель, которую он начал перестраивать под свой дом. Он был крайне амбициозен и имел звание кавалера Ордена Почетного легиона. Мы с Нелли верили, что он станет мэром Ля Турель. Ему было почти шестьдесят.

Каждый день мы с Нелли ездили к морю. Мы постоянно пытались отделаться от мистера Сайдса и совершали вдвоем небольшие поездки. Нам удалось выбраться в Ле Канадель в кафе мадам Октобон, где мы провели несколько дней с моим старым другом, хозяином гостиницы. Я хотела увидеть свое старое жилище в Прамускье. Его продали буржуазной семье, которая переделала его в совершенно типичный французский дом. Мне было очень грустно видеть его таким.

Пока мы были в Ле Канадель, мы навестили Кандинских. Они жили в самом старомодном отеле на всем побережье, «Кенсингтоне» в Ля Круа. Уверена, что его выбрала жена Кандинского. Мы возили их по округе на автомобиле, а когда показали им кафе мадам Октобон, где мы жили, они чуть не

упали в обморок от такого отсутствия шика. Кажется, они даже решили, будто мы шутим. Во время нашей поездки объявили всеобщую мобилизацию, и мы поспешили вернуться к мистеру Сайдсу.

Мистер Сайдс был самым большим оптимистом, какого мне доводилось встречать. Разумеется, он не верил, что грядет война. Когда ее объявили, он был уверен, что она закончится через пару недель. Чем больше он слушал радио, тем больше утверждался в своей вере. Одному богу известно, почему. Я сильно нервничала и не знала, что делать. Мистер Сайдс сказал: *«Elle cherche les enfers»*[40]. Он считал, что мне просто не хватает проблем.

В начале войны я была пацифисткой и боялась, что Синдбад решит пойти на военную службу. Однако это было последнее, о чем он думал в то время. Ему было всего шестнадцать. Я не знала, что будет с нашим будущим, но Лоуренс сохранял спокойствие и решал все за меня. Он писал мне успокаивающие письма, и я какое-то время ничего не предпринимала.

В Грасе нас окружила армия. Солдаты были всюду: их расквартировали вокруг нашего дома. Они выглядели совершенно неготовыми к войне, что позже оказалось правдой. Целые полки проходили мимо нашего дома по ночам, а порой и днем. Мы никогда не знали, куда они идут. Мобилизация продолжалась день за днем, и я не замечала у солдат ни должной амуниции, ни организации. Все это выглядело безнадежно. Во время захвата Польши можно было бы выиграть много времени, но никто не спешил ей на помощь.

Однажды, когда я была в Каннах и стояла в очереди на отправку одной из моих многочисленных телеграмм не то Лоуренсу, не то Китти с указаниями насчет переправки вещей из Лондона в Питерсфилд, со мной произошел странный случай. Все кругом были ужасно напряжены, как это бывает в начале войны, и ни у кого язык не поворачивался шутить, особенно по поводу мучительного процесса диктовки длинных телеграмм. На несколько шагов впереди меня в очереди стоял гомосексуал, который неожиданно выдал прекрасное замечание: «Боже мой, вы только поглядите на всех: можно подумать, во Франции война!» Если бы я не была настолько подавлена, я бы от души рассмеялась, но он, увы, выбрал неподходящий момент. В другой день нам сказали, что через два часа Канны будут бомбить. Кажется, это ни на кого не произвело большого впечатления.

Достать бензин представляло большую трудность, но тем не менее нам это неизменно удавалось. Сайдс не хотел, чтобы мы тратили запасы, но я так радовалась своему обожаемому югу, что не могла сидеть на месте; я постоянно садилась за руль и ехала

по местам, которые за четыре года моей жизни в этих краях обрели для меня особое значение. Я без конца находилась в возбужденном состоянии и непременно должна была показать Нелли, что и где произошло в этот крайне насыщенный эмоциями период моей биографии.

Вскоре я отказалась от намерения вернуться в Англию, поскольку Лоуренс решил, что дети должны остаться во Франции. Нам нельзя было разъезжаться по разным странам, ведь с приходом войны переезды могли оказаться невозможными. Мне пришлось оставить проект музея, который в любом случае был обречен на провал: не могли же мы заимствовать картины, чтобы выставлять их под лондонскими бомбежками.

Мне пришла в голову замечательная идея создать колонию для художников на время войны и пригласить туда всех желающих на условиях небольшого содержания. В обмен они бы отдавали мне свои картины для будущего музея. Мы с Нелли стали искать по всему югу Франции подходящее место для нашей колонии. Мы осматривали отели, шато, дома. Это дало мне повод путешествовать и в самом деле стало в своем роде миссией. В Ле Бо нам показалось, что мы нашли идеальное место, но его уже реквизировало французское правительство.

Если бы я в то время лучше знала художников, ни за что бы не допустила безумной мысли, будто они смогут жить в мире и согласии. Нелли следовало бы подумать об этом раньше моего. Как только я вернулась в Париж и встретилась с несколькими людьми, которых мы думали пригласить, я осознала, какой кошмар нам предстоит. Они не только не могли ужиться вместе, но даже не желали делить один стол за ужином. Невообразимо, сколько они питали друг к другу вражды и ревности.

На юге мы навестили Альбера Глеза с женой. У них было несколько домов: один в Кальвере, один в Сен-Реми и еще один на другой стороне Роны. Первый был относительно простым домом на берегу моря, но в Сен-Реми они владели огромным имением, земли которого уже несколько лет безуспешно пытались возделывать. С началом войны коммуна пожаловала мадам Глез ослика, и при помощи него, а также двух испанцев, она всерьез планировала спасти Францию от голода. Она просила меня присоединиться к ней, но при всей шаткости моего собственного проекта я осознавала, что ее затея имеет еще меньше шансов на успех. Они радушно приняли нас в своем красивом доме, построенном в настоящем прованском стиле. Они оба были вегетарианцами, но при этом готовили изумительные блюда и приглашали нас к столу по совершенно непредсказуемому расписанию, как будто у них напрочь

отсутствовало чувство времени. Глез был интеллектуалом и писателем не в меньшей мере, чем художником. Они были очаровательными людьми и, как большинство супружеских пар, представляли собой занятное зрелище для окружающих. Мадам Глез перебивала мужа всякий раз, стоило тому только заговорить, а поскольку он был интересным человеком, это было весьма досадно.

Когда мы наконец вернулись в Париж, я поселилась у Нелли в Медоне. Ее дом был сконструирован так, что если тебе нужна была еще одна комната, достаточно было провернуть вращающуюся дверь. Это было очень удобно.

Я вновь встретила Танги. Он жил один в красивой квартире американской аристократки Кей Сейдж. Как-то давно я уже попросила его с ней встретиться в надежде, что она купит его картину. По тому, как он описал мне ее на следующий день, я бы ни за что не подумала, что она станет его следующей женой. Она только что уехала в Америку, и он собирался отправиться следом, как только получит документы. Она оказала ему всю посильную помощь и покинула страну первой, рассчитывая, что он в скором времени последует за ней. В противном случае он бы присоединился к моей колонии.

Я носилась по Парижу с Танги, пока он собирал оставшиеся документы, но в последний момент он исчез. Он проводил последние дни с женой. Я нашла это трогательным. Мы с ней к тому времени снова стали хорошими подругами, ведь я больше ничем ей не угрожала. Она продала мне картину, за которой я охотилась уже многие месяцы — «Дворец высокого мыса», и я пообещала Танги, что буду выплачивать его жене ее стоимость в рассрочку ежемесячно. Так что можно сказать, что я унаследовала от Танги его жену после его отъезда.

Я купила Джуне билет на тот же корабль, что и Танги. Она была совершенно не в себе, и я попросила Танги за ней присматривать. Разумеется, он не выполнил мою просьбу. Я посадила их на поезд поздней ночью на вокзале Аустерлиц. Это было драматическое прощание, которое заставило нас почувствовать, что мы в самом деле на войне. В воздухе висело ужасное напряжение, и на вокзале царила почти кромешная тьма. Я не имела ни малейшего желания уезжать и совершенно не боялась.

Лоуренс написал мне, что он хочет отправить Синдбада в английскую школу близ города По. Я решила съездить посмотреть на эту школу и заодно заглянуть в местные дома, поскольку все еще не нашла идеального места для колонии. Мы ехали из Межева на двух автомобилях через всю Францию, что

было довольно нелепо. Мы с Синдбадом ехали в маленьком «тальботе», а Кей и Лоуренс — в их «рено». Мы планировали разделиться в По, поэтому и подумали, что нам необходимы две машины. По пути нам открывались пейзажи Дордони и Центрального массива, окрашенные поздней осенью в красно-коричневый. Мы заехали в несколько чудесных старых церквей и питались роскошными трапезами в старых французских традициях. По — ничем не примечательный городок, но война его как будто оживила. По сравнению с Бидэльским интернатом школа в По была просто смешна, и Синдбаду там страшно не нравилось. Его расстраивало, что ему не дают заниматься крикетом и вернуться в Питерсфилд.

После отъезда Лоуренса и Кей я задержалась еще на несколько дней, надеясь, что Синдбад сможет там освоиться. Между делом я продолжала искать по округе подходящий шато. Я нашла агента недвижимости и ездила с ней по окрестностям. К тому моменту мой проект приобрел официальный статус: я стала использовать имя месье де Монзи, министра образования, так как мой агент решила, что это он меня послал на поиски помещения. Это не имело ничего общего с действительностью, но я не стала ее разуверять, подумав, что так дела пойдут быстрее. Во Франции важны знакомства. Я имела некоторую смутную связь с месье де Монзи, хотя никогда не встречала его. В результате меня всюду принимали по-королевски и показывали мне самые красивые шато, которые мне, разумеется, так и не подошли.

В мое отсутствие Нелли, которая теперь имела должность секретаря нашего проекта, встречалась с художниками и узнавала, интересно ли им участие. Энтузиазма они высказывали немного, за исключением тех, кто был на мели. К всеобщему облегчению мы в конце концов от этой затеи отказались.

Теперь мне предстояло уладить отношения с мистером Ридом. Я пыталась получить британскую визу, чтобы встретиться с ним и поговорить. Мне в ней отказали, но сказали, что я могу подать заявление на другую — только на время войны с условием, что я вернусь туда с детьми и там останусь. Поскольку об этом не могло идти и речи, я оставила попытки. Это дало мне повод отказаться от дальнейшего сотрудничества с мистером Ридом, чего я и хотела. Тем не менее меня пугало намерение миссис Рид жить в здании музея. Спустя какое-то время мой друг Хоар из министерства иностранных дел сообщил, что может сделать для меня визу, но к тому времени я уже обо всем договорилась в переписке. Наши адвокаты расторгли контракт, и мистер Рид согласился на половину пятилетнего жалования за вычетом того, что я уже ему выплатила. Он не держал на меня

зла, но был сильно разочарован, потому что считал Лондон идеальным местом для музея во время войны. Я чувствовала, что оказала ему большую услугу, заставив уйти со скучной должности в журнале «Берлингтон», и поскольку теперь, после нашего недолгого сотрудничества, он стал на две с половиной тысячи фунтов богаче, что позволило ему выкупить долю в издательстве «Рутледж», я не имела никаких угрызений совести. Позже он решил написать о своей жизни книгу и хотел посвятить ее мне. Когда он ее закончил, его жена, должно быть, имела претензии к посвящению, поэтому он от него отказался. Когда все это осталось позади, он стал называть меня Пегги, и с тех пор мы остались добрыми друзьями и продолжили писать друг другу письма.

Глава 12
Моя жизнь во время войны

Джорджо Джойс переживал тяжелые времена. Его жена Хелен сошла с ума и металась по Парижу с двумя голубыми персидскими котятами на руках, которыми пыталась привлечь к себе внимание. Она крутила роман с маляром за городом и вообще пыталась соблазнить каждого мужчину на своем пути. Джорджо обосновался в Париже у нашего друга Понизовского. Он приехал ко мне в надежде, что я смогу его утешить и дать ему совет. Он очень волновался за своего сына и надеялся забрать его у жены. Однажды вечером, когда мы были в ресторане, туда заявилась Хелен с сиделкой, которая должна была за ней следить, и устроила чудовищную сцену. Я сразу ушла. Это был сущий кошмар, и мы с Понизовским боялись, что Джорджо упрячет ее в лечебницу. Мы не осознавали, насколько она больна, и пытались уговорить Джорджо оставить ее на свободе. Она влезла в долги у всех портных, поскольку ко всему прочему страдала *folie de grandeur*[41]. Она пошла в полицию и обвинила в шпионаже свою подругу Эльзу Скиапарелли, Джеймса Джойса и еще нескольких людей. Она в самом деле становилась опасна, но я не могла вынести мысли о том, что она окажется под замком. Это неизбежно случилось, когда она сделалась буйной. Джорджо отнял у нее ребенка, и для нее это стало последней каплей. В конце концов полиция отвезла ее в кошмарную *maison d'aliénés*[42]; Джорджо смог перевести ее в санаторий, где за ней должны были ухаживать, но этого, разумеется, никто не делал. Мы отправили телеграмму ее брату Роберту Кастору, чтобы он увез ее обратно в Америку, и он прилетел на «Клиппере». Он не удивился новостям: до этого она уже год провела в санатории в Швейцарии. Тогда Джорджо был рядом и присматривал за ней, но теперь его силы иссякли. Хелен находилась не в том состоянии, чтобы брат мог ее увезти, но он договорился, чтобы ее отпустили сразу, как только она станет спокойнее. Он хотел, чтобы Джорджо отвез ее в Нью-Йорк, но Джорджо подлежал призыву во французскую армию и не мог покинуть страну. Как раз в то время со мной произошел несчастный случай.

Как-то вечером я пришла домой после ужина с Бранкузи и ко мне зашли в гости Джорджо с Беккетом. Я жила в доме Мэри, который я у нее арендовала, пока она жила в Аркашоне с Марселем и супругами Дали. Мэри не хотела покидать Париж, но Марсель так боялся бомбежек, что не мог остаться, и ей невольно

пришлось последовать за ним. Беккет сильно напился, и Джорджо уложил его спать. Мы продолжили пить с ним вдвоем. На следующее утро Беккет все еще был у меня, и я решила взять его с собой на чай с Кандинским. Я уже давно хотела увидеть мастерскую Кандинского в Нейи-сюр-Сен, в современном многоквартирном доме. Беккет перевел предисловие к каталогу выставки Кандинского, и поскольку он был знатоком немецкой живописи, я подумала, что ему стоит взглянуть на картины Кандинского.

Но нам не было суждено в тот день встретиться с Кандинским. Спускаясь по мраморной лестнице к двери, мы прошли мимо Фэнни, служанки Мэри. Я пересеклась с ней взглядами и поняла, что она помнит Беккета: она подавала ему завтрак в постель, когда мы жили в предыдущем доме Мэри. (Мэри переехала в соседний, побольше.) От воспоминаний у меня перехватило дух, и я, оступившись, упала с лестницы. Я приземлилась на правое колено и вывихнула его. К счастью, рядом оказалась Нелли — Беккет просто беспомощно стоял в своем обычном парализованном состоянии. Нелли заставила его перенести меня на диван и послала за своим врачом. Тот вернул мое колено на место, но в нем уже скопилась жидкость. На следующий день Нелли отвезла меня на скорой помощи в Американский госпиталь, где мне сделали рентгеновский снимок и, не обнаружив перелома, отправили домой. Мне приходилось все время лежать в кровати, и, поскольку я не могла двигаться, я привыкла молча и спокойно пережидать воздушную тревогу. В то время нас еще не бомбили, поэтому я не сильно нервничала.

Через несколько недель после многочисленных массажей я наконец смогла ходить. Мне нужно было найти себе жилье, потому что Мэри с Марселем собирались вернуться в Париж, где, как казалось, стало безопасно. Джорджо хотел, чтобы я сняла номер в отеле, где он жил со своей семьей. Я определенно не намеревалась так сближаться с ним, поэтому выбрала другую гостиницу.

На Рождество я вернулась в Межев к детям, но зимние наледи не позволяли мне много ходить с моим больным коленом, поэтому я осталась недовольна своим визитом. На обратном пути я заехала на озеро Анси, чтобы взглянуть на новую школу Синдбада. Интернат в По не оправдал возложенных на него надежд.

Вернувшись в Париж, я стала целенаправленно скупать картины и скульптуры. В моем распоряжении после урегулирования ситуации с мистером Ридом были все средства музея, а также уйма свободного времени и сил. Моим девизом

стало «покупай по картине день», и я исправно его придерживалась.

Я арендовала квартиру Кей Сейдж, где до того нашла Танги. Она находилась на острове Сен-Луи на набережной д'Орлеан, на седьмом этаже, в бывшем чердаке под самой крышей. К ней вела терраса, которая отделяла лифт от входа в квартиру. В самой квартире были просторная студия с тремя окнами, маленькая спальня с серебряными обоями, гардеробная и элегантная ванная. На потолке моей спальни красиво играли блики отраженного в водах Сены солнца, и я часто лежала в кровати по воскресеньям и любовалась ими. Я всю жизнь мечтала жить у реки и была счастлива.

В этой квартире я провела множество званых ужинов. Я готовила еду сама с помощью Фэнни, служанки Мэри, которая приходила ко мне каждый день. Нелли ужасно не нравился мой дом; она говорила, что там негде вешать картины. Тем не менее я нашла место для всех небольших холстов. Крупные пришлось оставить в хранилище, куда я могла приходить в любое время.

Жена Джорджо всю зиму провела в той ужасной лечебнице, и они бы ни за что не расстались ни с ней, ни с теми деньгами, которые она им приносила, если бы я не заставила ее брата прислать за ней. В конце концов при помощи двух медсестер, врача и большого количества медикаментов нам удалось отправить ее на поезде в Геную, где она села на корабль до Нью-Йорка. Мы вместе с Джорджо забрали из хранилища и упаковали все ее вещи. Тогда я унаследовала двух ее персидских котов, которые уже перестали быть милыми котятами. Один из них так напоминал Джорджо, что я назвала его в честь него; другому я дала имя Сан-Лендюма («Без завтрашнего дня»).

Перед своим отъездом Танги отвел меня к Браунеру. Тот уже оправился после несчастного случая и хорошо рисовал. (Он жил с девушкой-еврейкой, которая работала в одном из министерств, чтобы содержать его.) Мы с Нелли навестили его и купили одну картину. Она произвела такое впечатление на моего врача, что я отдала ее ему в счет своего лечения. Полотна Браунера пользовались успехом. Помню, как еще одну я в Лондоне подарила учителю, у которого не было денег на нее.

Всю зиму я ходила по мастерским художников и к арт-дилерам в погоне за новыми приобретениями. Все знали, что я готова покупать все, что попадает ко мне в руки. За мной гонялись и приходили со своими картинами ко мне домой. Мне приносили их утром в кровать еще до того, как я вставала.

Уже несколько лет я мечтала о бронзовой статуэтке Бранкузи, но не могла ее себе позволить. Теперь я сочла, что настал

подходящий момент для этой чрезвычайно важной покупки. Я долгие месяцы постепенно сближалась с Бранкузи, прежде чем смогла заключить с ним сделку. Я знала его уже шестнадцать лет, но не думала, что мне будет так сложно вести с ним дела. С ним было трудно говорить о ценах, и если у тебя и хватало духу завести этот разговор, то он называл баснословные суммы. Я об этом знала и надеялась, что наша дружба упростит для меня задачу. В результате мы ужасно поссорились: он потребовал у меня четыре тысячи долларов за «Птицу в пространстве».

Мастерская Бранкузи находилась в *cul de sac*[43]. Это огромное помещение, заполненное гигантскими скульптурами, напоминало кладбище, хотя скульптуры были слишком велики для надгробий. Работал он в маленькой соседней комнате. Ее стены были увешаны всеми мыслимыми и немыслимыми инструментами для работы, а по центру стояла плита, где он эти инструменты нагревал и плавил бронзу. На этой плите он готовил восхитительные блюда и всегда делал так, чтобы они подгорали, а потом говорил, что это вышло случайно. Он ел за стойкой и подавал изумительные аккуратно разлитые напитки. Между этой маленькой комнатой и большим залом, где было слишком холодно находиться зимой, имелся укромный уголок, где Бранкузи слушал восточную музыку на фонографе, собранном им своими руками. Его спальня, чрезвычайно простая, располагалась этажом выше. Всю квартиру покрывал слой белой пыли от скульптур.

Бранкузи был удивительным маленьким человечком с бородой и пронзительными черными глазами. В нем было поровну от хитрого крестьянина и божества. В его обществе тебя переполняло счастье. Знать его было привилегией, но он имел сильные собственнические замашки и требовал от меня все мое время. Он называл меня Пегицей.

Бранкузи рассказал мне, что любит долгие странствия. Он путешествовал по Индии с махараджей Индаура, в чьем саду он поставил три «Птицы в пространстве»: одну из белого мрамора, одну из черного и одну из бронзы. Еще ему нравилось останавливаться в роскошных французских отелях и заявляться туда, одевшись крестьянином, а потом заказывать все самое дорогое. Раньше он брал с собой в поездки молодых красивых девушек. Теперь он хотел взять меня, но я отказалась. Он съездил к себе на родину в Румынию, где правительство поручило ему проекты общественных памятников. Он этим страшно гордился. Большую часть своей жизни он провел в спартанских условиях и целиком отдавал себя работе. Ради нее он пожертвовал всем и даже по большей части отказался от женщин, чем довел себя

практически до отчаяния. В пожилом возрасте он особенно страдал от одиночества. Если он не готовил для меня ужин сам, он одевался по-вечернему и вел меня в ресторан. У него была мания преследования, и ему казалось, будто все за ним шпионят. Он очень любил меня, но я никогда не могла ничего от него добиться. (Я просила его подарить Джорджо Джойсу карандашный портрет его отца, но он этого так и не сделал.) Лоуренс в шутку предложил мне выйти замуж за Бранкузи и унаследовать все его скульптуры. Я прощупала почву в этом направлении, но вскоре поняла, что у него другие идеи на этот счет и делать меня наследницей он не собирается. Он скорее бы все мне продал, а потом спрятал деньги в своих деревянных башмаках.

После ссоры с ним я исчезла из его жизни на несколько месяцев, за которые я успела купить за тысячу долларов одну из его ранних работ, «Майастру», у сестры Поля Пуаре. Это была его самая первая птица 1912 года — красивое создание с огромным животом, но я все еще мечтала о собственной «Птице в пространстве». Тогда Нелли (мы называли ее Неллицкой) пошла к Бранкузи и попыталась уладить наши разногласия. В конце концов я сама отправилась к нему в мастерскую и снова попыталась договориться о сделке. На этот раз мы сошлись на цене во франках, и я сэкономила тысячу долларов, обменяв валюту в Нью-Йорке. Бранкузи казалось, будто я его в чем-то обманула, но он все же принял деньги.

Как-то раз я обедала с ним в его мастерской, и он рассказывал мне о своих приключениях во время предыдущей войны. Он сказал, что в этот раз ни за что не уедет из Парижа. В прошлую войну он уехал и в результате сломал ногу. Конечно же, он не хотел покидать мастерскую и оставлять свои гигантские скульптуры. Их было никак не вывезти. В момент нашего разговора началась бомбардировка внешних бульваров Парижа. Бранкузи сразу понял, что в этот раз все по-настоящему, хотя я отказывалась верить после стольких ложных сигналов тревоги. Мы находились всего в нескольких кварталах от бульвара Вожирар, где разрывались бомбы, и грохот стоял инфернальный. Бранкузи заставил меня уйти из комнаты со стеклянным потолком, но я по-прежнему не воспринимала опасность всерьез и еще несколько раз сходила туда-обратно за вином и едой. После этого мы вышли на улицы Парижа, где все подтвердилось. Заводы внешних бульваров были разрушены, погибло много учащихся школ.

Бранкузи вручную полировал все свои скульптуры. Мне кажется, это главный секрет их красоты. Он собирался работать

над моей «Птицей в пространстве» несколько недель. К тому времени, как он закончил, немцы уже подошли к Парижу, и я приехала за ней на своем маленьком автомобиле, чтобы успеть ее упаковать и отослать. По лицу Бранкузи катились слезы, и я была тронута до глубины души. Я никогда не спрашивала у него, почему он плакал, но решила, что он прощался со своей любимой птицей.

Я хотела купить картину Жана Эльона и узнала, что он в армии и расквартирован под Парижем. Нелли написала ему, и он сразу же примчался в Париж, чтобы продать мне ее. В армии он был лишен женского общества, поэтому мы с Нелли привели его в восторг. Мы казались ему очень женственными и яркими с нашим макияжем, и он сказал, что мы первые картины, которые он увидел за долгое время. Мы объездили весь Париж в поисках его полотен, запрятанных по разным местам, и в итоге я купила огромный холст, который мы нашли на чердаке у его друга. Я подарила Эльону антологию Герберта Рида под названием «Вещевой мешок», составленную специально для солдат; тогда мне казалось, что я больше никогда его не увижу. Откуда же мне было знать, что он станет моим зятем. (Позже, когда он сбежал из немецкого лагеря, где провел около двух лет, он обнаружил эти деньги во французском банке, что спасло ему жизнь.) Мы замечательно поужинали напротив вокзала Монпарнас, и он помчался обратно в свое подразделение.

Как-то раз у арт-дилера по имени Пуассоньер я наткнулась на занятную маленькую картину, которую, как он утверждал, написал Дали. Это было очаровательное и при этом дешевое полотно, которое Дали совершенно ничем не напоминало. Я сказала, что куплю ее, если художник ее подпишет. Бедный Пуассоньер, которого вот-вот должны были перевести из Парижа (он служил в армии), бросился с этой картиной в Аркашон. Вернул он ее с подлинной подписью.

После этого случая я захотела приобрести настоящего Дали — то есть такого, которого признает публика, и что-то из его лучшего периода, 1930-х годов или около того. Одну из таких картин мне принесла рано утром прямо в постель женщина-дилер, и я немедленно ее купила. Но все же она была слишком мала, а я мечтала о большой и важной. Как бы неодобрительно я не относилась к самому Дали и его поступкам, я считала, что мне необходимо иметь его в своей коллекции, которая претендовала на звание исторической и непредвзятой. Мэри близко дружила с четой Дали, поэтому как только Гала приехала в Париж, она пригласила нас обеих на ужин. Мы ужасно повздорили из-за моего образа жизни, который Гала находила возмутительным.

Она считала, что я сошла ума, раз жертвую жизнью ради искусства, вместо того чтобы выйти замуж за одного художника и сосредоточиться на нем, как то сделала она. На следующий день она объездила со мной весь Париж в поисках полотна Дали. Мы сходили в хранилище и их безумную квартиру, которая пустовала, пока они жили в Аркашоне. Там я нашла подходящую картину — Гала сочла ее более уместной, чем откровенный холст, который я наивно выбрала до этого, не заметив, что на нем в самом деле нарисовано. Выбранная Галой картина была эротична, но в меру. Она называется «Рождение текучих желаний» и до безобразия очевидно принадлежит кисти Дали.

Еще я хотела приобрести скульптуру Джакометти, у которого на маленькой улочке близ авеню дю Мен была своя мастерская — такая крошечная, что я не представляю, как он там работал. Он в ней выглядел как лев в клетке, с его львиным лицом и огромной гривой волос. Он говорил и вел себя в чрезвычайно сюрреалистичной и эксцентричной манере, в духе дивертисмента Моцарта. Однажды я увидела в одной галерее побитый гипсовый слепок его работы. Я пошла к Джакометти и спросила, не восстановит ли он его для меня, если я его куплю, — я хотела отлить его в бронзе. Он сказал, что у него в мастерской есть другая скульптура, куда лучше. Она оказалась точно ничем не хуже, и я купила ее, а он обещал сделать для меня бронзовую копию.

Это заняло несколько недель, после чего он объявился на моей террасе с чем-то, что напоминало причудливое средневековое животное. Оно выглядело, будто сошло с картины Карпаччо, которую я видела в Венеции: на ней Святой Георг ведет дракона на цепи. Джакометти был преисполнен энтузиазма, что удивило меня — я думала, он утерял интерес к своим ранним абстракциям и теперь только вырезает маленькие греческие головы и носит их с собой в кармане. Он отказался участвовать в моей выставке модернистской скульптуры, потому что я не стала их там выставлять. Он сказал мне, что все искусство равно, но я с ним не согласилась. Я не знала, зачем ему нужны эти греческие головы, и куда больше радовалась своей бронзовой скульптуре, которая имела мало общего с классическим искусством. Она называлась «Женщина с перерезанным горлом» и была первой скульптурой Джакометти, которую отлили в бронзе, и когда много лет спустя я вернулась в Европу после войны, к своему ужасу, видела ее повсюду, хотя количество отливок изначально было ограничено шестью.

На этом моменте хотелось бы представить вам Говарда Путцеля. Это был мужчина примерно моего возраста с

поразительной силой характера. С того момента как я с ним познакомилась, я либо делала все, что он скажет, либо же противилась ему изо всех сил. Последнее настолько изматывало меня, что у меня не оставалось энергии на более важные вещи. Впервые я узнала о нем зимой 1938 года, когда он написал мне из Голливуда с пожеланиями удачи для моей новой галереи и сообщил о закрытии своей. Он прислал мне несколько картин Танги, которые выставлялись у него и которые я собиралась включить в свою грядущую выставку. Через несколько месяцев я встретилась с ним в Париже у Мэри и с удивлением обнаружила, что выглядит он совершенно не так, как я себе представляла. Я ожидала встретить маленького горбатого брюнета. Он же оказался огромным тучным блондином. Поначалу он производил впечатление сумбурной личности, но постепенно я осознала, что за его хаотичной речью и поведением кроется огромная страсть к искусству модернизма. Он немедленно прибрал меня к рукам и стал сопровождать меня, а точнее заставил меня водить его по мастерским всех художников Парижа. Он вынудил меня сделать бессчетное количество вещей, которые я не хотела делать, но вместе с тем добыл множество картин, которые мне были нужны, и тем уравнял наш счет. Он приходил ко мне по утрам с несколькими произведениями под мышкой и обижался, если я их не покупала. Если же я находила и приобретала работы «у него за спиной» — а он расценивал любую мою попытку самостоятельных действий именно так, — он оскорблялся еще сильнее. Они с Нелли недолюбливали друг друга, как это бывает с теми, кто одержим одной и той же страстью.

Зимой 1938/1939 года Путцель решил познакомить меня с Максом Эрнстом. Я, как обычно, сопротивлялась, но безуспешно. Я хорошо знала работы Эрнста и имела желание купить у него картину. Однажды он провел выставку в Лондоне в галерее Мезенса, где львиная доля его лучших работ принадлежала Пенроузу. Эрнст знал, кто я такая, и, по всей видимости, решил, что я пришла с намерением купить картину. Эрнст давно славился своей красотой, обаянием и успехом у женщин — помимо живописи и коллажей. Он все еще, без сомнения, был хорош собой, несмотря на возраст. Ему было почти пятьдесят. У него были седые волосы, большие голубые глаза и орлиный нос. Он был очень изящно сложен. Он мало говорил, поэтому мне приходилось поддерживать разговор болтовней о Мезенсе, его галерее и моей. В ногах Эрнста сидела Леонора Каррингтон, его возлюбленная. Я уже видела их в Париже и подумала, что они интригующе смотрятся вместе. Она была сильно моложе Эрнста; выглядели они в точности, как Нелл с ее дедушкой из «Лавки

древностей». Я попыталась купить у Эрнста картину, но та, на которую я положила глаз, принадлежала Леоноре, а про другую Путцель по какой-то неведомой причине заявил, что она слишком дешевая. В итоге я купила картину Леоноры. Она была ученицей Эрнста и не обрела большой известности, но имела большой талант и богатое воображение в лучшем духе сюрреализма и всегда рисовала птиц и зверей. То полотно под названием «Лошади господина Подсвечника» изображало четырех лошадей разных цветов на дереве. Все обрадовались моей покупке, и я не вспоминала об Эрнсте до военной зимы, когда я обнаружила у арт-дилера несколько его великолепных картин и купила сразу три. Он тогда был в концлагере.

Нелли познакомила меня с Антуаном Певзнером, русским конструктивистом. Я знала его работы еще в Лондоне и была хорошо знакома с его братом Наумом Габо. Певзнер был пугливым человечком, который напомнил мне шутку Эла Джолсона: «Ты человек или мышь?» По-моему, он был мышью. Он мастерил красивые конструкции, и я купила одну из них, на которую его, кажется, вдохновил некий математический объект. Певзнер имел давнее знакомство с Марселем Дюшаном, но никогда не встречал Мэри Рейнольдс. Мы привели ее к Певзнеру на ужин, и когда она сказала ему, что она любовница Марселя уже больше двадцати лет, он не мог поверить своим ушам. Он даже не знал о ее существовании, хотя уже многие годы виделся с Марселем каждую неделю. Певзнер воспылал ко мне большой страстью, но поскольку он был мышью, а не человеком, я никак не могла ответить ему взаимностью. Он вел себя как школьник весной. Мы стали близкими друзьями. Он не смог вывести жену из Парижа во время немецкой оккупации, и я отправляла ему деньги и помогала ему всю войну.

На Пасху я поехала в Межев и забрала Синдбада с Пегин кататься на лыжах в Коль де Воза. Меня сопровождала Жаклин Вантадур, их подруга. Мы ехали в моем маленьком «тальботе» и распевали старинные южные баллады, которым она меня научила по пути. Мы все остались довольны отдыхом за исключением Пегин, которая не хотела покидать Межев. Синдбад и Жаклин хорошо провели время, и я сама тоже, потеряв голову из-за маленького итальянца, которого встретила в отеле. Он был совершенно отвратительным, невозможным существом, но уж очень хорош собой. Он занял мои мысли на то время, что я сидела одна без дела, пока все катались на лыжах. На обратном пути я отвезла Синдбада в Межев вместе с моим новым знакомым. Когда итальянец уехал на поезде, я осталась на ночь у Лоуренса и Кей. На следующее утро, когда я уже уходила, я

поскользнулась на лестнице и вывихнула лодыжку и разбила локоть. Мы с Кей, как всегда, не выносили друг друга, поэтому я настояла на своем отъезде, как только мне наложили два шва на руку. Не знаю, как добралась одна до Парижа в таком состоянии: я не могла ходить и двигать правой рукой.

Той зимой я провела много времени с Вирджилом Томсоном. Мы с ним и Путцелем часто обедали вместе. Вирджил намеревался заняться организацией концертов в моем музее, если однажды он у меня будет. Он давал чудесные вечеринки по пятницам с открытым входом для всех. Он написал мой музыкальный портрет, который ничем меня не напоминал, но ради которого я терпеливо позировала несколько часов, читая его весьма проницательный труд «Государство музыки». Я подумала, что было бы неплохо выйти замуж за Вирджила и обрести связи в музыкальном мире, но далеко в этом направлении не продвинулась.

Как-то раз у Мэри мы ужасно повздорили из-за моих картин. Мэри считала, что непорядочно даже думать об их спасении, когда в помощи нуждаются столько беженцев. Она заявила, что, если нам удастся раздобыть фургон, мы первым делом бросимся спасать картины, а не людей. Вирджил был ко мне очень добр, и я помню, как рыдала в его объятиях в моем маленьком автомобиле, пока он утешал меня после этих совершенно излишних нравоучений из уст моей давней подруги.

Вирджил уехал из Парижа раньше меня, и был одним из первых людей, кого я стала разыскивать, вернувшись в Америку. К тому времени он уже стал самым известным музыкальным критиком Нью-Йорка и пользовался такой популярностью, что, как сказал мне сам, теперь мог делать только то, что ему нравится, — он обладал достаточной для этого независимостью. Когда я сказала, что привезла с собой в Америку Макса Эрнста и живу с ним, он сделал бесценное замечание: «Кажется, уже много женщин могли этим похвастаться». Но я забегаю вперед.

В тот день, когда Гитлер вошел в Норвегию, я вошла в мастерскую Леже и за тысячу долларов купила у него замечательную картину 1919 года. Он еще долго не переставал удивляться тому, что мне в такой день пришло в голову покупать картины. Леже был потрясающе энергичным человеком и имел внешность мясника. После окончания немецкой оккупации Франции он наконец добрался до Нью-Йорка и обошел его весь на ногах, после чего стал нашим гидом и водил по иностранным ресторанам в каждом квартале города.

На следующий день я купила одну из ранних работ Ман Рея, полотно 1916 года и несколько райограмм.

Я пыталась арендовать пристойное место под галерею, но немцы надвигались так быстро, что мне в конце концов пришлось спасать свою коллекцию и вывозить ее из Парижа. Впрочем, я все же успела снять красивую квартиру на Вандомской площади. Она была примечательна не только тем, что в ней умер Шопен, но и тем, что в ней когда-то была мастерская портного О'Россина. Впервые я оказалась там как раз в тот злосчастный день, когда Гитлер вторгся в Норвегию. Владелец здания отговаривал меня изо всех сил, и когда я продолжила настаивать, сказал: «Подумайте хорошенько и приходите завтра». Я пришла на следующий день и сообщила, что не передумала; ему пришлось уступить. Я назвала имя своего адвоката, который оказался его старым другом, что значительно упростило процесс. Затем я обратилась к архитектору Жоржу Вантонгерло с просьбой заняться переделкой этой просторной квартиры, чтобы я смогла там жить и открыть музей. Она была уж слишком вычурно декорирована в стиле *fin de siècle*[44], и я непременно хотела убрать всех ангелов с потолка и стен, прежде чем красить помещение. Однако на тот момент уже стало очевидно, что мой план обречен на провал и что мне как можно скорее надо вывозить картины из Парижа, пока не поздно. В последний момент я предприняла попытку занять под музей подвал, но это тоже оказалось невозможно, поскольку ему уже была отведена функция бомбоубежища. Удивительно то, что я ни подписала контракт аренды, ни заплатила ни цента депозита за эту квартиру, но владелец тем не менее убрал весь декор в стиле *fin de siècle* без каких-либо гарантий с моей стороны. Когда я покинула Париж, меня так мучила совесть, что я послала ему двадцать тысяч франков компенсации. Я больше никогда в жизни не встречала таких великодушных домовладельцев.

С картинами можно было поступить лишь двумя способами: упаковать и вывезти из Парижа, либо упрятать в подземной камере хранения. Леже сказал мне, что Лувр должен согласиться выделить мне кубический метр пространства где-то в секретном хранилище за городом, куда они отправили все свои картины. Я поспешила снять полотна с подрамников и упаковать их, но Лувр заявил, к моему отчаянию, что моя коллекция слишком модернистская и не стоит спасения. Вот какие картины Лувр счел недостойными: Кандинский, несколько Клее и Пикабиа, Брак кубического периода, Грис, Леже, Глез, Маркусси, Делоне, футуристы Северини и Балла, Ван Дусбург и Мондриан периода «Де Стейл». Из сюрреализма в моей коллекции были представлены Миро, Макс Эрнст, де Кирико, Танги, Дали, Магритт и Браунер. Скульптуры они даже не рассматривали, хотя

среди них были работы Бранкузи, Липшица, Лорана, Певзнера, Джакометти, Мура и Арпа. В конце концов моя подруга Мария Джолас, арендовав шато в Сен-Жеран-ле-Пюи близ Виши для эвакуации детей из своей двуязычной школы, предложила мне разместить мою коллекцию в амбаре. Туда я ее и отправила.

Как оказалось, это было очень удачное решение: немцы задержались там совсем недолго и не нашли мои ящики.

После этого мне следовало бы самой уехать из Парижа. Немцы стремительно приближались, но я не могла заставить себя уехать от моего нового друга Билла. Уже два месяца я проводила с ним каждый вечер. Мы сидели в кафе и пили шампанское. Сейчас немыслимо думать о том, как по-идиотски мы вели себя, когда вокруг нас было так много страдания. В Париж один за другим приходили поезда, полные несчастных беженцев и тел тех, кого расстреляли из пулеметов по дороге. Я не могу понять, почему я не помогала этим бедным людям. Но я просто не помогала; вместо этого я пила шампанское с Биллом. В последний момент закончился срок действия моей визы, и когда я попыталась получить новую, мне отказали. Мне до этого приснилось, что я осталась заперта в Париже. Когда я узнала, что не могу уехать, я вспомнила этот сон и ужасно испугалась. Немцы приближались с каждой минутой. Все мои друзья уехали. Билл решил остаться, потому что его жена была слишком больна для переезда.

В конце концов за три дня до того, как немцы вошли в Париж, мне удалось сбежать вместе с Нелли и двумя персидскими котами. Я уехала на «тальботе» и имела в достатке бензина: я уже несколько недель копила его в бидонах на своей террасе. Мы выехали в Межев, как раз когда итальянцы объявили войну. К тому моменту мне уже не требовались документы, поскольку Париж переживал массовый исход порядка двух миллионов человек. Это было невообразимо. Вся дорога на Фонтенбло была в один ряд забита машинами, ползущими на первой скорости. Они двигались со скоростью миля в час, прижатые к земле всевозможной домашней утварью. В дороге всех окутало облаком черного дыма, выпущенного не то немцами, не то французами, и я так никогда не узнала, кто это сделал и почему. Нас покрыла сажа. Наконец я смогла съехать с основной магистрали и поехала объездными дорогами. Несколько часов я ехала свободно, потому что никто не двигался на восток. Все пытались попасть в Бордо. Меня несколько раз предупреждали, что на востоке я рискую встретить итальянскую армию. Я даже боялась, что полиция силой отправит меня обратно. Все же нам дали проехать, и, разумеется, мы не встретили никакой итальянской армии,

поскольку та не смогла продвинуться вглубь Франции. По дороге нас нагнали чудовищные вести о капитуляции Парижа, а через несколько дней — о трагических условиях перемирия. От Франции осталось немного, но за эту малую часть мы отчаянно держались.

Как выяснилось, Лоуренс с детьми не собирался никуда ехать. Он не хотел испытывать на себе дорожные неурядицы. По мере продвижения немцев многие спасались бегством и в бегах сталкивались с неизвестностью, лишениями, голодом и бомбежками. После заключения перемирия никто не понял, что случилось с Францией. Все люди были в каком-то ступоре, как будто их ударили молотком по голове. Было очень грустно видеть Францию такой. Нам все еще хватало еды, но мы понимали, сколько ее отправляется в Германию. Мы оказались отрезаны от оккупированной Франции и толком не могли отправлять письма через границу. Правда, вскоре мы узнали, что за пять франков письмо можно доставить куда угодно, поэтому поддерживали связь с друзьями.

Дети были счастливы видеть меня, и я решила провести с ними лето в доме в Ле Верье на озере Анси. Пегин и Синдбад в своем нежном возрасте пятнадцати и семнадцати лет были по уши влюблены в брата и сестру по имени Эдгар и Ивон Кун. Сын особенно страдал от своей первой влюбленности, которая, к сожалению, оказалась не взаимна. Чтобы порадовать детей, я сняла дом прямо по соседству с их друзьями и в результате совсем их не видела. Они все время проводили с этой странной наполовину американской, наполовину французской семьей. Дети играли в теннис, купались, устраивали пикники и катались на мотоциклах в Анси. Они неохотно приходили домой поесть, после чего возвращались обратно к Кунам. В этом не было ничего удивительного, учитывая их влюбленность и тот факт, что я не могла им предложить ни теннисного корта, ни озера. Иногда я присоединялась к ним, но в целом старалась держаться подальше от этой безумной семейки, которая позже в самом деле оказалась таковой.

Вместе со мной жили Арп с женой и Нелли. Их волновало их будущее: они не могли вернуться в Медон, расположенный в оккупированной части Франции. Они были признаны врагами Гитлера, к тому же вся их собственность осталась в Медоне. Арп хотел поехать в Америку и открыть там новый Баухаус. Война держала его в большом страхе, поскольку до сих пор все его предсказания сбывались, а будущее он видел далеко не в радужном свете. Он был настроен категорически против Германии и даже не позволял нам слушать немецкую музыку.

Если по радио начинал играть Моцарт или Бетховен, он немедленно выключал приемник. Арп родился в Эльзасе, но теперь был французом по имени Жан, отказавшись от своего старого имени, Ганс.

Летом я заскучала и стала каждые несколько недель красить волосы в разные цвета в качестве развлечения. Сначала я попробовала каштановый — самый близкий к натуральному, потом мне пришло в голову высветлить и покраситься в светло-рыжий, отчего я стала похожа на Дороти Холмс. Когда я вернулась домой из парикмахерской, Синдбад засмеялся, а Пегин расплакалась и заставила меня покраситься в черный, на котором я и остановилась. После долгого времени, проведенного в парикмахерской, я начала испытывать слабость к маленькому парикмахеру, который трудился над моей красотой. Перечитав Дэвида Лоуренса, я загорелась романтической идеей найти мужчину из более низкого класса, поэтому, когда у моего парикмахера выдавался выходной, я ехала с ним на автомобиле на природу. Он водил меня в чудесное бистро на танцы. Позже я привела туда Лоуренса, и мы устроили там вечеринку в честь дня рождения, но парикмахера на нее не позвали. По правде сказать, я его стыдилась и прятала нашу связь. Я проводила по несколько часов в салоне красоты вместе с Пегин, поскольку мои волосы не требовали долгих процедур. Она ни о чем не подозревала и считала, что он плохой парикмахер и я зря заставила ее сделать у него химическую завивку.

Вскоре все это мне надоело, и я захотела перемен. Выбора у меня было не много. Единственным другим мужчиной в округе был старый рыбак, который был похож на Бранкузи и явно испытывал ко мне симпатию. Он позволял нам с Нелли купаться с его плота, что считалось большой привилегией. Знакомство с ним спасало меня от общества Кунов. Еще недалеко от нас на вершине холма жил очаровательный гомосексуал. Однажды он заметил на номере нашего автомобиля буквы «GB» и оставил на нем записку, в которой приглашал нас к себе домой и называл себя другом всех британцев. Он оказался замечательным соседом и чудесно нас кормил. Мы покупали у него вкуснейшее вино из его виноградника.

Больше там не было никого, кроме мистера Куна и его шурина, который неожиданно вернулся домой, бежав из плена. Мы стали свидетелями трогательной сцены их воссоединения. Вся семья впала в экстаз, особенно миссис Кун, которая чуть не сошла с ума от радости. К нам тогда в гости приехал из Межева Лоуренс, и мы с ним тихо ушли в разгар семейного ликования. Как-то вечером я пришла к Кунам с расчетом отловить этого

шурина, или *l'oncle*[45], как мы называли его с Нелли. Я привела его к нам домой на ужин. Следующим вечером, когда он уже уходил, к нам пришла миссис Кун, его сестра. Она спросила, не у нас ли ее брат. Я удивилась и, понимая, что надо соблюдать осторожность, ответила, что он давно ушел. В тот момент он услышал ее громкий голос и выпрыгнул из окна в сад, пока она его не заметила. Она обыскала весь дом, твердя, что не сможет заснуть, пока его не найдет. Она подняла ужасный шум и разбудила не только Арпов, но и детей и повара. На следующий день, когда мы купались на плоту рыбака, к нам заявился *l'oncle* и сказал, что нам больше нельзя видеться. Я заставила его поговорить со мной в его лодке, но он очень нервничал и быстро вернул меня обратно на берег. Больше я его не видела, хотя Синдбад неоднократно пытался привести его ко мне. Вместо него мне нанесла визит миссис Кун и предупредила меня, что ее брат — *maquereau*[46] и что она не позволит ему докучать мне. Я ответила, что уже достаточно взрослая и могу постоять за себя, а позже узнала от мистера Куна, что его жена уже проделывала подобное в аналогичной ситуации.

Мистер и миссис Кун ненавидели друг друга и жили отдельно, хоть и под одной крышей. Она была домохозяйкой, и они оба обожали своих детей. У мистера Куна была пожилая мать восьмидесяти лет, с которой мы близко общались. Старая леди обеспечивала всю семью. Она не знала о моей *histoire*[47] с *l'oncle* и рассказала мне, что когда-то ее невестка внезапно сильно заболела и чуть не умерла. Я решила, что пережитое заставляет ее изо всех сил держаться за брата. Полагаю, она вытянула из него обещание больше никогда со мной не видеться. Мистер Кун был веселым человеком, и Лоуренс с Арпом нашли с ним общий язык. Он говорил, что я должна поехать с ним в Африку и помочь ему справиться с эпидемией сифилиса среди коренных жителей. Я не отнеслась к его предложению всерьез. Когда к Нелли приехал ее двадцатипятилетний друг из Африки, все семейство Кунов пришло в ужас. Мистер Кун пришел к нам, чтобы познакомиться с ним за ужином, и весь вечер молодой человек рассказывал ему о положении негров в Европе и Африке. Он был интеллектуалом и очень хорошо говорил. Позже он стал президентом Дагомеи.

В конце лета Джорджо Джойс, живший неподалеку от шато, отправил мне мои картины. Они несколько недель провели на вокзале в Анси, прежде чем мы об этом узнали, но нам все равно негде было их хранить. Мы с Нелли каждый день ходили проверять, все ли с ними в порядке. Мы накрыли ящики брезентом и, чтобы уберечь их от дождя, передвинули подальше

от того места, где протекала крыша. Они провели на *quai de petite vitesse*[48] несколько месяцев.

Будучи еврейкой, я не могла вернуться в Париж, но хотела где-то выставить свои картины. Нелли дружила с Андре Фарси, директором Музея Гренобля. Ему нравилось искусство модернизма, и я послала ее к нему за помощью. Она вернулась без определенного ответа, но передала мне, что я могу отправить картины в музей, и там они как минимум будут в сохранности. Это был лучший вариант, чем *quai de petite vitesse*. Мы немедленно выслали их и последовали за ними сами.

Мсье Фарси сам был в затруднительном положении: он едва не потерял пост директора и в итоге позже оказался в тюрьме. Из-за правительства Виши он мало что мог для меня сделать. Он хотел устроить выставку моих картин, но очень боялся и постоянно ее откладывал. Музейную коллекцию искусства модернизма он предусмотрительно спрятал в подвале, опасаясь визита Петена в Гренобль. Он предоставил мне полную свободу в своем музее, где я распаковала картины и сделала фотографии. Я могла приводить друзей и показывать им их; по сути я могла делать что угодно, только не развешивать полотна. У меня была собственная комната, где они все стояли, прислоненные к стенам. Мсье Фарси так и не назначил дату проведения выставки, объясняясь тем, что сначала ему надо все утрясти с правительством Виши. Он не хотел, чтобы я забирала картины, но после шести месяцев мое терпение лопнуло, и я сказала, что уезжаю в Америку. Он умолял меня оставить картины у него. Я не имела никакого желания доверять ему, но и не представляла, как вывезти их в Америку. Тем не менее я знала, что ни за что не отправлюсь без них.

Мсье Фарси был смешным, невысоким круглым мужчиной пятидесяти с лишним лет. Ему нравилось проводить время вдали от дома и обожающей его жены. Каждый раз, когда мы приглашали их на ужин, он приходил один и находил какое-нибудь оправдание для отсутствия супруги. Позже я узнала, что он ни разу не передал ей моих приглашений. Он был очень весел в компании нас с Нелли и рассказывал замечательные истории. В молодости он был велогонщиком и участвовал в «Тур де Франс». По его нынешнему облику в это с трудом можно было поверить. Однажды вечером после шести, когда мы сидели в музее, он взял меня за руку и стал гладить мою ладонь. Он тихо спросил меня, чувствую ли я что-то. Я твердо ответила, что никакого волнения не испытываю, поскольку внезапно осознала, что с его слабостью к женщинам он наверняка только и делает, что занимается с ними любовью в музее после закрытия. Он постоянно ездил по

Франции с лекциями, и мы гадали, почему он всегда приезжает позже, чем его ждет жена. Он любил модернистское искусство, но совершенно в нем не разбирался. Он часто спрашивал меня об авторах моих картин, и каждый раз, когда мы доходили до Маркусси, он неизменно переспрашивал: «Кто? Бранкузи?» Ему нравилось одно мое полотно Виейра де Силва, но он думал, что это Клее. Уезжая из Гренобля, я предложила ему оставить себе либо эту картину, либо Танги. Он в сотый раз спросил меня, Клее ли это; я ответила, что нет, и он выбрал Танги. Несмотря на все это, он умудрился собрать неплохую коллекцию современных картин для своего музея при полном отсутствии какого-либо спонсирования. По этой причине он, вероятно, плохо ладил с правительством Виши, которое его чуть не уволило.

Через Нелли я до этого познакомилась с Робером Делоне и его женой Соней. Тридцать лет тому назад он был выдающимся и уважаемым художником. Я хотела купить одну из его картин того периода, поскольку нынче он рисовал кошмарно. Он имел глупость попросить у меня за нее восемьдесят тысяч франков, так что, разумеется, сделка не состоялась. Путцель нашел другое полотно того же года у Леонса Розенберга за десять тысяч. Когда я жила в Гренобле, Делоне с женой оказались отрезаны от своего дома на оккупированной территории и перебрались на юг Франции. Им удалось спасти несколько картин, и теперь они пытались продать мне одну из них. Они писали и звонили Нелли ежеминутно, умоляя меня купить тот холст, от которого я отказалась в Париже. Мне это так надоело, что я в итоге предложила за него сорок тысяч франков.

Делоне приехал в Гренобль и был очарователен. Мне кажется, большинству художников идет на пользу отсутствие компании их жен. Он привез с собой свою картину. Он любезно согласился отреставрировать для меня холст Глеза, который я купила в Париже у вдовы брата Марселя, художника Раймона Дюшан-Вийона, погибшего в Первую мировую. Когда Делоне собрался уезжать, я подарила ему своего дорогого кота Энтони, потому как больше не могла жить в одной комнате с двумя зловонными созданиями. Делоне обожал котов и сразу полюбился моему. Вскоре после этого Делоне сильно занемог и стал часто писать мне письма о своем здоровье и коте. Я не догадывалась, что он умирает, и известие о его смерти сильно опечалило меня.

Лоуренс решил, что безопаснее всего для нас будет отправиться весной в Америку: над нами постоянно висела угроза полной оккупации Франции, и мы знали, что однажды США окажутся втянуты в войну. Американский консул уже полтора года уговаривал нас уехать, но обновить паспорта для нас

оказалось не так-то просто. Нам нужно было думать о детях и учитывать вероятность того, что мы можем остаться отрезанными от Америки и без денег. Еще хуже, очевидно, была перспектива попасть в концентрационный лагерь. Я намеревалась отправиться в Виши на встречу с нашим послом и организовать переправку моих картин. В итоге всю зиму мы провели замурованные в снегу и не могли никуда поехать. Как раз в этот момент, словно по милости небес, в Гренобль прибыл Рене Лефевр Фоне.

Когда Рене приехал в Гренобль, мы с Нелли без конца ужасно ссорились, и я настойчиво пыталась отправить ее жить в Лион. Ее африканский друг работал там в университете. После расставания наши отношения сразу наладились. По сути мы ссорились на ровном месте, но мне правда гораздо легче работалось над каталогом моей коллекции в одиночестве. Я печатала по несколько часов в день; в моей комнате было очень холодно, и администратор отеля сдал мне для работы небольшой кабинет. Арп написал предисловие к каталогу, и я надеялась, что еще одно напишет Бретон. Лоуренс никак не мог взять в толк, из-за чего мы ругаемся, хотя я каждый раз, когда он приезжал в Гренобль, бурно пыталась ему что-то разъяснить. Он назвал это «Битвой при Гренобле».

Рене был партнером парижской фирмы, которая занималась перевозкой моих картин из Парижа в Лондон, когда там была моя галерея. Я рассказала ему о своих бедах, и к моему огромному удивлению, он ответил, что нет ничего проще, чем отправить картины из Гренобля в Америку как мои личные вещи — если, разумеется, добавить к ним какое-то количество таковых. Он предложил мне отправить с ними мою машину, которая уже шесть месяцев стояла в гараже — водить ее запрещалось из-за дефицита бензина. Затруднение заключалась только в том, что я забыла, в каком гараже я ее оставила. В итоге мы обошли все гаражи Гренобля и в конце концов ее нашли. Нам требовалось разрешение мсье Фарси, чтобы забрать картины, после чего мы с Рене вдвоем упаковали их в пять ящиков вместе с моим бельем и одеялами. Несомненно, Рене оказал мне огромную услугу, но к тому времени между нами уже завязался роман, поэтому он был рад мне услужить. Наши отношения продлились два месяца и принесли мне много радости. Так что с упаковкой ящиков мы не слишком торопились.

После этих двух месяцев я сбежала от Рене в Марсель. Это была моя вторая поездка туда за ту зиму. Для начала расскажу о первой.

В Гренобле я получила телеграмму от новой жены Танги, Кей Сейдж, которая просила меня о помощи, в том числе

материальной, в отправке пятерых известных европейских художников в США. Когда я спросила, кто же эти художники, я получила ответ: «Андре Бретон, его жена Жаклин Бретон и дочь Об, Макс Эрнст и доктор Мабий, врач-сюрреалист». Я возразила, что доктор Мабий не является известным художником, как и Жаклин с Об, но все же согласилась оплатить проезд семьи Бретон и Макса Эрнста. Еще я пыталась спасти Виктора Браунера, который написал мне с просьбой о помощи. Он прятался в горах и жил как пастух, и поскольку он был евреем, я боялась, что его может настигнуть большая беда. Бретон был в Марселе, и я с намерением решить сразу все вопросы отправилась в марсельский Чрезвычайный комитет по спасению.

Вариан Фрай, глава комитета, собрал огромное количество денег и раздал их нуждающимся беженцам, многие из которых скрывались от гестапо. Он подпольно переправлял их в Испанию и Португалию или Африку, а оттуда — в Америку или на Кубу. Он также помогал вернуться на родину британским солдатам, которые оставались во Франции после Дюнкерка и хотели присоединиться к де Голлю. Правой рукой Фрая был Даниэль Бенедит, который раньше состоял на службе у префекта полиции Парижа. Им помогала жена Бенедита, британка Тео, и множество других полезных людей. С ними была красивая американская девушка Мэри Джейн Голд, которая жертвовала на их благородное дело несметные суммы и сама трудилась вместе с ними. Они все жили в огромном ветхом шато «Бель-Эйр» близ Марселя. Бретон с семьей на тот момент были их гостями. Здесь Бретон устраивал приемы и окружил себя сюрреалистами. Перед моим приездом Бретона, Фрая, Мэри Джейн Голд и Бенедита арестовали и несколько дней на протяжении визита Петена в Марсель держали в изоляции на корабле. В конце концов им удалось тайно передать письмо для американского консула, который вызволил их.

Фрай попросил меня приехать и работать на комитет. Он хотел, чтобы я заняла его место на время его краткого отъезда в США. Меня так напугал их арест, вся эта атмосфера подполья в Марселе и непонятные мне махинации, что я обратилась за советом к американскому консулу. Я хотела понять, кого же на самом деле представляет комитет. Консул порекомендовал мне не впутываться. Он не сказал мне почему, и я даже не догадывалась, какую опасную работу делает Фрай. Американское правительство постоянно пыталось вернуть его в США, чтобы избежать конфликта с правительством Виши. Однако он держался до самого конца. Пока я жила в Гренобле и думала только об искусстве, я не имела представления о подполье и его жизни.

Марсель находился во власти черного рынка; все незаконно добывали визы, паспорта, еду и деньги. Позже я к этому привыкла, но поначалу была в ужасе. Дав Бретону и Фраю какое-то количество денег, я вернулась в Гренобль.

Когда я пообещала оплатить проезд Макса Эрнста в Америку, Лоуренс и Рене предложили мне попросить у него взамен картину. Я написала ему, и он ответил, что с радостью готов на это и даже приложил фотографию подходящего на его взгляд полотна. Это была неплохая картина, но по фотографии она не произвела на меня большого впечатления. Я ответила, что предпочла бы этому замечательному маленькому холсту какой-нибудь другой.

Тем временем Эрнст написал мне с просьбой выслать ему тысячу франков и письмо для его адвоката с подтверждением того, что я видела у него дома скульптуры и что их стоимость составляет как минимум сто семьдесят пять тысяч франков. Судя по всему, Леонора Каррингтон сошла с ума и в попытке спасти дом от немцев отдала его какому-то французу. Ей не приходило в голову, что он может воспользоваться ситуацией и присвоить всю их собственность. Вернувшись из концентрационного лагеря и узнав о произошедшем, Макс Эрнст пытался вернуть хотя бы скульптуры, которые украшали его дом. Картины свои ему удалось вынести под покровом ночи. Я видела фотографии его скульптур в журнале «Кае д'ар» и с радостью помогла ему в этом. Макс Эрнст славился любовью к молоденьким девушкам, и Рене как-то спросил у меня: «Что бы ты стала делать, если бы Эрнст сбежал с твоей дочерью?» Я сказала: «Я бы скорее сбежала с ним сама». Эрнст до этого рассказал мне в письме, как исчезла Леонора и что, скорее всего, она уехала в Испанию и сошла с ума. На словах он казался очень сдержан, но позже я узнала, как сильно он все еще был в нее влюблен.

Глава 13
Моя жизнь с Максом Эрнстом

Когда я приехала в Марсель во второй раз, обстановка в шато была уже совсем другой. Больше там не царствовал Бретон — он наконец получил все документы и уехал с семьей в Америку. Придворные сюрреалисты исчезли, но Макс Эрнст все еще жил там, надеясь на скорый отъезд. На станции меня встретил Браунер.

В первый же день мы встретились с Эрнстом в кафе и договорились на следующий день посмотреть в шато его картины. Я не видела Макса Эрнста два года, с тех пор как мы с Путцелем были у него в мастерской, и пережитое в концентрационных лагерях, без сомнения, сильно состарило его. Он выглядел очень загадочно в своем черном пальто. Он был рад встрече и очень хотел показать мне свои новые картины. На следующий день мы с Браунером пришли в шато, и Эрнст устроил для нас замечательную экскурсию. По-моему, он расстроился, что его старые работы вызвали у меня куда больше восторга — я желала купить их все — чем новые, которые, по правде говоря, я тогда не поняла. Увы, мне не удалось скрыть от него свои впечатления. Мы пришли к соглашению, по которому помимо тех денег, что уже дала Эрнсту, я должна была заплатить ему еще две тысячи долларов и взамен могла взять любые картины, какие пожелаю. Браунер лихорадочно пытался отобрать коллажи исторической ценности, и Эрнст сказал, что я могу забирать их все. Он был с нами до крайности щедр. В конце мы отпраздновали все это бутылкой вина, которую Эрнст привез из своего виноградника в Сен-Мартен-д'Ардеш. На следующий день ему исполнялось пятьдесят лет, и мы решили устроить вечеринку.

Утром мы встретились с Рене на улице Ла Канебьер, и я предложила ему пойти к Эрнсту. Я попыталась уговорить его вывезти несколько картин Макса, которые тот оставил в деревне, но от этого предложения Рене уклонился. Эрнст пригласил нас в честь дня своего рождения перекусить дарами моря в *vieux port*[49], а после этого мы пошли в подпольный ресторан вместе с Фраем и прекрасно поужинали. Рене, составивший нам компанию, должен был в тот вечер уехать в Гренобль, но я пожалела его, поскольку он всю прошлую ночь провел стоя в поезде, и разрешила ему остаться у меня на ночь и уехать наутро.

К тому времени я уже сильно увлеклась Эрнстом, и когда он спросил: «Когда, где и с какой целью мы встретимся?», я

ответила: «Завтра в четыре в „Кафе де ля пэ“, а с какой целью, ты знаешь». Поскольку Браунер всюду ходил за мной (буквально не отступая от нас ни на шаг), мне приходилось тайком просовывать Эрнсту свой ключ и делать вид, будто я с ним прощаюсь, чтобы Браунер ничего не заподозрил.

Поначалу наша связь с Максом Эрнстом не носила серьезного характера, но скоро я поняла, что влюблена. Через десять дней мне пришлось покинуть его, потому что я обещала Лоуренсу провести Пасху с ним и детьми в Межеве.

В то время Лоуренс переживал кризис в своих отношениях с Кей. Они уже год пытались расстаться, и Лоуренс находился в подавленном состоянии. Когда Макс сажал меня на поезд, он заплакал и пообещал приехать ко мне в Межев, так что я была уверена, что на этом моя история с ним не окончена. В Марселе он подарил мне все свои книги — даже ту, которую он до этого подписал для Леоноры с весьма недвусмысленным посылом: «Леоноре — настоящей, прекрасной и обнаженной». Еще он подарил мне ее книги со своими иллюстрациями. Я прочитала их в поезде и написала ему из Валанса, как они мне понравились; после этого я в силу привычки отправила телеграмму Рене с просьбой встретить меня в Гренобле, где мне надо было провести ночь по пути в Межев. Я попыталась донести до него, что я влюблена в Макса. На следующий день я продолжила путь в Межев.

Я не получала вестей от Эрнста и была этим удручена. В конце концов мы с Лоуренсом поехали в Лион за испанскими или португальскими визами в надежде через месяц уехать в Америку вместе с Кей и всеми шестью детьми. В Лионе мы договорились встретиться с Марселем Дюшаном, и с ним я планировала вернуться в Марсель и отыскать Макса. В ту минуту, когда мы приехали в Лион, мне позвонил Макс и сообщил, что он в Межеве. Разумеется, я решила вернуться. Марсель удивился и был не рад моей внезапной смене планов. Получив визы, что нам, американцам, не составило никакого труда, мы с Лоуренсом вернулись в Межев.

Макс приехал в Межев в своем черном пальто и произвел на детей впечатление романтической фигуры. Пегин знала его книги и приняла его гостеприимно. Целый вечер он рассказывал им истории про них с Леонорой, о ее уходе и его бедах. Дети ему очень сопереживали и несколько часов слушали его, затаив дыхание.

Через неделю мы с Максом вернулись в Марсель. Мы всю ночь ехали в поезде сидя, и меня потрясло, каким старым он выглядит, когда спит и храпит. Найти жилье в Марселе оказалось

непросто: население города увеличилось втрое с момента капитуляции Франции. Макс отвез меня в шато. Потом я нашла комнату в старом отеле, и Макс проводил там со мной ночи.

Мы все были заняты подготовкой к отъезду в Америку. Кей зарезервировала для нас места на «Клиппере», в том числе на своего друга, которого она надеялась вызволить из концентрационного лагеря. Лоуренс вел себя с ней все это время по-ангельски, но наотрез отказался ехать вместе с этим джентльменом. Я не слишком на него за это злилась: так у нас появилось свободное место на «Клиппере», которое, конечно же, рассчитывал занять Макс. Еще на него претендовал Браунер, но у него по-прежнему не были готовы документы, и в результате бедняге отказали в визе, так как квота для румын была выбрана уже на два года вперед. У нас был третий кандидат — Жаклин Вантадур, подруга Пегин и Синдбада. Ее мать уговорила нас взять ее с собой и, к моему большому облегчению, сама заплатила за ее проезд, ведь я и так уже платила за всех остальных.

Кей в конце концов удалось купить для своего друга билет на лайнер «Виннипег», отплывавший из Марселя. Когда этот господин оказался в безопасности, то есть покинул Францию, она сосредоточилась на нашем отъезде, который до тех пор был для нее делом второй важности. Она в то время жила в Кассисе с подругой и ее больными детьми и периодически приезжала в Марсель к своим детям, которых обожала.

Нельзя сказать, что наши документы были в полном порядке. Я подделала дату в своем проездном документе, чтобы продлить его, а у Лоуренса его вообще не было. Американская виза Макса закончилась, и мы несколько дней делали ему новую. Иностранцам приходилось выстраиваться в очереди у дверей американского консульства, а американцев с паспортами пропускали сразу же. Я проходила вместе с Максом, размахивая своим паспортом перед лицами офицеров, так что ему не приходилось ждать на улице. Он не только побывал в трех концентрационных лагерях, но был признанным врагом Гитлера, поэтому ему полагалась чрезвычайная виза. Чтобы выйти с вокзала в Марселе, нужно было показать свой проездной документ полиции, но Макс знал другой выход через *buffet de la gare*[50], где не было полиции. Когда мы встретили Лоуренса, мы вывели его этим путем. Кей приехала к нему в Марсель, и хотя мы с ней откровенно не переносили друг друга, она пыталась быть дружелюбна — все-таки я везла всю ее семью в Америку.

Я поужинала с Максом, Кей, Лоуренсом и Марселем, а также Рене, который снова оказался в Марселе, на этот раз со шлюхой из Гренобля. За ужином Кей, большая любительница драмы,

сказала мне, что корабль, на котором я отправила свои картины в Америку, потоплен. Она все время выдумывала подобные вещи. После этого Лоуренс с Кей ужасно поругались, потому что она отказывалась возвращаться в Межев и собираться до того, как ее друг уедет в Америку. Лоуренс начал швыряться вещами прямо в кафе. Макса это ошарашило, но мы с Марселем уже привыкли к подобным сценам. Рене успокоил Лоуренса, после чего Кей зарыдала, и я предложила им с Лоуренсом провести ночь в моем номере, хоть они больше и не жили вместе, а сама поехала в шато к Максу.

В концентрационных лагерях у Макса появилось много друзей среди заключенных, и он постоянно с ними виделся. В них было больше от призраков, чем от людей, но только не для Макса, у которого с ними было связано много воспоминаний. Я видела в них новое, странное общество. Макс упоминал названия лагерей, где он с ними познакомился, как будто это были Санкт-Мориц, Довиль, Китцбюэль или еще какие-нибудь известные курорты.

В то время в Марселе всех евреев выдворяли из отелей и отправляли жить в специально отведенные места. Макс велел мне не признаваться в своем еврейском происхождении, если меня станет допрашивать полиция, и утверждать, что я американка. Хорошо, что он предупредил меня, потому что однажды утром, как только он ушел и пока наши чашки еще стояли на столе, ко мне пришел полицейский в штатском. Я перепугалась до смерти, но упорно твердила, что я американка и скоро уеду в Америку. Он изучил мои документы и увидел, что я подделала дату на своем проездном разрешении. Я стала божиться, что это сделали офицеры в Гренобле. Потом он предъявил мне, что я не зарегистрирована в Марселе. Я боялась не только за себя, но за и Макса и Лоуренса. У первого не было права ночевать в Марселе, а у второго — проездного документа. При мне также была большая сумма денег с черного рынка, происхождение которой я не смогла бы объяснить, если бы меня обыскали. Когда детектив спросил, кому принадлежат саквояж и берет Лоуренса, я сказала, что моему мужу, который сейчас в Кассисе. После этого он только сильнее уверился, что я еврейка, поскольку именно в Кассис отправляли всех евреев. Он спросил, не еврейская ли у меня фамилия, на что я ему ответила, что мой дедушка был швейцарцем из Санкт-Галлена. Он никогда не слышал о таком городе. Затем он стал осматривать мою комнату, заглянул под кровать — проверить, не прячу ли я там евреев, и спросил у меня, что в шкафу. Я предложила ему посмотреть самому и заверила его, что евреев он там не найдет. В конце концов он сказал: «Пройдите со мной в полицейский участок. У вас не в порядке

документы». Я отказалась переодеваться в его присутствии и не хотела отпускать его с моими документами, поэтому попросила подождать снаружи. Он взял мои документы и вышел. Я как можно быстрее постаралась последовать за ним. Я боялась, что исчезну и Лоуренс с Максом не смогут меня найти. Я хотела оставить им записку и спрятать деньги, но не знала, как это сделать. Выйдя из комнаты, я не обнаружила детектива в коридоре. Он был со своим начальником в лобби. Когда его начальник увидел меня, он извинился и велел своему подчиненному оставить меня в покое. В то время американцев во Франции жаловали: мы только что отправили французам по морю крупную партию продовольствия. Меня вежливо попросили пройти в полицейский участок и зарегистрироваться в Марселе, что я в любом случае собиралась сделать в тот день, и начальник любезно рассказал мне, как туда пройти. Позже, когда я пожаловалась администратору отеля на их визит, она ответила: «О, это пустяки, мадам. Просто облава на евреев».

Леонор Фини была любимицей Макса. Она приехала к нам в Марсель сразу после инцидента с полицией. Я постоянно попрекала Макса тем, что у него две Софии вместо одной, как у Арпа. У него были Леонора Каррингтон и Леонор Фини, и он постоянно занимался устройством карьер обеих. Фини была красивой девушкой со своевольным нравом. Она приехала из Монте-Карло, где нашла убежище и зарабатывала на жизнь портретами. Она хотела посмотреть на новые картины Макса и привезла мне одну свою, небольшую, которую я приобрела до этого по фотографии. Нам с Лоуренсом и Марселем не нравились ее заносчивые звездные повадки, но Макс ее обожал и хотел, чтобы я к ней относилась так же. Ему всегда нужно было мое одобрение. Он представил меня Фини как меценатку, не как свою любовницу. Уверена, он пытался скрыть этот факт. Фини привезла для меня очаровательный маленький холст, похожий на открытку. Позже в Нью-Йорке Бретон выразил свое недовольство присутствием этой работы в моей коллекции, но не мог ничего с этим поделать из-за Макса. Макс восхищался картиной, потому что ее нарисовала Фини, но, впрочем, ему нравились работы всех красивых девушек, которые ему поклонялись. В отношении мужчин-художников он не был столь терпимым.

Через какое-то время Макс получил свои документы и намерился выехать в Испанию. Ему нужно было пятьдесят долларов наличными, чтобы пересечь Испанию и приехать в Лиссабон с деньгами. Вывозить из страны франки было запрещено. Единственным путем добыть доллары был черный рынок, но тогда он был недоступен. Фрай рассказал мне, что у

художника Шагала имеется крупная сумма в восемь тысяч долларов, которую он хотел отправить в Америку, прежде чем плыть туда самому. Шагал велел Фраю спросить у меня, не возмещу ли я ему эту сумму в Нью-Йорке, если он через меня пожертвует ее комитету на гуманитарную помощь. Естественно, я не могла себе такого позволить, но одну тысячу долларов я все же взяла и отдала ее Фраю на его благородное дело. Узнав, сколько денег есть у Шагала, мы с Максом пошли к нему в надежде одолжить пятьдесят долларов. Когда мы попросили у него займы, он начал увиливать и заявил, что ничего не знает ни о каких деньгах, но добавил, что делами занимается его дочь. Он сказал нам зайти еще раз во второй половине дня и поговорить с ней, но, когда мы пришли, ее не оказалось дома. К тому времени мы почти отчаялись. По случайности мы встретили на улице Фрая и рассказали о своем затруднении. Он тут же достал из кармана шестьдесят долларов и протянул их Максу.

На следующий день Макс уехал с чемоданом, набитым свернутыми картинами. Мне пришлось остаться в Марселе, чтобы получить в Банке Франции по пятьсот пятьдесят долларов на человека, которые мы имели право снять на оплату наших мест на «Клиппере». Необходимо было подать заявление в Банке Франции и зарегистрировать деньги на каждый отдельный паспорт. Все это заняло около трех недель — гораздо дольше, чем я ожидала. Я заработала сильный бронхит и лежала в кровати, читая «Исповедь» Руссо.

Как-то раз по пути к ресторану я встретила своего старого друга Жака Шифрина. Он был удивлен и рад нашей встрече, если что-то вообще могло его радовать в состоянии душевного упадка. Я еще не встречала никого, кого настолько раздавил бы страх перед нацистами. Он верно представлял себе свою судьбу, случись ему остаться в Европе: лагерь, пытки и смерть. Он с трудом собрался с силами, чтобы уехать из Франции. Пока он ждал корабля, один за другим истекли сроки действия всех его документов. Я сделала для него все, что смогла, но обеспечить его выезд из страны оказалось очень непросто. В последнюю минуту Фрай все-таки нашел для него место на борту корабля. Он отплыл на нем, но его перехватили по дороге и отвезли в Лиссабон, где он по крайней мере был в безопасности; в итоге он добрался до Нью-Йорка.

Нелли приехала ко мне в Марсель, чтобы побыть со мной, пока я не уеду. Мы помирились, и я изо всех сил пыталась добыть для нее документы, нужные для отъезда в Нью-Йорк. К сожалению, что-то можно было сделать только с другой стороны границы, и я оставила ее во Франции, почти не имея надежды на

то, что она за мной последует. Вся эта возня с Банком Франции затягивалась так долго, что я не находила себе места от разлуки с Максом. Мне пришло от него одно письмо с границы и записка с просьбой сохранить для него десятое место на «Клиппере». Я не оставляла попыток отправить в Америку Браунера, но эта затея оказалась безнадежной. В последний момент мне пришлось дожидаться Жаклин, чтобы та поехала со мной. Лоуренс с детьми уехали раньше меня, чему я обрадовалась: я не имела желания путешествовать с таким количеством детей и чемоданов.

Мы с Жаклин славно доехали вдвоем. Мне было странно пересекать французскую границу, на которой меня обыскали от головы до пят, без одежды. Оказаться вдали от гестапо и снова наслаждаться жизнью было счастьем. Мы прекрасно ели в Испании. Рынки ломились от еды. Это казалось безумием после Франции, где я потеряла десять фунтов из-за недоедания. Уверена, что бедности в Испании тоже хватало: люди выглядели несчастными, еще не успев отойти от того, что они пережили.

На вокзале в Лиссабоне меня встретили Лоуренс, Пегин, Синдбад и Макс. Макс вел себя странно; взяв меня за руку, он сказал: «Мне нужно сообщить тебе что-то ужасное». Мы пошли по платформе, и внезапно он произнес: «Я нашел Леонору. Она в Лиссабоне». Мне словно нож вошел в сердце; я взяла себя в руки и ответила: «Я очень рада за тебя». К тому времени я уже поняла, как сильно он ее любит. Макса осчастливил мой ответ. Детей все это сильно расстроило, а мой сын сказал, что со мной поступают грязно.

Мы вместе пошли в отель, стараясь вести себя как обычно, и я выпила из бутылки, которую привезла с собой. Макс повел меня гулять по Лиссабону и рассказал всю историю о том, как он нашел Леонору. Меня парализовала агония; я шла словно в тумане. После этого он привел меня к Леоноре, которая жила в доме девушки-англичанки. Они много говорили о мексиканце, за которого Леонора собиралась выйти замуж, чтобы получить новый паспорт и попасть в Америку. Она сказала, что жених очень чувствителен и ему не стоит знать, что мы в курсе их ситуации. Они пригласили меня поужинать с ними, но я отказалась. Перед уходом она поцеловала Макса на прощание и приколола ему на грудь гвоздику.

Я вернулась в отель и еле высидела мучительный ужин из десятка блюд, вместе с Лоуренсом, Кей и детьми. На следующий день мы разъехались по разным гостиницам. Мы с Синдбадом и Жаклин переехали в «Франкфорт-Росиу», а Лоуренс с Кей и их детьми — в пансион, где жил Макс. Пегин в скором времени их покинула и присоединилась к нам. Мы прожили там две недели.

От отчаяния я вздумала уехать в Англию и устроиться на военную работу. Я попыталась получить британскую визу, но, конечно же, это было практически невозможно, поэтому мне пришла в голову идея выйти замуж за англичанина, с которым я познакомилась и подружилась в поезде. Так я могла бы вернуться в Англию. К счастью, мой англичанин пропал, и, в любом случае, Лоуренс сказал, что я не имею права оставлять детей, что мой долг — отвезти их в Америку, и я отказалась от своей безрассудной затеи.

Я стала редко видеться с Максом и старалась не думать о нем, но вскоре у меня вновь возникло отчетливое ощущение, что наша совместная жизнь не закончена. Он проводил каждый день с Леонорой, а по ночам оставался один и часто бродил по Лиссабону с Лоуренсом. Они почти никогда не брали меня с собой, и это причиняло мне боль. Я никак не могла разобраться в этой истории с мексиканцем. Я не знала, что Леонора живет с ним. (Макс старательно скрывал от меня этот факт.) Как-то вечером мы собрались на безумную вечеринку: я, Леонора, Макс, Лоуренс, Кей и мексиканец. Последний оказался весьма приятен, но очень ревнив по отношению к Леоноре: он увез ее домой и запер в квартире. Так я поняла, что они живут вместе. Это был немыслимый вечер; все то и дело закатывали жуткие сцены. Кей ушла рано, а мы отправились танцевать в ночной клуб, где Синдбад надеялся потерять девственность. Ему было стыдно ехать в Америку прежде, чем это случится. Мы все пытались отговорить его расставаться с ней в Португалии — стране бушующих венерических заболеваний.

После вечеринки я сказала Максу, что это был *charmante soirée*[51], и с тех пор мы всегда называли дикие вечеринки со скандалами *charmantes soirées*. В Лиссабоне было замечательное кафе под названием «Золотой лев», куда мы ходили есть морепродукты. Иногда мы там встречали Макса с Леонорой. Она относилась ко мне без особого дружелюбия, поэтому я была немало удивлена, когда в один прекрасный день она привела ко мне в номер Макса и странным образом попыталась передать его мне.

Вскоре после этого Леонора легла в госпиталь с операцией на груди. Макс целыми днями был с ней и уходил вечером, когда к ней приходил мексиканец, к тому времени уже ее муж. Один раз я навестила ее сама и тогда еще отчетливей осознала, насколько сильно Макс ее любит. Они целыми днями читали и рисовали вместе, и между ними царила полная идиллия. С ней он был абсолютно счастлив и несчастен все остальное время. Леонора подружилась с Кей, которая лежала в той же лечебнице с

гайморитом. Леонора не могла решить, хочет ли она вернуться к Максу или остаться с мужем. Она никогда не могла понять, чего хочет от жизни. Ей как будто все время нужен был кто-то, кто сможет ее загипнотизировать и заставить принять решение. Она была чрезвычайно податлива и восприимчива к внешнему влиянию. В конце концов Кей убедила ее остаться с мексиканцем. Поскольку тот изначально был другом Макса, Макс сильно переживал из-за такой подлости. Он стал презирать мексиканца и все время издевался над ним и называл его *homme inférieur*[52]. Они втроем часто оказывались вместе, в чем, вероятно, было мало приятного. Мне кажется, Леонора не хотела ни того ни другого. Я помню один эпизод, когда она предпочла им обоим какого-то своего знакомого тореадора. Она понимала, что их отношения с Максом закончены, потому что она больше не хотела быть его рабыней, а никакой другой жизни с ним быть не могло. Леонора была красива; мне как никогда раньше бросилось это в глаза, когда я увидела ее на больничной койке. У нее была алебастровая кожа, грива черных волнистых волос, рассыпанных по плечам, огромные, немыслимые черные глаза с густыми черными бровями и вздернутый нос. Она обладала чудесной фигурой, но всегда намеренно одевалась очень плохо. Это имело некоторое отношение к ее сумасшествию. Она только что вышла из психиатрической больницы, где провела в заточении несколько месяцев — гораздо дольше, чем ей потребовалось для поправки. Она написала о своих злоключениях, и они были поистине кошмарны. Одному богу известно, как она выбралась из этого места, но потом она встретила в Лиссабоне мексиканца, который взял ее под свое крыло. Он опекал ее, словно отец. Макс всегда был ребенком и совершенно не годился на роль отца. Мне кажется, именно отец был нужен Леоноре больше всего: тот, кто даст ей чувство стабильности и не позволит снова сойти с ума.

Когда Леонора выписалась из госпиталя, Макс умолял ее не возвращаться к мексиканцу, но она ответила, что должна оставаться с ним до своего отъезда в Америку. Макс зарезервировал для нее место на «Клиппере», но, когда она сказала ему это, он так пал духом, что решил покинуть Лиссабон и поехать с Лоуренсом в Монте-Эшторил, где тот снял комнаты для себя и детей. Разумеется, я тоже поехала с ними. Поскольку мы ждали «Клиппера», мы не имели представления, как долго нам придется жить в Португалии, а побережье для детей подходило куда лучше, чем столица.

В первую же ночь в Монте-Эшторил моя жизнь с Максом возобновилась. Я искала Лоуренса, чтобы пожелать ему спокойной ночи, и в коридоре встретила Макса. Я спросила у него

номер комнаты Лоуренса. Он отправил меня в двадцать шестую — его собственную. Разумеется, спокойной ночи я тем вечером Лоуренсу не пожелала.

С этого момента проблемы начались по новой. Макс постоянно ждал звонка от Леоноры. Она часто приезжала и проводила с ним день, и я чувствовала себя такой оскорбленной, что потом сутками не разговаривала с ним. За пять недель нашей жизни в Монте-Эшторил эта ситуация успела повториться несколько раз в разных вариациях.

Однажды вечером мы с Лоуренсом поехали ужинать в Лиссабон и в «Золотом льве» встретили Леонору. Между нами произошла жуткая сцена, и я сказала ей либо возвращаться к Максу, ведь ему только этого и надо, либо оставить его в покое со мной. Она ответила, что виделась с ним только из жалости и не имела понятия о наших отношениях и что теперь точно больше его не тронет. В поезде по пути обратно я умоляла Лоуренса спасти меня от Макса, но он сказал мне, что Кей предостерегла его от вмешательства в мою личную жизнь, иначе я потом буду во всем его винить. В отчаянии я бросилась в другое купе и сошла на следующей станции, откуда вернулась в Лиссабон и сняла номер в «Франкфорт-Росиу». На следующий день я позвонила Лоуренсу и сказала, где я. Он испытал большое облегчение.

Когда Лоуренс обнаружил, что меня не было в поезде, он вытащил Макса из кровати, привел на станцию и заставил с ним ждать последнего поезда. Он сказал Максу: «Это твое дело. Ты должен ждать этого поезда». Когда я рассказала Максу о своей ссоре с Леонорой, он так расстроился, что я в письме попросила ее не прекращать свои визиты. Но она больше не приезжала. Вероятно, причиной тому был ее муж.

Все время, что мы провели в Португалии, Лоуренс вел себя с Кей как ангел. Когда она болела и лежала в госпитале, она то и дело поручала ему отправлять телеграммы своему другу. Это стоило сотни *escudo*, и Лоуренс не только отправлял их, но еще и сам за них платил, даже когда у нас всех стали кончаться деньги. Кей боялась, что ее другу не удастся попасть в Соединенные Штаты. По пути с ним приключилось несколько происшествий: его корабль захватили, и его не пускали в страну без выкупа в пятьсот долларов. Кей спросила у Лоуренса, не смогу ли я дать ей денег взаймы; я не смогла, и тогда она заставила написать его матери. Миссис Вэйл не знала об их разрыве и одолжила им часть этой суммы. Меня взбесило, что Лоуренс ведет себя с Кей как шелковый, тогда как она всячески настраивала его против меня во время нашего развода, и я сильно поругалась с ним из-за этого. Макс, ненавидевший мексиканца лютой ненавистью, не одобрял

гуманного поведения Лоуренса и пытался ему внушить, как сладка месть.

Наша жизнь в отеле проистекала странно. За маленькими детьми приглядывали Лоуренс, Пегин и старшая дочь Кей, а сама Кей оставалась в Лиссабоне и приезжала только на день по воскресеньям. У нас был длинный стол посередине столовой отеля. Я сидела во главе между Лоуренсом и Максом. За ними по обе стороны стола сидели шеренги детей, состоявшие из Синдбада возраста восемнадцати лет, Пегин — шестнадцати, Жаклин — шестнадцати, Бобби, он же Шерон — четырнадцати, Эппл — одиннадцати, Кэти — семи и Кловер — двух. Никто не знал, чья я жена и какое отношение к нам имеют Леонора и Кей. Нам постоянно задавали крайне неловкие вопросы. В отеле работал портье, которого Лоуренс окрестил Эдуардом Седьмым из-за его сходства с королем. Он обладал столь большим тактом, что, когда я однажды позвонила из Лиссабона сообщить, на каком поезде я приеду, он понял мое затруднение и, не зная, кому именно я хотела передать сообщение, вошел в столовую и обратился одновременно к Лоуренсу и Максу: «Мадам прибудет на девятичасовом поезде».

У детей была своя захватывающая жизнь, не лишенная проблем. Жаклин была влюблена в Синдбада, а Синдбад — в мисс Кун. Ему не давала покоя его девственность. Однажды вечером, когда Лоуренс был в Лиссабоне, мы с Максом и детьми затеяли большой спор о величайшем гении мира, живущем ныне или умершем. Синдбад утверждал, что это Наполеон, а мы с Максом считали, что Макс — более выдающаяся личность, чем Наполеон. Никому не удалось убедить остальных в своей правоте, но я уверена, дети решили, будто я совсем спятила от влюбленности.

Главный доход Португалии, вне сомнения, составляет ее рыбная индустрия. Рядом с Монте-Эшторил находилась рыбацкая деревушка под названием Кашкайш, в четверти часа ходьбы от нашего отеля. Для разнообразия мы иногда ходили туда купаться, когда нам надоедало на нашем пляже. Но больше всего мы любили гулять по этой дороге после ужина. Ночью причаливали рыбацкие лодки, и мы ходили на пляж посмотреть, как их разгружают. Миллионы серебряных рыбин отправлялись в корзинах на головах крестьянок на рынок в нескольких сотнях ярдов, и к полуночи бывали распроданы до единой. Там можно было купить потрясающих омаров за бесценок. Помимо этих крестьянок и нескольких шлюх в Кашкайше не было видно ни одной женщины. Когда мужчины танцевали на улицах или прыгали через костры, женщины не составляли им компанию. Эти люди обладали сильным чувством собственного достоинства, но

выглядели печальными. Кашкайш скорее походил на африканскую деревню, чем на европейскую. В нем было что-то загадочное, и ты никогда не знал, что происходит за дверями домов. Они как будто врастали в стены и не выпускали наружу жизнь женщин, которым не было дозволено выходить на улицу.

Как-то вечером мы прогуливались с Максом и увидели в окне двух красивых девушек, расчесывающих волосы. Они жестами поманили нас в дом. Нам с трудом удалось преодолеть все двери и пересечь двор, и когда мы наконец дошли до их двери, наши прекрасные девушки исчезли без следа, а вместо них на кровати молился монах-траппист.

Там было множество маленьких винных лавок, где за несколько мильрейсов[53] продавалось посредственное португальское вино. Можно было сесть на деревянную скамью и разговаривать или общаться жестами с рыбаками. Они были дружелюбны и все время приглашали нас с ними рыбачить. Они никогда не заплывали далеко в море. Они держались кучно и оставались в порту в пределах доступности вплавь. Однажды я подплыла к ним, и они стали звать меня на борт, но я испугалась и повернула обратно.

Как-то вечером я пошла в Кашкайш купаться голышом. Было темно, но Макс все равно пришел в ужас. Португальцы — католики, и нам не раз уже приходилось иметь дело с полицией, которую не устраивали наши непристойные купальные костюмы. Поскольку офицеры не говорили ни по-французски, ни по-английски, они, как правило, измеряли неприкрытые участки наших тел, поднимали крик и выписывали штраф. Мы неистово им сопротивлялись и обращались в магазины, где мы эти купальные костюмы покупали. Нам меняли их на другие, но полиция все равно оставалась недовольна. Мужчинам не позволялось оставаться в одних плавках, а женщины были обязаны носить юбки. Очень жаль: у Макса был прекрасный торс. В тот вечер, когда я отправилась купаться голой, Макс испугался еще и того, что я могу утонуть. Он все стенал на берегу: «Что со мной будет, если ты утонешь?» Наверное, он боялся, что не попадет без меня в Америку: приехав в Лиссабон, он не смог получить то место, которое для него обещал зарезервировать и оплатить Музей современного искусства. После этого чудесного полуночного купания я вытерлась своей сорочкой, и мы занялись любовью на камнях. Мы вскоре осознали свою ошибку — оказалось, что это главное отхожее место всего городка. К счастью, мы лежали на чьем-то пальто, но нам пришлось несколько часов оттирать его, прежде чем вернуть. По пути домой мы остановились в баре роскошного отеля по соседству, и я

повесила свою сорочку сушиться на барные перила. Макс любил мою непосредственность.

Как-то раз по пути домой я потянула лодыжку. Я снова поскользнулась на каком-то *merde* — похоже, такая у меня судьба. Несколько дней я не могла ходить, и Макс носил меня на спине. Это дало ему занятие и отвлекло от проблем. Ему нравилось заботиться обо мне. Однажды вечером, когда мы сидели в кафе в Кашкайше, с нами познакомился пожарный из пожарной станции напротив и непременно захотел показать нам замечательные пожарные машины. Он увидел, что я не могу ходить, и, несмотря на присутствие Макса, предложил довезти меня до дома на одной из этих машин. Естественно, я отказалась.

Совсем рядом с нашим отелем была конюшня, и Лоуренс каждый день заставлял детей ездить верхом. Макс купил уйму талонов на поездки и часами катался с Леонорой по округе. Иногда к ним присоединялся ее муж. Когда она перестала приезжать, Макс начал брать с собой меня. Природа тех мест была прекрасна своим тропическим буйством. Чем дальше мы углублялись в материк, тем богаче она становилась.

Однажды во время вечерней прогулки Лоуренс подцепил странноватую девушку в сатиновом платье цвета лосося. У нее было смуглое лицо и маленькие черные усики. Мы не могли с ней разговаривать, но взяли ее с собой в наше кафе в Эшториле и угостили мороженым. После этого она так к нам привязалась, что мы не могли от нее избавиться. Мы никак не могли понять, чем она занимается. Она сказала, что шьет, но, когда мы попросили ее сшить костюмы для детей, она отвела нас в Кашкайш к своему другу, настоящему портному. Свое имя она писала как *Jesus Concepçãо*. Ко мне эта особа испытывала особую привязанность. Она непременно вытирала меня, когда я выходила из моря, и носила меня на спине, когда я потянула лодыжку, — к немалому раздражению Макса. У нее была сестра, и на двоих они имели два платья и один купальник. Из-за этого возникали большие сложности, когда они вдвоем приходили на пляж. Мы всюду брали Консепсеу с собой. Однако ей были не рады в английском баре и нашем отеле, где Эдвард Седьмой встретил ее явным неодобрением и с трудом согласился ее пустить. Постепенно мы пришли к пониманию, каким же было ее настоящее занятие. Но нам она была просто другом, и Лоуренс уверял нас, что не дал ей ни пенни, даже когда остался с ней один вечером на пляже. Она учила нас португальскому. Каждое утро она поджидала нас на пляже, и каждый раз после нашей сиесты. Из местных жителей мы смогли подружиться только с ней.

Мы часто ездили в Синтру, замечательный дворец на скале,

окруженный невероятными валунами, которые производили впечатление, будто их специально туда привезли и расставили. В садах Синтры росли тропические цветы и деревья всех возможных видов. Сам замок выглядел сказочно. Он был весь покрыт фантастическими скульптурами и казался произведением сюрреализма. Его окружали террасы и валы, как в Хельсингере; призрак Гамлета чувствовал бы себя здесь как дома. Внутренняя же обстановка не производила большого впечатления с ее бесконечными викторианскими спальнями и просторным приемным залом с диванами и креслами, расставленными небольшими группами. Когда Макс там оказался, он сказал, что это идеальное место для *charmante soirée*. Пятьдесят лет назад там жила португальская королевская семья. Мне кажется, стены со скульптурами напомнили Максу о его доме в Сен-Мартен-д'Ардеш и он сильно расстроился. Но я уверена, вместе с тем он почерпнул здесь вдохновение для своих будущих картин.

Макс обладал странным даром предвидения, или, скорее, «предрисования». Он все время изображал другие страны прежде, чем там оказывался. Он рисовал Дальний Восток задолго до того, как впервые туда приехал, как и Америку. Все думали, что он написал Окаменелый лес на западе США, но на самом деле он написал его в лагерях Франции.

Все время, что мы провели в Португалии, Макс тосковал по Леоноре, а Лоуренс тосковал по Кей. Мы часами сидели в маленьком английском кафе с видом на море и гадали, уедем ли мы когда-то отсюда. Их несчастный вид удручал меня, и я страдала сама. Очень нелепо, что мы были совершенно неспособны друг друга утешить.

Однажды среди белого дня мне явился дух Джона Холмса и прижег мне шею в двух местах. Он велел мне бежать от Макса Эрнста и предостерег, что я никогда не буду с ним счастлива. От этого видения у меня как будто открылись стигмы. Если бы только я послушалась Джона! Но моя судьба — гнаться за невозможным. Невозможное завораживает меня, и все простые вещи в жизни теряют ценность.

Макс не мог получить визу Тринидада, а «Панамериканские авиалинии» без нее не продавали ему билет. Я отправила одну за другой несколько телеграмм в Англию, и Герберт Рид позаботился о том, что ему незамедлительно дали эту визу.

В конце концов 14 июля 1941 года «Панамериканские авиалинии» посадили нас на американский «Клиппер». Нас было одиннадцать: один муж, две бывшие жены, один будущий муж и семеро детей.

Полет на «Клиппере» прошел очень скучно, не считая того

часа, который мы провели на Азорских островах, где я купила себе огромную шляпу, в которой меня уговорили сфотографироваться репортеры по прибытию в Нью-Йорк. Худшей частью поездки стали невыносимо жаркие полдня на Бермудах. Здесь обыскали весь наш багаж, а все книги и письма прочитали цензоры. Нас отдельно допросила британская разведка об обстановке во Франции. Мы все говорили совершенно разное, что их, должно быть, насторожило. Детей укачало в полете; их рвало в бумажные пакеты, у них все время выпадали брекеты, которые мы им поставили для выпрямления зубов. Макс ужасно поссорился с Пегин, пока для нас готовили постели, потому что он решил, будто у него обманом отняли его спальное место. Чтобы уладить конфликт, я забрала Пегин к себе, а Макс занял ее кровать. Небо ранним утром было потрясающее, словно с картины Танги. Оставшуюся часть поездки мы не видели ничего, кроме океана. В какой-то момент мы пролетели над американским кораблем, который вез в Нью-Йорк Леонору и ее мужа. Во время полета мы сидели в удобных креслах, ходили по трем салонам «Клиппера» и пили виски.

Перед посадкой Макс предложил мне оставить семью и снять комнату вместе с ним. Мать Лоуренса заняла большие апартаменты в отеле «Грейт-Нортерн», куда пригласила нас всех как своих гостей. Как только мы прилетели, она отдала мне деньги за проезд Лоуренса, Кей и их детей.

Первое, что мы увидели в Америке, был пляж Джонс-Бич. С такой высоты он смотрелся очень красиво. На борту «Клиппера» было примерно сорок человек, когда мы вылетали, и еще тридцать подсело на Бермудах. Казалось, мы единственные, кого по прилету окружила пресса. Нас без конца фотографировали и задавали миллион глупых вопросов. Нас встречало множество друзей, а также Джимми — сын Макса, который был в Америке уже четыре года, и, конечно же, Путцель. Он сообщил мне, что моя коллекция прибыла в целости и сохранности. У Джимми были огромные голубые глаза, как у Макса, и тонкая фигурка миниатюрной статуэтки. Буквально в тот момент, когда они здоровались, Макса задержали офицеры и запретили разговаривать с сыном. Прессе удалось сделать великолепный снимок, который появился в газетах. Оказалось, что «Панамериканские авиалинии» не могут взять на себя ответственность за въезд гражданина Германии на территорию Соединенных Штатов без слушаний. Я предложила залог, но это не сработало. Бедного Макса увезли. Я услышала от сотрудников, что последний корабль уже отплыл на остров Эллис, и Максу предстоит провести ночь в отеле как гостю «Панамериканских

авиалиний» под охраной детектива. Ему не позволялось ни с кем говорить, но они сказали, что сообщат мне, куда его отвезут, а дальше я уже могу взять все в свои руки.

Я последовала за Максом в «Белмонт-Плаза» и сняла там номер. Я звонила ему каждые полчаса. На третий раз он сказал мне, что детектив разрешил нам встретиться в баре отеля, известном как «Стеклянная шляпа». Я пришла туда с Путцелем, и мы выпили вместе с Максом. Потом детектив, который обращался ко мне как к сестре Макса, предложил нам всем поужинать в номере Макса. Мы сказали, что лучше бы поужинали где-нибудь еще, и он дал свое согласие. Он шел за нами по улице на уважительном расстоянии и отказался присоединиться к нам за ужином, сев один за барной стойкой маленького ресторана.

Было очень странно впервые за четырнадцать лет приехать в Нью-Йорк и ходить по нему под наблюдением детектива. Первым человеком, которого мы встретили, стала Кэтрин Ярроу, подруга Леоноры, которая организовала ее побег из Франции и сама привезла ее в Португалию. Макс был на нее так зол, что отказался пожимать ей руку и чуть не устроил скандал. После ужина детектив предложил нам пойти в Чайнатаун, но мы предпочли бар «Пьерс». Он сказал нам, что мы попусту тратим деньги, и попытался нас отговорить. Ни с того ни с сего он потрепал меня за подбородок и произнес: «Пегги — чудесная девочка». Когда мы вернулись в «Белмонт-Плаза», он спросил у Макса, не хочет ли он заночевать вместе с сестрой, и заверил, что нам ничего не грозит: он будет всю ночь сидеть у двери с револьвером в кармане и охранять не только Макса, но и правительственного агента в комнате напротив. Испугавшись, я отказалась от этого предложения, и на следующий день детектив рано утром известил меня по телефону, что пора ехать на остров Эллис. Он извинился за то, что прошлым вечером не понял, кто я такая, но я никогда так и не узнала, что он имел в виду. Ему приглянулись пятицентовая соломенная шляпа и трость, которые Макс купил на Азорских островах, и он с радостью принял их в подарок на прощание. На пароме он передал нас в руки представителя «Панамериканских авиалиний».

Нас сопровождал Жюльен Леви, дилер Макса в Америке, который был готов при необходимости свидетельствовать на слушаниях. Как только мы сошли на берег, Макса увезли и посадили под замок. Следующие три дня я с девяти утра до пяти вечера дежурила на острове в ожидании, что меня вызовут как свидетеля на слушания по делу Макса. Я чуть не сошла с ума от страха, что его отправят обратно в Европу. Я не могла говорить с ним по телефону, поскольку сама была на острове Эллис, но он

сам мог звонить мне в любое время. Я ходила по всем местным гуманитарным организациям и передавала ему маленькие ободрительные записки. Жульен попросил помочь своего дядю, главу муниципального совета в Нью-Йорке, но в общем-то ничего нельзя было поделать, кроме как терпеливо ждать. Как назло, за полчаса до прилета «Клиппера» к берегу пристало испанское судно, и пятьдесят человек с него стояли в очереди перед Максом. Жюльен приходил со мной в первые два дня и помогал мне скоротать тоскливые часы ожидания. Я не видела его много лет, и за это время он сильно изменился. Он стал обаятельным, интересным собеседником. Теперь он внушал куда больше симпатии, чем в молодости, когда женился в Париже на старшей дочери Мины Лой. Он много рассказывал мне про Америку. На третий день ему не позволили прийти дела, поэтому мне пришлось отправиться одной. Жюльен поинтересовался, не нужно ли ему найти для Макса девушку. Как выяснилось позже, его предложение было пророческим, но тогда я ответила, что в этом уже нет нужды. Судя по всему, он не знал, что я влюблена в Макса, или же таким образом пытался выяснить, какие нас связывают отношения.

К счастью, на третий день на остров приехал Джимми. Его послал Музей современного искусства с рекомендательными письмами. Он был просто душка с его огромными голубыми глазами. Я знала, что Макс спасен, когда в зал вызвали Джимми в качестве свидетеля. Внезапно охранник мне сказал: «Ваше дело рассмотрено. Ваши друзья ждут вас на улице». Я чуть не упала в обморок. Макс был на свободе.

Джимми работал в Музее современного искусства за пятнадцать долларов в неделю. Не представляю, как он умудрялся жить на эти деньги. Это сильно подорвало его здоровье, и с ним периодически случались приступы нервных судорог. Я думаю, они стали результатом длительного недоедания, но их также вызывал любой эмоциональный стресс. Наш приезд в Америку и все возбуждение по этому поводу привели к нескольким неделям таких приступов. Как только Макс выбрался с острова Эллис, Джимми спросил, может ли он уйти с работы в музее. Он не только получал там гроши, но выполнял обязанности чернорабочего, так что Макс, разумеется, согласился. Он пообещал давать Джимми в два раза больше, чем ему платили в музее.

Джимми мечтал сблизиться с отцом, но Макс чувствовал себя неловко рядом с ним и не знал, как с ним разговаривать. Я немедленно взяла Джимми под крыло и стала ему практически мачехой. Честно говоря, матерью я была и для самого Макса. Я

как будто нашла его брошенным в кульке у своего порога и теперь считала своим долгом о нем заботиться. По этой причине я впадала в истерику каждый раз, когда он попадал в неприятности. Меня не покидало чувство, что как только я перестану быть ему полезна, он перестанет во мне нуждаться. Эта заставляло меня идти ради него на самые немыслимые подвиги. Я добывала для него не только все, что ему нужно, но и все, чего он хочет. Я впервые в жизни испытывала к мужчине материнские чувства. Когда я сказала Максу, что он — ребенок, которого подбросили мне на порог, он ответил: «Это ты потерянная девочка». Я знала, что он прав, и удивилась его проницательности.

Макс, как и все дети, всегда хотел быть в центре внимания. Он старался стать предметом любого разговора, о чем бы ни шла речь изначально. Ему нравилась красивая одежда, и он завидовал, когда я покупала новые платья: он предпочел бы носить их, а не скучные мужские костюмы. На своих картинах он изображал себя и других мужчин в восхитительных нарядах времен Ренессанса. Как-то раз в Марселе, когда я купила себе маленький овчинный жакет, Макса так одолела зависть, что я заказала ему такой же. В этом магазине еще ни разу ничего не покупали мужчины, и продавец немало удивился. Тем не менее жакет для Макса сшили, и когда он надевал его, он становился похож на славянского князя.

Мы решили не возвращаться в «Белмонт-Плаза» и остановились в «Шелтоне». Джимми сказал, что нам стоит снять отдельные комнаты. Они были рядом, но не соединены между собой. Так началась очень странная жизнь, и я неожиданно почувствовала себя снова замужем. До этого я четыре года жила одна.

Теперь у меня появился приемный сын. С Джимми я ощущала себя комфортнее, чем в обществе Макса. Джимми был счастлив обрести мачеху, и мы замечательно ладили. Все, что мне не удавалось делать с Максом, я делала с Джимми. Я ходила с ним по магазинам, пока восстанавливала свой гардероб (я раздала всю свою одежду во Франции). Макс же не мог покупать одежду без меня. Он заставлял меня выбирать вместе с ним все, что он собирался заказать. Я уговорила его купить приданое. Он эффектно смотрелся в американской одежде с его идеальной фигурой и от природы изящной осанкой. Я подарила ему монокль из платины с бриллиантом и часами, принадлежавший моей матери, и он пользовался им вместо очков. Монокль прекрасно сидел на нем и придавал ему вид английского аристократа.

Пока Макс был на острове Эллис, я встретилась с Бретоном.

Он обосновался в Виллидже в квартире, которую ему сдала на шесть месяцев Кей Сейдж. Это было уютное место, но совсем не похожее на привычную среду обитания Бретона. Его беспокоило будущее, тем не менее он не собирался учить ни слова по-английски. Он хотел, чтобы я рассказала ему все о Максе, нашей жизни в Лиссабоне и том, что произошло между Максом и Леонорой. По Нью-Йорку бродили слухи, что Макс не хотел оставлять Леонору в Лиссабоне и потому так задержался. Бретон не понял, что я влюблена в Макса. Мы много говорили о Максе и Леоноре, и Бретон сошелся со мной во мнении, что она единственная женщина, которую Макс когда-либо любил.

Тогда мне впервые представилась возможность отблагодарить Бретона за его поэму «Фата Моргана», которую он отправил мне перед отъездом из Франции. Правительство Виши отказалось давать разрешение на ее публикацию, но в Америке он быстро нашел издателя, и поэма была переведена на английский. По пути в Америку Бретону пришлось пережить много приключений и несколько недель провести на Кубе в ожидании корабля. По-моему, он был очень подавлен и не знал, что ему делать дальше.

Оказавшись на свободе, Макс первым делом пошел к Бретону и пригласил его на ужин. Бретону не терпелось вновь заполучить Макса в свою группу. В конце концов, Макс был его крупнейшей звездой, которую он потерял во время кризиса с Элюаром. Сюрреалисты без конца играли в кошки-мышки, и соблазнить Макса Бретону не стоило больших трудов. Как только я вошла в отель «Бревурт», где собиралась присоединиться к ним за ужином, Макс бросился ко мне и поцеловал, видимо, чтобы Бретон понял, какие между нами отношения. Судя по всему, тот страшно удивился.

По просьбе Кей Сейдж я избавила Бретона от тревог и пообещала обеспечивать его двумястами долларами в месяц на протяжении года. Теперь у него появилось время на спокойное обдумывание своего будущего в Нью-Йорке.

Первым делом мы отправились на выходные на Лонг-Айленд с Луи и Мариан Буше. Они навестили нас и пригласили как-нибудь приехать к ним домой под Ойстер-Бэй. Я сразу же воспользовалась их приглашением, чтобы сбежать от страшной жары Нью-Йорка. Буше, хоть и не был ни абстракционистом, ни сюрреалистом, давно восхищался работами Макса и все про них знал. Они радушно нас приняли, и мы славно провели выходные. В последний раз я видела их в коттедже «Тисовое дерево» в 1938 году.

Когда мы приехали, в Музее современного искусства проходила выставка Пикассо. По этому случаю Пенроуз выслал в

Нью-Йорк все свои полотна, так что на выставке я увидела картины, которые знала лучше всего. У музея было много картин и коллажей Макса — Альфред Барр купил четырнадцать штук. Большинство из них тем не менее хранилось в подвальном этаже, что для музея было в порядке вещей. Я помню, как спустилась в это подземелье и увидела скульптуру Бранкузи «Чудо». Действительно, чудо, что я обнаружила ее именно там. Наверху была выставлена «Птица в пространстве» — очень похожая на мою, только сделанная на двадцать лет раньше. Музей обладал весьма недурной коллекцией: у них были замечательные работы Пикассо, Брака, Леже, Дали, Руссо, Арпа, Танги и Колдера, но ни одного Кандинского. Скульптуры они выставляли в саду. Атмосфера всего этого места напоминала колледж для девушек и одновременно яхту миллионера. Уверена, Хамфри Дженнингсу там бы понравилось.

Мы сходили в музей моего дяди. Это было поистине нелепое зрелище. Там висела сотня полотен Бауэра в огромных серебряных рамах, затмевая двадцать картин Кандинского. Кроме них, там был один чудесный Леже 1919 года, Хуан Грис, несколько работ Домелы, Джон Феррен, Колдер, Делоне и другие менее интересные художники, чьих имен я не помню. Со стен грохотала музыка Баха, составляя довольно странный контраст экспозиции. Музей занимал симпатичное маленькое здание, и очень жаль, что с ним обошлись так бестолково. Макс назвал его Домом Бауэра; Музей современного искусства он называл Домом Барра, а коллекцию Галлатена в Нью-Йоркском университете — Домом скуки. Он действительно был донельзя скучен: несмотря на то что мистер Галлатен имел пристойную коллекцию абстрактного искусства, смотреть на нее не доставляло никакого удовольствия из-за уныния окружающей обстановки. Макс злился, что мистер Галлатен перестал считать его картины достаточно абстрактными и убрал их. Теперь эта коллекция находится в музее Филадельфии.

Больше всего в Нью-Йорке Максу нравился Музей естественной истории. Его приводили в восторг математические объекты, до которых, по его заявлению, Певзнеру было далеко. Еще он обожал Музей американских индейцев, или Центр Хея, куда нас сводил Бретон. Там хранилась лучшая коллекция искусства Британской Колумбии, Аляски, Океании, Индии, доколумбового искусства и искусства индейцев майя.

От Дома Бауэра контрастно отличалась другая коллекция искусства модернизма моего дяди Соломона Гуггенхайма, которая хранилась в отеле «Плаза» и увидеть которую можно было только по особому приглашению. Тетя Ирэн жила там с

моим дядей в окружении прекрасных Пикассо, Сера, Браков, Клее, Кандинских, Глезов, Делоне, Шагалов и Лисицких. Я привела туда Макса, и тетя Ирэн была счастлива с ним познакомиться, но несколько смутилась, потому что решила, будто он занял в моей жизни место Герберта Рида. Я сказала своей тете сжечь всех Бауэров и перенести картины из отеля в музей. Она предостерегла меня: «Тише! Нельзя такого говорить при дяде. Он вложил в Бауэра целое состояние». В следующий раз мы встретились у меня дома. Увидев Лоуренса, которого тетя Ирэн не видела семнадцать лет, она приняла его за Макса. Когда я поправила ее, она сказала: «Значит, не зря мне показалось, что Макс выглядел гораздо старше». В действительности они родились в один год, но Максу определенно можно было дать на десять лет больше. Их с Лоуренсом часто путали. Как-то раз Лоуренс пригласил нас на обед с Бобом Котсом, и Боб сначала поздоровался с Максом и спросил, не Лоуренс ли он, — он не видел последнего четырнадцать лет. Макс уже отвел его к другу, с которым они так долго были в разлуке.

Однажды вечером Джимми встретил Леонору в магазине на Коламбус-Сёркл и пришел в невероятное возбуждение. Он не видел ее несколько лет. Он попеременно то любил ее, то ревновал к ней Макса, будучи к нему чрезмерно привязан. Макс не мог дождаться встречи с ней. Леонора привезла с собой все его картины. Он сразу развесил их в галерее Жюльена Леви и пригласил Бретона, Путцеля, Лоуренса и еще несколько человек посмотреть на них. Увиденное произвело на них большое впечатление. Макс часто встречался с Леонорой, и как раз когда я сказала Джимми, что я не могу этого больше выносить и собираюсь уйти от Макса, нас всех пригласила в Калифорнию моя сестра Хейзел.

Макс радовался любым приглашениям, а я с большим удовольствием повидалась бы с сестрой и уехала подальше от нью-йоркской жары. Еще я хотела посмотреть на знаменитую коллекцию картин Аренберга в Голливуде. Синдбад, который только что получил от меня мой маленький «тальбот», уехал с Лоуренсом и его детьми в Род-Айленд. Пегин и Джимми поехали с нами. В тот момент, когда мы уже садились на самолет, Хейзел сообщила нам телеграммой, что она делает себе новый нос и попросила отложить визит на несколько дней. Нам было уже поздно менять планы, так что мы поехали в Сан-Франциско. С тех пор мы называли Хейзел *le nouveau nez*[54].

В полете над Америкой открывались виды невероятной красоты. Мы с Максом не переставали восхищаться ни на минуту, но вот Джимми с Пегин было не до того. Мы летели так высоко,

что бедная Пегин чуть не умерла и ей даже пришлось дать кислородную маску. В Рино я вывела ее наружу в надежде, что ей поможет свежий воздух, но она едва не упала в обморок в женском туалете. Из-за этого она пропустила великолепные пейзажи Большого Соленого озера — мили и мили земли, покрытые солью, где когда-то было море, а затем полоски синей и фиолетовой воды. Эти нежные цвета и необъятные просторы превосходят красотой любую картину.

При подлете к Сан-Франциско было невероятно наблюдать сверху залив и мосты. Это красивый город, а с воздуха красивее в десять раз. Мы с большим удовольствием ходили по китайским ресторанам, театрам и музеям современного искусства. Мы посетили галерею Курвуазье и купили две картины Чарльза Говарда. Я обрадовалась, вновь увидев его работы, и он значительно поднялся в уровне со времен выставки, которую я провела в Лондоне в 1939 году. Мне было приятно снова его встретить. Он работал на верфи и, кажется, был не очень счастлив.

Мы сходили в музей искусства доктора Грейс Макканн Морли. Я попросила у секретаря, могу ли я с ней поговорить, но мне ответили, что она слишком занята. Меня это сильно оскорбило. Тем не менее встретиться с ней мне все же удалось: в музее в то время находился арт-дилер Сидни Дженис — он выставлял там свою большую коллекцию примитивизма. Он сообщил доктору Морли, что Макс в музее, и она повезла нас ужинать в чудесный рыбный ресторан в месте, похожем на американский Марсель, и прокатила нас по округе, показав местные пейзажи. Она была очаровательна, гостеприимна и полна жизни. Я спросила, смогу ли я отправлять ей свои выставки, когда открою музей, и она с удовольствием согласилась. Она сказала, что проводит сто двадцать выставок в год.

Примитивистские картины вызвали у Макса большой интерес. В музее в то время находился репортер, который взял у него интервью и потом процитировал его восторженный отзыв о выставке. За этим последовал скандал: журнал «Арт Дайджест» решил, что Макс говорит не всерьез и смеется над американской публикой. Мне пришлось написать письмо в «Арт Дайджест» и заверить их, что он в самом деле восхищается примитивистской живописью и даже больше, чем какой-либо другой живописью, созданной американскими художниками.

Перед отъездом из Сан-Франциско мы ужасно поругались с Пегин из-за Кей. Макс ненавидел Кей за то, что она уговорила Леонору остаться с мексиканцем, и я сама всегда была от Кей не в

восторге. Но бедная Пегин прожила с ней два года из-за войны и сильно к ней привязалась. Она изо всех сил старалась оправдать поведение Кей в отношении Лоуренса, но без успеха. В пылу ссоры Пегин отказалась лететь с нами в Лос-Анджелес. Мы почти опоздали на самолет, но в последний момент она сдалась, испугавшись остаться одна без гроша в Сан-Франциско.

Приехав в Лос-Анджелес, мы встретили Хейзел с ее красивым молодым мужем. Он составлял разительный контраст Максу, который выглядел очень старым. Этот молодой человек учился на летчика и хотел записаться в ряды военно-воздушных сил (где ему было суждено расстаться с жизнью), как только Америка вступит в войну. Они казались счастливой парой; я бы даже сказала, тогда единственный раз видела Хейзел счастливой в браке. Она много рисовала и как-то раз попросила Макса научить ее рисовать джунгли. Он с радостью дал ей урок, но потом говорил, что она не слишком-то внимательно его слушала.

Мы с Максом не имели представления, где мы будем жить и где открывать музей. Мы стали осматривать дома по всей Калифорнии. Ближе всего мы приблизились к покупке замка с пятьюдесятью комнатами, стоявшего на возвышенности в Малибу. Эту необычную постройку задумала одна американская дама, но у нее неожиданно кончились деньги, и ей пришлось остановить стройку. В замке остались тысячи плиток, изготовленных вручную испанскими рабочими, которых привезли в Америку специально для этой цели. Своего места в здании эти плитки так и не нашли и громоздились горой на полу. Нам показалось, что этот недостроенный дом — настоящая мечта сюрреалиста. Еще в Марселе я предложила Бретону жить в моем будущем американском музее и там же собирать своих придворных сюрреалистов, и замок производил впечатление идеального места для этого. Но конечно же, никто бы сюда не доехал. Удаленность этого места делала нашу идею абсолютно непрактичной. Другим недостатком замка была дорога к нему, которую полностью размывало во время сезона дождей.

Нас соблазнял еще один дом, стоявший на крутом склоне над океаном. Проблема заключалась в том, что земля в саду постепенно сползала вниз по краю обрыва. Одно дерево из-за этого уже упало, и мы не знали, сколько продержится дом в такой опасной близости от края.

Пегин непременно хотела познакомиться со звездами или по крайней мере увидеть их. Хейзел взяла ее с собой на коктейльную вечеринку, где она познакомилась с Чарли Чаплином. На ее шестнадцатый день рождения я устроила ужин в ресторане «Сирос» — заведении, где часто появлялись люди из кино. Увы, я

выбрала неудачный день, и ни одной звезды там не оказалось. По дороге домой Пегин расплакалась в автомобиле. Чтобы утешить ее, я отправила ее на бал Красного Креста, устроенный Королевскими военно-воздушными силами, где она точно исполнила бы свое заветное желание и увидела сразу всех знаменитых актеров. Она пошла туда одна, одетая в длинное белое вечернее платье и маленькую белую меховую накидку, похожая на Золушку перед балом. Она идеально вписалась в общество и отлично провела вечер. Только спустя много лет она призналась, что не узнала ни одну звезду.

У Хейзел был секретарь, Альберт Буш, по совместительству поэт. Он вел поэтический час на радио. Он хотел побеседовать с Максом в эфире о Франции, о том, что там происходило, почему ему пришлось уехать и каковы его впечатления от Америки. Я взяла у Макса интервью, перевела его и научила правильно читать и произносить — Макс совершенно не знал английского. Мы с Джимми сидели в нашем новеньком «бьюике» и слушали Макса по радио. Он хорошо справился и сделал только одну смешную ошибку в произношении. Когда он дошел до слова *hospitable*[55], наружу вырвался его акцент, и он сделал ударение на *pit*. Джимми страдал явно выраженным отцовским комплексом и обожал Макса не меньше моего. Мы изо всех сил старались заставить Макса почувствовать себя важным в Америке. Джимми знал, как работать с прессой, а Макс обожал оказываться в центре внимания. Казалось, когда люди его не видят, его просто не существует. Тем не менее он всегда держался с достоинством и никогда не ставил себя в неловкое положение.

В доме Хейзел в нашем распоряжении были спальня, веранда и детская. Предполагалось, что я буду делить детскую с Пегин, но я спала либо с Максом в его комнате, либо мы вместе спали на веранде. Иногда я по три раза за ночь меняла спальное место, чтобы одурачить служанок. Над нашей кроватью висел семейный девиз на латыни: «Слишком много не бывает». Это была комната мужа Хейзел.

Макс рисовал на веранде, и я испытывала особенный восторг, когда просыпалась по утрам и видела на мольберте его последние работы. Они словно рождались на моих глазах.

Думаю, мой зять не слишком обрадовался тому, что мы все свалились ему на голову, особенно если учесть, что Макс не говорил по-английски, а он сам не говорил ни по-французски, ни по-немецки.

На одной из вечеринок Хейзел мы познакомились с Джорджем Бидлом, считавшим себя величайшим художником Америки. Он изо всех сил старался понравиться Максу и говорил

о сюрреализме, который, я уверена, он всей душой ненавидел. Я не знала, кто он такой, и спросила: «А вы тоже рисуете, мистер Бидл?»

На мой день рождения мы с Максом приготовили ужин на четырнадцать человек. Он сделал чудесный суп из рыбы, которую сам поймал утром, а я — паэлью. На этой вечеринке мы познакомились с Гонсалесами, друзьями Хейзел, художниками из Нового Орлеана. Он был испанцем, а она очаровательной американкой. Альберт Буш поднял тост за мое здоровье: «Только Пегги знает, как важно быть Эрнстом!»[56] В Голливуде мы обнаружили Ман Рея (с новой молодой женой), Боба Макалмона и Каресс Кросби. Я была рада встрече со старыми друзьями из Франции. Боб попытался помочь мне подобрать колледж для Пегин, но она желала только ходить в драматические кружки и стать актрисой кино, поэтому я поспешила покинуть эту атмосферу разврата.

Одной из причин моего визита на запад было желание увидеть коллекцию модернизма Аренсберга. Полагаю, ей тогда не было равных в мире. Каждая комната в его причудливом старом викторианском доме ломилась от картин. Даже коридоры и уборные не уступали лучшим залам музеев. Помимо практически всех работ Марселя Дюшана в его владении находились множество прекрасных Бранкузи, замечательный Руссо, по несколько де Кирико, Клее, Миро, Эрнстов, Кандинских, Танги, Дали, Глезов и Делоне и большое количество Пикассо. Я позавидовала его коллекции кубизма, но в отношении более поздних вещей ему было далеко до меня. Я бы даже сказала, что начала свою коллекцию с того места, где он остановился. В последнее время он занимался в основном коллекционированием доколумбовой скульптуры. Он стал очень скучным человеком и теперь больше всего интересовался поисками доказательств того, что всего Шекспира на самом деле написал Бэкон. Несмотря на это, он не потерял страсти к Дюшану. В его доме я познакомилась с художником Джоном Ферреном и его женой Инес. Феррен много лет жил в Париже и носил рыжую бороду. Позже я купила две его картины в Нью-Йорке, а его жена издала мой каталог (а также перепечатала рукопись этой книги).

Погостив у Хейзел три недели, мы отправились на автомобиле в Гранд-Каньон, где я должна была встретиться с Эмили Коулман. Она к тому времени вышла замуж за местного ковбоя и жила на ранчо. Как раз тогда открылась выставка Макса в Сан-Франциско, где Жюльен Леви арендовал галерею, и я сказала Максу, что он может поехать туда, если хочет, а ко мне присоединиться позже, но он, судя по всему, так боялся меня

потерять, что решил со мной не расставаться. Когда мы добрались до Гранд-Каньона, я оставила там Джимми с Максом, а мы с Пегин поехали в Холбрук за Эмили. Когда я поцеловала Макса на прощание, он спросил очень жалостно, как ребенок: «А когда ты вернешься?» Два дня он бродил в одиночестве, поскольку не умел разговаривать с Джимми, и нашел магазин с чудесными индейскими масками, тотемами и куклами-качина. Он хотел купить все. Он был совершенным ребенком; неожиданно разбогатев, он желал покупать все, что ему нравилось. Я старалась его сдерживать по мере своих сил, но в конце концов он всегда добивался своего.

Эмили с Максом сразу нашли общий язык. Она сказала мне, что моя неуверенность в себе рядом с Максом бросается в глаза, и меня это сильно расстроило. Я надеялась, что ничем не выдаю себя. Через несколько дней мы отвезли Эмили обратно в ее убогий дом на ранчо. Не представляю, как она жила в этой жуткой разрухе. Ее мужа я так и не увидела.

Оттуда мы поехали в Санта-Фе. Мы проехали Альбукерке и Гэллоп, где проходили красивые выставки искусства индейцев. Мы собирались посетить резервацию и посмотреть на танцы хопи; для Макса это была одна из главных причин поездки на запад. Но Джимми сказал нам, что мы пропустили поворот, только спустя много миль, и мы так разозлились, что не стали поворачивать обратно. Когда приходится в день проезжать сотни миль, увеличивать это расстояние совсем не хочется. Макс все время вел автомобиль, что выводило меня из себя. Я позволяла ему сесть за руль, а потом каждый раз скандалила. Мы провели несколько дней в Санта-Фе и в шутку подумывали остаться там жить, но несмотря на все великолепие природы, жизнь там была бы смертельно скучна.

Пока мы ехали по пустыням Техаса, у Пегин сильно заболело горло и поднялась температура. Нам пришлось на четыре дня задержаться в самом необыкновенном месте, где мне доводилось бывать. Уичита-Фоллс похож на оазис среди пустыни — оазис для жуков. Ночью они сползались в город на свет огней. Когда ты шел по улице, ты чувствовал, как у тебя под ногами хрустят четыре слоя насекомых. Они заползали по стенам домов и умудрялись проникать внутрь, несмотря на защитные сетки. В кинотеатре они забрались мне в декольте и волосы. Когда мы пришли домой, мы обнаружили Пегин и посыльного на карачках в поисках одной из этих тварей под кроватью. Пегин терпеть не могла жуков и сходила с ума. Днем они все исчезали. Не считая этого, Уичита-Фоллс был чрезвычайно скучным местом. Жара стояла невыносимая. На улицу невозможно было выйти до захода

солнца, а после идти было уже некуда. В какую бы сторону ты ни поехал, через полмили ты оказывался в пустыне. Напитки приходилось покупать в магазине и приносить их с собой в ресторан отеля. Такой был в Техасе закон. До этого мы украли в какой-то гостинице сборник законов об алкоголе в разных штатах. Они сильно отличались, поэтому нужно было быть готовыми.

Кроме того, меня сильно интересовали местные брачные законы, потому что я хотела выйти замуж за Макса. Каждый раз, когда мы приезжали в новый штат, я велела Джимми выяснить, можем ли мы сразу пожениться. Однако в какой-то момент Пегин заставила Макса признаться, что институт брака для него слишком буржуазен. Она ревновала меня к нему и нашла такой остроумный способ повлиять на наши отношения.

Нашей следующей остановкой был Новый Орлеан, где стояла жуткая жара, несмотря на сентябрь. Когда мы заказали мятный джулеп, нам сказали, что лето закончилось, и мятный джулеп больше не подают. То же самое произошло, когда мы попытались добыть бананы. Гонсалесы, друзья Хейзел, встретили нас радушно и показали нам округу, в том числе дома на плантациях и болота. Они познакомили нас со всеми своими друзьями. Доктор Марион Сушон продемонстрировал нам свои картины у себя в кабинете, где он рисовал между приемами пациентов. Мы чудесно ели в ресторанах французского квартала и впервые в Америке чувствовали себя как дома.

Макс дал большое интервью местной газете, и его сфотографировали в нашей спальне с одной из картин, которую позже приобрел Музей современного искусства. На следующий день ко мне пришел брать интервью редактор светского раздела и сделал фотографию меня с Пегин и Жаклин, которая жила в Новом Орлеане. Я спрятала в нашей комнате все, что принадлежало Максу, решив, что того требуют приличия. К моему ужасу, в комнату вошел тот же фотограф, что снимал Макса днем ранее. Макс не хотел, чтобы наши отношения становились достоянием общественности, и бабушка Жаклин, южанка старой школы, добилась того, чтоб в вечернем выпуске газеты этого фото не напечатали.

После Нового Орлеана мы отправились обратно в Нью-Йорк. Из всех штатов, которые мы проехали, мне больше всего понравился Теннесси с его чудесными пейзажами и красной землей. Однако нам суждено было обосноваться в Нью-Йорке.

Приехав в Нью-Йорк, мы поселились в отеле «Грейт-Нортерн». Первым делом я занялась поисками школы для Пегин. Я выбрала школу Линокс при колледже Финч-Джуниор. Пегин поселилась в Финче и приезжала домой по выходным. Едва ли я могла найти

что-то хуже, чем это ханжеское заведение. Пегин умудрилась проучиться там два года до своего выпуска, но все же не выдержала жизни в этом чопорном интернате и, как только у нас появился свой дом, переехала к нам.

Я начала искать место для своего музея. Лоуренс жил в Коннектикуте и хотел, чтобы мы стали соседями. Мы почти купили два дома, один из которых особенно манил Макса тем, что в нем было совершено тринадцать самоубийств. Другой дом продали за десять минут до того, как мы его увидели.

Мы обыскали весь Нью-Йорк. Наконец мы нашли превосходное здание на Бикман-плейс с видом на реку и решили, что для музея это идеальное место, хотя находится оно довольно далеко от центра. Мы просто не могли его не купить. При надобности мы могли бы ночевать в комнатах слуг, а на постоянной основе жить за городом. Увы, нам не позволили открыть музей в этом районе города, и в итоге мы сами поселились в этом доме — красивейшем во всем Нью-Йорке. Этот отремонтированный особняк носил имя Хейл-Хаус и стоял на углу Ист-Ривер и Пятьдесят первой улицы. В нем была большая гостиная (или капелла) со старым камином, которую можно было бы принять за зал в венгерском феодальном замке. Капелла была высотой в два этажа и выходила фасадом на реку и нашу террасу. Наверху был балкон с пятью окошками под потолком капеллы. В них так и напрашивалось пять мальчиков-хористов, распевающих григорианские хоралы. На третьем этаже в задней части дома располагалась наша спальня, а в передней — красивая мастерская Макса с еще одной террасой. Второй этаж находился в распоряжении Пегин. Из комнат прислуги мы сделали гостевые покои. У нас была большая кухня, и поскольку мы оба готовили, мы часто ели там же. Макс был изумительным поваром, и особенно хорошо ему давался карри.

Именно Музей современного искусства по просьбе Джимми запустил бюрократический процесс перевозки Макса в Нью-Йорк. По приезде мы ожидали от музея теплого приема, но не получили его. Альфред Барр был в Вермонте и прислал Максу приветственную телеграмму. Мы устроили в музее небольшую выставку коллажей Макса и других художников, но Альфреда не увидели до самой осени. Коллаж, определенно, составлял величайшую заслугу Макса перед искусством.

Я много слышала об Альфреде Барре от Нелли ван Дусбург и других людей. Его книги об искусстве модернизма уже много лет служили мне библией, поэтому я, разумеется, не могла дождаться встречи с ним. Наконец в один прекрасный день мы поехали к нему, и я с удивлением встретила человека с внешностью

Авраама Линкольна. Он был умным и эрудированным собеседником. Он был застенчив, но крайне обаятелен и сразу мне понравился. Позже, когда я узнала его лучше, меня стала раздражать его чрезмерная скрытность, из-за которой я никогда не понимала, к чему он клонит; однако он был одним из тех людей, кого я искренне уважала; он проделал фундаментальную новаторскую работу и проделал ее хорошо. Пока мы еще жили в отеле «Грейт-Нортерн», он пришел взглянуть на картины Макса. Они привели его в крайний восторг, но он никогда не мог сделать так, чтобы музей взял и купил то, что ему понравилось. Он все тянул, и тянул, и торговался, и сводил меня с ума своей нерешительностью. Прямо перед его приходом в нашу комнату влетел воробей. Барра крайне развеселил тот факт, что Макс, Король птиц, живет в одной комнате с пернатым созданием. В конце концов он обменял одного Малевича, которых у него в подвале хранилось тринадцать штук, на одного Эрнста. Все остались довольны, и Барр искренне восхитился моей страстью к искусству. Я отдала Максу деньги, хотя они в этой сделке не участвовали.

Переехав в новый дом, мы устроили грандиозную вечеринку в честь новоселья. На нее пришла Леонора, и она выглядела потрясающе, в кои-то веки одевшись красиво в импровизированный костюм с белой мантильей. В тот вечер вспыхнула ссора между огромным Николасом Каласом и крошечным Чарльзом Анри Фордом, в разгар которой Джимми бросился снимать со стен Кандинских, прежде чем их забрызгают кровью. Барр счел это признаком искренней преданности мне со стороны Джимми: он первым делом стал спасать мои картины, а не картины Макса. Джимми на тот момент уже работал моим секретарем. Он был энергичен, смышлен и во всем разбирался; я любила его, и мы чудесно ладили. Из-за скандала между двумя интеллектуалами атмосфера в доме накалилась. Это происшествие послужило дурным предзнаменованием; в нашем прекрасном особняке нам не было суждено знать ни минуты покоя. Покой был необходим Максу для работы; любовь была необходима мне для жизни. Ни один из нас не давал другому того, что ему нужно, поэтому наш союз был обречен на провал.

Когда я наконец привезла свои картины из хранилища и развесила по стенам, я пригласила Альфреда Барра взглянуть на них. Я в большом возбуждении ждала его реакции. Мы позвали их с женой на ужин. Я уже побывала у них дома на коктейльной вечеринке, когда Дейзи Барр ужасно смутила меня вопросом о том, что произошло между Максом и Леонорой в Лиссабоне. Из-за этого я сразу ее невзлюбила, но чем чаще я ее видела, тем больше

проникалась к ней симпатией. Она была очень привлекательной женщиной, особенно приятной тем, что в ней было мало американского. Дейзи Барр производила впечатление ирландки, хотя на самом деле в ее жилах текла наполовину итальянская кровь. Они пришли к нам на ужин и привели с собой Джима Соби с женой. В то время Соби готовили на смену Альфреду Барру в Музее современного искусства, но я как не разбиралась во внутренних махинациях этого учреждения, так и до сих пор в них ничего не понимаю. Их весьма заинтересовала моя коллекция, в особенности несколько произведений. Соби купил картину Макса — причудливый портрет Леоноры, сидящей на камне. Он назывался «Аризона». Макс написал его в Европе и закончил в Калифорнии.

Вернувшись из Калифорнии, Жюльен Леви открыл небольшую галерею на Пятьдесят первой улице. На западе ему не удалось добиться большого успеха. Мы разозлились на него после того, как он слишком дешево продал одну из картин Макса. Макс не хотел выставляться в его галерее в Нью-Йорке: она была слишком маленькой. Вместо этого он выставился у Дудензинга. Предложение последнего Макс принял по моему настоянию.

Когда я только начинала жить с Максом, я еще не понимала, насколько он знаменит, но осознание постепенно пришло ко мне. К нему постоянно подходили люди и обращались к нему с почтением и уважением, словно к великому мастеру. Ему нравилось поклонение. Его постоянно фотографировала пресса. Он получал от всего этого удовольствие и изо всех сил противился моему участию в его общественной жизни. Один раз ему все же пришлось уступить, и мы появились в журнале «Вог» с нашей собачкой Качиной породы лхаса апсо, которая сильно обросла белой шерстью и походила на Макса. Макс купил громадное кресло высотой десять футов. Это была викторианская театральная декорация. Он сидел на нем, словно на троне, и никто не решался занять его место, кроме Пегин. Его постоянно фотографировали в этом кресле.

Картины, которые Макс написал в перерывах между пребыванием в лагерях или в них самих, стали началом совершенно нового периода в его творчестве. Задний план этих полотен сильно напоминал пустыни Аризоны и болота Луизианы, которые ему только предстояло увидеть. Он обладал поразительным даром предвидения, или «предрисования» будущего. В живописи им руководствовало исключительно бессознательное, нечто скрытое глубоко внутри него, поэтому меня никогда не удивляли его работы. Когда он был один во Франции после ухода Леоноры, он раз за разом рисовал ее

портреты на фоне пейзажей, которые позже увидел в Америке. Тот факт, что он никогда не рисовал меня, заставлял меня ревновать. Честно говоря, это было для меня источником больших страданий и главным доказательством того, что он меня не любит.

Однажды я зашла в его студию и остолбенела. На мольберте стояла маленькая картина, которую я раньше никогда не видела. На ней была изображена странная фигура с головой лошади и в то же время головой самого Макса, с телом человека в блестящих доспехах. На это странное создание, держа руку между его ног, смотрела я. Не та я, которую знал Макс, но девочка восьми лет. У меня сохранились мои фотографии в том возрасте, и сходство не вызывает сомнений. Узнав себя, я расплакалась и побежала к Максу сказать ему, что он наконец нарисовал мой портрет. Он удивился и ответил, что никогда не видел тех фотографий. Из-за расположения моей руки и из-за двух копий по бокам я назвала эту картину «Мистическая свадьба». Я попросила ее в подарок, сказав Максу, что ему теперь не нужно на мне жениться и мне вполне хватит этой картины. Стоит описать остальную часть полотна, поскольку вышеупомянутое составляло только ее треть. По центру спиной стояла фигура, по признанию Макса, принадлежавшая Пегин, а слева находился жуткий монстр — женщина в красном платье с открытым животом. Живот, определенно, был мой, но две головы этого создания не имели сходства ни с кем. Это были головы зверей, одна из которых больше смахивала на череп. Сидни Дженис утверждал, что этот монстр, который показался ему очень сильным, — я, но это было позже, когда Макс написал другое, огромное полотно по мотивам первого. Во второй версии исчезла моя чудесная детская головка, уступив место некой неизвестной личности, составившей компанию Пегин. Изначальная Пегин на этой картине превратилась в тотемный столб с головой из некой субстанции, похожей на мозги. Много позже я показывала Альфреду Барру фотографии, чтобы он поддержал меня в моей теории, и его тоже очень впечатлило сходство.

По-моему, Эмили не нравились картины Макса, но она высоко ценила его коллажи. Она читала ему про них длинные лекции, из которых он не понимал ровным счетом ничего. Чтобы скрыть свое невежество и выразить признательность, он только поддакивал: «*Oui, oui, oui*». Однажды я сказала Эмили: «Я люблю Макса по трем причинам: он красив, он хорошо рисует, и он знаменит».

В то время я по-прежнему пыталась дополнить свою коллекцию и купить все те картины, которые мы с мистером

Ридом собирались выставлять в Лондоне на первой выставке нашего музея в качестве панорамы модернистского искусства с 1910 по 1939 год. Многие картины мне не удалось приобрести во Франции из-за войны; теперь я купила их в Америке. Бретон и Макс оказали мне большую помощь в выборе. Я доделывала свой каталог, и каждый раз, когда покупала новую картину, спешила отправить ее фотографию и биографию автора миссис Феррен, моему издателю. Макс красиво оформил обложку каталога, однако я имела сильные опасения на счет текста — он казался мне слишком скучным. Я попросила Бретона спасти положение. Он постоянно твердил, что мой каталог *catastrophique*[57]. Таким он, вероятно, и получился бы, если бы не Бретон. Он провел в поисках многие часы и нашел высказывания каждого автора; мы вставили их в книгу вместе с фотографиями их глаз. Бретон написал изумительное предисловие и изложил в нем всю историю сюрреализма. Другое предисловие я попросила написать Мондриана, которое Чармиан Виганд перевела на английский, и еще одно Арп подготовил для меня еще в Европе. Кроме того, Бретон посоветовал мне добавить манифесты разных движений в искусстве за последние тридцать лет, и тогда мы включили высказывания Пикассо, Макса, де Кирико и других. В итоге книга вышла потрясающей; она представляла собой скорее антологию искусства модернизма, нежели каталог коллекции. Мы назвали ее «Искусство этого века».

Чем больше Макс продавал картин, тем больше он покупал произведений доколумбового и индейского искусства и искусства Аляски и Новой Гвинеи. У нас практически не было мебели, и все эти артефакты очень украшали наш дом. Макс вцепился в маленького дилера по имени Карлбах, а точнее, Карлбах вцепился в Макса. Он продал Максу свою коллекцию в кредит, а Макс отдавал ему деньги с каждой проданной картины. Меня сильно раздражало, что Макс отказывается участвовать в домашних расходах. Мне кажется, он обосновывал это тем, что я все еще содержала Лоуренса. В конце концов дошло до того, что Макс переставал откладывать достаточно денег даже для уплаты подоходного налога. Карлбах звонил Максу чуть ли не каждый день и звал в свой магазин на Третьей авеню, чтобы показать ему новые находки. Он постоянно искал, чем бы еще искусить Макса. Его затеям и изобретениям не было конца. Он даже договаривался с музеями, чтобы они уступали Максу свои экспонаты. Когда он узнал, что я коллекционирую серьги, он немедленно раздобыл их в огромном количестве и стал работать надо мной. Я не поддалась, но, разумеется, поддался Макс и купил мне пару испанских барочных сережек с жемчугом. Однако

все дальнейшие поползновения со стороны мистера Карлбаха я пресекала, считая его опасным человеком с его тотемами и масками. Как-то раз Макс купил красивое животное из крашеного дерева, которое смахивало на некий объект для погребальных целей. Он сказал, что это столик, но он определенно имел больше общего с гробиком. Когда-то Макс питал страсть к деревянным лошадям, и весь дом был уставлен ими. Еще он купил тотемный столб из Британской Колумбии высотой в двадцать футов. Это был жуткий предмет, и мне ужасно не нравилось, что он стоит у нас дома.

После Перл-Харбора вновь встал вопрос о браке. Мне не нравилось жить во грехе с подданным вражеской страны, и я настаивала на том, чтобы мы узаконили свои отношения. Чтобы избежать внимания общественности и анализов крови, мы решили поехать в Вашингтон к моему кузену Гарольду Лебу и быстро со всем разобраться в Мэриленде. Вечером накануне отъезда мы страшно поругались, и когда Пегин вернулась домой, Макс все еще не пришел в себя. Пегин, которая была настроена скептически, спросила: «Мама, как ты можешь заставлять беднягу брать тебя в жены? Посмотри, какой он несчастный». Мы с Максом ответили, что он в плохом настроении из-за нашей ссоры, но Пегин не поверила и продолжала стоять на своем. На следующее утро я проснулась в таком смятении, что побежала к Путцелю делиться своими переживаниями. Он сказал, что я должна выйти замуж, если я того хочу. Я позвонила Максу и спросила, что он думает. Он ответил, что хочет в Вашингтон, и мы поехали туда.

В Мэриленде нас отказались сочетать браком. У нас имелись свидетельства о разводе только на иностранных языках, которые они не могли перевести. Кроме того, у Макса не было свидетельства о своем первом разводе, а свидетельства только о втором им оказалось недостаточно. Нам посоветовали поехать в Вирджинию. В Вирджинии требовалось быть постоянным жителем страны старше восемнадцати лет и сдать анализ крови. Доказать свое совершеннолетие нам не составило труда, и Лебы позволили нам зарегистрировать постоянное проживание у них. Анализ крови мы тоже смогли пережить. По сравнению с донорством это сущий пустяк. Нам выдали разрешение на вступление в брак и спросили, когда мы хотим это сделать. Мы ответили: «Немедленно». Они позвонили судье, который жил по соседству, и он сказал, что мы можем сейчас же идти к нему. Тем не менее он не смог нас принять сразу и заставил какое-то время ждать на пороге. Нас сопровождала жена Гарольда, которая всячески старалась нам помочь. Когда судья нас наконец принял, мы

обнаружили его в компании девушки. Он сказал: «Муж бедняжки, доктор на службе во флоте, только что вышел в море, и я утешал ее». Мы поняли, почему нам пришлось ждать так долго. Макс не говорил по-английски и, повторяя за судьей, вместо «*wed*» сказал «*wet*»[58]. Церемония прошла очень просто, и меня не заставили давать клятву повиновения. Когда все закончилось, я не знала, сколько я должна судье. Вера Леб думала, пять долларов, но у Макса была только десятка, которую он и отдал. Судья и его подружка так обрадовались, что девушка даже пощекотала ладонь Макса. Наверное, это отчасти утешило его после потери свободы. Затем мы вернулись в Вашингтон, и Макс пригласил моих кузенов на чудесный праздничный ужин.

Замужество дало мне чувство безопасности, но не прекратило наших ссор, как я надеялась. Они были ужасны и порой длились по сорок восемь часов, и все это время мы не говорили друг с другом. Мы ссорились из-за всякой ерунды. Мы ссорились, если Макс брал мои ножницы без разрешения. Меня это раздражало, потому что этими ножницами когда-то стриг бороду Джон Холмс. Мы ругались, когда Макс не пускал меня за руль, потому что предпочитал водить сам. Мы ругались, когда я заболела ангиной, и Макс скучал, потому что я слишком долго не выздоравливала. Мы ссорились из-за макета моего каталога после того, как много часов мирно вместе работали над ним. Больше всего мы ссорились из-за того, что он покупал слишком много тотемов. Это все было совершенно нелепо и инфантильно. Ссоры ужасно расстраивали его. Он не мог работать и целыми днями бродил по Нью-Йорку. Я тоже мучилась и всегда первой делала шаг к примирению. Он был для этого слишком горд. Хуже всего было то, что мы ссорились на людях. Мы ссорились везде, где бы мы ни были.

Той зимой мы завели близкое знакомство с Амеде Озанфаном, удивительным человеком. Три года он был моим соседом на авеню Рей в Париже, когда я жила там с Джоном Холмсом. За все это время я так и не познакомилась с ним. Он жил на Двадцатой улице, и мы часто ходили к нему на изумительные ужины, которые готовила его жена Марта. Я хотела купить одну его картину периода пуризма — из-за ее исторической ценности. Все мои советники отговаривали меня, но я все равно это сделала. Я очень этому рада, потому что Музей современного искусства почему-то совершенно им не интересовался и все внимание сосредоточил на Жаннере. Нет ни одной причины ставить Озанфана ниже Жаннере. Они вместе работали в 1920-х, и не признавать их равные заслуги просто несправедливо.

Я всю зиму не покладая рук работала над каталогом и откладывала аренду здания для музея до момента завершения своих трудов. Люди приходили к нам домой смотреть на картины и поднимались в мастерскую Макса на верхнем этаже. Путцель приводил покупателей; Макс продавал много картин и продолжал скупать тотемы, куклы-качина и маски. Каталог был готов только к концу зимы, как только Бретон дописал свою статью, которая заняла в итоге шестнадцать страниц, и Лоуренс ее перевел. Потом наступила весна, и сезон подошел к концу.

Одной из вещей, причинявших мне большие страдания, был тот факт, что в отношении Макса ко мне не было интимности. Он обходился со мной как с дамой, которую он несколько побаивается, и никогда не обращался ко мне на «ты»; из-за этого меня не покидало чувство, что он меня не любит. Однажды я попросила его подписать книгу, которую он мне подарил, и он просто написал: «Пегги Гуггенхайм от Макса Эрнста». Меня это сильно задело, ведь я помнила, что он написал для Леоноры. Он постоянно давал мне понять, что я бы больше ему нравилась, если бы была молодой и вульгарной. Он признавался, что ему нравятся глупые, вульгарные девушки.

Леонора часто звонила Максу и звала его обедать вместе. Иногда он проводил с ней целый день, гуляя по Нью-Йорку, — со мной он такого не делал никогда. Я ужасно ревновала и мучилась. По утрам после завтрака он шел работать и не переодевался в уличную одежду. Если я видела, что он оделся, у меня обрывалось сердце: я знала, что он собирается посвятить день Леоноре. В такие дни я обедала с другими людьми. Иногда с Альфредом Барром, но чаще с Джимми Стерном, которого я приглашала к нам домой. Это был очаровательный ирландец, друг Беккета и Лоуренса. Я испытывала к нему некоторое *béguin*[59], но, поскольку наше общение сводилось к интеллектуальным диспутам и долгим разговорам о Джоне Холмсе, которого он никогда не встречал, он не догадывался о моих чувствах. Он был замечательным писателем, на удивление малоизвестным для своего таланта.

Макс так сходил с ума по Леоноре, что не мог этого скрывать. Однажды я заставила его пригласить ее на обед к нам домой и позвала Джуну Барнс познакомиться с ней. Джуна сказала, что тогда она впервые видела, чтобы Макс вел себя по-человечески и выказывал эмоции. Обычно он бывал холоден, как змея. Он вечно все отрицал и утверждал, что больше не влюблен в Леонору и что я тот человек, с которым он хочет жить и спать. Но я никогда не верила ему до конца и с облегчением вздохнула, когда Леонора уехала в Мексику.

Мы часто ходили на вечеринки в разные дома, но лучшие устраивала миссис Бернард Райс. Она была чудесной хозяйкой и подавала восхитительную еду. Ей нравилось приглашать полный дом сюрреалистов и давать им полную свободу действий. Разумеется, Бретон этим пользовался и заставлял нас играть в свою любимую игру *Le jeu de la vérité*[60]. Мы садились в круг, и Бретон командовал нами, как школьный учитель. Цель игры состояла в том, чтобы докопаться до самых сокровенных сексуальных переживаний участников и заставить о них рассказать. Это было нечто вроде психологического анализа на глазах у зрителей. Чем ужаснее были вещи, которые мы рассказывали, тем больше все радовались. Я помню, как один раз спросила у Макса, когда ему больше нравилось заниматься сексом: в двадцать, тридцать, сорок или пятьдесят лет. Другие спрашивали, что бы ты стала делать, если бы твой муж ушел на войну, и как долго бы вытерпела без секса или как ты предпочитаешь это делать. Это было нелепо и по-ребячески, но смешнее всего было то, с какой серьезностью к игре относился Бретон. Он смертельно обижался, когда кто-то говорил не в свою очередь; часть игры состояла в том, чтобы наказывать провинившихся, — они платили штраф. Бретон ревностно бдил за порядком и то и дело кричал: *«Gage!»*[61] В конце игры мы выплачивали эти невообразимые штрафы. Тебе завязывали глаза, заставляли заползти в комнату на четвереньках и угадать, кто поцеловал тебя, или сделать что-то не менее дурацкое.

Весной Макс провел выставку у Дудензинга. Я устроила для него большую вечеринку после открытия. Это была одна из лучших моих вечеринок: она задалась с самого начала и до конца без каких-либо усилий с моей стороны.

Выставка пользовалась *succès d'estime*[62], но картины никто не покупал: цены на них установили слишком высокие, и у Дудензинга была не та клиентура. На той же неделе музей Атенеум в Хартфорде купил одну картину, не представленную на выставке. После этого мы с Путцелем стали продавать картины всем, кто приходил в дом. Мне нравилось быть женой художника, и к тому времени я уже была без ума от его новых работ. Чарльз Анри Форд посвятил Максу целый выпуск своего журнала «Вью». Это было потрясающее издание, от которого выиграл и Макс, и сам Форд. Макса для него сфотографировала Беренис Эббот на его троне, и Джеймс Соби — на нашей террасе вместе с куклами-качина. Бретон, Калас, Сидни Дженис, Генри Миллер, Жюльен Леви и Леонора написали о нем статьи, а сам Макс написал автобиографию. Там же напечатали репродукции многих его картин и каталог выставки.

После этого Макс поехал в Чикаго, где у него намечалась еще одна выставка. Я не поехала с ним: наконец в свет выходил мой каталог, и я страшно волновалась. Макс хорошо провел время без меня, пока я была полностью поглощена своей книгой. Несколько магазинов выставили ее на витрину, и я радовалась без меры теплому приему своего первого детища. Каталог сразу же начал продаваться, во многом благодаря предварительной рекламе, которой меня обеспечил Джимми.

Я не спала всю зиму, пока Клиффорд Одетс не уехал в Калифорнию. Он занял верхние два этажа нашего дома, и его кабинет находился над нашей спальней. Каждую ночь он репетировал свои пьесы до четырех утра. Шум стоял ужасный. Однажды ночью вода перелилась через край его ванны и протекла сквозь потолок прямо на мой туалетный столик. Чтобы искупить вину, он дал своему другу Д. Б. Неуманну два билета на пьесу «Стычка в ночи» и велел сводить меня. Мне она понравилась куда больше «В ожидании Лефти»[63], на которую Гарман водил меня в Лондоне в коммунистический театр, где вместо сидений стояли лавки без спинок.

После своего возвращения Макс увлекся сумасбродной особой, которая была перманентно либо пьяна, либо под воздействием бензедрина. Это была очень веселая, довольно привлекательная и жизнерадостная девушка, но уж слишком американского склада, да к тому же в то время она была на грани потери рассудка. Заметить, что Макса заинтересовала женщина, не составляло труда: у него глаза чуть не вылезали из орбит от желания, как у Харпо Маркса[64]. Тем не менее с этой девушкой почти не произошло никаких историй, и на лето мы уехали из Нью-Йорка на Кейп-Код. Как только мы уехали, Джимми безумно в нее влюбился. Из-за непредвиденных обстоятельств мы вернулись через две недели, и к нашему возвращению Джимми уже состоял с ней в отношениях. Он не хотел, чтобы об этом узнал Макс, и я подозревала, что вся эта история — результат отцовского комплекса.

Наши летние каникулы резко оборвались из-за того, что у Макса возникли неприятности с ФБР. В том была моя вина. Мне тогда пришлось уехать в Вашингтон на слушания по делу Нелли ван Дусбург. Я пыталась привезти ее в Америку, но это было непросто. Когда я наконец дала показания, Госдепартамент их не принял; однако с помощью Саммера Уэллеса, друга брата Хелен Джойс, я смогла добиться слушания в Вашингтоне и разрешения на выдачу визы. Но было уже слишком поздно. Я уже не могла помочь Нелли выбраться из Франции.

Я отправила Пегин с Максом на автомобиле в Уэлфлит,

Массачусетс, к Роберто Матте, где они неделю искали дом. К моему приезду они, как думали, нашли его. Это была жуткая лачуга в дебрях с керосиновой плитой и бензиновым насосом. Он напомнил мне о насосе в коттедже «Тисовое дерево» и о том, как мы бились над ним во время отпусков садовника. Я отказалась там жить и стала искать в округе другие дома. В итоге мы сняли мрачное сооружение в Провинстауне, принадлежавшее женщине-художнице. Она жила под нами. Там была студия, несколько гостиных и множество спален. Макс оккупировал студию и, как обычно, стал претендовать и на все остальное. Пегин пришлось отвоевывать место, где она бы смогла рисовать сама.

Я заставила Макса уехать от Матты, хоть он и говорил, что ему нужно получить разрешение службы регистрации подданных враждебных государств. Мне казалось нелепым морочиться с этим, когда мы уезжали всего за пятнадцать миль.

В тот день, когда мы переехали в Провинстаун, нас нашли агенты ФБР. Они подъехали к нам, когда мы шли по улице, схватили Макса за руку и сказали, что им нужно с ним поговорить. Мы попросили их приехать в два часа. Приехав, они обыскали весь дом, спросили, где кто спит, проверили наши чемоданы и уехали с Максом и коробком спичек с эмблемой «Свободной Франции». Они сказали: «Мы прокатимся с вашим мужем». Я страшно испугалась и не знала, чего ожидать. Они держали его несколько часов и вернули в ужасном состоянии. По-моему, они пытались запугать его, чтобы он назвал Матту шпионом. Они спросили, сколько у Матты на крыше приставных лестниц (*ladders*). Макс решил, что они спрашивают, сколько у Матты в имени букв (*letters*), и ответил «пять». До этого они уже приезжали в Уэлфлит и допрашивали Макса перед моим приездом.

Им не понравилось, что радио играет слишком громко, а когда Макс его выключил, они заявили, что он не имел права трогать коротковолновый приемник. Теперь они использовали это против него и даже послали рапорт в Бостон. Они сказали ему, что, если он не расскажет им все о Матте, они будут держать его до тех пор, пока он не поседеет еще сильнее, чем уже поседел. С тех пор, стоило нам сесть за стол, как они снова объявлялись на пороге. В конце концов они пришли за Максом и увезли его, чтобы он подписал рапорт, и предупредили нас, что больше это дело не в их руках. Мы в страхе ждали их возвращения, и в один день они пришли и сказали, что Максу нужно ехать в Бостон на слушания у прокурора округа. Я вызвалась ехать с ним, и, поскольку я была его женой, они не смогли мне в этом отказать. В кои-то веки я могла доказать Пегин, что от этого брака есть

какая-то польза. Мы оставили ее с друзьями и сказали, что не имеем представления, когда вернемся.

Мы несколько часов ехали в Бостон на автомобиле агентов и чуть не опоздали на слушание. Прокурор округа оказался приятным человеком и позволил Максу и мне рассказать о себе. Однажды ему уже доводилось иметь дело с Гуггенхаймами. К сожалению, он не мог отпустить Макса без слушания с присяжными, а это означало, что Максу предстояло провести ночь под стражей. Чтобы избавить его от этой неприятной необходимости, прокурор позвонил в нью-йоркское Бюро по делам подданных враждебных государств и спросил их мнения. К счастью для нас, они взяли на себя всю ответственность, сказали, что Макс в их юрисдикции, и попросили отправить его обратно. Нам дали разрешение на проезд и семьдесят два часа, чтобы вернуться в Нью-Йорк, что было лучше, чем оставлять Макса в бостонской тюрьме. Мы поехали обратно в Провинстаун.

На следующий день мы встретились с Варианом Фраем, который оказался в Провинстауне, и он, имея множество связей, попытался уладить наше дело, однако без успеха. Нам пришлось вернуться в Нью-Йорк. Приехав домой, мы позвонили нашему другу Бернарду Райсу, который знал все и всем помогал в трудную минуту. Он связался с кем-то из Бюро по делам подданных враждебных государств и рассказал о нас. Когда мы приехали туда, нас хорошо приняли, и Макса сразу же отпустили. Ему разрешили вернуться в Провинстаун, но посоветовали держаться подальше от побережья.

Все лето мы провели в Нью-Йорке в нашем чудесном доме на Ист-Ривер. Это подпортило жизнь трем людям. Одним был Марсель Дюшан, которому мы на лето сдавали дом; вторым был Джимми, который наслаждался отпуском и любил завтракать со своей возлюбленной на нашей террасе; третьим был Синдбад, у которого был ключ от дома и который часто приводил туда свою подружку за неимением другого места. Марсель Дюшан остался с нами, переехав в небольшую гостевую комнату, но нашим сыновьям повезло меньше.

Я продолжала попытки открыть свой музей и наконец нашла свободный верхний этаж в тридцатом доме по Западной пятьдесят седьмой улице, но не знала, как мне оформить помещение. Путцель спросил как-то раз: «Почему бы тебе не обратиться за советом к Кислеру?» Фредерик Кислер был одним из передовых архитекторов века, и я решила, что это хорошая идея; откуда мне было знать, что его советы со временем встанут в строительство стоимостью семь тысяч долларов. Кислер был низеньким мужчиной высотой пять футов с комплексом Наполеона. Он был

непризнанным гением, и я дала ему шанс после стольких лет, проведенных в Америке, сделать что-то действительно выдающееся. Он сказал, что потомство запомнит меня не по моей коллекции, но по тому, какое он для нее создаст революционное пространство.

Мы очень часто проводили вечеринки в нашем доме у реки. Это было самое прохладное место в Нью-Йорке. Однажды поздно вечером после одного из таких мероприятий Макс, Марсель Дюшан и Джон Кейдж, композитор перкуссионной музыки, с женой Ксенией разделись догола, пока мы с Кислером и его женой наблюдали за ними с неодобрением. Целью эксперимента было доказать, что человек может быть совершенно бесстрастен, но Макс провалил его: вид обнаженной Ксении произвел на него немедленный и очевидный эффект. Боюсь, Ксения приняла это слишком близко к сердцу: Кислер рассказал мне, что вечером через несколько дней она разрыдалась в автобусе, потому что Макс ее разочаровал и оказался не ангелом, каким она его себе воображала.

Однажды ночью после вечеринки в нашем доме я в весьма нетрезвом виде выбежала на улицу в поисках приключений. Я пошла в бар на Третьей авеню; он как раз закрывался, но я все равно прорвалась внутрь. Какие-то люди пригласили меня за свой столик и угостили напитками. У меня с собой было всего десять долларов, но я настояла на том, чтобы заплатить за себя. Один из мужчин сказал, что будет надежней, если я отдам ему свои деньги на хранение до конца ночи. Примерно в пять утра мы пошли есть в Чайнатаун. Я сказала им, что я гувернантка и живу в Нью-Рошелл. Я не спросила у них, кто они, но довольно скоро осознала, что они гангстеры и у них на уме что-то нечистое. Они припарковали автомобиль в тупике у Ист-Ривер и начали спорить о чем-то, что лежало на заднем сиденье. Несмотря на крайнюю степень опьянения я поняла, что сейчас самое время уйти. Они хотели отвезти меня в Нью-Рошелл, но я отказалась и попросила обратно свои десять долларов или хотя бы их часть. Мои попытки получить от них деньги на такси или проезд на транспорте оказались тщетны, и в конце концов мне пришлось в семь утра идти домой пешком больше мили. Когда я в следующий раз проходила мимо того бара, где я познакомилась с гангстерами, я зашла в него с Максом и Марселем и потребовала вернуть свои деньги. Я не имела сомнений, что бармен был с нами в Чайнатауне, но он отрицал свое знакомство с этими людьми. Макса больше всего волновали те неприятности, которыми ему как подданному враждебного государства грозила моя связь с гангстерами.

На еще одной большой вечеринке в честь моего дня рождения Джипси Роза Ли объявила о своей помолвке с актером по имени Александр Кирклэнд. Это был привлекательный, харизматичный молодой человек, но едва ли годный в мужья. На вечере присутствовал Уильям Сароян, как, впрочем, еще много звезд, даже слишком много; то и дело вспыхивали сцены ревности. Путцель повел Джипси наверх, намереваясь продать ей картину Макса. У нее уже была одна. Джин Горман, которая тогда уже была миссис Карл ван Дорен, увязалась за ними. Если бы я не была так занята Марселем, который внезапно поцеловал меня впервые за двадцать лет знакомства, я бы пошла с ними и не позволила испортить такую сделку. Джин была очень пьяна и устроила путаницу, и Макс в итоге продал Джипси одну картину очень дешево, а другую вручил в качестве свадебного подарка. Когда они спустились, Джипси знала, что я разозлилась, и сказала, что нечестно с ее стороны принимать подарки в мой день рождения. Через несколько недель мы поехали на автомобиле в загородный дом Джипси на ее полуночную свадьбу. Это было очень театральное действо, которое собрало множество репортеров; им дозволялось все, разве что не прерывать церемонию, которую священник проводил в духе музыкальной комедии. Джипси убедительно играла роль робкой невесты, а ее муж, как и все женихи, выглядел страшно напуганным. Я никогда не понимала, в чем был смысл этого брака, но долго он не продлился: через несколько месяцев Джипси мне сообщила, что все кончено. На свадьбе журнал «Лайф» сфотографировал Макса распивающим шампанское с южноафриканской наследницей. Потом в журнале грязно пошутили, что Макс сначала заполучил состояние семьи Гуггенхайм, а теперь пьет с другой невестой с приданым, как будто деньги волновали его больше всего на свете. На свадьбе присутствовали матери Джипси и Кирклэнда, которые отнеслись к происходящему крайне серьезно. Миссис Кирклэнд сказала мне, что для нее большая честь, что ее сын стал членом такой выдающейся семьи.

После того как Марсель поцеловал меня, я подумала, что пришло время дать волю страсти, которую мы подавляли в себе уже двадцать лет. Однажды вечером, когда мы ужинали с Максом и Марселем, я разделась, надела прозрачный зеленый дождевик и стала бегать по дому, пытаясь соблазнить Марселя. Макс спросил у Марселя, хочет ли он меня, на что он, разумеется, ответил «нет». Я решительно усугубила ситуацию, наговорив Максу ужасных, обидных вещей. Макс начал избивать меня, на что Марсель смотрел со своим обычным отстраненным видом, никоим образом не вмешиваясь.

На День труда нас пригласили к себе в Саутгемптон Джеффри и Дафне Хеллман. Это была очаровательная пара, и я с нетерпением ждала поездки. На этот раз Максу дали разрешение на выезд. Я применила новую тактику и сказала Максу, что раз он больше не хочет меня, то может спать с кем угодно. Увы, я не смогла долго сохранять эту жертвенную позицию. С Максом начала флиртовать симпатичная девушка по имени Пегги Райли. Она угодливо трепетала перед *grand maître*[65], а он это обожал. Как-то раз вечером, когда мы возвращались с пляжа, они уехали на велосипедах вперед и ненадолго исчезли из виду, что у меня немедленно вызвало подозрения. Я устроила ужасный скандал. Макс яростно все отрицал и говорил, что только не в своем уме можно решить, будто он занимался любовью и при этом ехал на велосипеде. В любом случае, это испортило мне выходные, и я несколько дней не разговаривала с Максом.

Я постоянно убегала от Макса и шла к Лоуренсу. В очередной такой раз Макс бросился за мной вниз по лестнице и вырвал у меня из рук нашу собачку Качину, как будто мы разводились, а она была нашим ребенком. Это была большая неожиданность; мы все ждали, что он меня побьет. Макс свято верил в месть. Он постоянно думал о том, как бы кому-то отомстить. Он словно сошел со страниц Ветхого Завета. Однако у него было замечательное чувство юмора и он все превращал в шутку, поэтому никогда нельзя было понять, обижен он или нет. Он сильно ревновал к Лоуренсу и называл его «Ваш муж». Я постоянно жаловалась Лоуренсу на Макса в присутствии Макса. Для него это, вероятно, было довольно унизительно.

Примерно в то время Эльза Скиапарелли, с которой я познакомилась еще двадцать лет назад, в те времена, когда она носила черные *robes de style*[66] из тафты и надеялась заработать состояние в антикварном бизнесе, еще не зная, что ей предстоит задавать моду всему западному миру, обратилась ко мне с просьбой помочь ей организовать выставку сюрреализма для благотворительной организации под названием Координационный совет организаций по спасению Франции. Я отправила ее к Бретону. С помощью Макса и Марселя Дюшана Бретон организовал большую выставку, которая прошла в особняке Уайтлоу Рида, уродливом, старомодном здании. Марселю пришла в голову идея покрыть потолок нитями, натянутыми крест-накрест от стены к стене через весь зал. Из-за них было трудно смотреть на картины, но общий эффект они производили потрясающий. На открытии я устроила сцену, потому что на моих картинах не значилось, что они мои, тогда как все другие владельцы произведений были указаны. В этот

момент как раз фотографировали Макса, который стоял рядом с красавицей Дафне Хеллман, и я, наверное, на этой фотографии выгляжу женой в приступе ревности.

Кислер не хотел, чтобы выставка сюрреализма открывалась раньше нашей галереи, которая к октябрю уже почти была готова, но все задерживалось, и нам пришлось уступить сюрреалистам. Это тем не менее никак не помешало успеху нашей необыкновенной, восхитительной галереи. Она называлась «Искусство этого века», как и каталог, и ее ждали с таким интересом, что конкуренция нам была не страшна. Ни единая душа не знала, что Кислер придумал для моей галереи. Даже Макса туда впервые пустили за два дня до открытия. Сначала он стал возмущаться, что его картины вынули из рам, но, когда он увидел, как хорошо без рам смотрятся другие картины, он решил не выделяться. Кислер проделал удивительную работу. Мы вызвали невероятный ажиотаж. Фотографии печатались во всех газетах, и, если не вся пресса единодушно восхищалась революционными решениями Кислера, по крайней мере внимания было достаточно, чтобы привлечь в галерею сотни посетителей ежедневно.

Кислер действительно создал невероятную галерею, очень театральную и в высшей степени оригинальную. Ничего подобного до сих пор свет не видывал. Может, картины и пострадали от того, что их окружение своим зрелищным великолепием отвлекало глаз посетителей, но в любом случае декор помещения был изумителен и вызвал большое волнение у публики.

При разработке проекта я поставила одно условие: картины должны выставляться без рам. Во всем остальном Кислер имел *carte blanche*. Я думала, что он вставит картины в стены, но ошиблась: его идеи отличались большей оригинальностью. В галерее сюрреализма были изогнутые стены из смолистого дерева. Картины без рам крепились на бейсбольные биты, на которых их можно было наклонять под любым углом, и примерно на фут отстояли от стен. У каждой было свое освещение. Свет включался и выключался каждые три секунды, ко всеобщему смятению, и сначала освещал одну половину галереи, затем другую. Люди жаловались и говорили, что, когда они смотрят на картину в одной части комнаты, им приходится внезапно прерываться и смотреть на другую картину в противоположной стороне. Путцель в конце концов заставил меня отказаться от этой системы освещения и всегда держать свет включенным.

В галерее абстракционизма и кубизма, где у входа стоял мой стол, помещение постоянно было заполнено ярким

флуоресцентным светом. Две стены представляли собой ультрамариновые шторы, которые обрамляли комнату красивой дугой и напоминали цирковой шатер. Картины висели перпендикулярно этим шторам на нитях. В центре комнаты картины были сгруппированы треугольниками и тоже висели на нитях, будто бы паря в пространстве. Скульптуры стояли на деревянных треугольных платформочках, подвешенных схожим образом.

Кислер разработал платформу, которую можно было использовать семью разными способами. Она представляла собой каркас из фанеры, покрытый разноцветным линолеумом, и могла выполнять роль кресла-качалки с опорой для спины; ее можно было перевернуть и использовать в качестве подставки для картины или скульптуры; или как стол, или как лавку. С помощью деревянных балок из нее можно было делать другие предметы мебели. Галерея была рассчитана на девяносто сидячих мест, поэтому еще там были раскладные стулья из синего холста в цвет стен. Пол был бирюзовым. Кислер также придумал хитроумный вращающийся стеллаж как для хранения, так и для экспозиции картин: он позволял выдвигать ту картину, на которую хочешь посмотреть. Это изобретательное решение сэкономило много места для моей обширной коллекции.

Еще у нас была красивая дневная галерея, которая тянулась вдоль фронта здания, выходящего на Пятьдесят седьмую улицу, и в ней мы проводили ежемесячные выставки. Там картины можно было привычно выставлять в рамах на ровных белых стенах. Чтобы смягчить свет, Кислер натянул на окно прозрачный экран из искусственного шелка. В коридоре он поставил колесо, на котором стояли семь работ Клее. Колесо начинало автоматически вращаться, когда зрители преступали световой луч. Чтобы посмотреть на репродукции Марселя Дюшана, нужно было смотреть в дырку в стене и вращать рукой красивое колесо-паутину. В прессе эту часть галереи назвали Кони-Айленд[67].

За синим холстом располагался мой кабинет, но я никогда там не сидела: я все время хотела быть в галерее и наблюдать за тем, что происходит.

Моим первым секретарем в галерее стал Джимми Эрнст. Позже, когда он ушел, его заменил Путцель. Первую выставку мы посвятили моей коллекции. Мы выставили четырнадцать картин и коллажей Макса — больше всех остальных художников; впрочем, ничего удивительного, что у меня их было так много.

Вечер открытия мы провели в пользу Американского Красного Креста и продавали билеты по доллару. Множество приглашений затерялись на почте, но все равно пришли сотни

людей. Это была настоящая гала-премьера. Мне для такого случая сшили белое вечернее платье, и я надела одну сережку Танги и одну Колдера, чтобы продемонстрировать равное уважение к сюрреализму и абстракционизму. Несколько дней до открытия мы работали круглые сутки, и еще несколько строителей оставалось в галерее, когда во второй половине дня накануне открытия собралась пресса.

Мы испытывали большие финансовые трудности. Счета приходили один за другим. Наконец, когда я поняла, насколько общая стоимость отделки превосходит ожидания Кислера, я практически порвала с ним и отказалась пускать к себе в дом, но постаралась сохранить деловые отношения. Он был крайне заинтересован во внимании общественности и написал письмо с угрозами одной журналистке, взявшей у меня обширное интервью, которое должны были опубликовать сразу в нескольких изданиях по всей Америке, с требованием, чтобы его имя было упомянуто. Он сказал, что прошлые изобретения у него украли и теперь он пытается защитить свои права. Журналистку так напугало это письмо, что она чуть не отказалась от всей статьи, но я смогла утрясти разногласия уже перед самым открытием.

Все это было очень волнующе и ново, и я была рада вырваться из дома, где жила с постоянным ощущением, будто Макс меня не любит. На открытии он выглядел очень счастливым. Он был одновременно принцем-регентом и главной звездой галереи.

Через несколько дней после открытия он уехал в Новый Орлеан, где Гонсалесы организовали его выставку. В Новом Орлеане пришло куда меньше людей, и он завидовал моему успеху.

Пока Макса не было, я впервые изменила ему — с Марселем, после двадцати лет дружбы. Было уже явно слишком поздно и по ощущениям походило чуть ли не на инцест. Когда Макс вернулся, меня так поглотили дела галереи, что я практически не уделяла ему внимания. Он оставался один целыми днями в огромном пустом доме; служанка приходила только раз в день и готовила ужин, а в холодильнике вечно было пусто. Я возвращалась домой примерно в шесть тридцать, и он всегда радостно встречал меня и наливал мне выпить. Он всегда открывал мне дверь с очаровательной улыбкой. Мы могли бы хорошо проводить вечера, но я без конца заводила скучные разговоры о галерее, рассказывала, сколько людей пришло и сколько каталогов я продала. В то время я сама сидела на входе и собирала деньги за билеты. Я решила, что вход должен быть платным, чем вызвала всеобщее неодобрение. В конце концов Путцель заставил меня передумать, но только через шесть месяцев.

Я вставала рано по утрам, чем Макс был недоволен и отказывался со мной завтракать. Он никогда не спускался до моего ухода, хотя в следующее же мгновение я видела его через окно с улицы.

Перед открытием галереи я решила, что в ней я буду продавать картины Макса и работы молодых неизвестных художников. Это вызывало замешательство у публики, которая не понимала, что продается, а что нет; большую часть своей коллекции я упорно отказывалась выставлять на продажу.

Вскоре после открытия галереи Синдбад, сын Эмили Джонни и Джимми, мой любимый секретарь, достигли призывного возраста. Синдбад пытался записаться добровольцем в Чрезвычайный комитет по спасению в Колумбийском университете, но ему отказали, и он ждал призыва. Неожиданно меня покинул Джимми, который думал, что скоро окажется в армии и сначала хотел взять две недели отпуска. На замену себе он нашел своего друга, с которым раньше работал в Музее современного искусства. Призывная комиссия не приняла ни сына Эмили, ни Джимми, и на службу отправился только Синдбад. Мы с Лоуренсом тяжело это восприняли, но Синдбад держался очень бодро. Мы все приехали на Пенсильванский вокзал провожать, где неожиданно его поглотило море незнакомых угрюмых молодых людей, и он исчез. Мы много дней не получали никаких известий. Наконец нам пришло письмо, в котором он сообщил, что он в Атлантик-Сити, и мы с Лоуренсом и Пегин поехали к нему. В форме и с армейской стрижкой он смотрелся сущим ребенком. Когда мы уезжали от него, у меня разбивалось сердце.

Глава 14
Конец моей жизни с Максом Эрнстом

Однажды вечером, когда у меня было свидание, я сказала Максу, что иду на концерт с Путцелем. Он и правда часто водил меня на концерты по воскресным вечерам. Но именно в тот день Макс почему-то заподозрил, что я иду не с Путцелем, и внезапно позвонил ему спросить, за сколько он может продать свою картину де Кирико. Я предупреждала Путцеля, но он уснул. Проснувшись от телефонного звонка, он взял трубку и, к своему ужасу, услышал Макса. Конечно же, было уже поздно идти на попятную, и он, собравшись, сказал: «Я позвоню тебе позже», и положил трубку. Он перезвонил Максу и сказал, что оставил меня в опере и сам пошел домой, потому что забыл выключить электрическую плиту. Когда я подходила к дому, я увидела на углу Путцеля в одном пальто, накинутом поверх пижамы. Шел снег. Он рассказал мне, что случилось, и когда мы дошли до дома, нам открыл дверь Макс. Я расхохоталась, потому что делать было уже нечего. Путцель ретировался.

19 января 1943 года стукнуло ровно девять лет со дня смерти Джона Холмса. Я все еще тяжело переживала эту годовщину. Обычно я старалась проводить ее с Эмили, но в этот раз Эдита и Айра Моррис устроили в честь нас вечеринку. Поздно вечером я сорвалась и убежала с нее в кошмарной истерике. Айра последовал за мной в большом беспокойстве, но я сказала ему, что иду к Эмили. Придя к ней, я разрыдалась и сказала, что между мной и Максом все кончено и что я никогда к нему не вернусь. Я сказала, что он не способен на настоящие эмоции и совершенно чужд моей внутренней жизни, и что я вышла за него замуж, потому что его, как ребенка, подкинули мне на порог. Но теперь я ему не нужна. Утром я пошла домой сообщить Максу о своем решении. Он волновался, потому что я никогда еще не уходила на всю ночь. Он сразу же позвонил Джимми и сказал, что я дома. Его забота очень тронула меня, и меня тут же втянуло обратно в мою семейную жизнь.

На следующей выставке в «Искусстве этого века» мы представили работы трех художников: расписанные бутылки Лоуренса Вэйла, сюрреалистические объекты Джозефа Корнелла и чемодан Марселя Дюшана — небольшой саквояж из свиной кожи, который он изобрел для демонстрации своих работ. Я часто представляла, как было бы забавно взять с собой на отдых этот чемодан вместо обычной сумки с вещами.

Третья выставка состояла из работ тридцати одной художницы. Эту идею мне подсказал Марсель Дюшан еще в Париже. Поданные работы оценивало жюри, состоявшее из Макса, Бретона, Марселя, Джеймса Суини, Джеймса Соби, Путцеля, меня и Джимми, который ушел посередине сессии, когда за ним пришла его девушка. Он боялся, что ее картину не примут (как и случилось), и поспешил удалиться. Джипси Роза Ли сделала очень остроумный автопортрет-коллаж, который вошел в выставку.

Эдвард Алден Джуелл, художественный критик «Нью-Йорк Таймс», после посещения моей выставки опубликовал большую статью, в которой написал: «Лифтер, чрезвычайно интересующийся „Искусством этого века“, сообщил мне по дороге наверх, что сегодня он особенно тщательно отмыл лифт (он и вправду выглядел безупречно чистым), потому что во второй половине дня ожидался визит Джипси Розы Ли». Управляющий домом, чрезвычайно завистливый господин, уволил молодого человека за такое внимание к нему со стороны общественности. Когда я рассказала о случившемся мистеру Джуеллу, он сильно расстроился, решив, что это его вина. Мы близко подружились с мистером Джуеллом, и позже я стала его называть по-французски «*Mon Bijou de l'Époque*»[68]. Так он отзывался о галерее сюрреализма в «Нью-Йорк Таймс»: «…она имеет несколько устрашающий вид, как будто в конце концов зритель окажется на стене, а произведения искусства будут прогуливаться по залу, отпуская комментарии — приятные или не очень, это уже зависит от ситуации».

Я заставила Макса много помогать мне с этой выставкой. Он ходил в гости к художницам, выбирал картины и привозил их на автомобиле в галерею. Ему ужасно это нравилось, потому что он любил женщин, и некоторые из них были весьма хороши собой. Его всегда привлекали женщины, которые рисовали. Одну из них звали Доротея Таннинг; это была красивая девушка со Среднего Запада. Она была претенциозна, скучна, глупа, вульгарна и чудовищно одевалась, но имела некоторый талант и подражала Максу, что крайне ему льстило. Она настолько явно искала любовных приключений и так напирала во всем, что просто становилось неловко. Она хотела стать членом жюри, но мне пришлось ей отказать. Мы познакомились с ней у Жюльена Леви год назад, и Макс сразу же ей увлекся. Теперь они подружились, и пока я целыми днями пропадала в галерее, Макс был счастлив в новом обществе. Еще она играла с ним в шахматы, чего я не умела. Макс проявлял большой интерес к ее живописи, хотя это меня приводило в недоумение с учетом огромной пропасти

между ее талантом и талантом Леоноры, которая обладала задатками гениальности. Я не могла понять его увлечения. Макс жалко мне возражал и говорил, что она совсем не *fille de rien*[69], как я ее называла.

Однажды вечером я открыла срочное письмо от мисс Таннинг, адресованное Максу. Это была глупая записка на ломаном французском с приложенным лоскутом голубого шелка, который, как она утверждала, был прядью ее волос. Я вышла из себя от ревности, решив, что Макс скучает по ней так же, как она по нему. Она уехала куда-то на Средний Запад. После прочтения письма я несколько раз что есть силы ударила Макса по лицу. Но он, скорее всего, даже не воспринял письмо всерьез, потому что потом прочитал его вслух нам с Эмили, пытаясь доказать, что это не любовное послание. Ему оно просто показалось забавным.

Как-то вечером Александр Колдер пригласил нас на один из своих *bals musette*[70] в бистро на углу Первой авеню и Девяностой улицы. Макс настоял на том, чтобы мы взяли с собой мисс Таннинг. Меня это разозлило, к тому же я плохо себя чувствовала и не хотела идти. Макс сказал, что пойдет без меня. Я знала, что Колдер не любит Макса и что вряд ли мисс Таннинг там будут рады; в любом случае, я сгорала от ревности и унижения. Я позвонила Максу домой к мисс Таннинг и запретила ему приводить ее на *bal musette*, пригрозив, что не пущу его домой. Она вмешалась в разговор и сказала, что не хочет становиться причиной разлада между мной и Максом и немедленно отправит его ко мне. Он вернулся, но я не стала с ним разговаривать и ушла из дома.

В другой день Макса пригласили на вечеринку без меня, и, хотя он сначала отказался, я заставила его принять приглашение, потому что хотела провести вечер с Марселем. Макс позже утверждал, что именно это разрушило наш брак; я дала ему полную свободу, и он впервые провел целую ночь в обществе мисс Таннинг и в результате в нее влюбился. Все это было зря, потому что мне не удалось найти Марселя, и я вместо этого повела Пегин в театр. На следующий день мы пошли на коктейли к Синди Дженису, куда неожиданно приехала мисс Таннинг; Макс ужасно испугался и спросил, буду ли я скандалить. Я сказала: «Конечно, нет», и проигнорировала ее, как всегда поступала с тех пор.

Через несколько дней у Курта Селигмана дома проходило собрание сюрреалистов, и Марсель Дюшан позвал Макса туда по телефону. Макс изо всех сил пытался отговорить меня ехать с ним, поскольку там была мисс Таннинг. Я настолько вышла из себя, что оставила его у порога и потребовала отдать мне ключ от дома. Естественно, после этого он отправился жить к мисс

Таннинг. Однако через несколько дней из службы во флоте вернулся в отпуск ее муж, и им с Максом пришлось бежать. Максу было сложно найти жилье в Нью-Йорке, и он не решался просить о помощи наших друзей, потому что это вызвало бы проблемы со мной.

В отчаянии я пошла к Бретону. Его очень удивило мое состояние, и он сказал, что я должна как минимум увидеться с Максом и поговорить с ним. Он отчитал меня за то, что я забрала у Макса ключ, и сказал, что нельзя так поступать с подданным враждебного государства. Я ответила, что Макс сам виноват, раз не взял с собой на собрание сюрреалистов и столько раз меня унижал. В итоге Джимми заставил Макса встретиться со мной.

Когда Макс пришел, я сходила с ума от горя и сказала ему, что покончу с собой, если он не вернется. Он ответил, что сейчас едва ли подходящее время для попытки возобновить нашу совместную жизнь и что нам сначала надо успокоиться. Он спросил, позволю ли я ему сначала съездить с мисс Таннинг в Аризону, а потом вернуться ко мне. Со мной чуть не случилась истерика.

В то время я была в состоянии такого нервного расстройства, что Пегин приходилось всюду ходить со мной. Я даже не смотрела по сторонам, когда переходила дорогу. Как-то вечером мы пригласили Бретона на ужин, надеясь улучшить ситуацию, но стало только хуже. На ужине оказались Макс, Мэри, Марсель и еще несколько людей. Мы начали спорить о журнале «*VVV*», который издавали Марсель, Бретон и Макс. Макс до этого обещал мне в этом журнале бесплатную рекламу моей галереи, но теперь Бретон отказал мне. Я хотела ее получить из принципа, потому что считала, что много сделала для сюрреалистов. Но Бретон твердил, что он положил всю жизнь на алтарь истины, красоты и искусства и от остальных ожидает того же. Пегин сказала, что все сюрреалисты *mesquin*[71] со своими бесконечными склоками. Бретона возмутило, что его оскорбляет маленькая девочка, и он обвинил меня в том, что моя дочь позволяет себе такое под моей крышей. Макс в этот момент сбежал к мисс Таннинг, которая названивала ему весь вечер. На этом закончились мои отношения с Максом, и он исчез на несколько дней. Пегин пыталась помирить нас, но безуспешно. При следующей встрече я сказала Максу, что готова отказаться от Марселя, если он откажется от мисс Таннинг, но он ответил, что если я устала от Марселя, то несправедливо требовать от него из-за этого расстаться с мисс Таннинг. Однажды вечером он пошел со мной на вечеринку и рассказал мне все об их беспечной жизни. Он вел себя так, словно собирается остаться со мной, но после ужина проводил меня

домой и уехал к мисс Таннинг. Мне кажется, он просто хотел появиться со мной на публике, чтобы сбить людей с толку. Все это время я проводила ночи с Марселем, который был со мной очень добр и выполнял роль скорее сиделки, нежели любовника. Я чуть не тронулась умом и не могла спать без лекарств.

Макс приходил каждый день и рисовал в своей мастерской. Однажды днем в воскресенье, когда у меня была Эмили, мы выпили чай с Максом, и он пошел наверх рисовать дальше. Я попросила Эмили подняться к нему и поговорить с ним от моего имени. По какой-то странной причине я ужасно боялась жить одна. Я попросила ее сказать Максу, что я во всем виню себя, не хочу рушить наш брак и готова ждать, пока не закончится его роман. Первым делом она спросила у него, как он полагает, что я думаю о его новой картине. Он ответил, что не знает, так как меня больше не интересуют его работы и мы не видимся; он сказал, что я деструктивный по натуре человек, что я разрушила нашу жизнь и уже двадцать лет влюблена в Марселя. После этого Эмили передала ему мое послание и спустилась, сказав, что мое предложение заставило его задуматься. В начале той зимы Макс звал меня с собой в Аризону, но я отказалась оставлять галерею и сказала Эмили, что скорее рискну своим браком, чем откажусь от «Искусства этого века».

Когда Макс говорил о мисс Таннинг, он постоянно противоречил сам себе. Иногда он говорил, что не влюблен в нее и испытывает только физическое влечение. Иногда он говорил, что чувствует себя котом, который норовит сбежать. Однажды он сказал мне, что наши отношения были обречены и что он был влюблен в меня только в Марселе — ровно до тех пор, пока не встретил Леонору.

Он то просил меня дождаться окончания его романа, то говорил, что в этом нет смысла и что он сразу захочет завести новый. Еще он сказал, что я закатываю слишком много истерик и жить со мной невозможно.

Джимми считал, что мне должен помочь психоанализ. Единственным, кого я хотела видеть своим психоаналитиком, был Бретон, который работал психиатром в последнюю войну. Я пригласила его на обед и рассказала о своих переживаниях. Когда он услышал о Марселе, то сказал, что Максу никогда не позволит вернуться гордость. Бретон считал, что я зашла слишком далеко, — он сам бы не выдержал всего того, что я причинила Максу, и спросил, почему я не живу с Марселем вместо того, чтобы страдать из-за Макса. Я ответила, что у Марселя есть Мэри Рейнольдс и у нас не может быть серьезных отношений. Тогда Бретон сказал, что рад бы мне помочь, но не обладает нужной

квалификацией для психоанализа, а при наших обстоятельствах это может оказаться опасным. Он посоветовал мне поехать на природу и привести нервы в порядок.

В феврале 1943 года Жан Эльон, который сбежал из немецкого лагеря и написал чудесную книгу о своих приключениях, «Им меня не поймать», согласился провести в моей галерее ретроспективную выставку и приехать из Вирджинии, где он жил, чтобы прочитать лекцию, в том числе о пережитом опыте. Выставка получилась очень красивой. Я купила восхитительную картину 1934 года и продала несколько других. Джеймс Джонсон Суини написал предисловие для каталога, и Эльон прочитал очень трогательную лекцию. В галерее собралось больше ста человек. Выручку мы отдали «Свободной Франции». После открытия я устроила для Эльона большую вечеринку в моем доме у реки. Он познакомился с Пегин, которой было только семнадцать, и немедленно в нее влюбился. Я это сразу поняла, но Пегин ни о чем не подозревала еще полтора года. Позже она вышла за него замуж.

В период страданий от неразберихи в моей личной жизни управление галереей лежало на мне тяжелым грузом. Я была как маленькая девочка, которая сама себе на голову обрушила свой дом и теперь сидела среди развалин, не понимая, что произошло. Я не могла заснуть без лекарств и с каждым днем чувствовала себя только хуже. По утрам Макс приходил рисовать в свою мастерскую. Ему доставляло большое удовольствие наблюдать, как отвратительно я выгляжу, и он дразнил меня за то, что я встаю так поздно. В довершение моих бед из-за той ссоры по поводу журнала «*VVV*» в последний момент сорвалась моя грядущая выставка, где я собиралась представить оригиналы работ из этого издания, и мне было нечем ее заменить. Мне нужно было придумать новую выставку и организовать ее за сорок восемь часов. Я воспользовалась идеей Джимми и выставила по две работы от двадцати известных художников — одну двадцати — тридцатилетней давности и одну из последних. Получился изумительный контраст. Я была вымотана до предела и мечтала о покое, который скоро обрела.

Однажды я вернулась домой из галереи среди дня, чтобы взять новый адрес Синдбада и обнаружила Макса в студии. Мы начали спорить о гордости, и он заявил, что женщин только она и волнует. Я спросила, что бы он сделал на моем месте. Он ответил, что подождал бы, пока все уляжется, хотя именно это я пыталась сделать. Он явно злоупотреблял моим терпением, ведь пока я целыми днями работала в галерее, он практически не рисовал в своей мастерской, и я не знала, чем он там занимается. Тем же

вечером я пошла на вернисаж в галерею Жюльена Леви, где встретила мисс Таннинг с выкрашенными в бирюзовый цвет волосами. Она сделала разрезы в блузке и вставила в них фотографии Макса. Для меня это было слишком. Мне стало так противно, что я решила: с меня хватит. Я положила этой истории конец, о чем расскажу позже.

Герберт Рид в 1939 году в Лондоне задумал провести Весенний салон. Я решила воплотить его идею в Нью-Йорке. Помимо себя я назначила членами жюри Альфреда Барра, Джеймса Суини, Джеймса Соби, Пита Мондриана, Марселя Дюшана и Путцеля. В первый год салон прошел очень успешно. Из сорока работ, что мы выбрали, получилась замечательная выставка. Тогда свет увидели работы будущих звезд: Джексона Поллока, Роберта Мазеруэлла и Уильяма Базиотиса. Все трое уже выставлялись в прошлом месяце на моей выставке коллажей и папье-колле. Мы все понимали, что они лучшие из всех открытых нами художников. Вскоре после этого ко мне обратился Дэвид Хэйр. Раньше он работал коммерческим фотографом, но теперь полностью посвятил себя созданию изумительных гипсовых скульптур. На него сильно повлияли сюрреалисты, и его вполне можно было поставить в ряд после Джакометти, Колдера и Мура. Я обещала провести его выставку.

В галерее постоянно происходили курьезные случаи. Однажды, когда там был Путцель, к нему подошел мужчина и стал жаловаться, что кубистские картины не имеют сходства с людьми. Путцель пришел в негодование и сказал ему, что, если он хочет смотреть на людей, пусть идет и смотрит.

Кислер установил в галерее удивительное устройство, которое выглядело как ящик с объективом; объектив открывался с помощью ручки. Внутри ящика находилась великолепная картина Клее, написанная на гипсе. Одна женщина, заглянув внутрь, сказала: «Какая там внутри славная батиковая картинка».

Как-то раз к нам пришла студентка колледжа и спросила: «Вы не подпишете для меня справку для профессора Мейсона о том, что я здесь была? Он сказал, что я должна получить подпись либо мисс Гуггенхайм, либо герцогини». Полагаю, она имела в виду баронессу Ребай — мне бы совсем не хотелось, чтобы меня с ней путали. У меня постоянно спрашивали, имею ли я какое-то отношение к Музею беспредметной живописи. Я всегда отвечала: «Ни малейшего, хотя мистер Гуггенхайм — мой дядя».

Однажды галерею посетила миссис Рузвельт. К сожалению, причиной ее визита стал не интерес к искусству модернизма. Ее подруга и Жюстин Уайз Польер привели ее на выставку фотографий «Чернокожие в жизни Америки», организованную

Джоном Беккером. Миссис Рузвельт с большим чувством и энтузиазмом написала о выставке в своей колонке, правда, название моей галереи там напечатали как «Искусство этой страны». Я изо всех сил пыталась заманить ее в галерею сюрреализма перед уходом, но она выскользнула в дверь боком, по-крабьи, оправдываясь своим невежеством в отношении модернизма. Мой друг-англичанин Джек Баркер поднимался в лифте вместе с этими дамами. Войдя вслед за ними в галерею, он передразнил их и любезно поздоровался со мной высоким голосом. Миссис Рузвельт, которую явно развеселила его выходка, повернулась к нему с улыбкой и поклонилась. Смущенный Баркер, не понимая, откуда ему знакомо лицо этой дамы, не знал, броситься ли ему к ней с объятиями, поздороваться за руку или сдержанно поклониться в ответ. Не разрешив эту дилемму, он выбрал проигнорировать ее вежливое приветствие.

Как-то вечером я пошла в мастерскую к Мондриану посмотреть на его новые картины и послушать пластинки с буги-вуги на фонографе. Он перемещал полоски бумаги по холсту и спрашивал меня, как будет лучше смотреться новая картина. Он поцеловал меня, очень удивив тем, как молод он в душе в свои семьдесят два. Последняя вечеринка, на которой он присутствовал, прошла в моей галерее. Он обожал вечеринки и никогда не пропускал открытия выставок. Однажды в галерею пришел мой кузен, полковник Гуггенхайм, и, когда я спросила, какая из картин у него вызвала наименьшее отторжение, он ответил, что при случае согласился бы принять в подарок Мондриана. Разумеется, я ничего ему дарить не стала.

Глава 15
Покой

Я часто задумываюсь (и никогда не могу понять), почему этому человеку было суждено принести в мою жизнь столько смятения, почему он полностью занял мои мысли на целый год и почему я не держу на него зла после всего, через что мы прошли. Сначала он проник в мое сознание в образе мифа — того мифа, каким только может быть богатый, безответственный, неуловимый и избалованный человек; человек настолько притягательный и желанный, что он просто не считает нужным делать то, что должен; который теряет адреса и никогда не приходит вовремя или хотя бы в назначенный день, который шлет телеграммы, полные лжи и извинений. Когда я наконец встретилась с ним, он оказался полной противоположностью моих ожиданий. Он пришел ко мне домой купить картины Макса. По просьбе Альфреда Барра он дал под присягой показания в пользу Макса, когда тот въезжал в Америку, поэтому нам было любопытно с ним встретиться, и Макс хотел его поблагодарить. Он оказался так красив, так очарователен, так скромен, так застенчив, что меня переполнило изумление.

В следующий раз я встретила его на опере Моцарта «Дон Жуан»; мы сидели на соседних креслах, и между нами будто бы пробежала искра. Потом он часто вспоминал об этом. Он отвез меня домой на такси. Позже я сказала Путцелю, что я бы сразу влюбилась в Кеннета, если бы не боялась, что он будет постоянно морочить мне голову. Я боялась не зря. Не то чтобы он специально постоянно пропадал и увиливал — просто он не мог быть другим. И когда время пришло и я влюбилась в него, мой пророческий страх оправдал себя, но не совсем в том смысле, что я думала.

Он пришел в мою жизнь в тот момент, когда я больше всего в нем нуждалась и когда он больше всего нуждался во мне. Теперь я понимаю, что это было неизбежно. Он пришел ко мне, когда я была несчастна, и именно поэтому он предложил мне свою дружбу, а я с готовностью приняла ее, не думая о последствиях. Он сразу же стал моим другом и обрел большое влияние на меня, возвышаясь надо мной своими шестью футами роста. Первым делом он заставил меня порвать с Максом. Было совершенно очевидно, что пора это сделать; я не знаю, зачем я ждала слов Кеннета. Эта нелепая история не могла больше тянуться. Кеннет просто сказал: «Абсурдная ситуация. Ты ни там, ни здесь». И

тогда я решила перестать топтаться на месте. Кеннет делал это безо всякого личного интереса. Он просто дал мне разумный совет, как поступил бы любой друг. Затем он посоветовал мне пойти к адвокату и официально оформить развод. Он привык практично подходить к вопросам собственности и убедил меня, что этот шаг необходим, и я последовала его совету.

Но я забегаю вперед. Вот как все началось. Кеннет знал, что мне плохо, и, будучи человеком необычайно добрым и тактичным, он решил устроить в честь меня небольшую коктейльную вечеринку у себя дома. Я и раньше бывала у него на больших безличных приемах, но сейчас все было по-другому. В последнюю минуту я решила взять с собой Макса, и я уверена, что хозяин дома весьма удивился, увидев нас вместе; однако он не подал виду и так же спокойно воспринял то, что Макс посреди вечеринки сбежал к мисс Таннинг. Именно этого мы все ждали и после его ухода вздохнули с облегчением.

Я не знаю почему, но Кеннет Макферсон сразу же дал мне ощущение покоя, и когда он сидел рядом со мной, обнимая меня, я чувствовала себя совершенно счастливой, такой счастливой, какой не была уже многие годы. Какая жалость, что этого мне было мало. Если бы только мне хватило того покоя и восторга, которые я испытывала в его объятиях, пока мы лежали и слушали музыку, все было бы совсем по-другому. Но я не тот человек, которому может быть достаточно того, что он имеет. Я всегда думаю, будто я все могу изменить. Удивительно, но я не допускаю мысли о собственной неудаче, и никто не способен убедить меня в том, что я не сдвину горы и не остановлю прилив, пока я не уверюсь в этом самостоятельно. И вот я снова сразу же стала гнаться за тем, чего не могла получить. Разумеется, в результате я обрела многое другое, о чем никогда даже не мечтала.

Мы пошли на ужин с сестрой Кеннета и Путцелем, а после — в мой дом на реке. Мы вдвоем очень долгое время провели на диване и вели себя словно школьники. Я перепачкала Кеннета губной помадой, и он так воодушевился в процессе, что, когда его сестра и Путцель, тактично ушедшие прогуливаться по дому, вернулись в комнату, Кеннет закинул ногу на ногу и пробормотал: «Боже правый, придется сесть так». Я так и не узнала, действительно ли в этом была необходимость. Перед уходом Кеннет обещал в скором времени снова пригласить меня на ужин. Я хотела пойти с ним к нему домой, но у него остановилась сестра, а жил он в очень маленькой квартире.

Через несколько дней Джин Коннолли устраивала большую вечеринку в честь дня рождения Лайлы, подруги ее сестры. Я не

могла определиться, идти мне или нет. Макс отказался составить мне компанию, сказав: «*Je ne connais pas cette dame*»[72]. Мне позвонила Джипси Роза Ли и спросила разрешения привести к нам домой подругу, чтобы познакомить ее с Максом и посмотреть его книги и картины. Я не могла ей отказать, но чувствовала себя очень неловко; мне казалось, я должна разъяснить ей нашу запутанную ситуацию. Я перезвонила и сказала: я пригласила Макса к себе домой, чтобы он встретился с ней, но мы больше не живем вместе, и я не знаю, буду ли я дома. Я выразила надежду, что она хорошо проведет время и простит меня, если я не смогу остаться. Я лежала на кровати, разрываясь между двумя возможными планами на вечер. Неожиданно я вспомнила, что Кеннет — друг Джин. Это сразу решило для меня вопрос. Я спрыгнула с кровати, оделась и поспешила на вечеринку до прихода Джипси.

Я провела чудесный, безумный вечер; можно сказать, я отпраздновала свою независимость. Наконец-то я почувствовала, что меня ничто не связывает с Максом, и неистово отплясывала с Кеннетом всю вечеринку напролет. Я отдалась в его объятия в ванной, куда он пошел отмываться от запаха маринованного лука, который мы тайком воткнули в праздничный торт. В тот день Кеннет сказал мне порвать с Максом. На следующее утро я позвонила Максу и попросила его найти себе мастерскую и больше не приходить в мой дом. Он так разозлился, что без спроса забрал Качину, оставив мне двух наших персидских котят, Ромео и Джипси. Кеннет пришел на вечеринку с высокой температурой и не мог оторваться от меня, хотя ему следовало лежать в постели. Под конец некая тучная пожилая англичанка проявила материнскую заботу и таки заставила его пойти домой. Перед уходом он пригласил меня на ужин в следующий четверг.

Всю неделю я провела в состоянии нервного возбуждения перед моей грядущей *rencontre*[73] с Кеннетом, гадая, вспомнит он или нет. Во второй половине дня в четверг он позвонил мне и спросил: «Ты помнишь, что сегодня ужинаешь со мной?» Я бы ни за что на свете об этом не забыла, но ответила просто: «Да, помню». Он пришел за мной очень поздно. Я ужасно нервничала по поводу своего наряда, поскольку знала, что Кеннет придает много значения внешности тех, с кем появляется на людях. Разумеется, у меня не нашлось ничего подходящего, но я постаралась выбрать лучший вариант и не слишком стесняться. Я надела зеленые перчатки и зеленый шарф. «Ну что же, куда ты хочешь пойти?» — спросил Кеннет, и я назвала ресторан, куда меня водил Макс. Это был единственный раз, когда мы с Кеннетом ели там, где я бывала с Максом. После этого он всегда

сам выбирал, куда мы пойдем.

Неожиданное близкое знакомство с кем-то — это волнительное, странное и тревожное время в жизни, и чем дольше ты ждешь его, тем больше оно приносит радостных переживаний. Я с восторгом осознала, что Кеннет — англичанин до мозга костей, хотя сначала меня насторожило, что он как англичанин несколько консервативен. Он так много говорил, что я сразу поняла: от меня требуется только слушать. Мне это нравилось. Так было проще, и так нам грозило меньше проблем. Помню, как сказала только одно: накануне рождения Синдбада я была в доме родителей его жены на Керзон-стрит в Лондоне (Кеннет упомянул его в разговоре) и запомнила, с какой сердечной заботой меня приняла его теща. Мне было приятно, что у нас нашлась хотя бы такая отдаленная связь. Это сразу перекинуло между нами мост, ведь все англичане большие снобы, и факт моего визита на Керзон-стрит придал мне уверенности в себе.

После ужина он отвез меня в свою квартиру. Мы несколько часов лежали на диване в объятиях друг друга и слушали на автоматическом фонографе Моцарта, Баха и Бетховена. Позже в кровати он сказал мне, что подвержен приступам клаустрофобии, потому что в детстве мать заставляла его спать с ней в одной постели. Я решила быть осторожной и уехала, как только он уснул.

Я не подозревала, что через несколько часов после моего ухода из-за всего этого с ним случился жуткий сердечный приступ. Я узнала об этом только несколько дней спустя, когда он посреди ужина сообщил мне, что ему было очень плохо и доктор велел ему воздерживаться от алкоголя и любовных утех. «Это случилось через несколько часов после того, как ты ушла. Я не мог двигаться, даже дойти до ванной. Быть больным ужасно. Не хочу говорить об этом». Я не знаю, осознавал ли он физиологические последствия произошедшего с ним, но я чувствовала свою ответственность и решила, что больше мы не будем пытаться заниматься любовью. После ужина он взял меня под руку и отвел к себе в квартиру. Мы долго лежали на диване, нежно обнимая друг друга, а потом пошли спать, приняв снотворные капли. Тем не менее я пролежала всю ночь без сна, до ужаса боясь потревожить его. Утром он поднес мне стакан молока так же, как вечером — снотворное: с видом ребенка, который делает подарок. Потом он очень трогательно поцеловал меня на прощание. На лестнице я столкнулась с Анаминтой, его цветной горничной. Она удивилась, увидев меня на пороге его квартиры в столь ранний час.

Через несколько дней я давала вечеринку. Кеннет пришел в окружении стайки молодых людей. Они были очаровательны. Кеннет показал им мой дом и внезапно сказал, что был бы рад разделить с кем-нибудь такой большой особняк. Он спросил, не соглашусь ли я сдать ему половину, или, если он купит соседний дом, сделать тайную дверь между нашими этажами. Каждый раз, когда он говорил подобное, даже в шутку, я хваталась за его слова и пыталась на них построить свое будущее.

С этого дня я поняла, что должна жить с ним, и не знала покоя до тех пор, пока не добилась своего. Это было относительно просто, потому что он был очень одинок. Именно поэтому он позволил мне войти в его жизнь. Ему было необходимо, чтобы им восхищались и любили его. В этом смысле он был сущий студент и не мог без постоянных интрижек. Ему нравилось, когда в него влюблено много людей, хотя это не приносило ему настоящего удовлетворения. Он был глубоко несчастным человеком.

Кеннет имел должность в Британской службе разведки, но едва ли работал. Чаще всего он слушал музыку: его фонограф не умолкал целыми днями. Он много времени проводил за едой и питьем. Он пил больше всех, кого я знала в своей жизни, разве что кроме Джона Холмса. Кеннет был словно из XVIII века. Его жилье, его происхождение, его вкус, его повадки — всем этим он напоминал аристократа той эпохи. Он так тонко чувствовал собеседника, что не пропускал ни одной *finesse* или *bon mot*[74]. Ничто не ускользало от него, и вести с ним разговор было одним удовольствием. Он не разрешал мне употреблять слово «фея»[75] и требовал, чтобы вместо этого я говорила «афинянин». Он говорил, что «фея» звучит так же вульгарно, как «макаронник» или «жид». Он был воспитан, а значит, представлял собой оазис культуры в американской пустыне. И все же он был слишком хорош даже для себя. В каком-то смысле он так и не смог полностью раскрыться. Его тянуло вниз на уровень его друзей, которые явно уступали ему. Вероятно, из вежливости — чтобы они не чувствовали себя неловко — он подражал их уровню. Чтобы проявить свои лучшие качества, ему требовалась чья-то сильная рука. Он имел много друзей, и большую их часть составляли женщины. Он был идеальным другом. С ним тебе всегда казалось, будто он полностью принадлежит тебе.

Поскольку он жил исключительно удовольствиями, он все время с нетерпением ожидал премьеры какой-нибудь оперы, концерта или балета. Он проматывал баснословные суммы в ресторанах, ведь он любил хорошую еду и вино; это была важнейшая часть его жизни. Одевался он невероятно элегантно. Обычно носил синие костюмы в цвет глаз, и таких костюмов у

него были десятки. Они всегда сидели на нем безукоризненно. Он тщательно за собой ухаживал, обильно пользовался косметикой «Макс Фактор» и чрезмерно осветлял волосы. В его ванной, которая больше походила на гримерку звезды, стояли всевозможные косметические средства и самые дорогие духи из Парижа. Он показал мне, как укладывать волосы. У него это получалось гораздо лучше, чем у меня.

Из-за здоровья Кеннету пришлось уехать из города, и мне стало очень грустно и одиноко. Ко мне переехал Лоуренс, потому что он сломал ногу и не мог карабкаться по лестнице в свою квартиру. Я устраивала для него вечеринки каждый день, чтобы ему не приходилось никуда мотаться с его ногой.

Однажды днем, когда я думала, что Кеннет еще за городом, Путцель привел его в галерею. Я как раз собиралась на обед, хотя было уже четыре часа, и Кеннет отвел меня в бар и накормил. Он был очень нежен со мной, но его неуловимая и уклончивая натура начинала проявлять себя. Он давал мне понять, что не хочет ни на чем останавливаться и не хочет, чтобы на него в чем-либо рассчитывали. Мне кажется, единственным, что заставляло меня продолжать этот роман, был дух Джона Холмса, который обещал мне рядом с Кеннетом покой. Покой — это все, что мне дал сам Джон, тогда как остальное в нашей жизни оставалось неразрешенным.

В скором времени Кеннету стукнуло тридцать девять. Джимми Стерн, не зная о моей влюбленности в Кеннета, взял меня на вечеринку, которую для Кеннета устроил его друг. Джимми думал, что представит меня новому миру. Получилось смешно, но Кеннет держался чрезвычайно неестественно и вежливо — таким я его не выносила.

За несколько дней до этого я отправила ему красивую статуэтку Корнелла, выбранную Путцелем, в качестве подарка на день рождения. Мой секретарь Джон доставил ее и вернулся под впечатлением от того, как Кеннет на самом деле живет, о чем он мог судить по донесшемуся из-за двери аромату виски. Я заревновала и почувствовала себя в стороне от личной жизни Кеннета.

Когда Джон ушел в армию, Путцель настоял на том, чтобы занять его место. Я сопротивлялась этой катастрофе два года, но теперь дала слабину, потому что думала, что так я стану ближе к Кеннету: они с Путцелем были большими друзьями.

Я продолжала невразумительный роман с Марселем. Эта связь никогда не значила много ни для одного из нас; мы знали друг друга так долго, что были как брат и сестра. Я звонила ему, если у меня было настроение, или он приходил в галерею и вел

меня на свидание на обед. Вместе с тем он был моим исповедником и знал все о моих отношениях с Кеннетом. Мне часто было сложно оторваться от Кеннета ради встреч с Марселем, и один раз я позвонила ему из бара и отменила встречу под предлогом того, что я слишком пьяна, в чем точно не соврала. Марсель всегда делал вид, будто ему все равно. Он не верил в эмоции и точно не верил в любовь, но чувствовал он больше, чем говорил. Быть с Кеннетом всегда значило пить сверх меры. Думаю, Марсель понимал, что я чувствую к Кеннету, и скоро прекратил наши отношения, сказав, что я веду себя слишком неосторожно и его жена может обо всем узнать. Я согласилась с ним и вздохнула с облегчением, когда все было кончено: теперь я могла сосредоточиться на Кеннете. Когда я не пошла к Марселю, Кеннет спросил, не пожалею ли я об этом, намекая на то, чего я не получу, если останусь с ним. Конечно же, мне это было совершенно не важно.

К выпуску второго номера журнала «*VVV*» Кислер устроил большую вечеринку. Само собой, меня он не пригласил, поскольку я не пускала его на порог моего дома после истории со счетами за отделку галереи. Тем не менее я была полна решимости попасть туда любой ценой, и когда не получила приглашения, Лоуренс предложил мне притвориться юношей и нарядиться в одежду Синдбада, которая осталась у меня дома. Я нашла красивый синий костюм и кепку, в которую спрятала волосы. Я нарисовала горелой пробкой на лице бакенбарды и небольшую бородку. Потом я позвонила Кеннету, рассказала ему об этом и попросила быть моим спутником. Он находил эту идею очень занятной, пока не увидел, в какого я превратилась чумазого греческого мальчика. Кеннет поправил мой макияж, но ему все равно было слишком стыдно идти со мной вместе, и он, оставив меня на пороге, зашел на вечеринку один. Он сказал, что не знает Кислера и поэтому стесняется входить со мной. Тем не менее я пользовалась большим успехом, и никто меня не узнал, кроме Макса, который поспешил покинуть вечер вместе с мисс Таннинг, как только я вошла, словно я была дьяволом во плоти. Там был Жорж Дютюи, и он спросил у Джин: «*Qui est ce garson? Il a l'air tres interessant*». Джин ответила: *«C'est un Grec». «Ah oui, je comprends»*[76], — сказал Дютюи. Когда Кислер узнал, кто я, он так обрадовался, что мы немедленно помирились и с тех пор оставались друзьями. Я решила, что, если я однажды куплю дом в Америке, Кислер его декорирует.

Вскоре после этой вечеринки вновь пришло время искать новый дом. Нам обоим надо было куда-то переехать в октябре. Мой дом продали без моего ведома, а Кеннету стало слишком

тесно в его квартире. Я имела легкий доступ к спискам свободных квартир через моего старого друга-агента, Уоррена Марка, и поделилась им с Кеннетом. Обойдя места из списков, мы шли по барам и пили всю вторую половину дня. Галерею я оставляла на Путцеля, который каждый раз, когда я уходила на обед с Кеннетом, приговаривал: «Видимо, тебя ждать к пяти».

Я была полна решимости снять квартиру вместе с Кеннетом. Он хотел жить в легкодоступном районе, так что мне пришлось отказаться от реки, хотя я бы предпочла именно ее. Каждый день нам давали новый список. Мы осмотрели огромное количество квартир, и все они были безнадежны за исключением одной двухэтажной квартиры-дуплекса. Она была идеальна во всех смыслах (разве что в ней была всего одна кухня), и мы решили взять ее. Всех привела в ужас такая перспектива, и наши друзья в один голос предостерегали нас об опасностях общей кухни. Но Кеннет почти никогда не ел дома, и мы подумали, что наши друзья глупят. Путцель чуть не сошел с ума от ревности. Нам пришлось снести три стены, чтобы объединить четыре ненужные нам комнаты для прислуги в одну. Путцель краем уха услышал телефонный разговор об этом и решил, будто мы хотим поставить стену между нашими половинами. Он не понимал, что происходит, и был вне себя, когда узнал, что мы сносим стены, а не возводим их. Он постоянно подталкивал меня к Кеннету и злился, когда мы становились ближе.

Наша новая квартира-дуплекс была изумительна. Она располагалась на двух этажах в двух особняках; двенадцать ее окон выходило на передний фасад и двенадцать — на задний с видом на террасы и сады. На верхнем этаже, который достался Кеннету, была большая спальня, гостиная и огромный банкетный зал. На этом же этаже располагалась кухня и буфетная. Этаж ниже, куда вела великолепная лестница эпохи Регентства, полагался мне с его тремя комнатами и еще одной на месте спален прислуги. Было неудобно ходить по лестнице наверх на кухню, но, с другой стороны, у меня было четыре ванных, а у Кеннета только одна. Я заставила его подписать договор аренды, потому что он был крайне безответственен, и так я чувствовала себя спокойней.

После подписания договора мы многие часы провели в барах, обдумывая отделку нашего будущего дома. В здании при входе был большой холл, откуда наверх шел лифт. К нашей квартире не вело лестницы — у нас была только регентская лестница между этажами, а в остальном мы практически полностью зависели от лифта. Пожарной лестницей полагалось пользоваться только в случае пожара: для этого надо было выломать дверь, что

автоматически включало сигнализацию. Мы неделями выдумывали всевозможные невероятные идеи для оформления холла. Меня ужасали предложения Кеннета, совершенно легкомысленные и довоенные, на которые я никак не могла согласиться. Несмотря на свои левые политические взгляды, он не осознавал, что роскошная жизнь в погоне за удовольствиями осталась в прошлом и больше не вписывается в современные реалии. К счастью, он все это предлагал не всерьез. Тогда я, с его разрешения, заказала Джексону Поллоку стенную роспись шириной в двадцать три фута и высотой в шесть. Марсель Дюшан посоветовал ему написать картину на холсте, чтобы она не оказалась заброшена, когда я перееду. Это была замечательная и крайне удачная для Университета Айовы идея — именно ему я подарила полотно, когда уехала из Америки. Теперь оно висит в студенческой столовой.

Поллок добыл огромный холст, и чтобы его повесить у себя в квартире, ему пришлось снести стену. Он сидел напротив него днями, лишенный всякого вдохновения, и все глубже погружался в депрессию. Он отправил свою жену Ли Краснер за город в надежде, что в одиночестве он обретет больше свободы и к нему придут новые идеи. Когда Ли вернулась, она обнаружила его по-прежнему в раздумьях — он не начал работать и даже не пытался. Наконец через три недели колебаний он начал неистово метать краску на холст и закончил картину за три часа.

Этот холст получился более абстрактным, чем предыдущее творчество Поллока. Он представлял собой повторяющуюся череду абстрактных форм, переплетенных в ритмичном танце, синего, белого и желтого цвета, закапанных сверху словно стекающей черной краской. Макс Эрнст когда-то изобрел и смастерил очень незамысловатый механизм, который покрывал его полотна стекающей краской. В то время меня это привело в ужас, но теперь я с готовностью приняла такую манеру живописи.

При установке огромного холста возникла проблема: он оказался больше стены, для которой предназначался. Поллок пытался закрепить его самостоятельно, но не преуспел, из-за чего ударился в истерику и начал опустошать в моей квартире все бутылки, которые я специально спрятала, зная о его пристрастии. Он не только названивал мне в галерею каждые несколько минут, чтобы я немедленно пришла домой и помогла ему разместить картину, но так напился, что разделся и голым ворвался в гостиную на вечеринку Джин Коннолли, жившей со мной. В конце концов на помощь пришли Марсель Дюшан с рабочим и установили холст. Он смотрелся замечательно, но определенно нуждался в большем пространстве, которое у него теперь есть в

Айове.

Я была в восторге от картины, но вот Кеннет ее не выносил. Он не разрешал мне подсвечивать ее, утверждая, что от моих ламп перегорают предохранители, поэтому смотреть на нее можно было только при свете дня, или когда я спускалась вниз и тайком включала свет. Все хотели увидеть ее. Как-то дождливым вечером к нам зашел Джеймс Соби по дороге из Музея. Он не смог найти такси и вымок до нитки. Я боялась, что он простудится, поэтому одолжила у Кеннета рубашку. Однако Соби согласился только на стакан крепкого виски с содовой, который, как он утверждал, его спас. Разумеется, он был в восторге от картины.

Однажды за обедом Кеннет сообщил нам с Путцелем, что собирается арендовать дом на Лонг-Айленде и пригласить нас туда. На следующий же день он забыл об этом, но не я. Я немедленно вцепилась в идею снять с ним дом на лето. Я соблазняла его красивым домиком на Адирондаке, но этот вариант оказался слишком непрактичным, хотя мы оба очень хотели туда поехать. Потом я сняла дом своего друга в Мейне, но мы подумали, что это слишком далеко, и отказались от него. В конце концов мы решили поехать в Коннектикут и жить по соседству с Лоуренсом и Джин Коннолли. (Это место было на берегу озера, где запрещалось купаться евреям.) Я уговаривала Кеннета встретиться с владельцем и заключить договор на свое имя, но он взбунтовался и отказался говорить с таким человеком, поэтому мне пришлось отправить своего друга Пола Боулза.

Перед поездкой в Коннектикут я послала Синдбаду телеграмму и попросила его взять увольнительную на три дня, после чего полетела к нему во Флориду на День независимости. Он был расквартирован в Дрю-Филд под Тампой. Жара стояла страшная, но мы замечательно провели время и в основном ходили в испанские рестораны и на пляж. Я не видела Синдбада с зимы, когда его призвали, и была счастлива нашей встрече. Мы очень любили друг друга и с удовольствием проводили время вместе. После окончания его увольнительной я осталась еще на несколько дней, чтобы проводить с ним вечера, но видеться со мной ему было слишком тяжело из-за выматывающей жары и долгих часов на службе.

Днем мне было нечем заняться, и у меня было много свободного времени. Кеннет попросил навестить его друга в госпитале в Дрю-Филд — тот сломал бедро и ждал отставки из армии. Я встретила его как-то раз на вечеринке у Кеннета, но боялась, что он не узнает меня, поэтому предупредила о своем визите запиской. Я заблудилась в Дрю-Филде и, пробравшись

через горячие болота, вошла в госпиталь через заднюю дверь. Медсестра сказала мне, что рядовой Ларкинс на десятой койке. Я легко нашла его; выглядел он очень странно. Из-за травмы он был зафиксирован в полуподвешенном состоянии хитроумным устройством, похожим на натянутые нити Кислера в моей галерее. Он спал, когда я пришла, и, не желая его будить, я села и стала ждать, пока он проснется. Спустя долгое время я решила осторожно тронуть его пальцем. Жара стояла ужасная, и в палате лежало множество несчастных солдат в гипсе со сломанными шеями и прочими увечьями. Одному из них нельзя было двигать головой, и ему приходилось не сводить глаз с шарика, подвешенного к потолку.

Казалось, Ларкинс мне обрадовался, но я почувствовала, будто вырываю его из другого мира, и не знала, правильно ли я поступаю. У меня создалось странное впечатление, будто он пролежал там уже много месяцев с терпением Будды и ничего не имел против такого положения вещей. Я простодушно разболтала ему все о нашем дуплексе и планах на лето, не подозревая, что он станет орудием зла и разрушения в моей жизни и что я своей болтовней сама на себя навлекаю беду. К несчастью, оказалось, что он тоже тайно влюблен в Кеннета. Он притворялся, будто рад нашим планам, и принял мое приглашение провести с нами лето, если успеет уволиться из армии. Я навестила его дважды и принесла ему книги. Позже я написала ему из Коннектикута, не догадываясь, как я потом пострадаю от его рук.

Когда я заключила договор аренды на дом в Коннектикуте, Кеннет решил, что приедет только через десять дней, а поскольку дом мы сняли на месяц, это значило, что он проживет там только три недели. Я не видела нужды его торопить и была рада, что он приедет хотя бы ненадолго. Он помог закупить еду и одолжил постельное белье — мое было в хранилище; дал мне масло и еще кое-что и погрузил все это в машину. Я взяла с собой старого друга, русского, который хотел вырваться из Нью-Йорка на несколько дней, так что, когда Кеннет приехал через десять дней, дом был приведен в порядок. Может, на это он и рассчитывал.

К тому времени меня уже знали в округе как миссис Боулз, поскольку дом был арендован под этим именем. Сам дом был кошмарный, но прямо напротив его двери раскинулось живописное запретное для евреев озеро. Мне нравилась моя жизнь с Кеннетом и особенно то, что мы делили обязанности и расходы — от этого я чувствовала нас семьей. Готовил чаще всего он; у него это получалось значительно лучше, чем у меня. Он не только занимался едой, но придирчиво следил за порядком и без конца чистил холодильник. Я мыла посуду и изредка готовила.

Мы ездили за покупками на моем автомобиле, слушали радио — тоже в автомобиле, много купались и загорали, развлекали соседей и ухаживали за моими котами. Мне казалось, будто я замужем за Кеннетом, и была абсолютно счастлива и в кои-то веки спокойна. Нас несколько раз навещал Путцель и Пол Боулз с женой, настоящей миссис Боулз. По-моему, Кеннет тоже был счастлив и только один раз сорвался и непременно захотел поехать в Нью-Йорк. Удивительно, но меня он тоже позвал с собой. В тот вечер Пол возвращался в город, и мы поехали с ним все вместе. Кеннет тогда довольно сильно ревновал меня к Полу.

Когда мы приехали в Нью-Йорк, Кеннет отправился на встречу, и я попросила Пола приютить меня на ночь в большой квартире, которую он арендовал на лето у Вирджила Томпсона. Мы провели чудесный вечер. Я лежала на полу на надувном матрасе в его африканском халате, а он играл для меня свои композиции. Мы даже занялись любовью. Он был очень хорошим композитором-модернистом. Еще у него были десятки бутылочек с экзотическими благовониями, которые он сам смешивал, и одно амбре он нанес мне на запястья. На следующий день мы обедали вместе с Мэри, Марселем, Кеннетом, Путцелем и Полом, который пришел в белом костюме и смотрелся очень изящно и изысканно.

После обеда мы с Кеннетом поехали в его квартиру и там стали слушать музыку на фонографе. Мы сидели рядом, он обнимал меня, и я, как обычно, чувствовала себя в раю. Мы пропустили свой поезд в Коннектикут и несколько часов ели и пили в баре на Центральном вокзале. Наконец мы доехали до дома.

Эти три недели мы жили с Кеннетом как супруги за исключением одного аспекта: мы не спали вместе. Однажды ночью он предложил мне лечь с ним, потому что я была очень напугана. В саду Джин мы увидели на земле не то труп, не то еще какую-то неведомую фигуру. Это было после вечеринки по пути домой. Когда мы сходили за фонарем и вернулись, труп уже исчез, но не жуткое воспоминание о нем.

В то время нам было так хорошо вместе, что мы строили всевозможные планы на будущее. В феврале мы решили поехать на Кубу и оставить галерею на Путцеля. Кеннет обещал свозить меня в Грецию после войны — я там никогда не была, а он очень любил эту страну.

Глава 16
Жизнь в дуплексе

Кеннет настоял на том, чтобы мы, как и договаривались, 1 сентября вернулись в Нью-Йорк, хотя могли бы и задержаться до Дня труда. Он хотел, чтобы я отвезла его обратно. Ему так было удобнее, так что я, естественно, не возражала. По возвращении я одна переехала в дуплекс — Кеннет ждал кое-какую мебель, оставшуюся в доме, который он пересдал другим людям. Видимо, поначалу в этой огромной квартире мне было очень одиноко, потому что я приглашала к себе самых странных людей.

Джин Коннолли переехала ко мне на несколько недель и в итоге осталась на всю зиму. Он была влюблена в Лоуренса и стала бы ему прекрасной женой, так что больше смысла было бы ей жить с ним, а не со мной. Она много лет прожила в Англии, где была замужем за Сирилом Коннолли, светочем английской литературной критики. Джин была красивой брюнеткой на двадцать лет моложе Лоуренса, очень умной и приятной в общении. Она близко дружила с Кеннетом, но в скором времени, хоть и без злого умысла, стала источником больших проблем в нашей *ménage*[77].

Пока Кеннет обустраивался на своем этаже, он все свободное время проводил в моей квартире. Он то и дело норовил сбежать из хаоса, царившего наверху. Пол его банкетного зала был завален всевозможным хламом и выглядел, как блошиный рынок. Чтобы навести там порядок, потребовалось много дней. У него было много изысканной мебели, и он потратил целое состояние на отделку квартиры. Я ощущала отчетливый контраст между нашими представлениями о комфортной жизни. Поначалу казалось, что ему уютно у меня, но он, конечно же, предпочитал свой стиль. Наши вкусы сильно отличались, и нам никогда не нравились квартиры друг друга.

Обустроившись, Кеннет объявил *regime*[78] закрытых дверей. У него была своя жизнь среди своих друзей. Когда они бывали у него, мне всегда давали понять, что мне не рады.

Домашнее хозяйство мы разделили незамысловато. У каждого был свой холодильник. Холодильник Кеннета стоял в буфетной, которую он считал своей территорией, а мне он предоставил кухню с большим холодильником. Мне приходилось пересекать его буфетную, чтобы попасть в мою кухню, а ему приходилось готовить на моей кухне. Я всегда поднималась туда по черной лестнице и громко шумела, доставая лед, чтобы

выманить Кеннета в буфетную. Иногда дверь в его квартиру была загадочно закрыта; иногда он приглашал меня выпить. Почти всегда он выходил в буфетную, когда слышал, что я там.

Кеннет был так непостоянен, что никогда нельзя было знать, чего от него ожидать. Джин вела себя бестактно и брала без спросу все, что Кеннет оставлял без присмотра. Однажды вечером она взяла его бутылку скотча. Это был единственный скотч в доме, и за этим последовал большой скандал. Придя домой, Кеннет бросился в поисках бутылки на нижний этаж и накричал на Джин. По утрам он просил ее выпить с ним. Он говорил, что это его первый стакан, но, скорее всего, это был примерно третий, поскольку дело обычно происходило ближе к полудню. Она привыкла заходить наверх всякий раз, когда слышала грохот льда; она считала, что это приглашение. Я в это время работала в галерее и не участвовала в их ежедневных посиделках. Через какое-то время Кеннету надоело, что Джин постоянно приходит без приглашения, и он пожаловался мне. Я передала ей его слова, и она перестала. Тогда он начал по ней скучать. Он постоянно был недоволен тем, что имеет, и хотел то, чего у него нет. Если в моей квартире жило много людей, он возмущался, но если он оставался один в здании, ему становилось одиноко. Когда Джин перестала пить с ним, это его разозлило. Для счастья ему в жизни было необходимо недовольство.

В то время я стала рабыней собаки Кеннета, боксера по кличке Император. Хозяин совсем не уделял ему внимания, поэтому пес сильно привязался ко мне, а Джин даже назвала его мистер Гуггенхайм. Он спал на коврике рядом с моей кроватью и все время проводил с моими персидскими котами Джипси и Ромео, которых обожал. Кеннет очень ревновал Императора ко мне и моим котам. Огромный пес постоянно убегал на нижний этаж, что, надо сказать, было совершенно неудивительно, учитывая, как одиноко и грустно ему приходилось наверху в частое отсутствие Кеннета. Я каждый день брала Императора с собой в галерею, а поскольку его не пускали в автобус, я всюду ходила с ним пешком, как рабыня, и приводила домой к его ужину в шесть часов. Можно сказать, он заменил для меня мою дорогую Качину. Кеннет радовался, что нашел для Императора няньку, а я радовалась, что люди видят меня с собакой Кеннета. Этот аспект ситуации тоже приносил ему удовольствие. Каждый вечер, когда Кеннет приходил домой, он звал Императора на последнюю прогулку, а я пользовалась возможностью и приглашала его выпить. У нас вошло в привычку засиживаться до четырех утра.

В октябре Пегин по-прежнему была в Мексике, куда она

уехала на летние каникулы. Это был ее второй визит — она провела там прошлое лето с двумя подругами, когда нас выдворили с Кейп-Код — но на этот раз она поехала одна. Неожиданно я получила письмо, которое Леонора послала миссис Бернард Райс с просьбой предупредить меня, что Пегин оказалась в опасной компании и мне надо незамедлительно поехать за ней или послать кого-то на помощь. Я попыталась забронировать билет на самолет, но ближайший вылет был только через неделю. Тем временем мы с Лоуренсом пытались ей дозвониться. Наши звонки постоянно задерживали, а когда пропускали, Пегин никогда не брала трубку. В конце концов я позвонила Леоноре в Мехико и попросила ее помочь Пегин. Она отказалась, сказав, что спасение Пегин из плохих рук потребует слишком большой ответственности, авторитета и денег. Все это звучало настолько страшно и немыслимо, что мы ударились в совершенную истерику. Даже Кеннет спросил у своего адвоката, сможет ли он получить мексиканскую визу и поехать со мной. (Лоуренс родился в другой стране и потому должен был ждать свою визу шесть недель.) Внезапно мы получили телеграмму и несколько писем от Пегин, в которых она говорила, что с ней все в порядке и она вернется, как только добудет билет на самолет, а потом письмо от Леоноры, в котором она извинялась за причиненные хлопоты. Это была ее очередная безумная выдумка.

Я отменила бронь билета и порадовалась, что не улетела, потому что внезапно в отпуск приехал Синдбад. Его удивили мои странные отношения с Кеннетом. Он признал, что тот хорош собой, но не мог понять, что мне за радость от моего сомнительного положения. Я старалась обо всем открыто говорить с детьми и попыталась рассказать Синдбаду о своих чувствах, но ему это все показалось очень глупо и неприлично. Мы хорошо провели с ним время, но его отпуск слишком быстро подошел к концу. Приезд Синдбада полностью занял мои мысли, поэтому, когда мне позвонила авиакомпания и сообщила, что у меня сегодня самолет в Мехико, я подумала, что совсем тронулась умом; к счастью, мы выяснили, что на самом деле я отменила бронь несколько дней назад. Синдбад отправился обратно во Флориду. Мы встали проводить его в семь утра; он улетал на том же самолете, что Пегин — в Мексику. Когда мои дети исчезали за этой дверью, похожей на вход в пещеру, и садились на автобус до аэропорта Ла-Гуардия, мне всегда казалось, будто их поглощает какой-то страшный монстр и я их больше никогда не увижу.

В октябре 1943 года я открыла сезон чудесной выставкой ранних работ де Кирико. Для нее я позаимствовала примерно

шестнадцать полотен у музеев и частных коллекций. Мы с Кеннетом влюбились в «Меланхолию и тайну улицы», принадлежавшую капитану Резору, сыну миссис Стэнли Резор. Мы попробовали ее купить, но тот не собирался с ней расставаться ни за какие деньги. Это потрясающая картина. На ней маленькая девочка катит обруч по темной пустынной улице Северной Италии. Пустые пассажи и брошенный цирковой фургон добавляют атмосфере особенную поэтическую мрачность.

Следом прошла выставка Джексона Поллока. Он нарисовал прекрасные, захватывающие дух картины, оправдав все мои ожидания. Джеймс Джонсон Суини написал для каталога предисловие, которое воодушевило публику. Суини так много помогал мне с Поллоком, что я даже стала относиться к Поллоку как к нашему общему духовному детищу. Суини по сути занял в моей жизни место мистера Рида. Он постоянно давал мне советы и выручал. Я не переношу мужчин, которые критикуют меня, при этом не имея надо мной власти. Суини имел надо мной власть, но не критиковал меня, поэтому между нами царило идеальное согласие. Кеннет помог нам развесить экспонаты и купил лучший рисунок на выставке. Он имел замечательное чутье и всегда знал, чего хочет. За тот год мы продали много Поллоков, одного даже Музею современного искусства — они, как всегда, перед покупкой размышляли полгода. Удивительно было то, что полотно купили без торга, благодаря стараниям Барра и Суини. После открытия я устроила в честь Поллока вечеринку, и в какой-то момент мы все оказались в квартире Кеннета. Он делал вид, что злится, но я думаю, ему понравилось.

В тот день примерно в два часа утра я поскользнулась и сломала лодыжку. Я не поняла, что у меня перелом, но никого не подпускала к себе, кроме Джуны и Кеннета, которые отнесли меня в кровать. На следующий день я не могла ходить, но думала, что все как всегда и со мной такое уже много раз бывало. Лоуренс уговорил меня съездить с ним к его австрийскому врачу, и тот немедленно диагностировал перелом лодыжки. Мне сделали рентген, и врач сказал, что я, судя по всему, уже ломала ее в том же месте два месяца назад, когда жила в квартире одна и не стала ничего по этому поводу делать — я просто скакала на одной ноге. Доктор Краус был замечательным маленьким мужчиной; он наложил мне на ногу гипс со скобой, которая снимала нагрузку с лодыжки, и разрешил мне ковылять по мере возможностей. Так что лежать мне не пришлось, и я могла каждый день ходить в галерею. Я носила синий вязаный носок на больной ноге вместо обуви, и все думали, что я пытаюсь одеваться в духе сюрреализма и восхищались моим выбором цвета. Когда я сняла гипс, уход и

упражнения окончательно исцелили мою лодыжку. Пока я поправлялась, я не имела возможности гулять с Императором.

Из-за Императора в квартире ничего нельзя было сделать в тайне. Для него и котов приходилось держать двери приоткрытыми. Коты через сложный лабиринт открытых дверей добирались до своей коробки, а Император — в верхнюю квартиру, когда Кеннет приходил домой. У нас с Кеннетом тогда было много хлопот по дому, в первую очередь как раз из-за персидских котов с псом. Наша жизнь стала не просто скучной, но откровенно неприятной. У котов в дальней части дома была своя комнатушка с коробкой. Там пахло как в джунглях, хотя коробку чистили каждый день. Вонь заполонила всю мою квартиру и поднималась даже в кухню и комнаты Кеннета. Но хуже всего было то, что Император, с которым Кеннет гулял слишком мало, привыкнув, что за псом ухаживают многочисленные слуги или я, стал совсем нечистоплотным. Мне кажется, его дисциплину подрывал тот факт, что коты обладали привилегией в виде собственной комнаты и не имели нужды ходить на улицу; он начал гадить на пол вокруг коробки, потом все дальше и дальше и, наконец, изгадил всю мою квартиру. Поначалу я спокойно убирала за Императором сама, тем более что Кеннета в буквальном смысле выворачивало, если ему приходилось это делать. Но пес вел себя все хуже и хуже, и больше всего меня выводило из себя, что он никогда не делал этого наверху — он боялся, что Кеннет устроит ему взбучку. Я не решалась бить его сама: Кеннет предупреждал меня, что это может быть опасно. Весь тот период я металась по дому с совком, словно уборщик в цирке между номерами. Каждый раз, возвращаясь домой, я содрогалась при мысли о том, что может ждать меня при выходе из лифта.

В конце концов мы отдали Джипси другу Кеннета, а Ромео я обещала брату Поллока. Отчасти я это сделала ради Кеннета и отчасти потому, что сама не могла выносить запаха. И все же я сильно любила Ромео и оказалась не готова с ним проститься. Поэтому, уже решив отправить его за город, я послала брату Поллока телеграмму в местное маленькое почтовое отделение со словами: «Не могу расстаться с Ромео. Приношу извинения».

После этого я отправила Ромео в зоомагазин в надежде, что случка сделает его менее зловонным. До этого я несколько недель пыталась свести его с Джипси, но без успеха. В витрине магазине по соседству я увидела красивую персидскую кошечку и попросила хозяев послать за Ромео, когда у нее начнется течка. Увы, затея потерпела фиаско, и Ромео, совершенно не оправдав своего имени, с позором вернулся обратно. Хуже того, теперь его привычки изменились, и он начал гадить в моей комнате по три

раза за ночь. В конце концов это вынудило меня от него избавиться.

Император продолжил меня мучить. С ним проблему решить было сложнее. Все друзья Кеннета говорили мне, что я не должна сама убирать за псом, что это дело Кеннета. Я стала сообщать ему в записках, сколько раз за день Император напакостил, и тогда, спустя долгое время, Кеннет таки решил отправить его за город.

Кеннет очень хотел заставить всех думать, будто я его любовница. Даже мне самой порой казалось, что это так. Когда я бывала у него в квартире по воскресеньям (он всегда в этот день готовил для меня обед), он бросался вниз всякий раз, когда у меня звонил телефон, и брал трубку. Он хотел, чтобы люди не только знали, что я у него наверху, но что он имеет право отвечать за меня на звонки. Он часто приводил вниз своих друзей и вел себя в моей квартире как дома, чему я была только рада. Он хотел, чтобы все думали, будто я принадлежу ему. Он был очень добр к людям в беде; к нему постоянно обращались, и он спешил кому-нибудь на помощь. Это и способствовало нашему сближению с самого начала; пускай я не нуждалась в его финансовой помощи, я определенно нуждалась в моральной.

Из-за влияния Кеннета я вдруг совершенно сменила стиль одежды. Я перестала одеваться как потаскуха и стала покупать дорогие вещи, в том числе пальто из куницы, которое стоило мне целое состояние. Оно очень нравилось Кеннету, и он, имея трепетное отношение к вещам, заставлял меня поднимать подол каждый раз, когда я садилась. Как-то раз я сказала, что другого такого пальто я не куплю никогда в жизни, и он ответил: «Если будешь со мной, то, может, и купишь». Он ненавидел красный, и я, хотя это был мой любимый цвет, перестала носить любые его оттенки. Я купила узкий голубой костюм на пуговицах, который он обожал, потому что в нем я походила на мальчишку. Ему нравилось, что во мне было что-то от *gamin*[79].

В то время мы с Кеннетом были очень счастливы вместе. Он зависел от меня и без меня бы совсем потерялся. Когда ему казалось, что я отдаляюсь, он пускал в ход всю свою харизму, чтобы меня вернуть. Путцель говорил, что он «подбрасывает дров в очаг». Мне кажется, Кеннет тогда практически считал меня своей женой.

Джин спала в моей кровати, и однажды вечером я уговорила ее позвать Кеннета спать с нами. В следующий раз я поняла, что ее присутствие ни к чему, и попросила ее заночевать в спальне, которую я сделала для Пегин. Думаю, Кеннету не нравилось, что Джин постоянно спала со мной. Мне уже давно стоило ее переселить. Как-то ночью, когда она лежала в моей кровати,

Кеннет неожиданно пришел поговорить со мной. Я попыталась ее спрятать. Скорее всего, он понимал, что наши отношения носят исключительно невинный характер, но я чувствовала его недовольство.

Мы никогда не пользовались нашей роскошной регентской лестницей. Мы с Джин всегда поднимались на кухню через черную дверь. А поскольку встречи на кухни во многом определяли нашу жизнь, мы с Кеннетом практически поселились на полпути. Мы часто сидели на ступенях, как прислуга. Было смешно, что, имея такую огромную и красивую квартиру, мы все равно оказывались на черной лестнице.

Однажды я попросила Макса зайти ко мне в квартиру и забрать оставшиеся предметы его коллекции примитивного искусства. Их оставалось совсем мало; он постепенно выносил их по одному, и дом на реке в итоге остался голым, как больница. Еще я хотела показать ему коллекцию Кеннета. Помимо нескольких работ Макса он купил у меня «Наряд из воздуха» Танги, замечательного Клее, изумительного Миро, Пикассо и Брака. Путцель постоянно уговаривал его купить больше.

Придя домой с Максом, я с удивлением обнаружила в своей гостиной Марселя Дюшана и Лоуренса Вэйла за партией в шахматы. Я не ожидала их тут увидеть, поэтому расхохоталась сразу по нескольким причинам. Марсель, как обычно, изображал отстраненного зрителя на этой встрече моего прошлого, настоящего и будущего. Я пригласила вниз Кеннета, довольно скованного в роли правящего принца; он принялся извиняться за свой домашний наряд. Макс никогда не понимал, что связывает меня и Кеннета, как, должно быть, и многие другие — мои друзья уж точно не раз задавали мне бестактные вопросы.

Чего Кеннет хотел от меня и что сделало бы нашу совместную жизнь комфортной для него, так это одностороннее устройство наших отношений. Он определенно предпочел бы, чтоб я жила в своей квартире, была в его распоряжении всякий раз, когда ему того хотелось, и не мешалась в остальных случаях. Прежде чем я успела прийти к такому устройству, все было кончено. Я уже решила, что у нас наконец все наладилось, когда Джин однажды уехала на выходные, а мне уже давно следовало попросить ее уехать, но вдруг из Мексики вернулась Пегин, и наша жизнь стала еще сложнее.

Те выходные, что мы провели вдвоем, были очень счастливыми. Они начались, когда Кеннет пришел за мной в обед в галерею и оставил запись в гостевой книге, окрестив меня чудесным новым именем. Он объединил свою фамилию и фамилию Макса, изменив в них только одну букву. После обеда

мы пошли выбирать ковер для холла в нашем доме. Затем Кеннет отправился ждать меня в бар, а я пошла на скучное, но обязательное для посещения открытие выставки моего друга и купила там маленькую скульптуру, которую позже подарила Кеннету. Потом мы пошли домой. Ему нужно было закончить квартальный обзор для художественной газеты. Мы вместе поужинали, а после пошли на фильм «По ком звонит колокол». Вернувшись домой, мы стали читать стихи, а после я попросила его провести со мной ночь, на что он, к моему удивлению, согласился. На следующий день мы вместе пообедали, и ночью я спала с ним наверху. А потом приехала Джин, и все стало по-другому.

Однажды ночью в полночь, когда я уже лежала в кровати (давая отдохнуть своей больной лодыжке) и Кеннет спустился поговорить со мной, раздался звонок в дверь. Кеннет не собирался никого пускать, но в конце концов высунулся в окно, чтобы посмотреть, кто к нам так упорно ломится. Оказалось, что это Пегин наконец вернулась из Мексики. Он была в плаще и с маленькой сумкой; все остальное у нее отобрали на границе. Она выглядела совершенно беспомощной, как сущий ребенок. Мы показали ей квартиру, которую она так уговаривала нас арендовать весной, и комнату, которую я отделала для нее. Она была рада вернуться домой, но чувствовала себя потерянной в новой обстановке. Сразу же возникли сложности. Она стала ревновать к Кеннету, а Кеннет — к ней. В ту ночь я пошла спать наверх к Кеннету, но он отправил меня обратно со словами: «Ты не можешь поступать так с Пегин в первую же ночь после ее возвращения», а когда я спустилась, Пегин мне сказала: «Ты все это время спала с Кеннетом». Я оказалась между двух огней. Когда я ходила наверх к Кеннету, Пегин следовала за мной, что было вполне естественно: она не чувствовала себя дома, если я все время пропадала наверху с Кеннетом. Когда она поднималась со мной по лестнице, я приглашала ее в квартиру Кеннета, и Кеннета злило, что я позволяю себе такие вольности. Бедная Пегин относилась к Кеннету как к отчиму и в шутку называла его «папа», хотя ему это нравилось. Пегин носила высокие каблуки. Они с беспощадной громкостью стучали о мои голые полы, и еще она очень громко говорила, так что ее было слышно по всему дуплексу. Вкупе с присутствием Джин Кеннет едва мог все это вынести.

В дополнение к атмосфере царства женщин, которую мы создавали втроем, наша служанка упорно сушила белье на кухне. Надо признать, развешанные над головой бюстгальтеры, трусики и блузки представляли собой малоприятное зрелище. Я

понимала, что для Кеннета жить в окружении трех женщин сразу — это слишком, и заставила переместить белье в одну из моих ванных комнат.

Мы с Джин пытались как-то развлекать Пегин дома. Она была несчастна в Нью-Йорке и хотела вернуться в мексиканскую семью, в которой она жила, и выйти замуж за их сына. Мы с Лоуренсом противились этому по многим причинам и решили, что, если ей станет веселее в Нью-Йорке, она передумает сама.

Джин часто готовила для нас. Она трогательно заботилась обо мне, когда я сломала лодыжку; по ее поведению можно было подумать, что она моя жена. Готовка давалась ей очень хорошо. И Пегин, и Кеннет любили есть дома.

Вскоре после этого Дэвид Ларкинс, которого Кеннет ждал уже несколько недель, неожиданно сообщил о своем приезде. Накануне его прибытия я поднялась в квартиру Кеннета и попыталась остаться на ночь. У него случилась настоящая истерика, и он выдворил меня со словами: «Как ты можешь о таком думать, когда завтра приезжает Дэвид?» Я не увидела между этими двумя вещами никакой связи. Однако это явно было дурное предзнаменование. На следующее утро, когда я собиралась в галерею, Кеннет позвал меня наверх и сказал: «Дэвид приехал. Зайди поздороваться с ним». Мы все были рады видеть друг друга, или по крайней мере делали вид, что это так. Мы обсудили все наши переломанные кости, выпили, и я отправилась в галерею.

У Дэвида на фоне утомления от дороги случился некий рецидив, и он несколько дней провел в постели. После этого мы стали много времени проводить все вместе. Кеннет сводил нас в оперу, и мы, как всегда, весь вечер держались за руки. Я плохо ходила из-за скобы, которую я все еще не могла снять, и Кеннет с большой заботой помогал мне спускаться и подниматься по лестнице Метрополитен-оперы. Через несколько дней Кеннет устроил вечеринку в честь Дэвида.

Я купила несколько ярдов розовой тафты, чтобы обить ею кресло, но потом решила сделать из нее платье. Кеннет нарезал ткань, а пошивом занялся портной. Я смотрелась как персонаж из оперы Моцарта. Вечеринка прошла не слишком удачно. Кеннет не умел правильно выбирать гостей, и в итоге атмосфера в квартире царила слишком формальная. Я пригласила Джипси Розу Ли и большую часть вечера разговаривала с ней. Она выглядела крайне эффектно в восхитительном костюме от Джона Фредрикса, и все женщины ей завидовали и язвили в ее адрес. Кеннет, судя по всему, рассчитывал, что я буду играть роль хозяйки; он относился ко мне очень ревностно и нежно поглаживал костюм, который для

меня придумал.

Через несколько дней мы впервые поссорились. Кеннет ушел ужинать, а ко мне спустился Дэвид и сказал, чтобы я попросила управляющего домом выгулять Императора. Вернувшись, Кеннет пришел в мою комнату, где я лежала, давая отдохнуть лодыжке, в окружении нескольких его друзей. Я спросила, с чего вдруг он передал мне такое странное послание про управляющего и Императора. Управляющий никогда в жизни не гулял с нашим псом. Кеннет разозлился и сказал, что не передавал ничего подобного. Тогда я стала занудствовать про домашние дела и ворчать по поводу перегоревших предохранителей и прочих глупостей. Внезапно он набросился на меня прямо при своих друзьях и стал кричать, что я заставила его подписать договор аренды, чтобы снять с себя всю ответственность, что он с самого начала не хотел эту квартиру и что ему ужасно в ней живется. Когда он ушел наверх, его друг Паоло извинился за него и списал все на его нетрезвое состояние. Для меня это было слишком. Я сказала Паоло, что он не должен извиняться за Кеннета, что это мое дело и я бы не оказалась в такой ситуации, если бы степень моей близости с Кеннетом и наши отношения не делали ее возможной.

Я уверена, Кеннет никогда не рассказывал друзьям о наших отношениях. В их компании он постоянно мной пренебрегал. Он был ужасно лицемерен, и я никогда не могла понять, что у него на уме. Желая нравиться всем, он со всеми был разным.

На следующий день мне было очень плохо. Весь мой покой испарился, и я решила, что мне необходимо съехать из квартиры. Когда я уходила утром в галерею, Кеннет не извинился передо мной. Меня пришла проведать Джуна, и я, рассказав о произошедшем, отправила ее к Кеннету. Она ему очень нравилась, и он получал большое удовольствие в ее обществе. Придя домой, я обнаружила на каминной полке записку, в которой Кеннет извинялся и говорил, что будет чувствовать себя ужасно, если я уеду из квартиры. Я побежала наверх и бросилась в его объятия; он поцеловал меня, и мы помирились. Позже Джуна сказала, что Кеннет был в большом нервном расстройстве. Я решила, что виной тому наша ссора, но я, скорее всего, ошибалась. Это было начало конца.

Мы с Кеннетом давно собирались устроить большую совместную вечеринку в честь новоселья. До этого мы уже по отдельности провели два небольших приема. И вдруг Кеннет решил отпраздновать новоселье самостоятельно. Я была удивлена и разочарована. Он сказал, что слишком рискованно писать мое имя на приглашении, потому что он женат. В любом случае, он

хотел устроить изысканный прием совсем не в моем стиле, и на этом я перестала задавать вопросы. Я помогла ему составить список гостей. Мы вспомнили всех важных людей в мире искусства, ну и, конечно, Кеннет знал много кого еще. Он занялся печатью приглашений. К несчастью, ко дню вечеринки и Кеннет, и Дэвид слегли с простудой. Меж тем мы с Кеннетом пообещали друг другу больше никогда не ссориться и оставаться настоящими друзьями, с акцентом на слове «друзья». Кеннет настаивал, чтобы я не ожидала от него ничего другого. Если мне мерещилось что-то большее, то я либо выдумывала это, либо вымогала. Ему была нужна только моя привязанность.

Кеннет болел, Дэвид не умел развлекать гостей, а я не имела отношения к вечеринке — из-за этого всего, из-за крайне формальной обстановки, миллиона разных задумок и толпы чернокожих исполнителей все прошло ужасно. К тому же от нагрузки сломался лифт и стал ездить на случайные этажи. Множество людей перешло ко мне в квартиру — Суини, Барры и Соби, — и, как утверждал Кеннет, забыли с ним попрощаться, что его очень обидело. У него была высокая температура, и он совсем плохо себя чувствовал.

Худшим стало то, что под конец всего этого Дэвиду вдруг пришло в голову заняться со мной любовью. Он сказал, что влюбился в меня, когда я пришла навестить его в больнице в Дрю-Филд. Я к тому моменту была уже очень пьяна, поэтому поверила ему и устроила сцену, заявив Кеннету, что я сыта по горло и намереваюсь сбежать с Дэвидом. Должна сказать, Кеннет воспринял это очень спокойно и повел себя со мной как с избалованным ребенком. Мы с Дэвидом не уехали далеко, но любовью в ту ночь все же занялись, как и в следующую. После этого он мне сказал, что на самом деле ничего не чувствует к женщинам и предпочитает мальчиков-певчих. Разумеется, он добивался Кеннета. Мы оба были в него влюблены. Мы знали, что именно это свело нас вместе. Меня выводит из себя мысль о том, сколько мужчин спали со мной, думая о мужчинах, которые спали со мной до них.

С моей стороны было подло так поступать с Кеннетом, хотя он сам заводил разговор об этом до приезда Дэвида и ожидал, что подобное может случиться. Я находилась в своем излюбленном *rôle*[80] между двумя мужчинами и окунулась в него с головой. Я сказала Дэвиду, что без ума от Кеннета и ни за что не уйду от него, потому что он дает мне чувство уверенности и покоя. Не догадываясь, чем все это на самом деле обернется, я сказала Дэвиду, что ему в конце концов придется хуже всех. Думаю, именно твердость моих чувств к Кеннету побудила Дэвида

положить конец нашей дружбе. Он ревновал ко мне и боялся, что я выйду за Кеннета замуж. Он замыслил хитроумный план по выкуриванию меня из квартиры. Все это время Кеннет не подозревал, что Дэвид влюблен в него. Судьба играла на руку Дэвиду, и я, вне всяких сомнений, была обречена. Кеннет к тому моменту уже устал от такого количества женщин вокруг него и не любил, когда мы приходили к нему без спроса.

Неожиданно Кеннет почувствовал себя хуже; я измерила его температуру — она оказалась сорок градусов, и тогда я послала за своим врачом, который сказал мне, что я обратилась к нему в последний момент. Он сделал Кеннету укол и тем спас ему жизнь. Через два дня Кеннет получил из Англии известие о смерти его матери — как раз в тот момент, когда он сам был на волоске от гибели. С этого времени он находился полностью во власти Дэвида. Он замкнулся и не желал никого видеть. Когда я наконец увиделась с ним, он уже был очень далеко, и я поняла, что потеряла его.

Закончилось все кошмарным взрывом. Мы были на кухне, где я готовила для них с Дэвидом ужин, и вдруг Кеннет назвал меня опасной женщиной и обвинил в том, что я прочла одно из его писем. Дэвид видел, как я вскрыла конверт со счетом от нашего мойщика окон, который лежал на столе Кеннета, и нажаловался. Я хотела удостовериться, что мерзкий тип, которого я наняла, не обсчитал Кеннета, поэтому открыла концерт и проверила стоимость работ. Настоящая беда пришла, когда я выразила свое недовольство политикой закрытых дверей в нашем доме. Этого Дэвид и добивался: Кеннет вышел из себя и заявил, что не может жить по-другому и что, если я хочу сохранить нашу дружбу, я должна покинуть квартиру. Дэвид подливал масла в огонь, и мы оба злились все больше и больше. Конечно же, у Кеннета путались мысли. С момента смерти его матери он был сам не свой и не понимал, что творит. Я отказалась уезжать из квартиры и предложила занять ее целиком. Дэвид сказал, что правильнее было бы остаться Кеннету, поскольку договор аренды оформлен на его имя. Я сказала, что это чистая случайность, ведь это я нашла эту квартиру, уговорила Кеннета занять ее половину и вообще считала, что он живет здесь только из-за меня. Дэвид сказал, что квартира для меня слишком велика и я не привыкла управлять большим хозяйством. Тут я вспомнила про свой красивый дом на реке и совсем рассвирепела. Затем Дэвид предложил, чтобы я осталась, но выкупила всю мебель Кеннета. Чем больше он вмешивался, тем хуже становилось дело. Очевидно, никто из нас не хотел съезжать и чувствовал свое право остаться. В итоге никто не уехал, но между нами все было

кончено. Дэвид захватил власть на втором этаже и попытался привлечь Путцеля к попыткам вытеснить меня, но у Путцеля, разумеется, он вызвал только раздражение. В конце концов уехал сам Дэвид, когда надоел Кеннету.

Впоследствии мы с Кеннетом стали лучшими друзьями, но это уже другая история. К этому мы смогли прийти, только пройдя через все остальное. Если бы могли начать с того места, где мы оказались в самом конце, то никакой Дэвид не смог бы нас разлучить. Увы, век живи — век учись, а кому-то жизнь преподает столько уроков, что учиться уже бесполезно.

Глава 17
«Искусство этого века»

Будучи некоммерческой галереей, «Искусство этого века» в скором времени стала центром авангардной деятельности. Молодые американские художники, вдохновленные европейским абстракционизмом и сюрреализмом, основали в Нью-Йорке совершенно *новую* школу живописи, которую Роберт Котс, художественный критик «Нью-Йоркера», нарек абстрактным экспрессионизмом.

Нам посчастливилось открыть и провести первые персональные выставки не только Поллока, Мазеруэлла и Базиотиса, но также Ганса Хофмана, Клиффорда Стилла, Марка Ротко и Дэвида Хэйра. В групповых выставках участвовали Адольф Готлиб, Хедда Штерн и Эд Рейнхардт.

Мы также провели выставки де Кирико, Арпа, Джакометти, Эльона, Ганса Рихтера, Хиршфилда, Тео ван Дусбурга, Пегин и Лоуренса Вэйлов и Ай Райс Перейра. Еще у нас прошло несколько Весенних салонов, вторая выставка художников-женщин, две выставки коллажей и выставка работ неизвестных художников.

После первого Весеннего салона стало очевидно, что Поллок — его главная звезда. Мой друг, художник Матта, и Путцель уговаривали меня помочь ему — в то время он работал плотником в музее моего дяди. Когда-то Поллок был учеником знаменитого академического художника Томаса Харта Бентона, и, приложив немало усилий, чтобы сбросить с себя его влияние, он стал тем, кем я его встретила. С 1938 по 1942 год он работал по Федеральному художественному проекту Управления общественных работ США, созданному в рамках программы президента Рузвельта по сокращению безработицы.

Во время своей первой выставки Поллок все еще находился под сильным влиянием сюрреалистов и Пикассо. Но вскоре он от этого влияния смог избавиться и стать, как это ни странно, величайшим художником со времен Пикассо. Он нуждался в ежемесячном доходе, чтобы спокойно работать, и я подписала с ним контракт на год. Я обещала ему сто пятьдесят долларов в месяц и выплату по окончании года, если я выручу с его картин две тысячи семьсот долларов, одну треть оставив галерее. В противном случае мне должны были достаться картины.

Поллок моментально стал центральной фигурой «Искусства этого века». С того времени, 1943 года, и до 1947-го, когда я уехала из Америки, я посвятила себя ему. То же можно сказать о

его жене, Ли Краснер, которая даже в какой-то момент отказалась от живописи, чтобы полностью сосредоточиться на нем, так что Поллоку очень повезло. Я с радостью обрела нового протеже, потеряв Макса. Мои отношения с Поллоком не выходили за рамки отношений художника и покровителя, а Ли выполняла роль посредника. Поллок был трудным человеком; он много пил и в нетрезвом состоянии становился очень неприятен, если не сказать бесноват. Однако Ли верно сказала в ответ на мои причитания: «Он может быть и ангелом». Он напоминал загнанного зверя, несчастного вдали от своего родного Вайоминга.

Поскольку я должна была обеспечивать Поллоков ста пятьюдесятью долларами в месяц, я сосредоточила все силы на том, чтобы продавать его картины, и перестала заниматься другими художниками галереи. Многие из них в скором времени меня покинули и заключили контракты с арт-дилером Сэмом Кутцом на условиях, которых я не могла им предложить.

Я видела, что Поллок особенно тонко чувствует западно-американскую индейскую скульптуру, что проявлялось в его ранних картинах и нескольких полотнах с его первой выставки. Она прошла в ноябре 1943 года. Предисловие к каталогу написал Джеймс Джонсон Суини, который в дальнейшем во многом способствовал карьере Поллока. Я даже называла Поллока нашим общим духовным детищем. Свою лепту внес критик Клемент Гринберг, провозгласив Поллока величайшим художником нашего времени. Альфред Барр купил для Музея современного искусства «Волчицу», одно из лучших полотен на выставке. Позже доктор Морли обратилась ко мне с просьбой провести выставку в ее музее в Сан-Франциско и там купила «Хранителей тайн».

Мы продали не много картин Поллока, но он отдал нам свои гуаши, и с ними было гораздо проще. Большую часть я раздарила на свадьбы своим друзьям. Я упорно пыталась заинтересовать людей его творчеством и не знала устали, даже когда мне приходилось таскать на своей спине туда-обратно огромные холсты. Однажды в галерею за картиной Массона приехала миссис Гарри Уинстон, знаменитый коллекционер из Детройта, но я убедила ее вместо него купить Поллока.

В 1945 году коллекционер Билл Дэвис, еще один поклонник Поллока, посоветовал мне поднять его месячное содержание по контракту со ста пятидесяти до трехсот долларов в месяц, а взамен забирать все его работы. Поллок был со мной очень щедр на подарки. В то время я заболела острым инфекционным мононуклеозом и во время ежегодной выставки Поллока была прикована к постели. Ли Поллок сильно переживала по этому

поводу: она говорила, никто кроме меня в галерее не может ничего продать, а Путцель покинул меня, чтобы открыть собственную галерею в Нью-Йорке. Увы, это привело моего бедного друга к ужасной трагедии: он покончил с собой.

Ли была так предана Поллоку, что, пока я болела и не вставала, она приходила ко мне каждое утро и пыталась уговорить меня одолжить им две тысячи долларов на дом на Лонг-Айленде. Она думала, если Поллок уедет из Нью-Йорка, он перестанет пить. Я не представляла, где мне добыть столько денег, но в конце концов согласилась, потому что иначе я просто не могла от нее отвязаться. Сейчас я вспоминаю об этом со смехом. Я тогда не могла вообразить, сколько будут стоить полотна Поллока. Я ни разу не продавала его картины дороже, чем за тысячу долларов, а когда я уезжала из Америки в 1947 году, ни одна галерея не желала заключить с ним договор вместо меня. Я обратилась буквально ко всем, но в результате только Бетти Парсонс, хозяйка собственной галереи, согласилась провести выставку Поллока, но не более того. Поллок сам оплатил расходы на организацию из денег, которые ему заплатил за картину Билл Дэвис. Все остальные полотна он по контракту присылал мне в Венецию, куда я отправилась жить. Разумеется, Ли имела право оставить себе одну работу в год. Когда картины добирались до Венеции, я по одной раздавала их музеям и теперь имею из той коллекции только две и еще девять из более раннего периода, 1943–1946 годов. Ли стала миллионершей, а мне остается только сокрушаться, какой я была дурочкой.

Среди прочих препятствий в моей борьбе за Поллока я столкнулась с решительным отказом Дороти Миллер включить его в выездную выставку двенадцати молодых американских художников, — которых она, очевидно, считала лучшими представителями нации, — собранную ею в 1946 году для Музея современного искусства. Я пожаловалась Альфреду Барру, но он сказал, что это выставка Дороти Миллер и тут ничего не поделаешь. Я испытывала большие финансовые трудности, пытаясь одновременно содержать Поллока и управлять галереей, и мне часто приходилось продавать работы «старых мастеров», как я их называла. Так, я была вынуждена расстаться с прекрасным полотном Делоне 1912 года под названием «Диски», которое я купила у него в Гренобле, куда он бежал из оккупированного Парижа. Позже эта картина оказалась в Музее современного искусства. Ее потеря — одна из семи великих утрат в моей жизни коллекционера.

Другое упущение я допустила по глупости, когда не воспользовалась возможностью купить «Возделанную землю»

кисти Миро в 1939 году в Лондоне за полторы тысячи долларов. Если бы она продавалась сейчас, она бы стоила больше пятидесяти тысяч.

Третья трагедия случилась в Нью-Йорке во время войны, когда я продала «Доминирующую кривую» Кандинского 1936 года, потому что послушалась людей, которые назвали ее фашистской. К своему горю я позже обнаружила ее на выставке коллекции моего дяди в Риме.

Четвертую ошибку я совершила, когда не купила «Ночную рыбалку на Антибах» Пикассо, потому что у меня не было денег на руках и у меня не хватило ума продать часть капитала, что мне советовал сделать мой друг и финансовый наставник Бернард Райс, когда мне предложили картину в 1950 году; теперь она тоже в Музее современного искусства.

Пятая моя потеря — скульптура Анри Лоуренса и чудесная акварель Клее, которые я продала, чтобы оплатить дорогу Нелли ван Дусбург в Нью-Йорк; и шестая — украденные из «Искусства этого века» работы Клее, после чего у меня их осталось только две. Последней, седьмой, моей ошибкой было расстаться с восемнадцатью полотнами Поллока. И все же я утешаю себя мыслью, что мне повезло приобрести свою прекрасную коллекцию во времена, когда цены еще были человеческими, до того как мир искусства превратился в рынок инвестиций.

Поскольку в моей галерее были рады всем художникам, она превратилась в некое подобие клуба. Частым гостем был Мондриан; он всегда приносил свои картины аккуратно завернутыми в белую бумагу. Я купила у нью-йоркской галереи два его больших изумительных угольных рисунка в духе кубизма, которые мне нравились гораздо больше его поздних работ, из которых у меня тоже была одна. Когда я однажды попросила его почистить одну из его картин, которые всегда требовалось поддерживать в безупречном состоянии, он приехал с маленькой сумочкой и почистил не только свое полотно, но и одно Арпа и рельеф Бена Николсона. Он восхищался картинами Макса и Дали и как-то раз сказал: «Они великие художники. Дали стоит несколько в стороне от прочих, он велик в старой традиции. Мне больше по душе истинные сюрреалисты, особенно, Макс Эрнст. Они существуют в отрыве от старой традиции; иногда они по-своему натуралисты, но не в традиционном понимании. В живописи мне ближе всего дух сюрреалистов, но только не в литературе».

Зимой 1946 года я попросила Александра Колдера сделать для меня изголовье кровати — я подумала, это будет чудесная и оригинальная замена медному изголовью моей бабушки. Он

согласился, но у него никак не доходили до этого руки. Однажды я встретила его на вечеринке и спросила: «Сэнди, почему ты никак не займешься моей кроватью?» Этот странный вопрос насторожил его жену, очаровательную племянницу Генри Джеймса, и она заставила его взяться за дело. Из-за войны единственным доступным материалом было серебро, которое стоило мне дороже, чем работа Колдера. Изголовье получилось неподвижным за исключением рыбы и бабочки, которые он подвесил поверх фона, напоминавшего водоросли и подводные цветы. Я не только единственная в мире женщина, которая спит в кровати работы Колдера, но и единственная обладательница пары его огромных подвижных серег. У тех женщин Нью-Йорка, которым повезло обзавестись украшениями от Колдера, есть только броши, браслеты и ожерелья.

После смерти Морриса Хиршфилда арт-дилер Сидни Дженис попросил меня провести выставку его памяти. Выставка получилась очень красивой, и я купила его лучшую, на мой взгляд, картину «Две женщины перед зеркалом». Она изображает женщин, которые душатся, расчесывают волосы и красят губы. Они стоят спиной к зрителю и совершенно нереалистично отражаются в зеркале: каким-то образом зрителю видно сразу четыре пары ягодиц. Когда эта картина висела в моей парадной, она получала много комментариев от проходящих мимо ценителей женской красоты.

Летом 1945 года меня навестила моя дорогая подруга Эмили Коулман и привезла с собой потрясающее создание по имени Мариус Бьюли. Таких, как он, я не встречала никогда в жизни. Он выглядел как священник, коим когда-то намеревался стать, и говорил с неестественным британским акцентом. Он мне сразу же полюбился, и я немедленно предложила ему стать моим секретарем в галерее. Он согласился с такой же готовностью. Наше сотрудничество было крайне успешно. Мы стали замечательными друзьями и с тех пор ими оставались, хотя Мариус оставил меня через год ради докторской степени в Колумбийском университете. Он был чрезвычайно начитан и изумительно писал и говорил. Он обладал чудесным чувством жизни и юмора. Он любил модернистскую живопись, и хотя продал совсем не много картин, многие он у моей галереи купил сам.

После своего ухода Мариус оставил вместо себя очень странного юношу, который не умел печатать и никогда не появлялся вовремя — а иногда и вовсе не появлялся. Мне без конца приходилось отвечать на его звонки, потому что ему вечно названивали друзья. Ему нравилось только гулять с моими псами

породы лхаса апсо, потому что это давало ему повод заводить знакомства с другими очаровательными собаками той же породы и их выдающимися хозяевами, такими как Лили Понс, Джон Кэррадайн и Филип Барри. Нашу первую лхасу подарили Максу, но он забрал ее при разводе. Я очень хотела сохранить за собой право на полгода забирать нашу милейшую Качину и прописать это в бракоразводном контракте, но мне пришлось довольствоваться двумя ее щенками, которых Макс отдал мне через несколько лет при их рождении.

При всей моей любви к «Искусству этого века», Европу я любила больше Америки, и после окончания войны мне не терпелось вернуться. К тому же меня совершенно вымотал рабский труд в галерее. Я даже перестала ходить на обед. Если я отлучалась на час к зубному, окулисту или парикмахеру, непременно приходил какой-нибудь важный директор музея и говорил: «Миссис Гуггенхайм вечно нет». Мне нужно было не только продавать Поллока и другие картины с текущих выставок, но и постоянно отправлять их на выездные выставки. Последний год был самым тяжелым, ведь мой секретарь даже не мог печатать, и мне приходилось заниматься еще и этим. Я превратилась в рабыню и больше не могла выносить этого напряжения. Леви-Стросс, французский атташе по делам культуры, передал мне письмо для французского консула, порекомендовав мне поехать в Европу и ознакомиться с искусством Франции и других европейских стран. Под этим предлогом я поехала сначала в Париж, а оттуда — в Венецию, куда меня настойчиво звали с собой Мэри Маккарти и ее муж, Боуден Бродуотер.

По дороге туда я решила, что Венеция будет моим новым домом. Она всегда была моим любимым местом на земле, и я чувствовала, что смогу там быть счастлива одна. Я начала заниматься поисками дворца для своей коллекции с садом для собак. Это заняло у меня несколько лет; тем временем я вернулась в Нью-Йорк, чтобы закрыть галерею. Напоследок мы провели выставку Тео ван Дусбурга, которую я отправила в турне по всей Америке. Нелли ван Дусбург приехала в Нью-Йорк из Франции в качестве моего гостя и привезла с собой картины. Я пыталась привезти ее еще во время войны, но те попытки не увенчались успехом, а потом стало слишком поздно.

Я продала все фантастические предметы мебели и изобретения Кислера. За них шли немыслимые торги, и, во избежание сложностей, я решила продавать их по принципу наличного расчета и самовывоза. Бедному Кислеру не досталось ни одного предмета на память, так быстро их все разобрали.

Бетти Парсонс идейно продолжила мое дело и, как я сказала, обещала Поллоку выставку. Согретая мыслью, что она будет вместо меня помогать неизвестным художникам, я оставила свою коллекцию в хранилище и улетела в Европу с двумя собаками; вернуться обратно мне предстояло только через двенадцать лет.

Интерлюдия

В 1945 году нью-йоркское издательство «Дайал Пресс» предложило мне написать и опубликовать мемуары. Когда я закончила, их прочитал и отредактировал Лоуренс Вэйл, затем рукопись перепечатала Инес Феррен. Мой издатель в «Дайал» настаивала на значительных изменениях. По сути она переписала книгу целиком — мне пришлось возвращать на место все как было. Книга была издана в марте 1946 года под названием «На пике века»[81].

Много лет спустя Джон Х. Дэвис, автор книги под названием «Гуггенхаймы», утверждал, будто мои родственники пришли в такое негодование, что «велели толпам посыльных и клерков выкупить все копии в крупнейших книжных магазинах», поэтому в итоге книгу смогли увидеть только мои друзья и те, кто купил ее за пределами Манхэттена, «дамы, которые пользуются услугами библиотек, и критики» — под последними он, вероятно, имел в виду книжных обозревателей.

Он был прав как минимум касательно книжных обозревателей. Многие из них воспользовались возможностью продемонстрировать остроту ума и обрушились на меня с нападками.

Журнал «Тайм» выступил в своем духе:

«Со стилистической точки зрения ее книга так же безвкусна и скучна, как исполнение „Песни любви и смерти“ на губной гармошке, но в ней присутствуют — между будуарными затемнениями — несколько ярких портретов мужчин, которые делают искусство таинством».

Известный обозреватель Гарри Хансен сохранял более серьезный тон:

«Иногда она делает занятные замечания, но постепенно у читателя складывается ощущение, будто эта книга — социальный документ, свидетельствующий о безрассудной богеме, легкомысленном поведении молодых богатых американцев в Париже и всем том, чем художники шокируют обычных людей вроде нас с вами… Полное отсутствие какой-либо моральной ответственности — типичная черта для подобной интеллектуальной элиты. Традиции, в поведении или в живописи, как будто не имеют никакого значения для поколения межвоенного периода. Судя по всему, оно руководствуется исключительно прихотями. Написана ли эта книга для нашего развлечения, или же публикация этого жизнеописания имеет катартическое значение для автора? Чем больше я читаю

подобную литературу, тем больше осознаю важность сдержанности в жизни общества и в искусстве».

Другой взгляд предложила художественный обозреватель Катарина Кух:

«Тот факт, что Пегги Гуггенхайм владеет выдающейся и умело составленной коллекцией современного искусства, делает ее вульгарную автобиографию „На пике века“ вдвойне оскорбительной. Многие годы ее знали в художественных кругах как щедрую покровительницу самого рискованного искусства, в первую очередь сюрреализма, а также как основателя и директора весьма модной, но вместе с тем провокационной нью-йоркской галереи „Искусство этого века“… Я не стану попрекать автора, который решил „рассказать все“, если в результате он написал достойную книгу, но мисс Гуггенхайм, увы, не будучи одаренным литератором, едва ли оказала добрую услугу искусству модернизма, необратимо смешав его с навязчивым повествованием о собственной декадентской жизни».

В заключение мисс Кух писала:

«С пылом мазохиста она безжалостно честна в отношении себя самой и своих „друзей“. У читателя в воображении остается портрет одинокой женщины, слишком черствой, слишком израненной, чтобы сохранять адекватное человеческое восприятие».

Эверетт Макманус из журнала «Вью» оставил более положительный отзыв:

«Эти книга так же убедительна, как „Мадам Бовари“ Флобера, потому что она о чувствах женщины — не обязательно какой-то конкретной, но женщины нашей современности. Мисс Гуггенхайм следует отдать должное за то, что она извлекла из своего благосостояния положительную выгоду. Кто-то может раскритиковать, помимо прочего, вкус автора, но она ни в коем случае не смешна. Ее достоинство во многом заключается в понимании общепризнанной догмы: счастье нельзя купить за деньги, особенно если твое счастье, как мы видим, зиждется на любви… Некоторые безжалостные критики мисс Гуггенхайм повинны в эстетическом снобизме, там, где ее видение непредвзято… Ее книга — это не автобиография мецената или критика, но человека. С этой точки зрения мисс Гуггенхайм раскрывает свое духовное становление. Она последовательно проходит через стадии увлечения похотливым королем богемы, темпераментным идеалистом, убежденным коммунистом, несколько развратным и рассудочным художником и, наконец, „афинянином“ платонического склада ума; мы видим, как постепенно снижается градус мужского плотского интереса к ней.

Она каждый раз по-настоящему любила и раз за разом оказывалась повергнута в искреннее отчаяние, на которое она была способна. Примечательно то, как часто она употребляет прилагательное „печальный“ для описания настроений своих друзей. Оно повторяется с поразительной настойчивостью… Однако сама она не поддалась печали».

В 1959 году по предложению Николаса Бентли, английского редактора и иллюстратора, я сжала «На пике века» менее чем до ста страниц и добавила описание прошедшего с тех пор периода. Под названием «Исповедь одержимой искусством» книгу напечатали Андре Дойч в 1960 году в Лондоне и издательство «Макмиллан» в Нью-Йорке. Последующие страницы этой книги (до двадцать первой главы включительно) перепечатаны из второй части этой книги. Первые мемуары я написала будучи импульсивной женщиной, а продолжение — дамой, желающей понять свое место в истории искусства модернизма. По этой причине, вероятно, эти книги воспринимаются совершенно по-разному. Как и заключение к данному третьему изданию, которое я написала в возрасте почти восьмидесяти лет.

Глава 18
Венеция и Биеннале

Одним из моих первых новых знакомых в Венеции в 1946 году стал художник по фамилии Ведова. Я была в кафе «Анджело» на мосту Риальто. Я никого не знала в Венеции, поэтому спросила у *patron*[82], где я могу познакомиться с художниками-модернистами. Он сказал: «Идите в другое кафе „Анджело“ на площади Сан-Марко и спросите Ведову». Я записала эту фамилию на спичечном коробке и пошла во второе «Анджело». Там меня тепло приветствовали Ведова и еще один венецианский художник, Сантомасо; оба они впоследствии стали моими друзьями. Они крайне интересовались искусством модернизма и знали о коллекции моего дяди, что меня удивило. У них даже был его каталог. Поскольку они оба говорили на венецианском диалекте, я провела в их компании много мучительных часов, не понимая ни слова. К счастью, я немного помнила итальянский и могла с ними разговаривать по отдельности.

Ведова, художник-абстракционист, имел внушительный рост и носил бороду. Он был коммунистом, а во время войны ушел в партизаны. Он был очень молод и сходил с ума по хорошеньким девушкам. Сантомасо не отличался ростом и имел более округлое телосложение. Он тоже был падок до женского пола, хотя был женат и с ребенком. Он превосходно знал историю Венеции и рассказывал нам удивительные вещи из прошлого этого великого города. Из них двоих он был более образован. В ресторане «Анджело» висело огромное количество их картин, а также многих других авторов. Это венецианская традиция: художники едят бесплатно, а взамен отдают свои картины.

Благодаря Сантомасо я получила возможность выставить всю мою коллекцию на 24-й Венецианской биеннале. Это он предложил Родольфо Паллуччини, генеральному секретарю биеннале, включить мою коллекцию в программу, и он согласился разместить ее в греческом павильоне, который пустовал, пока греки воевали.

Венецианская биеннале, учрежденная в 1895 году, — это международная выставка современного искусства, которая проходит каждые два года в Общественных садах на краю города, на берегу лагуны близ острова Лидо. Эти места имеют характерный облик из-за многочисленных чрезвычайно уродливых зданий, построенных во времена Муссолини. Ухоженные деревья и сады создают замечательный фон для

павильонов. В середине июня, когда открывается выставка, цветут лаймовые деревья и источают вездесущий аромат. Мне часто кажется, что сады создают серьезную конкуренцию биеннале: сидеть под деревьями куда приятнее, чем ходить по жарким непроветриваемым павильонам.

Каждая страна под эгидой своего правительства организует экспозицию в своем павильоне. В главном итальянском павильоне на протяжении многих миль висят скучнейшие картины и только изредка попадается что-то интересное. Также на биеннале проходят большие и маленькие персональные выставки современных и иногда более ранних художников, таких как Делакруа, Курбе, Констебл, Тёрнер, а однажды даже Гойи. Никто не знает, как он туда попал. Большинство итальянцев, которые там выставляются, делают это из года в год. Кроме того, там проходили выставки Пикассо, Брака, Миро, Эрнста, Арпа, Джакометти, Марини, Клее, Мондриана, Таможенника Руссо, а также фавизма и футуризма. До 1948 года в Италии кроме итальянских футуристов знали только Пикассо и Клее.

Биеннале с помпой и при всех регалиях открывает президент Италии, а затем процессия из старых венецианских лодок, специально спущенных на воду по этому поводу, отправляется от префектуры к Общественным садам.

К 1948 году павильоны после многих лет простоя пришли в негодность, и их ремонтировали в большой спешке в последний момент. Моим павильоном занимался Скарпа, самый близкий модернизму архитектор Венеции. Паллуччини, генеральный секретарь выставки, имел лишь поверхностное знакомство с модернизмом. Он был большим специалистом в Итальянском ренессансе, и его нынешняя задача, вероятно, давалась ему с огромным трудом и требовала большой смелости. Перед своей лекцией в моем павильоне он попросил меня рассказать, чем отличаются между собой разные школы; он даже не знал имен художников. К несчастью, мне потребовалось отлучиться к дантисту, но он уверил меня, что справился хорошо.

Паллуччини был строгим и деспотичным человеком. Он напоминал мне епископального священника. Он не пускал меня на территорию садов, пока не был доделан мой павильон. Я злилась, потому что все в Венеции, кого интересовало современное искусство, каким-то образом туда попадали. Наконец я получила свое приглашение и обошла всю выставку в сопровождении адъютанта Паллуччини, милейшего мужчины по имени Умбро Аполлиньо. Я не знаю почему, но при разговоре с ним у меня сложилось ощущение, словно впервые в жизни он получает удовольствие от своей работы, и тот факт, что я это

почувствовала, тронул его так сильно, что мы сразу же стали друзьями. Как и Паллуччини, он ничего не знал об искусстве модернизма. В Италии слыхом не слыхивали про сюрреалистов, Бранкузи, Арпа, Джакометти, Певзнера и Малевича. Если Сантомасо имел представление о том, что происходит вне Италии, то только потому что он побывал в Париже в 1945 году. Еще они с Ведовой читали копии журналов «Минотавр» и «Кайе д'ар», которые тайно привозили в страну.

В 1948 году иностранные павильоны, само собой, были уже очень современны, хотя многие страны все еще оставались за Железным занавесом. Мне позволили развесить свою коллекцию за три дня до открытия выставки. Я хотела было съездить в Равенну с доктором Сандбергом, директором Городского музея в Амстердаме, который уже закончил работу над голландским павильоном. Увы, об этом не могло идти и речи, и я спешно принялась за работу. К счастью, мне дали большую свободу и достаточное количество рабочих, которые спокойно терпели мои бесконечные перестановки. Мы управились с экспозицией ко времени, и, несмотря на толпу посетителей, она смотрелась на белых стенах ярко и притягательно, хотя и выглядела совсем иначе, чем в «Искусстве этого века» с дизайном Кислера.

Открытие биеннале — очень торжественное мероприятие, а у меня, как всегда, не было ни шляпки, ни чулок, ни перчаток, поэтому мне пришлось что-то придумывать. Я одолжила чулки и пояс у подруги, а вместо шляпки надела огромные серьги в виде хризантем из бусин венецианского стекла. Граф Элио Зорци, глава пресс-службы и амбассадор биеннале, который, собственно, и пригласил меня участвовать в выставке, строго проинструктировал меня, что надо рассказать президенту Эйнауди как можно больше об искусстве модернизма за те пять минут, что он пробудет в моем павильоне. Паллуччини дал мне ровно обратные указания: он сказал, что президенту вряд ли будет интересно и наверняка тот будет измотан после просмотра всей биеннале.

Когда Его сиятельство прибыл, он приветствовал меня словами: «Где ваша коллекция?» Я ответила: «Вот она», после чего он поправился и спросил, где она уже побывала до этого. Я решила следовать инструкциям Зорци, а не Паллуччини, и успела вставить несколько слов, но на мою удачу вмешались фотографы и стали фотографировать всех официальных лиц вместе с министром образования Гонеллой, президентом и мной под моей замечательной подвижной скульптурой Колдера.

В то же утро мне нанесли визит американский посол и весь штат консульства. Павильон США так и не открылся, потому что

картины не доставили вовремя, и Джеймс Данн, наш посол, был очень рад, что хотя бы я буду представлять Соединенные Штаты. Рассматривая одну из моих абстрактных картин Пикассо, он с удовлетворением отметил, что она «почти нормальная».

Предисловие к каталогу моей выставки на биеннале написал профессор Арган. Оно вышло очень сбивчивое; он перепутал все течения в модернистском искусстве. По настоянию Бруно Альфиери, владельца книжной лавки, я напечатала собственный маленький каталог и продавала его в своем павильоне, хотя и была включена в общий каталог биеннале. Я написала короткое вступление к своему каталогу, но его так плохо перевели, что со мной случилась настоящая истерика; я даже зарыдала. Я недостаточно владела итальянским и умоляла жену Альфреда Барра Маргу, наполовину итальянку, помочь мне. Увы, я выбрала для этого неподходящий момент, когда мы плыли на вапоретто, и ей пришлось сойти раньше, чем она закончила.

На той биеннале случилось два неприятных происшествия. Кто-то украл маленькую бронзовую деталь скульптуры, изображавшей ребенка, авторства Дэвида Хэйра; должно быть, ее взяли на память. А еще Паллуччини велел мне (поскольку в мой павильон собирались прийти какие-то священнослужители) снять эротический рисунок Матты с кентаврами и нимфами. Рисунок это так возмутило, что он упал на пол и его стекло разбилось вдребезги, отчего отпала необходимость его оскорбительного выдворения.

Третьей катастрофы удалось избежать благодаря Бруно Альфиери, который спас разобранную скульптуру Колдера — рабочие собирались ее выкинуть, приняв за металлические детали контейнеров.

Моя выставка привлекла огромное внимание, и мой павильон стал одним из самых популярных на всей биеннале. Меня это приводило в безмерный восторг, но больше всего мне нравилось видеть фамилию Гуггенхайм на схемах выставки в парке среди названий павильонов Великобритании, Франции, Голландии, Австрии, Швейцарии, Польши, Палестины, Дании, Бельгии, Египта, Чехословакии, Венгрии и Румынии. Я чувствовала себя новой европейской страной.

Еще одним моим прославленным гостем стал Бернард Беренсон. Я встретила его на ступенях павильона и сказала, что много изучала его книги и как они для меня важны, на что он спросил: «Тогда почему же вы увлеклись этим?» Я знала, как он ненавидит модернизм, поэтому ответила: «Я не могла себе позволить старых мастеров, но, в любом случае, я считаю, что долг каждого — защищать искусство своего времени». Он сказал:

«Дорогая моя, вам бы следовало обратиться ко мне, я бы устроил для вас выгодные сделки». Больше всего ему понравились работы Макса Эрнста и Поллока. Тем не менее он сказал, что в картинах Макса слишком много сексуальности, а он не любил секс в искусстве; Поллока же он сравнил с гобеленами. Маленькая бронзовая скульптура полулежащей женщины авторства Мура его ужаснула своими искаженными пропорциями.

В следующий раз я встретилась с Беренсоном на его вилле «И Татти» под Флоренцией, и я, будучи поклонницей его коллекции, держалась с ним вежливей, чем он со мной в прошлый раз. Меня расстроило, что из всех великолепных картин, прошедших через его руки, у него осталась лишь малая часть. Я умоляла его приехать ко мне в Венецию и даже обещала ради него завесить свои картины простынями. Он спросил меня, кому я собираюсь оставить коллекцию после смерти, и хотя ему было уже восемьдесят пять, его глаза наполнились неподдельным ужасом, когда я ответила: «Вам, мистер Беренсон».

В результате такого повышенного внимания общественности к моей особе каждый мне пытался что-нибудь продать, и всякий раз, когда я спускалась в вестибюль своего отеля, меня осаждала толпа людей. Я попросила Витторио Карраина, моего молодого друга и одного из владельцев ресторана «Анджело», защитить меня. Впоследствии он стал моим секретарем и многие годы работал на меня. Он имел хорошее образование, музыкальный слух и большой кругозор, и только благодаря ему я держалась в курсе жизни Венеции, поскольку совсем не читала газет. Ему нравилась атмосфера, в которой я живу, и он стал мне добрейшим и преданным другом и оказывал неоценимую помощь при проведении выставок и составлении каталогов.

Я попросила Ингеборга Эйхмана, чешского историка искусства из Судетской области, прочитать в моем павильоне лекцию о различных течениях в искусстве. На первую лекцию о кубизме и абстракционизме пришло столько людей, что нам пришлось отменить вторую лекцию о сюрреализме из соображений сохранности картин. Их только недавно почистил и отреставрировал венецианский художник по фамилии Челегин, очаровательный мужчина с огромными усами.

Я ходила на биеннале раз в несколько дней и брала с собой собак. Им очень радовались в ресторане при входе на выставку под названием «Парадизо» и всегда угощали мороженым. Так что, когда я спрашивала своих терьеров, пойдут ли они со мной на биеннале, они виляли хвостами и прыгали от счастья. Никаких других собак не пускали на выставку, и, когда они терялись в ее лабиринтах, я непременно находила их у экспозиции Пикассо.

Очевидно, ежедневные походы в «Искусство этого века» не прошли для них даром.

Ближе к концу биеннале встал вопрос, что я буду дальше делать с картинами. Я считала само собой разумеющимся, что раз биеннале за свой счет привезла картины из Америки, то мне хотя бы позволят оставить их в Италии. Оказалось, это не так. Их ввезли в страну по временному разрешению, и они должны были вернуться обратно. Я несколько месяцев не знала, что мне делать. За бессрочный ввоз картин в Италию я должна была заплатить пошлину в размере трех процентов их стоимости. В итоге я решила вывезти их, а потом привезти обратно и при ввозе оценить на меньшую сумму.

Меж тем мне предложил провести выставку музей Турина. Я очень обрадовалась, но буквально за день до отправки коллекции в Турин местные власти решили, что выставка для них слишком модернистская. После этого известный критик доктор Карло Радджианти спросил, не соглашусь ли я выставить свою коллекцию во Флоренции в «Строццине» в подвале Палаццо Строцци, который он собирался превратить в галерею современного искусства. Он хотел открыть ее моей коллекцией и сделал замечательный каталог, которым я с тех пор пользуюсь в качестве основы для моего итальянского каталога.

Приехав во Флоренцию, я пришла в ужас от тесноты «Строццины» и кошмарных перегородок, похожих на занавески для душа, которыми пытались расширить пространство. Доктор Радджианти с готовностью избавился от этого непотребства и согласился на мое предложение провести три отдельные выставки. Первая была посвящена кубизму и абстракционизму, вторая — сюрреализму и третья — молодым художникам. Эта идея была очень удачной, и благодаря ей я три раза съездила во Флоренцию и получила огромное удовольствие от своих визитов, во время которых я останавливалась у своего друга Ролоффа Бени. Мы активно участвовали в светской жизни, и там я познакомилась с поэтессой из Дублина в Нью-Гемпшире по имени Элиза Кэббот. Ее потрясло количество работ на выставке во Флоренции, и она спросила: «Как Пегги только успела их все нарисовать?»

Затем меня пригласили провести выставку в Милане в Палаццо Реале. Там уже проблем с пространством не возникло. Ни до, ни после в моем распоряжении никогда не бывало такого количества залов. Эта выставка пользовалась таким успехом, что нам приходилось выдавать каталоги напрокат, пока печатались новые. Франческо Флора написал к каталогу предисловие, и весь доход от мероприятия шел в пользу Ассоциации художников

Италии, которой этих денег хватило, чтобы погасить все свои долги.

Когда коллекция вернулась из Флоренции, вновь встал вопрос, что с ней делать. Я не смогла прийти к соглашению с властями в Риме, хотя даже предлагала оставить Венеции всю коллекцию после моей смерти, если итальянское правительство не станет требовать от меня уплаты пошлины. И все же упертые ретрограды из Министерства иностранных дел не желали идти мне навстречу. Сами картины тем временем хранились в Музее современного искусства Венеции в Ка-Пезаро, красивом здании XVII века архитектора Лонгены, где им дал приют доктор Гвидо Перрокко, куратор музея. Мне разрешалось выносить их оттуда только по несколько штук за раз.

Через год после биеннале доктор Джулио Лорензетти, директор Ка-Пезаро, предложил мне провести американскую выставку в двух маленьких залах музея. Скорее всего, бедолагу вынудили должностные обязательства, поскольку, вне всяких сомнений, он ненавидел модернизм в тысячу раз сильнее Паллуччини.

В то же время по просьбе Майкла Комба Мартина, директора Британского института, находящегося в прекрасном Палаццо Сагредо, я провела там выставку британских художников, так что в этот период мою коллекцию все же удавалось демонстрировать публике.

Глава 19
Палаццо Веньер деи Леони

Наконец в 1949 году Флавия Паулон, секретарь графа Зорци, нашла для меня прекрасный дом. Это был недостроенный дворец на Гранд-канале, заложенный в 1748 году знаменитой венецианской династией Веньеров, подарившей Венеции двух дожей; говорят, они держали у себя в саду львов. Фасад здания украшали восемнадцать львиных голов, которым, по всей видимости, дворец обязан своим именем: Веньер деи Леони. Он стоит прямо напротив префектуры Венеции.

Дворец был целиком построен из белого камня и покрыт плющом; «целиком», возможно, слишком громкое слово, ведь его строительство остановилось на одном этаже и в Венеции все его называли *palazzo non compiuto*, «незаконченный дворец». Однако в ширину он раскинулся больше любого другого дворца на Гранд-канале, а также имел важное преимущество в том, что не носил звания национального памятника архитектуры, которые в Венеции имеют священный неприкосновенный статус. Таким образом, это было идеальное место для моих картин. Перед главным входом располагался замечательный двор со ступенями, ведущими к Гранд-каналу, а позади раскинулся один из самых больших садов Венеции с очень старыми деревьями. Дворец имел плоскую крышу, на которой можно было прекрасно загорать. Я, разумеется, этим воспользовалась, но несколько опасалась реакции префекта, моего *vis-à-vis*. Однако он на этот счет лишь сказал: «Когда я вижу, что миссис Гуггенхайм загорает на крыше, я знаю, что пришла весна».

Синьора Паулон попросила своего мужа привести дворец в порядок. На самом деле, он был не в таком уж плохом состоянии, хотя с 1938 года в нем постоянно менялись жильцы. До этого с 1910 года в одном из крыльев жила маркиза Луиза Казати, поэтесса, которая устраивала сумасшедшие дягилевские вечеринки и вместо львов в саду держала леопардов. В 1938 году палаццо купила виконтесса Каслросс и потратила состояние на ремонт на тот момент практически разрушенного здания. (Судя по всему, у маркизы Казати едва держалась крыша над головой.) Леди Каслросс построила шесть мраморных уборных и положила прекрасные мозаичные полы. У нас с ней не совсем совпадали вкусы, поэтому мне пришлось соскабливать со стен *stucci*[83] в стиле либерти. Через год леди Каслросс сдала дворец Дугласу Фэрбенксу-младшему, а затем его занимали по очереди три

оккупационные армии: немецкая, британская и американская.

Осенью 1949 года я провела в саду выставку скульптуры относительно недавнего периода, и профессор Джузеппе Маркиори, известный критик, написал вступление к каталогу. Мы выставили Арпа, Бранкузи, динамичную скульптуру Колдера, три Джакометти, Липшица, Мура, Певзнера, Дэвида Хэйра из моей коллекции и позаимствовали Мирко, Консагра, Сальваторе и двух Виани у самих художников. Еще я выставила одну работу Марино Марини, которую я купила у него в Милане. Изначально я хотела одолжить для выставки одну скульптуру, но в итоге купила единственную, которую он мне предложил. Это была статуя лошади с всадником, раскинувшим руки в экстазе, и, чтобы подчеркнуть состояние эйфории, Марини наградил фигуру мужчины эрегированным фаллосом. Когда он отливал для меня скульптуру в бронзе, он сделал фаллос отдельно от фигуры, чтобы его при желании можно было прикручивать и откручивать. Марини водрузил свою работу в моем дворе на Гранд-канале напротив префектуры и нарек ее «Ангелом цитадели». Герберт Рид сказал, что префекту будет не так-то просто с ней смириться. Лучше всего статуя была видна в профиль из моей гостиной. Я часто сидела там и наблюдала за реакцией посетителей.

Когда в церковные праздники мимо моего дома на моторной лодке плыли монахини за благословением патриарха, я открепляла фаллос и прятала его в выдвижном ящике. Я поступала так же, когда принимала особенно консервативных гостей, но иногда забывала и оказывалась в ужасно неловкой ситуации, когда обнаруживала свою оплошность. Единственное, что я могла делать в таких случаях, — это не обращать на него внимания. По Венеции бродили слухи, будто у меня есть запасные фаллосы разного размера и по разным оказиям я прикручиваю разные.

Выставка должна была проходить в саду, но, поскольку Виани привез две гипсовые работы, их пришлось выставить в помещении. К нам в спальни забредало столько людей, что территорию выставки пришлось огородить. У меня дома в гостях жил Филип Ласалль, и он постоянно забывал о выставке и оказывался в саду в одной пижаме среди незнакомцев.

Одну из моих скульптур Джакометти, которую я хотела включить в выставку, задержали на таможне в Падуе по пути из Милана. Мне пришлось поехать за ней в открытом автомобиле. Это была красивая вытянутая фигура без головы. Мы гнали в Венецию по автостраде на большой скорости, и, наверное, всем вокруг казалось, что мы везем обезглавленный труп. Скульптура была в очень плохом состоянии, но мой знакомый скульптор

Пьетро Консагра привел ее в порядок и отлил в бронзе. Увидев свою бронзовую сестру, оригинальная статуя по праву преисполнилась к ней презрения: она явно во много раз превосходила копию по красоте, поэтому с тех пор предпочла оставаться невредимой.

В 1950 году некая художественная институция попросила одолжить моих Поллоков (на тот момент у меня оставалось двадцать три штуки) для проведения выставки. Помещение для нее организаторы собирались получить от местных властей, но у них ничего не вышло, и тогда я пришла на помощь, попросив доктора Лоренцетти сдать нам Наполеоновский зал в музее Коррер напротив собора Святого Марка. Сама институция в итоге только составила каталог, к которому мы с Бруно Альфиери написали по предисловию. Перевозкой и развешиванием картин нам тоже пришлось заниматься самим с Витторио Карраином. В довершение институция повесила кошмарный плакат в богемном стиле Гринвич-Виллидж, а когда закончились каталоги, отказалась печатать дополнительные. Меня это так разозлило, что я отняла у них бразды правления, по праву считая выставку своей, и составила новый каталог, опустив статью Альфиери о Поллоке. Выставка проходила в зале перед входом в музей Коррер, поэтому ее увидели тысячи человек. Там всегда горел свет по ночам, и я помню, какое огромное удовольствие мне доставляло сидеть на площади Сан-Марко и смотреть на Поллоков через открытые окна музея, а потом выходить на балкон галереи и смотреть на площадь, зная, что у меня за спиной — мои Поллоки. В этом великолепном окружении Поллок словно занял свое законное историческое место как один из величайших художников нашего времени. Эта выставка оказала большое влияние на молодых художников.

Воодушевленная выставкой Поллока, я попросила доктора Лоренцетти сдать мне Зеркальный зал в Палаццо Джустиниан, штаб-квартире биеннале, для выставки работ Жана Эльона, моего зятя. Все шло не так с самого начала и до самого донца. Этой выставке просто суждено было провалиться. Во-первых, Кристиан Зервос, редактор «Кае д’ар», целую вечность не мог написать вступление к каталогу. Когда он наконец прислал, текст оказался слишком длинным, и мне пришлось его сокращать и переводить, и Эльону не понравилось, как я его сократила. Картины застряли на таможне, как это всегда происходило в Италии, и нам чуть не пришлось отменить выставку. В конце концов Витторио Карраин справился со всеми этими трудностями, но сразу же возникли новые. За два дня до открытия выставки парчу со стен Зеркального зала снял ее владелец, и нам пришлось заменить ее

какой-то мешковиной. Следом, как будто сами боги были против нас, начался ужасный ураган, и дождь смыл краску с красного плаката выставки прямо на платье проходившей под ним девушки и непоправимо его испортил. После этого плакат вовсе унесло ветром. Невероятная удача, что мы вообще смогли провести эту выставку.

Эльон выставлял три периода своих работ: ранние натуралистичные картины, абстрактный период и новый период, который начался с 1943 года, когда он рисовал мужчин с зонтиками, обнаженных, мужчин с газетами и натюрморты с хлебом. Людям было интересно посмотреть на метаморфозы его стиля и то, как он пришел к чистому реализму.

После всех наших злоключений с этой выставкой я решила больше не привозить работы из-за границы и не арендовать помещения у властей. Я еще не разобралась с собственными проблемами с таможней, и тогда доктор Сандберг из Городского музея Амстердама предложил мне провести выставку у него, а потом отправить мою коллекцию во Дворец изящных искусств в Брюсселе и Кунстхаус в Цюрихе, чтобы у меня потом был повод ввезти ее обратно через итальянскую границу. Нам удалось успешно провернуть эту схему. После трех выставок картины вернулись из Цюриха, и мне наконец позволили заплатить минимальную пошлину.

Я была счастлива возвращению своей коллекции, и мне не терпелось развесить ее в своем палаццо, но тут оказалось, что мне не хватает места. Я наняла трех архитекторов из Милана — Бельджойозо, Пересутти и Роджерса, — чтобы они спроектировали пентхаус для моего дома. Они все находились под большим влиянием Ле Корбюзье и придумали конструкцию в его духе, а именно двухэтажную галерею на двадцатифутовых колоннах. Предполагалось, что ее фасад будет перекликаться с фасадом Дворца дожей, и в их воображении все это должно было олицетворять связь между прошлым и настоящим. Мне совершенно не понравилась их затея, и я была уверена, что Академия изящных искусств Венеции, отвечавшая за облик города, ни за что ее не одобрит. Проект обошелся бы мне в шестьдесят тысяч долларов — за сам палаццо я отдала немногим больше, поэтому в любом случае я не могла себе этого позволить. Свой дворец я купила только благодаря Бернарду Райсу, который смог вытащить деньги из одного из моих доверительных фондов. Пересутти был ужасно разочарован и спросил, почему я не продам ради строительства какую-нибудь картину. Если бы мне нравился проект и цены на картины были нынешними, ради музея я бы с легкостью рассталась с одним полотном.

В конце концов я решила переделать под галерею подвальный этаж, где жили слуги и находилась прачечная. Несколько комнат я сдавала художникам под мастерские. Матта помог мне превратить огромную прачечную в красивый зал, и одну за другой мы переделали подвальные комнаты по ее примеру, вытеснив слуг в спальни поменьше, а белье теперь стиралось в резервуаре рядом с дверью на набережную.

С 1952 года я по просьбе Билла Кондона спонсировала молодого итальянского художника из Фельтре. Его звали Танкреди Пармеджани, но он использовал только свое христианское имя, пренебрегая фамилией, похожей на название сыра. Я обязалась ежемесячно платить ему семьдесят пять долларов в обмен на две гуаши. Первые из них были геометрического толка и напоминали работы Тео ван Дусбурга (что очень порадовало Нелли, его вдову), но со временем Танкреди развил в себе поллоковский стиль, а затем и собственный. Таких как он в Италии называют *spazialista*, пространственными художниками. Вскоре его гуаши заполнили мой дом. Они были очень нежные и воздушные и через год, в течение которого я раздавала их в качестве подарков, стали пользоваться большим спросом. Единственная комната, где я могла их выставлять на продажу, была гостевой, где я складывала их прямо на кровати. Когда в Венецию приехал Джеймс Суини и увидел их, он сразу сказал: «Дай юноше холст и краски, пусть он развернется. Ему нужно больше пространства». Я сделала, как велел Суини, но вскоре эти холсты мне просто негде было ставить. Танкреди несколько лет занимал одну из мастерских в подвале, и я испытала большое облегчение, когда он съехал: он сводил с ума прислугу, расхаживая по дому в ботинках, перепачканных красками всех возможных цветов. После него пол в студии отмывали несколько дней. Она должна была превратиться в галерею Поллока, а картины Танкреди тем временем продавались в зале, который раньше занимала прачечная.

Моим вторым протеже стал Эдмондо Баччи, поклонник Кандинского и лиричный художник, разменявший пятый десяток. Он вел очень организованный образ жизни, и с ним всегда все проходило спокойно и без проблем. Танкреди же, которому было тридцать с небольшим, имел буйный темперамент и часто закатывал скандалы. Он то и дело уносил все свои картины, а потом через несколько дней приносил обратно. Когда я давала ему деньги (не оставляя себе никакой комиссии, кроме картин, которые, в свою очередь, передавала музеям), он их выкидывал, но потом возвращался и просил еще. Когда я попыталась

предложить ему недельное содержание, он раструбил на каждом углу Венеции, что собирается подавать на меня в суд за урон его карьере. Из всех итальянских художников работы Баччи и Танкреди вызывали у меня самые теплые чувства, и в моих личных покоях висело бессчетное множество их картин. Я также восхищалась творчеством Ведовы и имела в коллекции два его холста.

Моя деятельность в Италии по сути ограничивалась меценатством и тремя днями в неделю, когда мой дом открывал двери для посетителей. Сантомасо был страшно разочарован: он рассчитывал, что я стану динамичным культурным центром итальянского искусства. Однако близкое знакомство с Италией охладило мой пыл и постепенно свело его на нет. Картины на биеннале с каждым годом становятся только хуже и хуже. Все просто-напросто копируют тех, кто делал что-то интересное сорок лет назад, и так повторяется из года в год, и все становится только предсказуемее и скучнее. Я продолжаю покупать картины при случае, но современная скульптура вызывает у меня бесконечно больше энтузиазма, чем живопись.

Моя коллекция открыта для посетителей со всего мира, но поскольку я и сама устраиваю приемы для интеллектуального сообщества, порой возникает недопонимание. Кто угодно может прийти в мою галерею в дни ее работы, но некоторые считают, что при этом они могут рассчитывать и на личное свидание со мной. Мне часто звонят незнакомые люди и начинают разговор со слов: «Вы меня не знаете, но однажды я встретил вашу сестру Хейзел в Калифорнии», или «Ваш друг Пол Боулз сказал мне позвонить вам», или «Мы только что приехали в Венецию, и у нас есть для вас рекомендательное письмо, так что мы бы хотели пригласить вас на обед, или на ужин, или в бар». Как-то раз один юный американец, учащийся в Италии по музыкальной стипендии Гуггенхайма, написал мне и попросил разрешения поупражняться у меня дома на фортепиано, если оно у меня есть. Я была счастлива ответить, что у меня его нет. Я бы ни за что не стала тревожить незнакомого человека с такими несостоятельными претензиями. Если бы у меня было рекомендательное письмо, я бы отправила его и ждала приглашения. Люди нынче совершенно не умеют себя вести. Ах, старые добрые времена, когда еще были живы манеры!

На приемы, которые проходят в очень неформальной обстановке, я приглашаю гостей лично, но не в дни работы музея — эти дни только для посетителей. Я прошу всех приглашенных оставить запись в гостевой книге; если это поэты или художники, они могут написать стихотворение или нарисовать что-то — я

буду исключительно рада.

Когда миссис Клер Бут Люс, с которой я пару раз встречалась на консульских приемах, была послом США в Италии, я пригласила ее посмотреть на мою коллекцию. Она пришла поздно вечером в окружении многочисленной свиты. Мне показалось, что никто из ее сопровождения не интересовался искусством, но сама миссис Люс, как всегда, была очень вежлива и обворожительна; она изумительно одевалась и в тот раз выглядела еще моложе и шикарней, чем обычно. Кажется, ей понравились картины моей дочери Пегин, и когда я заметила, что в работах Пегин по какой-то причине между людьми никогда не происходит общения, миссис Люс ответила: «Может, им нечего сказать». В столовой миссис Люс познакомилась с тремя молодыми итальянскими художниками: Довой, Танкреди и Криппой. В своей дипломатичной манере она спросила, кто, по их мнению, лучший художник Италии. Каждый из них ответил: «Я».

Миссис Люс выразила недовольство тем, что у меня слишком плохо освещены коридоры и картины плохо видно. Должна признать, она была права, и после этого я установила в коридорах флуоресцентные лампы, за что ей очень благодарна. В связи с этим случаем мне пришел в голову неплохой итальянский каламбур: Ла Люс (как называли миссис Люс в Италии) принесла в мой дом *la luce*, «свет» по-итальянски.

Граф Зорци, который заведовал журналом биеннале и который, к моей печали, уже умер, был одним из немногих последних великих синьоров Венеции. Неудивительным образом он происходил из рода одного из дожей и принадлежал к тем немногим людям в Венеции, обладавшим изящными манерами и чувством юмора. Биеннале постоянно консультировалась с ним по вопросам регламента, но его знания этим не ограничивались. Он великолепно вел их обзорный журнал, который выходил раз в два месяца, и то и дело просил меня написать что-то для него. Он хотел, чтобы я написала статью о Поллоке, но я не смогла найти в себе на это силы. Тем не менее одну статью, о которой он меня попросил, я все же написала: о том, как я стала коллекционером. Еще я написала о своей дочери-художнице, Пегин, и одну о Билле Конгдоне. В последней статье я утверждала, что он был первым художником со времен Тёрнера, кому удалось понять душу Венеции, а в тексте про Пегин я развила идею Герберта Рида о том, что она в своей живописи оставалась такой же свежей, чистой и полной той же волшебной невинностью, какой она обладала в возрасте одиннадцати лет.

В статье про свою коллекцию я вспомнила историю о женщине, которая ходила по одной художественной выставке и

постоянно ворчала. Я подошла к ней и спросила, зачем она пришла смотреть на картины, если они так очевидно ее раздражают. Она ответила, что хочет понять, в чем же суть искусства модернизма. Я предупредила ее, что это опасное занятие и оно может развиться в зависимость.

После биеннале меня без конца просили одолжить картины для разных выставок. Поначалу я соглашалась на все предложения, но позже от меня стали хотеть так много, что при открытой для публики галерее раздавать картины налево и направо уже не представлялось возможным. Паллуччини это оскорбило, и он написал мне неприятное письмо, в котором укорял за неблагодарность после всего того, что для меня сделала биеннале. Я ответила, что вообще-то они должны быть благодарны мне за мою коллекцию, которая стала самой популярной на биеннале 1948 года, так что мы в расчете. Негодуя, он вовсе убрал мое имя из списка приглашенных на открытие биеннале, и в 1952 году мне пришлось пройти по любезно отданному мне приглашению Сантомасо.

Когда граф Зорци умер, Паллуччини написал прекрасный некролог для журнала биеннале. Я была так растрогана, что почувствовала необходимость написать об этом Паллуччини и поблагодарить его. Так мы пришли к примирению, и мое имя вернулось в список приглашенных.

В то время я подумывала купить павильон Соединенных Штатов на биеннале, принадлежавший Художественным галереям Гранд-Централ, которые были готовы расстаться с ним за двадцать тысяч долларов. Но я решила, что ответственность слишком велика, тем более что я не могла себе этого позволить. Покупка павильона вынудила бы меня каждые два года ездить в Нью-Йорк и выбирать выставки, а затем брать на себя все расходы по перевозке и страхованию. Очевидно, это была работа для музея, если не для государственного органа. Павильоны всех других стран принадлежат организациям, которые спонсируют или поддерживают их правительства. Однако у нас в Соединенных Штатах государство не выделяет субсидии на биеннале. К счастью, в 1954 году павильон купил Музей современного искусства, что было куда более логично.

В 1950 году Альфред Франкфуртер, редактор «Арт Ньюс», открыл в этом павильоне американскую выставку, на которой Поллок был представлен тремя картинами. До тех пор его лучшим полотном на биеннале была «N 1» 1948 года, приобретенная Музеем современного искусства. Эта великолепная картина, которая через несколько лет оказалась в числе немногих пострадавших во время пожара в музее, на всей

биеннале стояла особняком, хотя там и были выставлены Таможенник Руссо, Матисс и Кандинский. Я помню свое бесконечное удивление, когда мне раскрыли на это глаза: мне всегда было сложно осознать факт величия Поллока.

В 1950 же году биеннале провела небольшую смешанную выставку скульптуры в зале, до нелепости для этой цели не подходящем: не в главном помещении итальянского павильона, где ей бы следовало проходить, но во внешнем. Выставлялись Арп, Цадкин и Лоран. Джакометти отказался от этого ужасного *salle*[84], который ему предложил Лоран. Арпа предупредили, что его работы выставили очень плохо, но, когда он вошел в главное помещение, где проходила выставка Виани, он радостно сказал: «О, мой зал совсем не так уж плох».

В 1954 году у Арпа прошла замечательная выставка на биеннале. Как и у Макса Эрнста. Они оба получили главные призы конкурса. По этому случаю Макс пришел ко мне домой и оставил в гостевой книге запись: «Старый друг вернулся сейчас и навеки». Так мы наконец помирились.

Премии на биеннале всегда вызывают большую шумиху. В этом сильно замешана политика, и никогда не бывает такого, чтобы все остались довольны. Из четырех важнейших призов, два за живопись и два за скульптуру, два по два миллиона лир вручает председатель Совета министров Италии и два по полтора миллиона лир вручает коммуна Венеции. Бессчетные прочие мелкие призы вручают самые разные люди и коммерческие организации не только из Венеции, но всей Италии. В том числе ресторан «Анджело», принадлежащий моему бывшему секретарю Витторио Карраину. «Анджело» — излюбленное заведение художников, и все его стены покрыты современными картинами; эту традицию начал брат Витторио, Ренато, погибший в автокатастрофе. Помимо художников в «Анджело» часто бывают регбисты, и очень странно видеть эти два совершенно разных типажа, чувствующих себя как дома под крышей одного ресторана, где подают изумительную еду и где я многие годы ела каждый день, прежде чем нашла свой палаццо.

В 1956 году Музей современного искусства сдал свой павильон на биеннале Чикагскому институту искусств, и Катарина Кух, на тот момент куратор музея, организовала там выставку под названием «Американские художники и город». Катарина пришла ко мне домой, чтобы купить картину Баччи, и очень впечатлилась двумя горничными, которые помогали мне таскать туда-обратно огромные холсты, и прозвала их моими кураторами. Эти две девушки-итальянки оставались за главных по понедельникам, средам и пятницам — дням, когда мой дом

открыт для посетителей. Я обычно в это время прячусь. После закрытия они рассказывают мне, что произошло за день. Как-то раз они с ужасом в глазах сообщили, что одной группе студентов показали Брака периода кубизма, назвав его Пикассо. Я спросила: «Почему же вы их не поправили?», и они ответили: «Мы не могли — это сказал их профессор». Я не только превратила своих горничных в кураторов, но обучила двоих гондольеров мастерски вешать картины.

Однажды в 1948 году я шла через площадь Кампо Манин и заметила две очень интересные картины в окне маленькой галереи. Сначала мне показалось, что это Поллок. Я зашла внутрь и познакомилась с их автором, Аланом Дэйви — высоким шотландцем с рыжей бородой. Он был женат на такой же чистокровной шотландке, блондинке по имени Билли. Я сразу же купила у него картину, и мы стали хорошими друзьями. Позже мне написал очень теплое письмо его отец-священник и поблагодарил за мой интерес к творчеству его сына. Алан Дэйви быстро развил собственный стиль, и хотя многие годы никто кроме меня не покупал его работы, он один из лучших британских художников. Теперь его, как и других таких же талантливых людей, наконец-то признали в Англии и Нью-Йорке, где он пользуется большим спросом, а до этого ему много лет приходилось содержать жену и ребенка ювелирным промыслом.

В 1950 году я познакомилась с Юджином Кольпом, куратором музея Тель-Авива. Он попросил меня одолжить ему ряд картин для выставки. В то время в подвале моего дома копились избытки моей коллекции, а поскольку там было очень сыро, я начала раздавать картины всем подряд, в том числе Поллоков, о чем, как я уже говорила, невероятно жалею. Мой друг Бернард Райс посоветовал подарить доктору Кольпу мои картины, а не одалживать их, и я отдала ему тридцать четыре штуки, а позже еще несколько. Я вскружила доктору Кольпу голову и однажды он спросил меня, что между нами. Я ответила: «Ничего, кроме тридцати четырех картин».

В моем подвале также хранились полотна, которые я купила во время выставок в «Искусстве этого века», в том числе Базиотиса, Мазеруэлла, Стилла, Вирджинии Адмирал, Пузетт-Дарта, Лоуренса Вэйла, Пегин, Кеннета Скотта, Джанет Собел, Ротко, Хиршфилда и Горки. В 1953 году Уолтер Шоу и Джин Герин, мои старые друзья, жившие в Бордигере, попросили меня одолжить им эти картины для выставки американской живописи. Она должна была пройти при поддержке коммуны, поэтому имело место много формальностей. Вступление к каталогу написал Кокто. Я приняла их предложение и поехала туда с

Лоуренсом Вэйлом и моим другом по имени Рауль. Уолтер и Джин устроили для нас с Кокто замечательный званый завтрак, но затянувшийся официальный ужин утомил Рауля, и он уехал сразу после него. К моему удивлению, мы оказались почетными гостями Бордигеры, и нам предоставили три чудесных номера в отеле. Рауль, которого волновали только автомобили (в одном из которых его так скоро настигла безвременная кончина), не проявлял особого интереса к искусству, но был, как его называл Герберт Рид, в своем роде «философом». Рауль все время повторял, что я войду в историю, и это утверждение, хотя и несколько преувеличенное, меня очень трогало.

У меня была собака по имени Сэр Герберт — в честь мистера Рида (коим он еще тогда был), хотя своего пса я посвятила в рыцари задолго до того, как это случилось с Гербертом. Когда я позвонила Раулю сообщить о посвящении в рыцари настоящего Герберта Рида, он спросил: «Ты имеешь в виду пса?» То же самое постоянно происходило у меня дома, когда у меня гостил Сэр Герберт. Слуги каждый раз переспрашивали: «Вы имеете в виду собаку или человека?»

После моего отъезда из Нью-Йорка у Поллока прошла провальная выставка в галерее Бетти Парсонс. Через несколько месяцев истек срок действия моего контракта с ним, и он оставался с Бетти без контракта до 1952 года, когда перебрался в галерею Сидни Джениса. Будучи вдали от Нью-Йорка, я не имела представления, что там происходит, но постепенно начала осознавать, что все мои заслуги перед Поллоком либо сводились к минимуму, либо совершенно забывались. Появлялись каталоги и статьи, в которых мое имя не упоминалось, либо обо мне писали неправду; так, Сэм Хантер, куратор Музея Миннеаполиса, назвал меня во вступлении к каталогу выездной выставки Поллока его «первым дилером». В каталоге Сан-Паулу и каталоге Музея современного искусства в Нью-Йорке вступление, которое Суини написал для моей первой выставки Поллока, приписанной музею моего дяди (где Поллок всего-навсего работал плотником). В его биографии в каталоге Сан-Паулу обо мне не сказано ни слова. Все считают, что первая выставка Поллока в Европе прошла в Студии Фачетти в Париже, не принимая во внимание ту, что я провела в Венеции, и выставку в Милане, для которой я предоставила картины. Хуже всего была статья, опубликованная в журнале «Тайм», где утверждалось, что Поллок решил закрепить свой успех на биеннале и для этого приехал в Европу, чтобы выставиться в музее Коррер в Венеции и в Милане. Поллок пришел в ярость и написал им, что он никогда в жизни не покидал Соединенных Штатов. Мое имя в статье не упоминалось,

как и в ответе Поллока, и мой большой друг Трумен Капоте, негодуя по этому поводу, сказал, что кто-то должен был написать еще одно письмо и рассказать подлинные факты, но никто этого не сделал. Я пожаловалась Альфреду Барру и Сэму Хантеру, и Барр сделал все, что было в его силах, чтобы разобраться в ситуации, но я решила не полагаться на удачу, поэтому, когда картины Поллока выставлялись в Риме, я потрудилась подробно изложить все факты Джованни Каранденте, ассистенту директора музея. Я хотела, чтобы хотя бы в Италии не возникло всей этой недосказанности.

В 1956 году Руди Блэш, который выставлял свои картины в «Искусстве этого века», написал книгу под названием «Искусство модернизма в США». Он знал все о моей галерее и написал правду, которую видел своими глазами. Думаю, по этой причине книга не пользовалась большим успехом среди тех, кто якобы открыл Поллока. Некоторые явные искажения фактов публиковались при жизни Поллока, и я склонна думать, что он был крайне неблагодарным человеком, поэтому, когда в 1956 году Ли Поллок приехала во Францию и позвонила мне с просьбой найти ей комнату в Венеции, я сказала, что в Венеции все занято. Через несколько дней я получила телеграмму от Клемента Гринберга, в которой он просил меня сообщить Ли Поллок, которая должна была быть со мной, о гибели Поллока в автокатастрофе. Можно представить, как я себя почувствовала. Возможно, так мог бы замкнуться цикл Поллоков в моей жизни, если бы Ли в тот момент была рядом. Но ее не было по упомянутой причине.

На самом деле, когда я поехала в Рим на выставку Поллока в Музее современного искусства в 1958 году, я ужасно расчувствовалась при виде его огромных ранних полотен, которые я таскала на себе и которые чуть ли не силком заставляла людей покупать. Это, определенно, было самое интересное и важное время моей жизни с 1934 года, и на данный момент моя главная заслуга.

На этом моменте я должна вернуться в 1948 год, чтобы рассказать о том, что предшествовало Римскому музею современного искусства. Приняв от Зорци приглашение на биеннале, я отправилась на зиму на Капри. Весной в Италии должны были пройти всеобщие выборы, и все ужасно боялись, что к власти придут коммунисты и в страну немедленно войдет армия Тито. На Капри царила тотальная истерия, и из-за своих друзей я так разнервничалась, что чуть не пожалела о своем согласии на участие в биеннале. Я подумала, что моя коллекция была бы сохраннее в хранилище в Нью-Йорке. Тем не менее я

решила обратиться за консультацией к главе Информационной службы США в Неаполе. Он меня отправил в Рим к доктору Мори, атташе по делам культуры в посольстве США. Это был обаятельнейший, благороднейший человек. Он сразу же вселил в меня такую уверенность (он не допускал мысли, что Италия может стать коммунистической страной), что я позволила своим картинам остаться на биеннале. А кроме того, он направил меня к доктору Пальме Букарелли, директору Римского музея современного искусства, чтобы я провела в ее музее выставку своей коллекции под эгидой правительства Соединенных Штатов после биеннале. Доктор Пальма Букарелли с радостью согласилась, а все расходы на себя должно было взять посольство США. К сожалению, ближе к назначенному времени правительство урезало большую часть финансирования Информационной службы и от проекта пришлось отказаться.

Доктор Пальма Букарелли была очень красивой женщиной. У нее был орлиный нос, волнистые каштановые волосы, лавандовые глаза с великолепными длинными ресницами и очень белая кожа. Она была очень миниатюрной и стройной и очень элегантно одевалась, а еще в прошлом знала много фашистов, поэтому занимала такую высокую должность. Она ничего не понимала в модернизме, но в последующие годы много сделала для того, чтобы ее кошмарный полумертвый музей начал проводить хорошие выставки и покупать картины. Помимо коллекции моего дяди она выставляла Мондриана, Модильяни, Малевича, Кандинского и Поллока. Иногда она вела себя так, будто сама открыла искусство модернизма, но учитывая тот факт, что они с ее ассистентом Каранденте совершили настоящее чудо в Италии, ей это можно простить.

Самыми известными гостями в моем доме были Джакометти и Трумен Капоте. Женившись на Аннетт, Джакометти приехал ко мне на медовый месяц. Нэнси Кунард в то время была в Венеции и часто приходила в гости. Джакометти говорил, что она похожа на великолепную скаковую лошадь. В то время или чуть позже Джакометти предложил мне шесть своих венецианских статуй за миллион французских франков. Разумеется, я согласилась. Однако так их и не получила, хотя ему самому казалось, что раз они родились в Венеции, то им место в моей коллекции. Должно быть, это не устроило его дилера, Пьера Матисса.

Я впервые встретила Трумена Капоте в холле своего дома — низенького мужчину, шаркающего в домашних тапочках. Мы стали близкими друзьями, и позже он провел у меня в доме два месяца, работая над текстом «Музы слышны». Он ревностно следил за фигурой и вынуждал и меня соблюдать диету. Каждый

вечер он водил меня в бар «Харрис» и заставлял есть рыбу. Днем он позволял мне только легкий обед из яиц. Он всегда ужасно веселил меня, и мне очень понравилось с ним жить.

Глава 20
Цейлон, Индия и вновь Венеция

Осенью 1954 года после смерти Рауля я решила выбраться из Италии и попытаться развеяться. Пол Боулз пригласил меня на Цейлон, где он купил маленький островок. Это было место невероятной красоты и буйства природы, покрытое всевозможными восточными цветами и экзотическими растениями. Его дом восьмиугольной формой напоминал Тадж-Махал. Мы жили все вместе в комнатах, разделенных занавесками: Пол, его жена Джейн, Ахмед — юный и очень одаренный арабский художник-примитивист и шофер-араб, скучавший без «ягуара», который пришлось оставить в Танжере в другом доме Пола.

Добраться до этого острова можно было только подобрав юбки и перейдя Индийский океан вброд. Там не было ни моста, ни лодок. Волны обычно успевали достать тебе до зада, хотя шел ты всего полторы минуты. Ужасно неприятно было потом весь день ходить с мокрым задом, но выбора не оставалось. Красота окружающей природы компенсировала неудобства, которые имелись в большом числе. Воды на острове не было, и слуги приносили ее на головах. По этой причине мыться там было решительно невозможно, разве что в море. Купались мы с плота прямо рядом с домом и делали это с большим удовольствием. Пляж напротив обрамляли кокосовые пальмы, и красивые сингальские рыбаки плавали у берега на своих лодочках, свесив ноги в разные стороны. Это был еще один мир мечты, совсем не похожий на Венецию.

Цейлон — очень маленький остров, и поэтому меня там приняли с большим энтузиазмом; в газетах обо мне писали как о видной фигуре в искусстве и приглашали на радио. Ко мне даже обратилась жена местного начальника полиции со слезной просьбой помочь ей определиться, стоит ли ей поощрять художественный талант ее двенадцатилетнего сына. Отец не одобрял его увлечения живописью, которому мать всячески способствовала. Надо признать, их сын действительно был весьма одарен, и я сообщила об этом отцу, отметив тем не менее, что часто дети, которые по юности рисовали хорошо, с возрастом теряют свежесть видения.

В моем дневнике я нашла следующую запись: «Вчера меня пригласили посмотреть на картины юного дарования, сына местного начальника полиции. Отец не хочет, чтобы он рисовал,

но мать лелеет гений сына. Этот ангелочек двенадцати лет показал мне всех своих питомцев: собак, щенят и белых мышей. Он рисует, как зрелый художник двадцати пяти лет, и обладает необыкновенным талантом с зачатками гениальности. Стиль его еще не оформлен: иногда он напоминает Матисса или Боннара, но в нем чувствуется большая сила и чувство цвета и композиции. Прямая, простая и невинная манера, но вместе с тем весьма продуманная. На его матери, элегантной сингалке, были восточные украшения и сари, повязанное на западный манер. Они живут в прелестном маленьком домике с видом на красивые коричные сады. У моего юного дарования очень изящные руки. Он продемонстрировал мне свои книги по искусству: египетскому, японскому, Дюфи, Пикассо и т. д. Он обладает изумительным вкусом и большой чувствительностью к деталям. Его мать тратит все деньги на краски и учебники живописи.

Я повстречала еще одного вундеркинда, виолончелиста и протеже Казальса. Он родом из очень знатной семьи, и его дядя, Дарангале — один из лучших художников Цейлона, хотя, я боюсь, на нем слишком сильно сказалось влияние Челищева. Второй юный талант оказался сильно старше — ему около шестнадцати, и он уже довольно известен как виолончелист. Его также обожает мать и также мечтает только об одном — устроить его карьеру. Но она, как и жена начальника полиции, не может избавиться от сомнений. Ни та ни другая женщина не уверена до конца, что поступают правильно».

После пяти недель на Цейлоне я в одиночку отправилась в Индию. Мой маршрут составил Такор Сахиб, индийской посол в Коломбо. Он до этого бывал в Вашингтоне и был женат на сестре махараджи княжества Майсур. Он имел весьма преувеличенное представление о скорости американских путешественников, которая, надо признать, иногда поражает воображение, но тот план, который он подготовил, убил бы кого-нибудь даже повыносливее меня. Мне пришлось урезать его вдвое, и все равно я успела побывать в более чем двадцати городах за сорок восемь дней. В Коломбо один журналист сказал мне обязательно посмотреть на картины Джамини Роя в Калькутте. Приехав в Майсур, где я должна была встретиться с махараджей, я посетила местный художественный музей. Там я увидела картину, которая напомнила мне Браунера, и, задумавшись, стала пытаться вспомнить имя художника, на работы которого мне советовали посмотреть в Калькутте. Мне не удалось, я очень расстроилась и подумала, что нужно отправить телеграмму тому человеку из Коломбо. Внезапно я присмотрелась к картине, перед которой я стояла, и обнаружила, что это и есть Джамини Рой.

Когда я добралась до Калькутты, пресс-секретарь правительства Западной Бенгалии, к которому у меня было рекомендательное письмо от индийского посла, отвел меня по моей просьбе к Джамини Рою, представив меня как художественного критика. Я нашла в своем дневнике такую запись: «Познакомилась с Джамини Роем, праведным мужчиной шестидесяти лет. Он живет в красивом современном белом доме, где выставляет свои картины. Он всегда пишет на мифическую тематику, включая мифологию христианства. Он выставлялся в Нью-Йорке и Лондоне, но никогда не выезжал за пределы Индии».

Джамини Рой много рисовал на тканом папирусе, но я купила за семьдесят пять рупий его картину на бумаге: ее было легче перевозить. Она изображает похищение Ситы Раваной. Король-демон Джатай в облике отважной птицы пытался остановить Равану, но был убит в бою. Это эпизод из «Рамаяны», великой индийской мифологии. Джамини Рой скопировал нескольких европейских художников по репродукциям, в том числе Кампильи и Ван Гога. Его собственные работы напоминали Виктора Браунера за тем исключением, что он рисовал глаза в форме лодочек или миндаля. Ему был характерен очень наивный примитивизм. Он не одобрял трехмерную живопись и рисовал в одной плоскости. На меня он произвел впечатление мудрого, неиспорченного человека.

В Нью-Дели я приехала совершенно измотанная путешествием по маршруту Такора Сахиба, и там меня спасла Пакстон Хаддоу, чудесная девушка из американского посольства, работавшая в Информационной службе. Она пригласила меня пожить в ее красивом доме и на время забыть, что я турист.

Пакс свозила меня в Чандигарх, город, построенный на месте Лахора, бывшей столицы Пенджаба, который после разделения Индии отошел Пакистану. В своем дневнике я записала: «Съездили… в Чандигарх. Приехали туда спустя несколько часов после того, как премьер-министр провел торжественное открытие здания Верховного суда, шедевра Ле Корбюзье. Это замечательное здание похоже на его многоквартирный дом в Марселе, хотя по нему сразу видно, что оно не предназначено для проживания. Весь город Чандигарх, спроектированный Ле Корбюзье, представляет собой изумительный пример современного градостроения, где все подчиняется его теории пропорций человека. Голова, тело, руки — все это должно быть представлено в соответственном соотношении. На Чандигарх было особенно приятно смотреть после Фатехпур-Сикри, мертвого города близ Агры. Всего в городе двадцать шесть секторов с огромными шоссе для транспорта и дорожками для пешеходов… Закончено только

несколько секторов, и они застроены ровными рядами одинаковых домов, которые арендуют чиновники за десять процентов от своей зарплаты. Так что по твоей ренте можно понять, сколько ты получаешь. В одном ряду домов живут судьи, и так далее до чернорабочих, у которых есть собственные дома. Замысел всего этого великолепен, но подводят остальные здания работы архитекторов Максвелла Фрая и Джейн Дью. Ле Корбюзье спроектировал несколько правительственных зданий, технический колледж, школы (в каждом секторе должно быть по одной), госпиталь, типографию и т. д. Деревьев посажено мало, поэтому пока город производит пустынное и однообразное впечатление. Интересно посмотреть, что будет через десять-двадцать лет. Пока что людям постоянно приходится импровизировать: школы используют для заседаний, аптеки в качестве больниц и т. д.

Нас сопровождала очаровательная женщина, жена судьи. Пакс уже раньше бывала в Чандигархе один раз и знала о городе много, но жена судьи была лучше знакома с практической стороной местной жизни. Она уже пожалела о выбранном доме: прямо напротив него росло огромное здание, а она как раз искала уединения. Она очень горевала из-за столовой, которая превратилась в проходную комнату. Над входом не было никакого навеса для защиты от дождя, а дожди в Чандигархе беспощадные. Гараж и комнаты прислуги располагались позади дома и были совершенно не приспособлены для сезона муссонов, когда бывают наводнения. Ее дом был построен один из первых и уже устарел. При строительстве новых учитывали ошибки старых и делали их гораздо удобнее, в этом мы убедились своими глазами.

Мы остановились в отеле работы Ле Корбюзье, вполне комфортабельном. Ле Корбюзье сделал стены из решетчатого бетона, которые не пропускают солнце, но пропускают ветер. Выглядит это как его изобретение, но на самом деле в Индии так строят дома издавна, поэтому все довольны. Город этот некрасив и никогда красивым не будет, потому что дома там слишком простые, одинаковые и скучные. Задача города — поднять уровень жизни бедного населения, и эта идея очень в духе социализма. В одном законченном секторе мы видели кинотеатр. Сам сектор похож на городок в Соединенных Штатах… Несомненно, весь этот проект — предмет большой гордости для Ле Корбюзье, ведь он единственный в мире, кому доверили заказ подобных масштабов. В его кабинете висит план, с которым положено ознакомиться прежде чем осматривать город. Рабочих Чандигарха почтили цветными чашами с землей и цементом —

символами их труда, — установленными на шестах вдоль улиц города. Худшие дома выглядят так, будто их вручную связали или расшили женщины. Один-другой ряд домов можно назвать красивыми, но в них нет ничего выдающегося или величественного. Понятно, что суть этого проекта не в красоте. Что ж, жаль. Даже при всех заданных ограничениях можно было сделать гораздо лучше».

Искусство модернизма в Индии меня разочаровало, как и на Цейлоне, где Джорджа Кейтса считают лучшим художником-модернистом. Он расписывал храмы в полуреалистичном стиле на темы буддистских мифов. У меня не возникло желания ничего купить, кроме Джамини Роя и еще одной замечательной примитивистской картины, которую я увидела на всеиндийской выставке в Нью-Дели. Она изображала сцену из быта деревни: крестьяне вечером сидят вокруг стола. Она несла в себе удивительную атмосферу и, даже будучи далека от реализма, очень точно передавала дух индийской жизни. Я захотела купить ее, но, когда Пакс пошла за ней с деньгами, она чуть-чуть опоздала: премьер-министр Неру только что подарил ее Гамалю Абделю Насеру.

Свои неудачи с картинами я компенсировала серьгами и вернулась домой, купив огромное количество пар по всей Индии и несколько даже в Тибете. Последние я нашла в Дарджилинге, куда я отправилась в поисках собак породы лхаса апсо, надеясь положить конец родственному скрещиванию в моей многочисленной собачьей семье. Я погостила у Тенцинга Норгея, шерпы, который с Эдмундом Хиллари первым покорил Эверест. У Тенцинга было шесть собак породы лхаса апсо, которых он каждый день выгуливал в Гималаях, но он не захотел расставаться ни с одной из них.

Принцесса Пиньятелли мне как-то сказала: «Если ты выкинешь все эти ужасные картины в Гранд-канал, у тебя будет самый красивый дом в Венеции». Он и так считался самым красивым, но никто во всей Венеции не одобрял моего модернистского убранства. Тем не менее моя коллекция, которая занимала буквально весь дом, требовала соответствующего интерьера. Вместо канделябра из венецианского стекла я повесила динамическую скульптуру Колдера из битого стекла и фарфора, с большой вероятностью найденных в мусорном баке. Диваны и кресла я обтянула белым пластиком, который можно было мыть каждое утро после моего многочисленного семейства собак: они любили устроиться по-царски. (Две мои собачки лхаса апсо скрещивались с джентльменом, которого специально привозил для этой цели из Америки Бернард Райс, и родили в

моем доме в общей сложности пятьдесят семь щенков. Обычно под одной крышей одновременно жило не больше шести.) Диваны я застелила черно-белыми полосатыми меховыми коврами, которые псы обожали вылизывать. Это тоже было очень не по-венециански.

Самая моя венецианская вещь, и вместе с тем очень не венецианская — это *forcole*, уключина гондолы, которую мне презентовал Альфред Барр для моего сада. Многие не понимают, что это такое, и восхищаются ей как скульптурным экспонатом — как Альфред и задумывал.

Изначально в дни работы музея весь мой дом был открыт для посетителей. Как страдали мои бедные гости! Я помню, как художник Матта однажды заперся в комнате, чтобы вздремнуть в сиесту. Замко́м так редко пользовались, что потом пришлось вызволять его оттуда при помощи слесаря. Я не могла уединиться даже в собственной спальне, поскольку там стояла кровать с изголовьем работы Колдера. Как ни странно, на фоне бирюзовых стен она смотрелась так, будто ей с самого начала было уготовано оказаться в Венеции. Там же на стене висит картина Фрэнсиса Бэкона — единственная его картина, которая меня не пугает. На ней изображена вполне симпатичная обезьяна, которая сидит на сундуке и охраняет сокровища; весь фон закрашен пастелью цвета фукси, и он замечательно сочетается с бирюзовыми стенами, шторой из индийского сари и покрывалом из марабу того же цвета. Остальное пространство стен украшает моя коллекция серег — сотня пар или больше, привезенные мной со всего мира. Еще комната украшена венецианскими зеркалами, расписанными бутылками Лоуренса Вэйла и «сюрреалистическими объектами» Корнелла.

Было сложно оградить все это от публики, но в конце концов это пришлось сделать. Теперь только друзья или посетители, которые отдельно об этом просят, могут увидеть мою спальню. Столовую, где висят картины кубистов, я вынуждена оставлять открытой. Там стоит венецианская мебель XV века, которую я купила в Венеции много лет назад и теперь привезла обратно на родину, пожив с ней на юге Франции, в Париже и Сассексе. Кубистские картины прекрасно смотрятся рядом со старинной мебелью.

Исчерпав все пространственные возможности своего палаццо, я решила построить павильон в саду. Там по крайней мере места было достаточно. Но на этот раз возникла проблема с деревьями. В Венеции запрещено срубать деревья, даже свои собственные. Тогда я решила построить павильон вдоль стены, которую делила с американским консульством по соседству — Госдепартамент

купил этот участок несколькими годами ранее. (Неожиданно это оказалось настоящим благословением: на многие годы я оказалась под круглосуточной вооруженной охраной.) Это была единственная часть сада без деревьев. Затем мне потребовалось запросить разрешение у Госдепартамента. Было странно, что мне приходится это делать, живя в Италии. Тем не менее никаких проблем с этим не возникло и разрешение мне скоро дали. После этого нужно было получить разрешение Академии изящных искусств. Мой архитектор передал проект в администрацию коммуны Венеция, а те, думая, что оказывают услугу американскому консулу, спрятали его в стол и не отвечали мне всю зиму. Мне даже пришлось написать мэру Венеции, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Наконец комиссия из Академии изящных искусств проинспектировала мой сад и одобрила проект.

За это время я несколько раз меняла планы. Сначала я хотела построить павильон по подобию картины Джорджо де Кирико под названием «Меланхолия и тайна улицы», но Витторио Карраин предупредил меня, что здание с такими арками будет вызывать ассоциации с фашизмом. Мой друг Мартин Коулман, который всегда консультировал меня по вопросам вкуса, посоветовал мне дополнить павильон крытой террасой. Я постаралась как можно ближе скопировать крыло палладиевой виллы Эмо в Фанцоло. Увы, места хватило только на шесть арок вместо одиннадцати. Академия изящных искусств одобрила проект за исключением одного ключевого момента: женщина-архитектор по имени Рената Тринканато настояла на том, чтобы один уголок сада остался нетронутым, и запретила мне использовать это крайне необходимое для строительства пространство. Из-за этого я не смогла соединить крыло со своим домом, чтобы сделать настоящую *barchessa* (так в области Венето называют виллы с крыльями, где и в наши дни хранят зерно и сено). В итоге моему архитектору Винченцо Пассеро пришлось изменить чертежи. Через два месяца открывалась биеннале, и моя баркесса должна была быть готова к тому времени.

Открытие биеннале — событие огромной важности для Венеции. Сюда на неделю съезжается весь мир искусства — не только организаторы выставок и архитекторы новых павильонов, но все приглашенные художники, а также те, кто не получил приглашения, но могут себе позволить приехать, и многие другие. Это огромная ярмарка, на которой заключается колоссальное количество сделок. Приезжают и художественные критики, и владельцы галерей, причастные к выставкам. Поскольку я коллекционер и поскольку я выразила намерение по мере своих возможностей покупать произведения на биеннале, я всегда

оказываюсь в центре внимания. Приезжают и другие коллекционеры, а это означает бесконечные вечеринки целую неделю. Я обычно даю большую коктейльную вечеринку в своем саду, поэтому непременно хотела закончить баркессу к сроку, и у меня это получилось. Внимания требовала не только баркесса, но и сам сад, который я совершенно запустила за десять лет. Его мы тоже успели привести в порядок, и он, ко всеобщему удивлению, стал казаться еще больше, чем раньше. В баркессе я устроила выставку работ молодых художников, которые купила за последние несколько лет. Выставка смотрелась очень хорошо, и я называла ее «моя биеннале».

Осенью подрядчик решил наперекор настоянию Ренаты Тринканато взять дело в свои руки и все же закончить баркессу так, как планировалось изначально, без разрешения Академии изящных искусств. Мы уговорили нашего архитектора продолжить работу и построить вторую половину павильона, которая вышла гораздо красивее первой, на том самом священном месте сада, оставив от него только небольшой кусочек позади. Таким образом мы соединили баркессу с палаццо, и это было крайне удачное решение.

Рабочие были замечательными людьми, хотя сама стройка причиняла нам большие неудобства. Мы постоянно рисковали свалиться в какую-нибудь яму, оказаться по уши в пыли или оглохнуть от шума машин. Я хотела выразить свою признательность строителям и спросила у подрядчика, что я могу для них сделать, и он сказал, что по завершении строительства я могу устроить для них *granzega*, то есть званый ужин. Я провела его с большим успехом в июне в саду моего любимого ресторана рядом с Академией. Нас было восемнадцать — двадцать человек, среди которых мы с женой архитектора были единственными женщинами. Мы много пили и веселились. Я переходила от одного гостя к другому, чтобы успеть поговорить со всеми. Они пели песни, кто-то играл на мандолине. Внезапно я вспомнила про свою гостевую книгу и послала за ней домой. Когда ее принесли, все строители написали в ней свои имена, а партнер подрядчика оказался поэтом и написал для меня чудесное стихотворение, в котором назвал меня львицей в честь моего палаццо. Архитектор Пассеро сделал замечательный набросок моей баркессы. На следующее утро, когда я проснулась и посмотрела в гостевую книгу, я увидела собственное дополнение к подписям рабочих. Очень нетвердым почерком там были написаны следующие слова: «Лучший вечер за мою жизнь в Венеции, 1948–1958, Пегги Г.»

Второй *granzega* я устроила осенью, когда было достроено

второе здание. Он прошел в том же ресторане, только не в саду — на улице было уже слишком холодно. Может, поэтому он вышел менее удачным. Честно говоря, тот ужин меня вовсе разочаровал. Полагаю, нельзя просто взять и повторить такую вечеринку. Однако если ужин и вышел неудачным, то про второе здание такого сказать нельзя. Баркесса теперь стала такой просторной, что туда поместились все мои картины и скульптуры сюрреализма. Я переместила их туда из забитого коридора своего палаццо, и это позволило мне перевесить все картины в доме и наконец закрыть для публики библиотеку и гостиную. Я покрасила стены обеих комнат в белый цвет вместо грязно-синего, от которого я страдала десять лет, и почувствовала, что наступает новая жизнь.

Глава 21
Возвращение в Нью-Йорк

Я много раз откладывала возвращение в Америку, где не была уже двенадцать лет. Вместо этого я съездила на Сицилию, Мальту, Кипр, в Индию, на Цейлон, в Ливан, Сирию, Грецию, на Корфу, в Турцию, Ирландию, Англию, Голландию, Бельгию, Югославию, Австрию, Францию, Швейцарию, Германию, Испанию и Танжер. При этом я все время говорила, что вернусь в Нью-Йорк на открытие музея моего дяди Соломона Гуггенхайма. Через несколько лет после смерти дяди музей перешел в руки его племянника, Гарри Гуггенхайма, и баронессу Ребай на посту куратора сменил мой дорогой друг Джеймс Джонсон Суини. Это было настоящее благо для музея. Я ожидала его открытия зимой 1959 года и была готова отправиться в Нью-Йорк в любой момент. Однако мои друзья Кардиффы пригласили провести с ними Рождество в Мексике, куда Морис Кардифф был определен в качестве культурного атташе при Британском посольстве. Я познакомилась с ними в Италии в 1948 году, когда он служил в Милане, и однажды съездила с ними на Кипр. Я с радостью присоединилась к ним в Мексике, где мне было гораздо интереснее побывать, чем в Нью-Йорке, хотя я все равно собиралась заехать туда по пути домой.

Это была прекрасная поездка. Мы с Морисом съездили на Юкатан и посмотрели на фантастические руины в Паленке, затерянные глубоко в джунглях; кажется, будто они из другого мира. Мы сорок минут летели на вертолете — никак иначе туда не добраться, потом карабкались вверх по бессчетным ступеням. Из всего, что я увидела за тот месяц, Паленке был самым удивительным местом. Его окружает великолепная дикая природа, и меня поразила его скульптура и архитектура. Я никогда не видела таких красивых руин. После этого мы съездили в Оахаку, Пуэблу, Акапулько, Таско, Куэрнаваку и многие другие места. Однако здесь не место для отчета о поездке; я должна ограничиться модернизмом.

Сразу должна сказать, что терпеть не могу громадные фрески Диего Риверы, Ороско и Сикейроса, которые встречаются в каждом госучреждении Мексики, и без ума от Тамайо, а еще больше — от двух женщин-художниц: Фриды Кало, жены Диего Риверы, и Леоноры Каррингтон, жившей в Мехико. Последняя все еще оставалась красавицей, была замужем за венгерским фотографом и имела двух чудесных маленьких сыновей. К тому

моменту она уже состоялась как художник и значительно развила свой стиль. Она по-прежнему рисовала животных и птиц, похожих на босховские, однако ее работы отличались очень личным характером. Других примечательных художников в Мексике не было, хотя складывалось впечатление, будто местные галереи процветают.

Фрида Кало умерла, и ее дом превратили в музей. Я была знакома с ее работами и включала их в свои женские выставки, восхищаясь ее талантом и приверженностью истинной традиции сюрреализма. Ее музей производил очень трогательное и печальное впечатление. В нем ты чувствовал, сколько боли ей пришлось вынести в этом доме, где она умерла в 1954 году от травмы спины, полученной еще в юности в аварии, оставившей ее инвалидом на всю жизнь. Многие ее работы связаны с физическими страданиями и многочисленными неудачными операциями на спине, которые она перенесла. Мы чувствовали атмосферу трагедии, застывшую здесь в параллельном измерении. Мы видели ее инвалидное кресло, в котором она рисовала до последних дней. В конце ее жизни едва ли между ней и Диего Риверой оставалась любовь.

Диего Ривера после смерти не оставил денег своим детям, но они все равно обожали его. Он завещал все состояние на постройку памятника самому себе по собственному проекту. Его возвели в пригороде Мехико, в убогом месте, окруженном домами бедняков-сквоттеров. В этой пирамиде — плохой имитации пирамид майя — должны были поместить помимо останков Риверы большое количество его картин и его коллекцию доколумбового искусства.

Я приехала в Нью-Йорк раньше официального открытия музея Гуггенхайма. Суини меня предупредил об этом, но я все равно решила задержаться по пути в Венецию. Суини попросил моего кузена Гарри Гуггенхайма показать мне музей. Я не видела Гарри тридцать пять лет и была рада воспользоваться такой возможностью. Еще больше меня обрадовало его письмо, полученное мной по возвращении в Венецию, в котором он говорил:

«До твоего приезда и до того, как нам выдался шанс вновь увидеться спустя столько лет, у меня сложилось ощущение, что однажды ты захочешь оставить свою коллекцию фонду для хранения в музее Фрэнка Ллойда Райта. Однако, чем больше я об этом думаю, тем больше я искренне верю, что твой фонд и твой дворец, которые твоими стараниями стали известны на весь мир, должны после твоей смерти отойти Италии, как ты и планировала. Я считаю, что там для них самое подходящее место,

и с точки зрения блага нашей семьи, а оно, должен признать, всегда для меня главный приоритет, это будет наилучшее решение. Я надеюсь, что пока ты была здесь, тебе удалось сделать шаги в этом направлении.

Желаю тебе с таким же успехом продолжать посвящать свою жизнь искусству и получать от этого большое удовольствие и радость».

Гарри относился к своим обязанностям очень серьезно, и ему очевидно приходилось непросто в роли буфера между, как он их назвал, «двумя эгоистичными гениями», Суини и Райтом — последний в то время был уже в очень преклонном возрасте. Я не завидовала положению Гарри, но полностью поддерживала позицию Суини в отношении Райта, которого, как и Кислера, интересовала лишь архитектура и совершенно не интересовали картины.

Сложно представить вражду более непримиримую, чем между Суини и Райтом. Бедный Суини, который унаследовал это бремя вместе с должностью директора музея, был совершенным пуристом в отношении экспозиции — я бы даже сказала, фанатиком. Интерьер его дома напоминал картину Мондриана. К счастью, Райт умер, пока я была в Нью-Йорке, что значительно разрядило обстановку и избавило Суини от многих трудностей.

Музей напоминает гигантский гараж. Он построен на площадке, не адекватной его размерам; ему явно тесно в чрезмерной близости от окружающих домов. Ему следовало бы стоять на холме в Центральном парке, а не на этой стороне Пятой авеню. Вокруг огромного пространства для выставки скульптур зловещей змеей вьется гигантская спиральная рампа — знаменитое изобретение Райта. Стены музея изгибаются от зрителя, а бетонная платформа держит его на почтительном расстоянии от картин. Более неудобного угла обзора не придумаешь. В конце концов картины установили на кронштейнах. Поразительно, как они копировали идеи Кислера. Цвет помещений был очень некрасивый — где-то бежевый, где-то белый. Тем не менее я чувствовала, что гений Суини поможет ему преодолеть все трудности и открыть достойный музей. Я же все равно предпочитала свою скромную баркессу в Венеции и впервые перестала жалеть о том баснословном состоянии, которое потерял мой отец, отделившись от своих братьев ради собственного бизнеса за несколько лет до своей гибели на «Титанике».

За лучший день моего визита в Америку я успела посмотреть на коллекцию Барнса и посетить Художественный музей Филадельфии, а вечером оказаться на фуршете в современной

квартире Бена Хеллера, коллекционера искусства. У меня выдалась крайне насыщенная программа для одного дня, который еще и закончился полуночной вечеринкой.

В Фонд Барнса меня сопровождал мой друг Роберт Брэди, который когда-то там учился. Поскольку мне нужно было уезжать через несколько дней, он раздобыл для меня специальное приглашение. Его со мной не пустили — у него было приглашение на две недели позже. Я уже не в первый раз просила о допуске к этой коллекции. Здание фонда, стоявшее в красивом парке, не отличается ни размерами, ни современностью, но сама коллекция потрясает воображение. Это место ни в коем случае нельзя назвать музеем. Картины предназначены исключительно для глаз студентов; их даже снимают со стен, чтобы дать лучше рассмотреть. Руководит и преподает в этом заведении мисс Виолетта де Мазия. Она была любезна и гостеприимна, но очень опешила от моей просьбы посмотреть каталог коллекции. Мне потребовалось полчаса, чтобы привыкнуть к расположению картин. Никогда не видела, чтобы такое количество шедевров хранилось в таких хаотичных условиях — иногда по пять слоев картин друг на друге. Помимо большого зала там было около двадцати маленьких комнат. Зал находился в верхней галерее, где хранилась обширная серия картин Матисса, рассчитанная на большое пространство. Требовалось немалое усилие воли, чтобы сосредоточиться на одной картине, так близко они висели друг к другу. Всего в этом месте хранилось примерно двести сорок Ренуаров, сто двадцать Сезаннов, сорок три Матисса, тридцать Пикассо, двадцать Анри Руссо, двенадцать Сера, двадцать пять Сутинов, а также Модильяни, Мане, Моне, Домье, Ван Гог, Курбе, Клее, Вламинк, Дега, Жан Гюго, Лоран, Утрийо, Брак и Дерен. Встречались и старые мастера — Тициан, Тинторетто, Кранах, ван де Вельде и Франс Хальс. Еще в одной комнате хранилась старая американская мебель, в другой — доколумбова скульптура и украшения. На стенах то и дело встречались раннеамериканские арабески из кованого железа. Мне было разрешено провести там два часа, хотя я могла бы остаться на месяц. Я обошла всё два или три раза, а под конец Роберту удалось проникнуть внутрь незамеченным.

Абсолютно измотанная и переполненная эмоциями от увиденного, я все же отправилась в Музей Филадельфии, чтобы посмотреть на коллекции Аренсберга и Галлатена в новой обстановке. Меня невероятно впечатлила инсталляция Генри Клиффорда. Помимо нее музей обладал другими несметными сокровищами: ты бродил по индийскому храму в Мадурае, залу китайского дворца, японскому чайному домику, кабинету

японского философа, по галерее аббатства Сен-Мишель-де-Кукса в Тулузе, у фонтана в Сен-Жени-Де-Фонтэн, а также среди итальянских, французских и английских интерьеров, привезенных в Америку, как шотландский замок в фильме Роберта Доната «Призрак едет на Запад».

Идеальным образом этот день закончился в окружении Поллоков, Филиппов Гастонов, Стамосов и Ротко дома у мистера и миссис Бен Хеллер в компании мистера и миссис Бернард Райс, тоже выдающихся коллекционеров, и Ли Поллок. Хеллеры полностью заняли свою квартиру коллекцией. Они даже снесли стены, чтобы хватило места для великолепного полотна Поллока «Синие столбы». Они переехали сюда из более комфортабельного жилища, только потому что здесь, на Централ-парк Вест, было больше места. Эта квартира была совершенно голой и производила впечатление не то бомбоубежища, не то госпиталя. Такие условия жизни уготованы каждому, кто посвящает свою жизнь искусству модернизма, и Хеллеры не одни пали жертвой подобного увлечения.

За те двенадцать лет, что я провела вдали от Нью-Йорка, все сильно изменилось. Меня сразил тот факт, что мир современного искусства превратился в огромное коммерческое предприятие. Лишь немногих в самом деле заботили картины. Остальные покупали из снобизма или ради ухода от налогов: можно было подарить картину музею, но держать ее у себя до конца жизни — так сказать, и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Некоторые художники не могли себе позволить продать больше нескольких картин в год, поскольку теперь платили налоги. Люди покупали только все самое дорогое и не верили ни в какие другие критерии. Кто-то покупал картины исключительно в качестве инвестиций, а потом складывал их в хранилище и, даже не глядя на них, каждый день названивал в галерею и спрашивал, какое на них поступало последнее предложение, как будто пытаясь удачно продать акции. Художники, чьи картины я с трудом продавала за шестьсот долларов, теперь получали по двенадцать тысяч за штуку. Кто-то попытался продать мне голову работы Бранкузи за сорок пять тысяч долларов. Ли Поллок держала все картины Поллока в хранилище и не хотела продавать их даже музеям.

Я не могла себе позволить купить ничего из того, что я хотела, поэтому я обратилась к другой сфере, хотя и после того, как несколько художников все же любезно сделали для меня скидки. Я начала покупать доколумбово и примитивное искусство. В последующие недели я стала гордой обладательницей двенадцати фантастических артефактов, в том числе масок и скульптур из Новой Гвинеи, Бельгийского Конго,

Французского Судана, Перу, Бразилии, Мексики и Новой Ирландии. У меня в памяти в обратном порядке всплывали воспоминания о тех днях после расставания с Максом, когда он днем приходил к нам домой, пока я была в галерее, и по одному снимал свои сокровища со стен. Теперь они все как будто возвращались на место. Я таки поддалась опасным чарам маленького мистера Карлбаха, у которого в Нью-Йорке закупался Макс и который теперь владел великолепной галереей на Мэдисон-авеню. Его расценки увеличились вдвое, но все же остались приемлемыми.

Многие годы Клемент Гринберг твердил, что, когда я вернусь в Нью-Йорк, он устроит выставку «*Hommage à Peggy*»[85] и включит в нее всех моих «военных детей», как я называла художников, открытых мной во время войны. Это должно было стать огромным событием с вечеринкой с шампанским в честь открытия. Но мне пришлось отказаться от этого предложения. Гринберг теперь работал художественным консультантом в галерее Френч энд Компани, где должна была пройти выставка, но мне не нравилось, что они у себя выставляют, как и то, что теперь рисуют мои «военные дети». Честно говоря, мне не нравится нынешнее искусство. Я считаю, оно скатилось в тар-тарары из-за этого потребительского отношения. В плачевном состоянии современной живописи обвиняют меня, потому что я в свое время вдохновляла новое движение и помогала ему сформироваться. Но к происходящему я не имею никакого отношения. В начале 1940-х в Америке был силен дух чистого новаторства. Зарождалось новое искусство — абстрактный экспрессионизм. Я всячески этому способствовала и не жалею об этом. Абстрактный экспрессионизм породил Поллока, а точнее Поллок породил его. Одно это оправдывает все мои старания. Что касается других художников, то я не знаю, что с ними произошло. Кто-то говорит, что я застряла в прошлом. Может, так и есть. Этот век видел много великих движений, и среди них безоговорочно выделяется одно: кубизм. Лицо искусства преобразилось. Это неминуемо должно было случиться в результате индустриальной революции. Искусство отражает свое время, а значит, ему было суждено измениться полностью, ведь мир менялся так радикально и так быстро. Нельзя ожидать, что каждое десятилетие будет дарить нам нового гения. В XX веке уже достаточно гениев увидело свет; не стоит ждать других. Полю нужно время от времени отдыхать под паром. Нынешние художники чересчур стараются показаться оригинальными, и именно поэтому живопись перестала быть живописью. На данный момент нам следует быть благодарными за то, что нам дал XX век: Пикассо, Матисс, Мондриан,

Кандинский, Клее, Леже, Брак, Грис, Певзнер, Мур и Поллок. Давайте по крайней мере сохраним и сделаем достоянием масс те великие сокровища, что у нас уже есть.

Заключение

В 1956 году Карло Кардаццо попросил меня написать коротенький сборник занятных анекдотов для серии, которую он тогда выпускал. Лоуренс Вэйл назвал книжку «*Una Collezionista Ricorda*» (что издатель перевел на обороте титула как «Коллекционер вспоминает»). На обложку поместили великолепную фотографию меня под моим колдеровским изголовьем с восемью терьерами — лхаса апсо.

В 1960 году итальянский издатель Уго Мурсия обратился ко мне с просьбой написать предисловие к книге «Приглашение в Венецию». В нее должны были войти фотографии Уго Муласа и тексты Микеланджело Мураре. Я не верила, что смогу это сделать, но Мурсия очень настаивал, и я все же выполнила его просьбу. Мое предисловие вышло весьма образным и совсем не похожим на «На пике века» — я думала, что не умею писать никак иначе. Его текст приведен здесь в качестве приложения.

В тот же год я съездила в Японию с Джоном Кейджем. Его пригласил выступить в ряде городов знаменитый мастер икебаны. Не могу сказать, что мне нравится музыка Кейджа, но я присутствовала на всех концертах. Нашим гидом и переводчиком была Йоко Оно, и она же принимала участие в одном из перформансов. Она оказалась очень ценным спутником и приятной девушкой, и я близко с ней подружилась. За Йоко всюду следовал юноша-американец по имени Тони Кокс, который приехал в Японию с целью ее разыскать, не зная ее при этом лично. Он сопровождал нас во всех поездках, несмотря на присутствие ее мужа (весьма достойного композитора). Мы путешествовали большой группой со своим собственным фотографом. Я позволяла этому Тони спать в одной комнате со мной и Йоко. В результате на свет появилась чудесная малышка наполовину японских, наполовину американских кровей, которую Тони позже украл, когда Йоко была замужем за Джоном Ленноном, перед этим успев выйти замуж за Тони и развестись.

Больше всего в Японии мне понравился Киото. Жаль, что я увидела очень мало храмов, но Джона Кейджа мало интересовали достопримечательности, и при этом он не желал отпускать нас от себя ни на шаг. Как-то раз он полдня провел в поисках галстука, который ему много лет назад сшили в Японии. Если у нас и получалось что-то увидеть, то только тайком от него ускользнув. Мне удалось вырваться и съездить в Бангкок, Гонконг и Ангкор-Ват, где я наконец-то могла осмотреть все, что хотела. На Ангкор-Ват у меня было всего сорок восемь часов, но я посетила почти

все храмы. Сочетание джунглей и руин — зрелище невероятной красоты, и оно напомнило мне Паленке. Определенно, это одно из самых удивительных мест, где мне доводилось бывать.

В 1960 году или примерно в то время в Венецию приехал Андре Мальро. Его привез французский консул познакомить со мной и моей коллекцией. Мальро очень заинтересовала Пегин, и он принялся толковать для нее ее собственные картины. Она не поняла ни слова, но была польщена его вниманием. Через несколько дней он прислал мне фотографии двух масок из своей коллекции. Они были очень красивы, но я не поняла, зачем он мне их прислал, — разве что с целью заинтересовать меня на случай, если он захочет их продать. Позже это знакомство сослужило добрую службу Пегин: она обратилась к Мальро с просьбой вызволить из беды двух ее друзей, фотографов-геев. Разумеется, Мальро решил, что один из них — ее любовник. Тогда же я спросила его мнение о том, стоит ли мне принять предложение выставить свои картины в муниципальной части Музея современного искусства в Париже. По мнению Нелли ван Дусбург, для моей коллекции это было недостаточно значимое место. Мальро же ответил, что я смогу провести там выставку с таким же успехом, как и в другом, национальном крыле музея. К счастью, я не послушала его совета и через несколько лет дождалась предложения провести выставку в музее Оранжери. Во время той выставки я как-то раз встретила Мальро на званом обеде за городом. Он держался со мной сдержанно, и я спросила его, не держит ли он на меня обиду за ту историю. Я не слишком близко его знала, но все равно мне было больно узнать о его смерти.

В 1961 году мне нанес визит человек по имени Эджидио Константини и попросил меня помочь с изготовлением стеклянных скульптур по эскизам, которые для него нарисовал ряд знаменитых художников. У него не было денег на стекло, и он ужасно переживал — так, что даже расплакался. Для меня невыносимо видеть мужские слезы, поэтому я согласилась помочь ему. В любом случае, меня заинтересовала эта идея, и я попыталась найти полезных людей. В итоге Эджидио сделал изумительные статуэтки по эскизам Пикассо, Арпа, Макса Эрнста, Кокто, Колдера, Ле Корбюзье, Шагала, Матты, Кокошки и многих других. Кокто назвал его проект *La Fucina degli Angelli*[86]. Сейчас мой дом заставлен этими скульптурами, и многие я раздала музеям Америки. Я помогла Константини встать на ноги, продала множество его работ и даже устроила для него выставку в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Он был мне за это безмерно благодарен, чего нельзя сказать о многих других художниках.

В 1961 же году я заказала у Клер Фалькенштейн новые въездные ворота для моего дворца. Я видела фотографии красивых ворот, которые она сделала для кого-то на адриатическом побережье, и непременно захотела приобщиться к ее творчеству. Она собственноручно спаяла сеть железных стержней — невероятный труд для женщины — и вставила в нее ненужные куски муранского стекла. Результат получился потрясающим. Все прохожие на улице останавливаются у этих ворот. Герберт Рид опасался, что они окажутся недостаточно прочными, но напрасно. Перри Рэтбоун, директор Музея изящных искусств в Бостоне, мечтал их заполучить. Я говорила Клер: «А теперь иди домой к своему вязанию», имея в виду сварку. В каталоге к одной выставке ее работ я написала: «Клер предстала пред Вратами рая. Святой Петр спросил ее: „Что ты здесь делаешь, дитя? Тебе сюда нельзя“. Клер ответила: „Но я же сама сделала эти ворота“. „В таком случае, проходи“, — сказал Святой Петр».

Американский поэт Алан Ансен написал и поставил в моем саду две замечательные пьесы для театра масок, и в них играли все наши друзья. Уехав жить в Афины, он останавливался в Венеции каждый год по пути к Одену в Австрию. Как-то раз я, как обычно, устроила в честь приезда Ансена коктейльную вечеринку, и во время нее мне позвонил Нортон Саймон[87] и сказал, что он в Венеции и хочет немедленно прийти. Мы сказали, что не можем его пригласить, поскольку у нас сейчас прием в честь поэта из Греции. Нортон Саймон стал настаивать и говорить, что американское посольство договаривалось о встрече. Я возражала: он приехал на день раньше условленного, но в конце концов мы сдались. Он оказался очаровательным человеком безо всяких миллионерских замашек и отлично вписался в нашу богемную вечеринку. На следующий день он пришел на обед один и спросил меня, не хочу ли я завещать свою коллекцию Калифорнийскому университету в Беркли. Я сказала, что это возможно при одном условии: если он спасет Венецию, но дальше этого, увы, дело не пошло.

В 1962 году меня удостоили звания почетного гражданина Венеции. Мой дорогой друг граф Элио Зорци написал для меня речь. Речь мэра тоже кто-то написал за него, как и речь третьего выступавшего. Таким образом, никто не говорил своими словами. Все это происходило в городской ратуше. Мне подарили красивый букет и свидетельство на пергаменте. Нас угостили напитками, а позже мои друзья-художники устроили для меня обед в ресторане «Анджело».

Примерно в то время Джозеф Лоузи пригласил меня сыграть

роль в фильме «Ева» с Жанной Моро. Все, что от меня требовалось, — это сидеть за игральным столом и играть в баккару. Я не имела представления, как играть в баккару, но рядом со мной сидел очень любезный мужчина, — по моему подозрению, гондольер, одетый в дешевый модный костюм, — который показал мне, как играть, и играл за меня. Не знаю, за что мне заплатили эту огромную сумму, — разве что за ранний подъем и тот факт, что я вовремя приехала в казино.

Одна из самых неловких ситуаций, в которых я оказывалась, случилась в Венеции при встрече с принцем Филиппом, когда он рассказывал, как побывал на балу в моем дворце, когда тот еще принадлежал леди Каслросс, и флиртовал там с молодой женщиной. Она с тех пор уже вышла замуж и родила четырех детей. На тот момент у принцессы Элизабет и принца Филиппа было только два ребенка. Я оживилась и вставила: «Выходит, она преуспела больше вас». Все вокруг нас замолкли в ужасе.

Другая неловкость произошла со мной при встрече с Теннесси Уильямсом. Он был с другом, и я не знала, кто есть кто. После продолжительного разговора я решила, что он, должно быть, тоже писатель, и спросила: «Вы, случаем, не пишете?»

Однажды мне нанес визит Амилькаре Фанфани, президент сената Италии. Он пришел с двумя сотрудниками, женой и Джованни Каранденте, который провел для него экскурсию по моему дому. Казалось, увиденное его совершенно не заинтересовало, он не произнес ни слова. Синьора Фанфани, очаровательная женщина, поведала мне, что ее муж — художник, и пригласила меня в Рим отобедать и посмотреть на его работы. Полагаю, синьор Фанфани надеялся попасть в мою коллекцию и приехал ко мне именно с этой целью.

В 1965 году меня пригласили выставить практически всю мою коллекцию в галерее Тейт в Лондоне. Это было крайне хлопотное мероприятие. Старший реставратор галереи приехал сам, чтобы подготовить картины к перевозке. Мне стало очень стыдно, что я их так запустила и им требуется реставрация. Галерея Тейт надеялась унаследовать мою коллекцию. Они организовали в честь меня большой званый ужин в одной из галерей и по такому случаю даже арендовали антикварное столовое серебро. Мне позволили самой развесить картины; это был последний раз, когда я это делала самостоятельно. Открытие прошло впечатляюще. Я ходила под руку с новым директором, Норманом Ридом, и встречала гостей. Выставка пользовалась огромным успехом; очередь тянулась через ступени галереи и выходила на набережную Темзы. Сравниться с таким аншлагом могли только похороны Черчилля. После выставки, которую

продлили на две недели, многие картины повторно отреставрировали.

В 1966 году в Венеции случилось ужасное наводнение. Город полностью погрузился под воду на двадцать четыре часа, а когда вода отступила, все оказалось покрыто грязной масляной пленкой, даже морды моих львов. Мой подвал во второй раз затопило, но картины не пострадали — они были упакованы для отправки в Стокгольм и лежали в баркессе, которая возвышалась над водой. Мой дом вообще стоит в самой высокой части Венеции, в районе Дорсодуро, поэтому наводнение затронуло только подвал.

Бедствие нанесло такой ущерб Венеции, что встал вопрос о необходимости полной реставрации города. Было сформировано множество комитетов, в первую очередь Комитет по спасению итальянского искусства, хотя он занимался в основном Флоренцией — его основал Фред Лихт, директор Флорентийского центра Флоридского университета, позже ставший директором Художественного музея Принстонского университета. Вскоре после этого многие страны образовали свои комитеты: сначала Соединенные Штаты и следом Великобритания, Франция, Германия и Австралия. Они все проделали чудеса реставрации, в которой Венеция нуждалась и до наводнения, а уж после наводнения тем более. Я сама стала почетным членом организации «Спасем Венецию» и каждый год передавала большие суммы Джону Макэндрю, ее бывшему председателю. Существует вероятность того, что Венеция когда-то полностью уйдет под воду, и все наши старания окажутся напрасными, но мы все надеемся, что эту катастрофу удастся предотвратить.

Через год после выставки в галерее Тейт Понтус Хультен попросил меня провести выставку в Музее современного искусства в Стокгольме. Ее открывал король Густав Адольф, которому я лично провела экскурсию. Боюсь, его гораздо больше интересовали раскопки и китайское искусство, чем модернизм.

Пока я была в Стокгольме, встретиться со мной приехал Кнуд Йенсен из Луизианы, красивого музея под Копенгагеном, и спросил, не соглашусь ли я отправить свою коллекцию туда после окончания выставки в Стокгольме. Он пригласил нас с Пегин в Копенгаген, чтобы мы сначала увидели Луизиану. Я еще до этого решила, что соглашусь на выставку, но мы все равно провели три чудесных дня в Дании — одни из самых счастливых дней с Пегин и мои последние дни с ней; она умерла через несколько месяцев. Сэм Канер, директор Национальной галереи Копенгагена и художник, всюду нас сопровождал и заботился о нашем удобстве. Копенгаген — восхитительный город. У меня не сложилось такого

впечатления в прошлый раз, когда я там была. Я не присутствовала на своей выставке, поскольку уехала к Роберту Брэди в Мексику, и там я получила трагическое известие о гибели Пегин. Моей дорогой Пегин, которая была мне не только дочерью, но и матерью, и другом, и сестрой. Наши отношения всегда были сродни любовному роману. Ее безвременная и загадочная кончина опустошила меня. Никого в мире я так не любила, как ее. Весь свет ушел из моей жизни. Пегин была необычайно одаренным художником-примитивистом. Многие годы я лелеяла ее талант и продавала ее картины. Она только начинала познавать настоящий успех: той зимой прошли ее выставки в Канаде, Стокгольме и Филадельфии.

В 1967 году я решила расширить свой музей. Я приобрела огромное количество новых картин и скульптур, и хотя множество из них я раздала музеям Америки, я почувствовала необходимость в дополнительном пространстве. С этим мне помог, разумеется, мой подвал. Из него съехали мои подопечные, освободив несколько апартаментов, и я добавила к ним четыре комнаты. Это было вскоре после смерти Пегин, поэтому начав работу над перестройкой, я сразу решила, что посвящу один зал ей. Я больше не могла продавать ее картины и потому совсем закрыла свою галерею для продаж. Зал Пегин вышел очень красивым; в нем висели примерно двенадцать картин разных лет, начиная с той, которую она нарисовала в двенадцать. Константини подарил мне чудесную стеклянную скульптуру, которую они сделали вместе. Она заняла центральное место комнаты. Скульптура состояла из двенадцати частей и была сделана в точно такой же манере, как и ее картины. Константини сказал, что больше не сделает ни единой скульптуры по ее эскизу и у меня будет единственный экземпляр в мире. Я повесила в зале фотографию Пегин на моем византийском троне в саду и ее биографию на красивом пергаменте. Для меня это место стало ее мавзолеем.

В том же 1967 году меня удостоили титула командора Итальянской республики, в честь чего полагалась еще одна церемония, но из-за смерти Пегин я от нее отказалась. В этот раз меня наградили грамотой и медалью; я ее никогда не надеваю и держу под стеклянной витриной. Из-за нее я чувствую себя старухой, которая хвастается наградами. Помимо меня в Венеции, насколько я знаю, только две женщины-командора.

В 1968 году я отправилась с фотографом Ролоффом Бени в Индию. Он работал над книгой о ней и приехал в страну как почетный гость. Мы побывали везде, где можно, и преодолели на автомобиле тысячи миль. Я чуть не сошла с ума, пока Ролофф

бесконечно фотографировал все вокруг себя. Его фотографии — настоящие произведения искусства; каждая из них смотрится как картина. Мы приезжали в удивительные места вдали от больших дорог, где, как мне казалось, никто до нас не бывал. Эта поездка сильно отличалась от моего предыдущего визита в Индию в качестве туриста. Мы почти каждый день ночевали в новом месте, и что это были за места! Жуткие государственные общежития практически безо всяких удобств. Но это того стоило, учитывая, сколько необыкновенных вещей мы повидали.

В 1969 году мне предложили провести выставку в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке. Вокруг выставки организовали большую суету, поскольку музей надеялся получить мою коллекцию в наследство. Именно этого я хотела сама, так что я была как барышня на выданье, которая ждет не дождется предложения от того, кто давно хочет на ней жениться. Гарри Гуггенхайм, мой кузен и президент музея в Нью-Йорке, лежал в больнице, где я его навестила и мы составили соглашение. По его условиям коллекция должна была остаться нетронутой в Венеции и под моим именем, а им переходило право ее курировать. Ничего никуда не переезжало.

Музей и много кто еще устраивали в честь меня прекрасные вечеринки в Нью-Йорке. Это было утомительное время. Меня отдали на попечение Робину Грину, пиар-менеджеру музея, и он проделал удивительную работу по освещению моей выставки в прессе и обеспечил ее успех. Мы работали в паре с большим энтузиазмом. Я не могла подумать, что после всех моих разногласий с дядей Соломоном я однажды все же увижу, как моя коллекция спускается вдоль рампы Музея Гуггенхайма, словно «Обнаженная» Дюшана по лестнице. Уверенность в будущем моей коллекции принесла мне большое облегчение.

Пока я была в Америке, я жила у своих друзей Бернарда и Ребекки Райс и моего дорогого Мариуса Бьюли в Статен-Айленд, у Джима Муна в Северной Каролине, у моей кузины Барбары Обро в Южной Каролине и у Джона Гудвина в Санта-Фе. Также я навестила Перри Рэтбоуна в Бостоне, где меня обворовали в парке Коммон, — слава богу, сама я осталась невредима. Вернувшись в Нью-Йорк, я остановилась у моих друзей Гарнетт в двух шагах от музея. Мне никогда не нравился сам музей — я называла его гаражом моего дяди. На мой взгляд, коллекция смотрелась в нем плохо; с противоположной стороны рампы картины становились похожи на почтовые марки. Как-то раз я проезжала мимо музея на автобусе, совершенно забыв про выставку, и испытала большое потрясение, когда случайно наткнулась взглядом на свои картины.

После возвращения в Венецию я первым делом переписала палаццо, а потом и всю коллекцию на Музей Гуггенхайма с условием, что я смогу жить там и курировать коллекцию до конца жизни.

В 1971 году Вирджиния Дорацио попросила у меня разрешения написать обо мне книгу. Я с радостью согласилась и оказала ей в этом всю посильную помощь: предоставила доступ к личным документам, каталогам, газетным вырезкам, фотографиям и т. д. Она подписала договор с издательством «Викинг-пресс», но книгу до сих пор не закончила.

В 1973 году я попросила Джона Хонсбина, моего старого друга, который каждый год проводил у меня летние месяцы, помочь мне с галереей, поскольку одна я уже не справлялась. Он взял на себя продажу каталогов. Вход в музей бесплатный, и деньги мы берем только за каталоги. По утрам он выполняет мои поручения и пишет письма, а весь оставшийся день проводит у бассейна в отеле «Чиприани». Он самый социально активный человек, кого я встречала в своей жизни; ему звонят целый день. Он обожает ходить на вечеринки, но каждый раз возвращается разочарованным. Помимо тех новых друзей, которых он заводит у бассейна, он как будто бы знает всех. Он никогда не ест со мной — всегда где-то еще. По-моему, ему просто невыносимо сидеть дома, но он очень добр и внимателен, а когда я сломала запястье, проявил просто ангельскую заботу. Я во многом от него завишу.

Я также не могу найти слов, чтобы описать ту доброту и преданность, которые в последние годы проявили в отношении меня Джейн Райлендс и ее муж Филипп.

Зимой 1972 года у меня украли пятнадцать маленьких, но очень ценных картин. Их вынесли из моего дома через парадный вход и, судя по всему, сложили в пустующем доме по соседству. Воры проникли внутрь через залы Поллока. Начальником полиции был очень активный мужчина со связями в преступной среде, помогавшими ему в работе. Через две недели он обнаружил все картины свернутыми и закопанными в землю в Местре. До этого из Милана ко мне успел приехать страховой агент и предложить свою помощь в поиске украденного. Начальник полиции нашел картины на следующий же день после его приезда: он не выносил конкуренции. Через десять месяцев меня обокрали вновь. Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке долго обещал мне прислать кого-нибудь для установки системы сигнализации. Это постоянно откладывалось, и я в конце концов написала им, что, если они не поторопятся, будет слишком поздно. Так и произошло. Той же ночью воры вломились через толстую железную решетку на одном из окон гостиной,

выходившем на Гранд-канал, и украли шестнадцать небольших полотен. Ночь стояла очень туманная, и видимость была практически нулевой. В тот день я была дома, и собаки стали лаять как сумасшедшие, но я решила, что это кошка. След картин не могли обнаружить много месяцев, и я начинала сильно беспокоиться. Мне пришлось притвориться, будто страховой агент из Милана снова предложил мне свою помощь, и картины вернулись на следующий же день. Теперь у меня есть система сигнализации, которая срабатывает безо всяких видимых причин.

В длинном коридоре на нижнем этаже моего палаццо висит много рисунков и гуашей. Однажды один из посетителей протянул свою сумку соседу и попросил: «Подержите». Затем он снял со стены гуашь Танги, положил в сумку и пошел к выходу. К счастью, за этим наблюдал еще один посетитель, который сразу же поднялся наверх и сообщил об этом Джону Хонсбину. Тот бросился вслед за вором и безо всяких трудностей вернул Танги. Мужчина ни сопротивлялся, ни пытался убежать. Он покорно вернулся с Джоном в дом и дождался полиции, которая его увезла. Должно быть, он находился под действием каких-то веществ.

В 1975 году мне предложили выставить мою коллекцию в музее Оранжери при Лувре. Для меня это была большая честь, а также шанс отомстить за тот факт, что Лувр отказался спасать мою коллекцию в 1940-м. Все газеты не преминули упомянуть об этом, что доставило мне удовольствие. К сожалению, Жан Лемари, который занимался выставкой, поставил двух моих Бранкузи прямо напротив окон, где из-за яркого света их невозможно было разглядеть. Я попросила их переместить, но ни на одной выставке со мной еще не обращались настолько бесцеремонно. Лемари ответил, что он поставил их там, потому что снаружи за окнами росли деревья, и ему показалось, что птицы должны быть рядом с деревьями. Со мной обходились совершенно неуважительно, будто я не имею права даже на скромную просьбу. Все всё знали лучше меня. Но настойчивостью и силой воли я таки выиграла эту битву. Выставка проходила с большим успехом и ее продлили, как и в галерее Тейт. Всего ее посетило 120 тысяч человек.

В 1976 году доктор Эзио Грибаудо, издатель моего каталога и книги о моей коллекции, написанной Николасом и Еленой Калас, попросил выставить мою коллекцию в Турине в Музее современного искусства, где он входил в состав правления. В 1949 году город Турин уже предлагал провести там выставку, но в последний момент ее отменили по той лишь причине, что для тех времен она была слишком модернистской. Так я отомстила за

себя еще раз. Выставкой теперь занимались два архитектора-модерниста. Однако все их представление о модернизме заключалось в том, чтобы абы как расставить скульптуры на столах случайного размера, покрытых бирюзовым линолеумом. Они даже две высокие скульптуры Джакометти поставили на эти столы. Мне удалось добиться того, чтобы их спустили на пол. Но обходились они со мной вежливо и любезно — совсем не то что музей Оранжери. Турин — коммунистический город, и его мэр-коммунист принял меня очень радушно, угостив икрой и сэндвичами с копченым лососем и подарив большую коробку орхидей и книгу о сокровищах искусства Пьемонта. Я сказала ему, что очень рада успеху коммунистов на прошлых региональных выборах. Он не ожидал услышать такое от американки, но понимал, что я предпочту коммунистов христианским демократам, разрушившим Италию. Все время, что я провела в Турине, меня всюду сопровождал культурный *assessore*[88] Коммунистической партии, Джорджо Бальмас, и двое полицейских на автомобиле. Доктор Бальмас сказал, что новое правительство не планировало такую выставку, но не могло мне отказать, поэтому надеялось поднять вокруг нее как можно больше полемики и, полагаю, представить ее в коммунистическом свете. Выставку посетило 80 тысяч человек, и ее продлили на две недели. В 1967 году мадам Агнелли попросила меня одолжить ей мои картины сюрреализма для выставки, которую она проводила в Музее современного искусства. Тогда она мне написала, что мои картины пользовались огромным успехом. Так что теперь они выставлялись в Турине во второй раз. На входе висела большая фотография моего всадника работы Марино Марини, слишком большого для транспортировки, и моя огромная фотография авторства Ман Рея, которую он снял в начале 1920-х, в платье от Пуаре и головном уборе от Веры Стравинской. Там же поставили стеклянную витрину с фотографиями и документами из моего прошлого.

В Турине я была в качестве гостя города, и меня пригласили вернуться на закрытие выставки. Увы, я не приняла это приглашение, поскольку не могла заставить себя снова смотреть на этот синий линолеум. Я осталась в Венеции, где у меня ни с того ни с сего поднялось давление до трехсот, и я упала в обморок, сломав восемь ребер, после чего провела семнадцать дней в государственном госпитале. Медсестры там были чрезвычайно любезны и добры, но поскольку их было всего две на сорок пациентов, принять ванну представлялось практически невозможным. Судно, к моему ужасу, меняли служители-

мужчины. Я как-то смогла все это пережить, принимая нескончаемый поток посетителей, цветов, фруктов, вина и сладостей.

У меня был автомобиль «фиат» с изумительным кузовом от мастерской «Гия», катер, который я заказала у знаменитой фирмы «Оскар», и гондола. Я рассталась со всем, кроме гондолы, моей последней радости. Гондолу для меня сделали тоже на заказ: ее бока украшает резьба со львами, и вместо *cavalli*[89] у нее золотые львы. Поначалу я ездила в ней на вечеринки, по делам и за покупками, как на машине. Тогда она была в моем распоряжении целый день, а иногда и ночь. Позже я стала использовать ее только четыре часа в день, а теперь и вовсе сократила это время до двух часов, чего мне вполне достаточно и все равно очень дорого: гондольеры нынче стоят заоблачных денег. Когда у меня был катер, его водитель выполнял обязанности второго гондольера, но теперь он у меня только один. Так что каждый вечер в теплое время года на закате я отправляюсь в двухчасовое плавание; это время святое, и я ничему не позволяю менять мои планы. Иногда я беру с собой друзей и показываю им церкви, если они согласны осматривать их быстро: каждый час на гондоле драгоценен, и я ни за что не согласна прерывать поездку. Я владею последней частной гондолой в Венеции, остальные собственники венецианцы, которых было порядка двадцати, отказались от гондол в пользу катеров. Автомобиль мне был совершенно ни к чему, и я из-за него только переживала и заставляла себя ездить на нем раз в неделю, чтобы он не простаивал. С катером я рассталась, когда мой дорогой Гвидо, который работал у меня двенадцать лет, сообщил, что с завтрашнего дня ему дают катер-такси. Это мечта любого водителя в Венеции, и Гвидо невероятно повезло. За последние годы я видела его только один раз, и он был очень счастлив.

В мае 1977 года Джованни Каранденте прочитал лекцию обо мне и моей коллекции в отеле «Атени». После лекции графиня Завальи устроила в честь меня большой званый ужин. Посреди этого застолья вдруг все стало раскачиваться, от занавесок до канделябров. Это вызвало большое волнение, но ничуть меня не испугало, поскольку я не верила, что в Венеции может произойти настоящее землетрясение. Это были отголоски землетрясения Фриули, и большинство людей в страхе всю ночь провели на улице. Я же спокойно уснула в своей кровати.

В 1978 году Жаклин Боград написала мне, что издательство «Хольт, Райнхарт и Уинстон» попросило ее написать мою биографию. Она приехала в Венецию и оказалась чудесной девушкой, с которой мы быстро нашли общий язык. Я очень

обрадовалась, что она наконец сможет опровергнуть все те ужасные вещи, которые Джон Дэвис написал обо мне в своей книге «Гуггенхаймы: американский эпос». Например, он утверждал, что я отдала целый гараж Раулю Грегоричу. На самом же деле я подарила ему три машины, ни больше ни меньше. Рауль никого не убивал; тот человек, о котором идет речь, умер много лет спустя. Дэвис писал, что Танкреди был моим любовником, хотя нас связывали сугубо отношения покровителя и протеже. Дэвис писал, что Пегин не давали видеться с детьми после развода с Жаном Эльоном. Это неправда. Она постоянно с ними виделась. Я регулярно спонсировала большими суммами ее и Синдбада и продавала картины Пегин в галерее. Если ей и не хватало денег, то только потому, что ее муж Ральф Рамни ничего не зарабатывал и проматывал состояния. Синдбад не таскался по городу пешком, работая в страховой компании. У него в распоряжении было два автомобиля. Нет никаких признаков того, что Пегин совершила самоубийство. Врач, проводивший вскрытие, сказал, что причина смерти в ее легких. Должно быть, она захлебнулась рвотой. Будучи женатым на Кей Бойл, Лоуренс Вэйл не вел распутной жизни — напротив, он проводил все время с семьей. Наконец, особенное негодование у меня вызвал следующий пассаж мистера Дэвиса: «Что же еще делать после того, как ты пятнадцать лет прыгала из кровати в кровать, но ни одна из связей ничего в конечном счете не стоила?», ведь за указанный период времени у меня был всего один муж и два любовника.

Закончив «Исповедь одержимой искусством» и вступление к «Приглашению в Венецию», я перестала писать на шестнадцать лет. Несколько лет назад Фред Лихт передал мне предложение от издателя Луи Баррона из «Юниверс Букс» объединить «На пике века» и «Исповедь одержимой искусством» и, таким образом, привести мои мемуары в актуальное состояние. Поначалу эта идея мне не понравилась, но по прошествии лет я снова об этом задумалась. Вернуло меня к этой мысли следующее: французский консул Андре Тронк задумал выпустить мои мемуары, начитанные мной на магнитофон. Затея обернулась полным фиаско. У него был на примете хороший издатель, который был готов заплатить мне пятнадцать тысяч долларов, но, к счастью, я долго не могла решиться подписать контракт. Из этого ничего бы не вышло. Я разочаровала мистера Тронка, но мне так нравилась книга «На пике века», что я не могла написать ничего, чего он от меня хотел. Он просил меня перечитать ее и подумать над новыми идеями, но мне в голову приходили только старые. Мистер Тронк говорил, что французы «На пике века» не примут;

что она написана для англоязычного читателя, а в переводе уже будет не та. Я связалась с миссис Дженни Брэдли в Париже и попросила ее стать моим агентом. Но все-таки я сомневалась в этой затее с консулом, поэтому поехала к ней и сказала, что не могу подписать контракт, пока не увижу финальный текст от мистера Тронка. Она согласилась со мной, что было очень добрым поступком с ее стороны, учитывая, сколько денег она теряла. В Венецию я вернулась уже с намерением написать собственную книгу. Французский консул тоже потерял желание иметь со мной дело, хотя не говорил мне этого в лицо. Мы постепенно разошлись, и данная книга стала результатом несостоявшегося франко-американского сотрудничества.

В завершение моих мемуаров стоит сказать, что 26 августа 1978 года в честь моего восьмидесятого дня рождения доктор Пассанте, директор отеля «Гритти», устроил ужин для меня и двадцати двух моих гостей. Мой сын Синдбад экспромтом произнес речь, и кроме него с речами выступили британский консул Рей Жак, режиссер Джозеф Лоузи и доктор Гвидо Перокко, директор Международной галереи современного искусства в Венеции (Ка Пезаро). В зале висел транспарант с моим именем и поздравлением «Последней догарессы» с днем рождения. Мне подарили красивую сахарную модель моего палаццо, подсвеченную изнутри. Американские и итальянские флаги на стенах, а также миллион фотографов встречали меня, когда я сходила со своей гондолы. В завершение вечера мы посмотрели мое выступление на телевидении. В целом это было памятное мероприятие.

Приложение. Венеция

Считается, что Венеция — идеальное место для медового месяца. Это опасное заблуждение. Жить в Венеции или хотя бы ненадолго оказаться в ней значит влюбиться в этот город. В твоем сердце не остается места больше ни для кого. После первого визита ты обречен возвращаться при любой возможности под любым предлогом. Ты просто не можешь долго оставаться вдали от нее. Какая-то магия неумолимо тянет тебя обратно. Что касается самих венецианцев, они все влюблены в Венецию. Они с придыханием рассказывают о своей неугасаемой страсти к своему любимому городу. С нарастанием прилива их любовь крепнет, а с отливом слегка спадает, но только чтобы вернуться с новой силой, когда море вновь окутает ее водами. Когда в Венеции наводнение, любовь к ней становится еще неистовей, а затем ее жители и вовсе впадают в экстаз, вычерпывая воду из своих подвалов, чтобы вернуться к своим повседневным делам и нормальной жизни. Нормальная жизнь — это *façon de parler*[90]. Нормальной жизни в Венеции не существует. Здесь все и всё скользит по поверхности воды. Не только гондолы, катера, баржи, вапоретто и сандоло, но и здания, и люди. Ты скользишь в двери и из дверей ресторанов, магазинов, кинотеатров, театров, музеев, церквей и отелей. Ты скользишь с наслаждением и чувством свободы, не мучаясь в потоке транспорта, не раздражаясь ни единым сигналом клаксона. Это скольжение — ключевое свойство Венеции. Из-за того что уровень воды дважды за день поднимается и опускается, кажется, будто весь город постоянно находится в движении. Здания как будто всплывают и утопают вместе с приливом. Иногда Венеция частично скрывается под водой на несколько часов. В особенно сильные приливы ее покрывает метровый слой воды. Но это не сильно меняет ее характер, только лишь напоминает о том, что этот город вырос из воды и в воде живет.

Здесь нет чувства времени. Ты едва замечаешь его течение. Единственное, что свидетельствует о нем — это смена освещения.

Колокола церквей звонят целый день, и ты настолько к ним привыкаешь, что перестаешь связывать их звон с часами. Единственное время дня, которое ты не можешь не заметить, — это полдень. Тогда все колокола трезвонят в унисон с особой силой, и в добавок к этому раздается выстрел загадочной пушки.

Каждый час дня — это световое чудо. Летом на рассвете лучи солнца творят на поверхности воды такое нежное волшебство, что это разбивает тебе сердце. С течением дня свет приобретает все

более насыщенный фиолетовый оттенок до тех пор, пока не окутывает весь город алмазной дымкой. Затем день начинает медленно клониться к магическому закату, *capolavoro*[91] света. Это тот момент, когда нужно быть на воде. Это не обсуждается. Каналы манят тебя, зовут тебя, кричат твое имя, лишь бы ты сел в гондолу и слился с ними. Тем более жаль тех, кто не может позволить себе этой поэтической роскоши. В этот короткий час все пьянящее очарование Венеции разливается в ее водах. Этот опыт невозможно забыть. День за днем тебя тянет с *terraferma*[92] на воду лагуны, чтобы посмотреть на закат, или пройтись вдоль дворцов, любуясь их образами, отраженными в канале. Отражения дворцов — картины красивее всех, нарисованных величайшими художниками. Полосатые *pali*[93] на поверхности воды теряют свою функцию и превращаются в разноцветных змей. Если что-то может соперничать с Венецией по красоте, так это ее закатное отражение в Гранд-канале.

Очарование этого часа, проведенного в гондоле, бесспорно, но и у ночей есть своя прелесть и тайна. Люди выглядят иначе в тусклом свете улиц города. Ты практически не замечаешь их современной одежды. Ты можешь вообразить себе эти полуневидимые фигуры в их былой изысканности и великолепии, в бархате и парче, с саблями, мечами и драгоценностями или даже в масках во время карнавала. Отправиться на прогулку на гондоле ночью значит воссоздать в своем воображении истинную Венецию, Венецию прошлого с ее романтикой, тайными свадьбами, похищениями, страстной местью, интригами, изменами, разоблачениями, необъяснимыми смертями, азартными играми, музыкой лютен и пением.

Чтобы пробудить Венецию прошлого, нужно держаться подальше от Гранд-канала с его фальшивыми серенадами для туристов, не более чем насмешками над прошлым, и скользить по узким темным каналам, мимо приглушенно освещенных ветхих зданий, под мостами, где влюбленные по ночам приносят свои клятвы, мимо гондол с японскими фонариками и аккордеонистов, мимо *fondamenti*[94] с бистро, где гондольеры собираются, чтобы выпить вина, мимо складов, закрытых магазинов, крыс и плавающего мусора.

Никакой другой город не давал мне такого ощущения свободы, как Венеция. Невероятное наслаждение от прогулок, не стесненных опасной близостью потока автомобилей, может сравниться только со свободой, которую ты испытываешь в выборе одежды. Здесь ты можешь носить все что угодно и при этом не выглядеть нелепо. Напротив, чем экстравагантнее ты одеваешься, тем больше ты соответствуешь духу города, которым

однажды правил карнавал.

Буржуазные особы, облаченные в строгие костюмы, маленькие шляпки с вуалями, перчатки, с сумочками в руках кажутся тут до смешного неуместными. В этом фантастическом городе нужно носить только фантастические вещи.

Венеция — это город не только свободы и фантазии, но радости и удовольствия. Я никогда не видела, чтобы здесь кто-то плакал, кроме как на похоронах. Венецианские похороны — по-прежнему истинно средневековое зрелище. Большой черный баркас с четырьмя гондольерами в старинных черных одеяниях, гроб, погребенный под кипой гигантских венков, — одна из самых впечатляющих вещей, которые можно увидеть на Гранд-канале. Но кроме смерти здесь нет иных печалей. В людях чувствуется спокойствие и смирение; любую невзгоду они принимают как данность. Они не тревожатся. Ко всему они относятся с позиции *dolce far niente*[95].

Большую часть своей жизни в Венеции ты ждешь вещей, которые либо случатся, либо не случатся. Тебе остается только это принять как часть ритма Венеции. У венецианцев отсутствует чувство времени. Они никогда не приходят вовремя, опаздывают на встречи и появляются на несколько дней позже, чем их ожидали, не чувствуя никаких угрызений совести. Тебе приходится часами, днями, неделями, даже месяцами ждать как самых пустяковых, так и важнейших вещей. И так ты скользишь, не замечая, происходит ли вокруг что-то новое и сменяются ли времена года.

Однажды была опубликована книга под названием «Венеция без воды». Она удивила множество людей, полагавших, что Венеция — город без улиц и перемещаться по нему можно только на лодке. Это не имеет ничего общего с реальностью. Куда-то добраться быстро можно только пешком. Если ты хорошо знаком с этим лабиринтом, то любой маршрут займет не более двадцати минут. За это время тебе, возможно, придется пересечь Гранд-канал дважды или трижды, так сильно он петляет, пересекая город.

Гуляя пешком, ты открываешь для себя несколько иную Венецию, нежели с гондолы. Входы в здания расположены со стороны улиц, а не каналов, часто отделенные от дороги садами с большими деревьями и чудесными цветами, оживленными сладкоголосым пением птиц. Сады огорожены кирпичными стенами, и их количество тебя поражает.

Помимо садов цветы растут всюду в приоконных ящиках. Как правило, это герани всех оттенков розового и красного. Они приносят тебе большое облегчение в этом безжалостном городе.

Куда бы ты ни шел, твой глаз постоянно испытывают скульптуры и резные изображения не только львов, но верблюдов, карликов, Мадонн с Христами, крестоносцев, людей в лодках и многого другого. Твой взгляд никогда не отдыхает. Всюду тебя ждет какой-нибудь удивительный сюрприз.

Во время прогулок ты проходишь от кампо к кампо, и на каждой есть своя церковь и кафе, а зачастую и рынок. Ты ныряешь в бесконечные *calli*[96], каждая из которых настолько узкая, что в ней невозможно держать два зонтика на одной высоте. Ты упираешься то в загадочные дворы, то в каналы. Если в Венеции много садов, то еще больше в ней дворов с колодцами и красивыми готическими лестницами с балюстрадами, покрытыми резными львами. Бесконечное количество клуатров возвращают тебя в Средние века. Ты проходишь мимо зданий каждого из веков за прошедшую тысячу лет, и все они так гармонируют между собой, что кажется, будто время их постройки не имеет значения. Венеция — самый азиатский европейский город, не только по своей архитектуре, но и по ритму. Неожиданно много людей здесь имеют светлые волосы — как результат браков с немцами и австрийцами, хотя ты скорее ожидаешь встретить смуглые турецкие типажи. Здесь ты повсюду видишь *altane*[97], маленькие перголы на верхних этажах домов, где раньше дамы отбеливали волосы. В сочетании с красивыми дымовыми трубами и очаровательными изогнутыми крышами, покрытыми старой черепицей, они представляют собой картину, которая не дает тебе опустить голову. Ты постоянно идешь вверх-вниз по мостам. Их так много, что по ним ориентируются, когда показывают куда-то дорогу; ты говоришь: *через следующий мост и налево*, или *прямо у моста*, или *через три моста*. Люди часами стоят на мостах и наблюдают за движением. Из окон постоянно смотрят женщины, как будто ждут какого-то важного события, хотя прекрасно знают, что ничего не произойдет. Может, они ищут женихов или ждут, когда мимо пройдет красивый юноша. Хотя мне кажется, что для этой цели они ходят на мессы.

Венецианская знать раньше держала лошадей и ездила на них не только по улицам и мостам города, но поднималась на них по высоким лестницам своих дворцов. Ступени специально строили так, что лошади могли с легкостью по ним подниматься. Но конные времена остались позади, и теперь, увы, мы видим только львов, и то каменных. Лев — символ Венеции, поэтому ты видишь их везде. Только у моего дворца восемь львиных голов на фасаде. Кажется, будто из них должна литься вода в Гранд-канал. Большинство львов Венеции выглядят очень злобными и похожи друг на друга. У многих есть крылья. Однако есть один

маленький зверь на стене венецианского Арсенала, привезенный сюда с Дилоса, который не похож на остальные девять львов, украшающих это прекрасное здание. Он выглядит печальным, потерянным и чрезвычайно жалким, как будто мечтает вернуться на свой родной греческий остров — пусть остальные львы рычат здесь без него.

В Венеции больше нет других животных, не считая тысяч котов и нескольких собак. Большинство этих котов бездомные, и их кормят в *calli* так называемые милосердные люди, которые приносят грязные свертки с объедками и оставляют их на улицах, а иногда даже имеют наглость бросать их в частные сады, куда коты ходят есть. Удивительно, что коты пережили эту варварскую форму благотворительности. Во время войны их ели, как кроликов, но теперь их популяция возродилась. Собак в Венеции положено держать в намордниках или на поводке. Несколько лет назад в случае нарушений псов отлавливали и увозили на скотный двор, но чаще их владельцев просто штрафовали. Теперь власти стали более терпимы и перестали контролировать тех счастливых животных, которым повезло жить в городе без транспорта. Стоит им позволить наслаждаться хотя бы этим преимуществом. Лучшая *maison de coiffeur*[98] для животных в Венеции называется Каза дель Кане. Там творят такие чудеса стрижки, что я иногда мечтаю сама стать собакой, лишь бы воспользоваться их услугами.

В последнее время Венеция стала настолько популярна, что в летние месяцы практически невозможно гулять по улицам или даже плавать на гондоле. В ноябре все разъезжаются по домам и оставляют город в его одиночестве и нищете. Летом велик наплыв туристов. Деньги текут рекой. Стеклодувные мастерские процветают. Гондольеры задирают цены, чтобы прожить в зимние месяцы, когда люди жмутся вокруг жаровен, замотав шеи шерстяными шарфами, единственной защитой от холода. Город окутывает густой туман вплоть до января, когда погода становится морознее. В феврале один раз выпадает снег, окончательно превращая Венецию в сказочный город. Внешние лагуны замерзают, но каналы находятся в постоянном движении из-за приливов. В январе и феврале много солнца, а в марте внезапно наступает весна. Однако ноябрь и декабрь скованы унынием. Собор Святого Марка едва можно узнать. Он проступает сквозь туман, словно призрак, не похожий на себя, а точнее, разительно отличный от своего летнего брата. Может быть, такой собор Святого Марка даже красивее летнего, чрезмерно вычурного, украшенного по фасаду жуткими мозаиками XIX века. Нет уличных кафе с их музыкой и конкурирующими между собой

музыкальными ансамблями. Нет концертов на открытом воздухе, где исполняют красивые арии из вагнеровских опер. Нет продавцов открыток, фотографов и торговцев зернами, которые оставляют голубей голодать на скудных коммунальных пайках. Ты идешь по пассажам, не решаясь выйти под дождь на скользкие камни мостовых.

По городу практически не плавают гондолы, не считая паромов и тех, на которых установлены *felze*, зимние каютки, которые защищают от ветра и холода, хотя они и грозят пассажирам приступом клаустрофобии. С другой стороны, *felze* дают тебе преимущество в виде личного пространства, которого так не хватает летом, когда все на тебя смотрят и фотографируют.

Многие предпочитают Венецию зимой. Не только сами венецианцы, но и некоторые иностранцы, которые постоянно здесь живут. Они говорят, что тогда Венеция наконец-то достается им. Но мне кажется, что от бедного города остается только мрак, холод, лед, туман и дождь. А больше всего не хватает вдохновляющего общества посетителей со всех уголков света. Они очень важны, ведь они — твоя связь с остальным миром, о котором так легко забыть, когда живешь на этом острове сибаритов.

Летом туристы разрушают Венецию, но и поддерживают в ней жизнь. Без них она бы не существовала. Ее жизнь осталась в прошлом, и ее красоты, как музейные экспонаты, сохраняются для тех, кто приезжает ими насладиться. Венеция выживает только благодаря этому и сгинет, если туристы прекратят совершать свое паломничество. Десять веков архитектуры требуют надлежащего содержания. Такой прекрасный город, как Венеция, не может умереть. Это родина картин Виварини, Мантеньи, Кривелли, Беллини, Антонелло, Карпаччо, Чимы, Джорджоне, Себастьяно, Лотто, Тициано, Пальмы, Порденоне, Бассано, Тинторетто, Веронезе, Тьеполо, Каналетто и Гварди, и их необходимо сохранить как часть Венеции, волшебного города, который должен жить вечно.

1 Бенита и Пегги Гуггенхайм, 1903

2 Пегги, Хейзел и Бенита Гуггенхайм в Люцерне, 1908

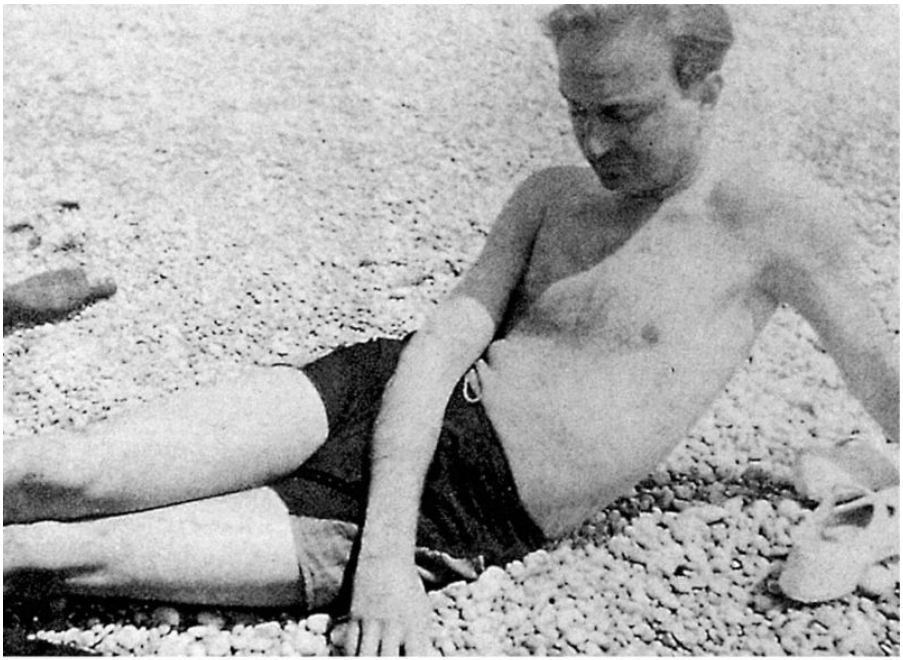
3 Я в 1908 году

4-5 Бенита была красива как никогда. Ее длинная тонкая шея казалась еще более изящной. Ее каштановые волосы и карие глаза, тонкий нос, оливковая кожа и красивые руки ни капли не изменились

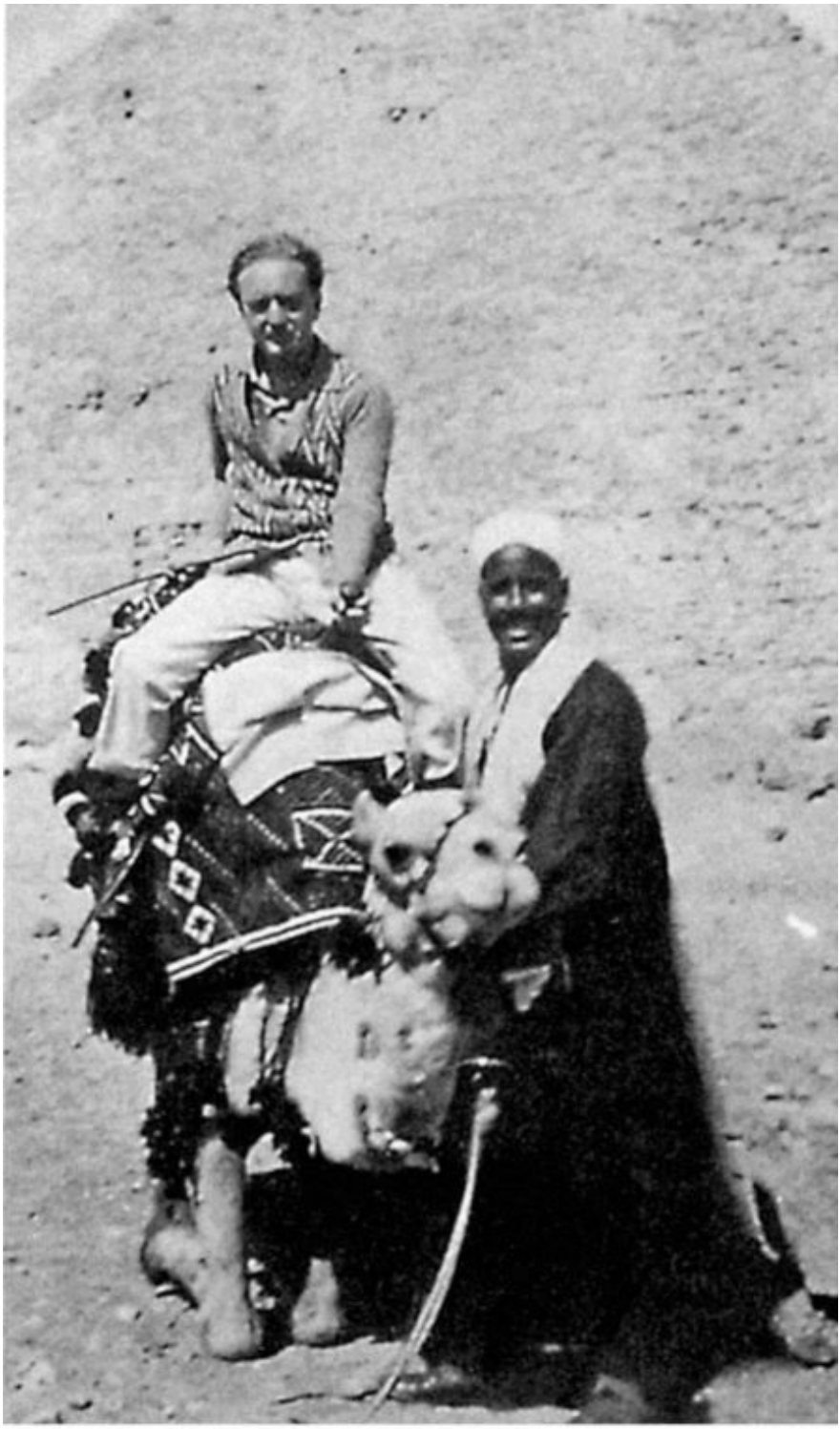
6 Я в 1912 году

7 Мой выпускной класс в школе Джекоби. Я крайняя слева в верхнем ряду

8 Король богемы, 1922



10 Лоуренс Вэйл
Во время нашего медового месяца на Капри, 1922

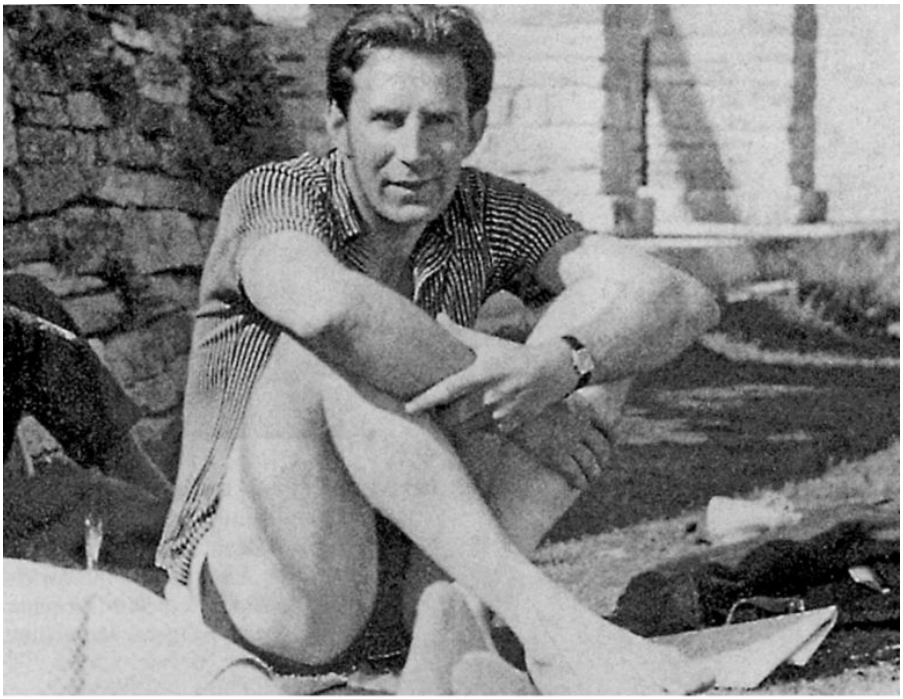


9 В Египте, 1923

11 Секретаршей Эммы была сумасшедшая американка по имени Эмили Коулман, которая разделяла веру Блейка в то, что все возможно, если только в это поверить. Летом 1928 года она была влюблена в Джона Холмса, англичанина, с которым она познакомилась в Сен-Тропе

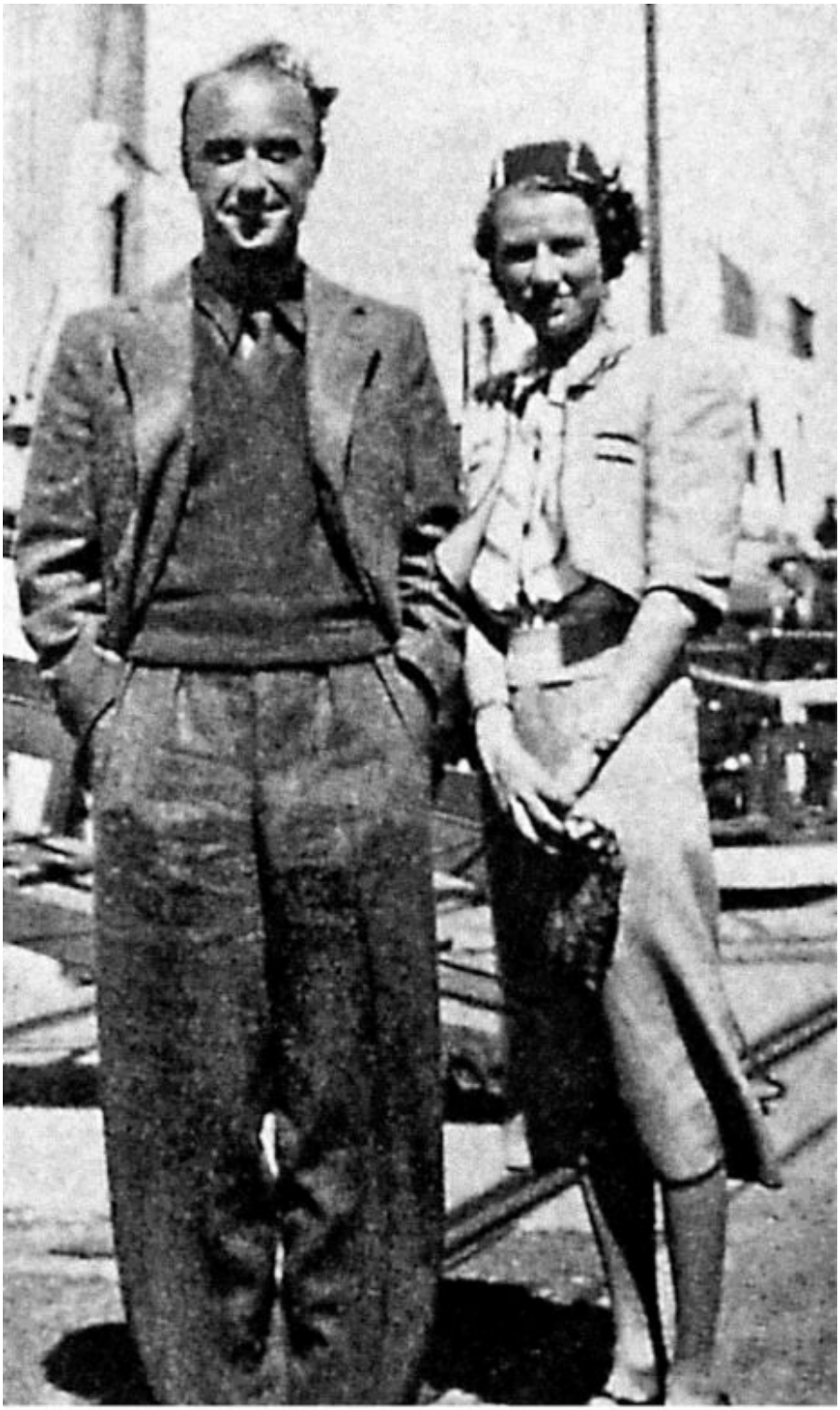
12–13 Джон Холмс обладал высоким ростом и великолепным телосложением. Со своей маленькой рыжей бородой он очень походил на Иисуса Христа. Во время Первой мировой войны он убил четырех немцев, за что, к его огромному стыду, был удостоен Военного креста. От алкоголя он становился очень разговорчив, а говорил он как Сократ. Он мог часами держать людей в оцепенении

14 Джон Холмс и я, 193



16 Дуглас Гарман был искренним, прямолинейным мужчиной с замечательным чувством юмора и живой мимикой. В его душе жил революционер, но по своим привычкам и вкусам он принадлежал тому классу, в котором родился

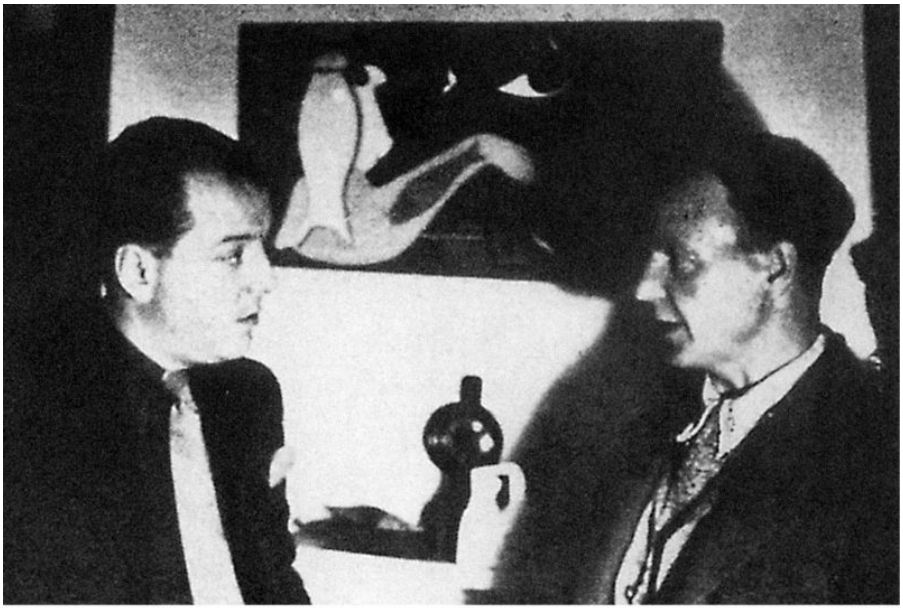
15 Я с матерью, 1938



17 Я с Ивом Танги, 1938

18–19 Пегги была моей самой давней подругой. Она была единственной действительно умной женщиной, что я встречала. Разведясь с моим кузеном Эдвином Лебом, она вышла замуж за мужчину по имени Дойчбайн, который послужил прообразом одного из главных персонажей книги «Ночной лес» Джуны Барнс. (На фотографии она в свадебном платье.) Позже Пегги вышла замуж за бывшего мужа моей сестры Хейзел, Мильтона Уолдмана, с которым она на фотографии

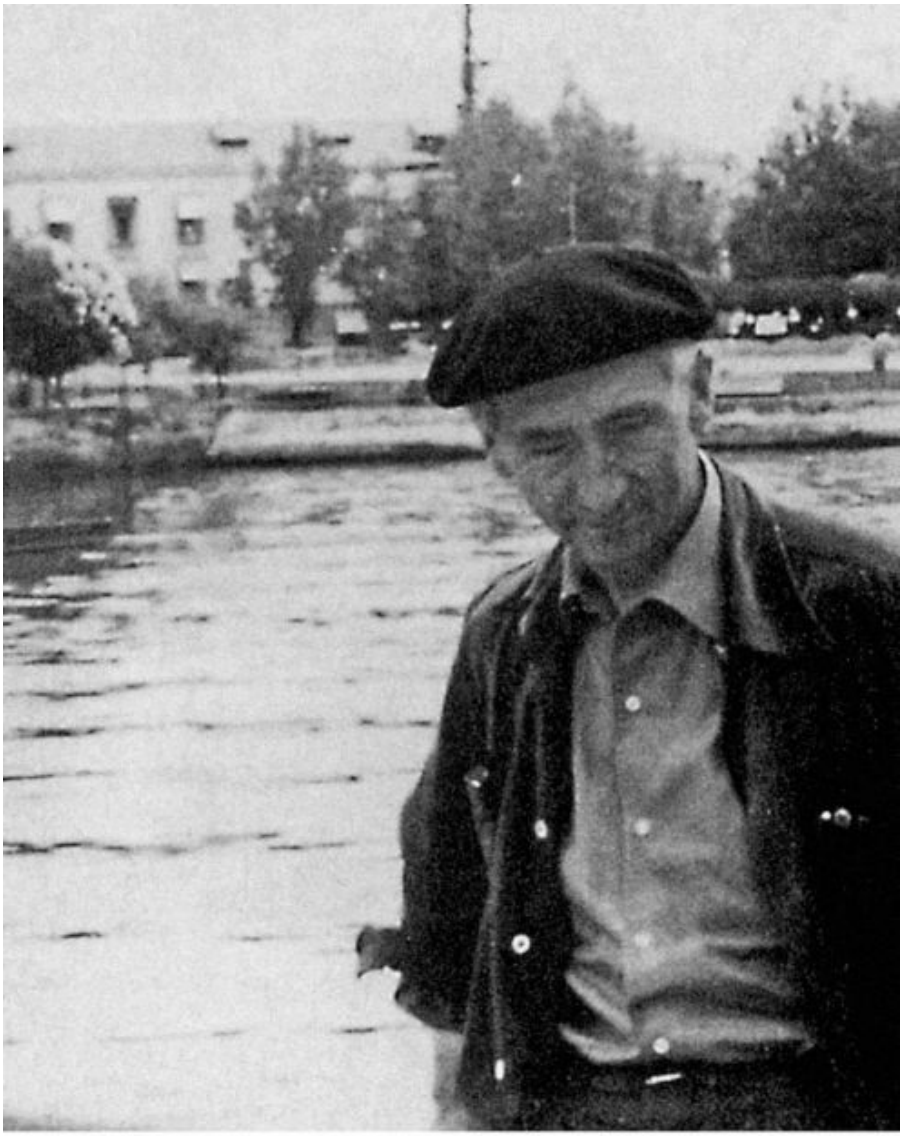
20 Джон Таннард чем-то походил на Граучо Маркса и производил впечатление лидера джаз-бэнда, коим и оказался. Его гуаши не уступали в музыкальности Кандинскому, в изящности — Клее, а в живости красок — Миро



22 Э.Л.Т. Мезенс (слева), поэт-сюрреалист и арт-дилер, был веселым маленьким фламандецем, несколько вульгарным, но в остальном приятным и сердечным. Генри Мур (справа) был очень простым, прямолинейным мужчиной из Йоркшира, и его замечательные сюрреалистичные рисунки мне нравились даже больше его скульптур

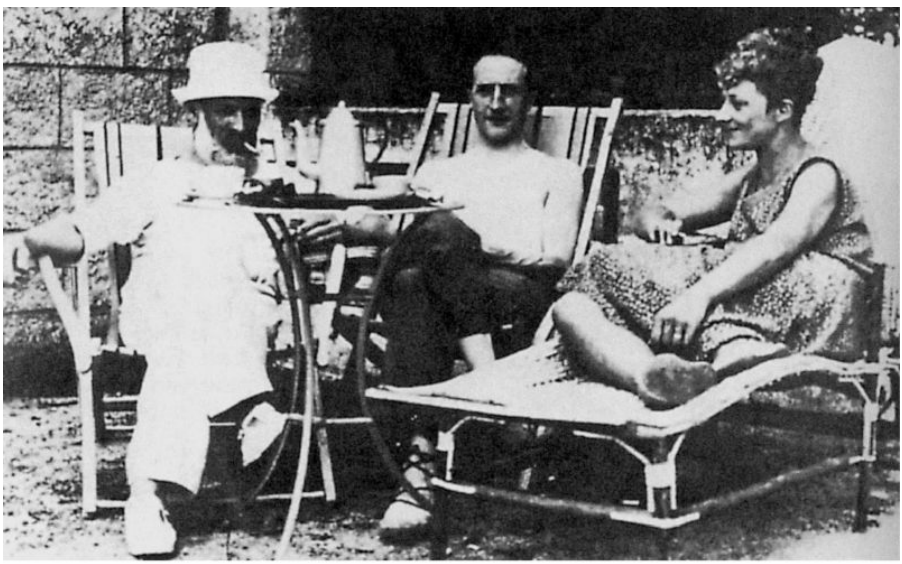
21 Хамфри Дженнингс был бойким юношей, в котором бурлили идеи, но их изобилие мешало их воплощению в жизнь. В нем были задатки гениальности, а внешне он смахивал на Дональда Дака

23 Сэмюэль Беккет (которого я называла Обломовым) и его друг Гер ван Вельде в Питерсфилде, куда они приехали ко мне на выходные в 1938 году



24 Герберт Рид выглядел как премьер-министр и был сдержан, степенен и молчалив. Я начала воспринимать его как отца и за спиной даже называла Папой. Он обращался со мной как Дизраэли с королевой Викторией. Наверное, я даже была влюблена в него, в духовном смысле

26 Джимми Эрнст был просто душка с его огромными голубыми глазами. Он мечтал сблизиться с отцом, но Макс чувствовал себя неловко рядом с ним и не знал, как с ним разговаривать. Я немедленно взяла Джимми под крыло и стала ему практически мачехой



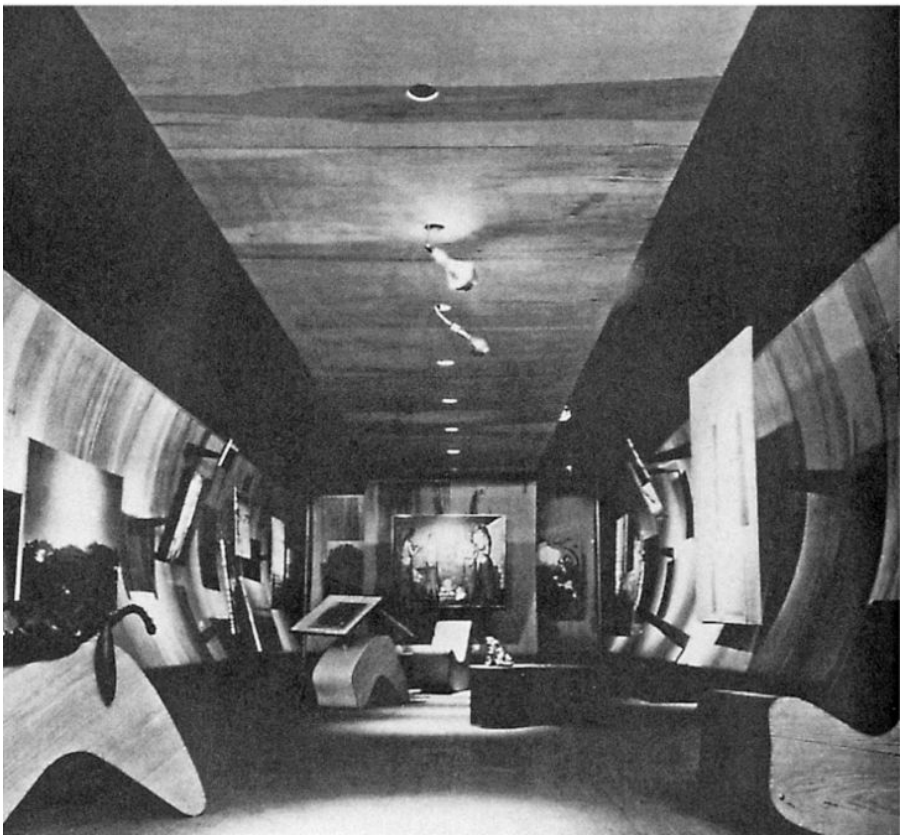
25 Константин Бранкузи, Марсель Дюшан и Мэри Рейнольдс в 1929 году. Мэри была высокой, со статной фигурой и мягкими глазами. Как-то ночью она потеряла свои ключи и пошла домой к Марселю Дюшану. С этого началось то, что можно назвать Столетней войной. Мэри для него была слишком красива, но в конце концов каким-то образом смогла его добиться. Это заняло у нее годы, но, вероятно, тем больше она пережила острых ощущений. В Бранкузи было поровну от хитрого крестьянина и божества. В его обществе тебя переполняло счастье. К сожалению, он имел сильные собственнические замашки и требовал от меня все мое время. Он очень любил меня, но я никогда не могла ничего от него добиться

27 Леонора была молодой ученицей Макса Эрнста и не обрела большой известности, но имела большой талант и богатое воображение в лучшем духе сюрреализма и всегда рисовала птиц и зверей. У нее была алебастровая кожа, грива черных волнистых волос, рассыпанных по плечам, огромные, немыслимые черные глаза с густыми черными бровями и вздернутый нос

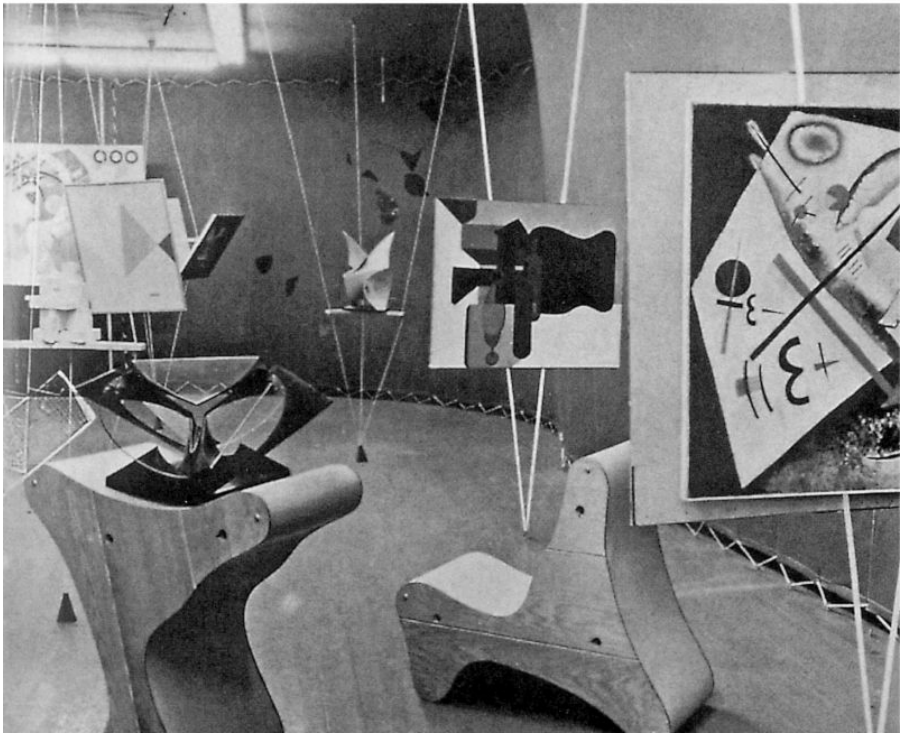
28 Как-то вечером я пошла в студию к Питу Мондриану посмотреть на его новые картины и послушать пластинки с буги-вуги на фонографе. Он поцеловал меня, очень удивив меня тем, как молод он в душе в свои семьдесят два

29 Я в *Искусстве этого века* сижу перед картиной моей дочери Пегин

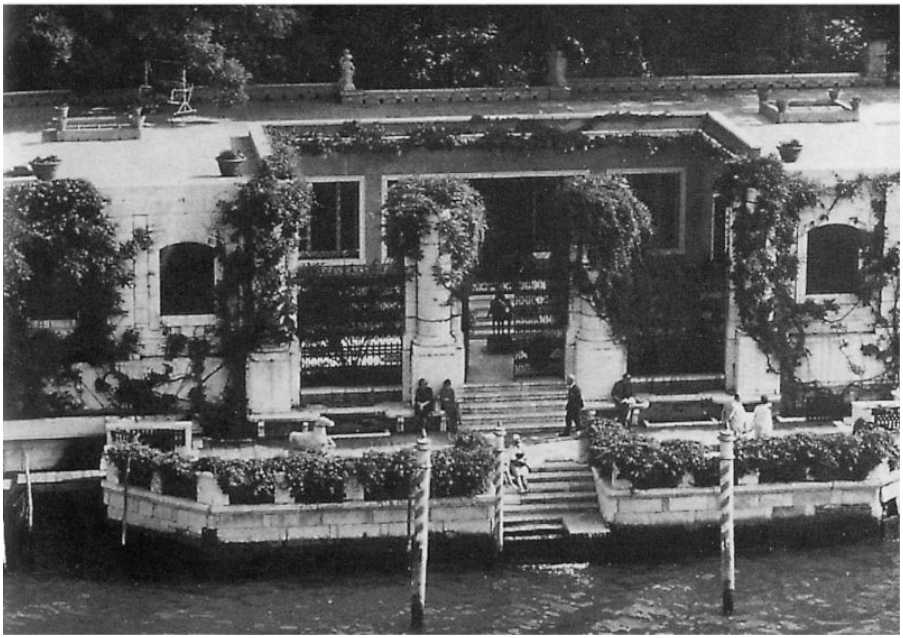
30 В галерее сюрреализма были изогнутые стены из смолистого дерева. Картины без рам крепились на бейсбольные биты, на которых их можно было наклонять под любым углом, и примерно на фут отстояли от стен. У каждой было свое освещение. Свет включался и выключался каждые три секунды, сбивая всех с толку



31 В галерее абстракционизма и кубизма картины были сгруппированы треугольниками и висели на нитях, будто бы паря в пространстве. Справа — «Белый крест» Кандинского



33 Палаццо Веньер деи Леони в ширину раскинулся больше любого другого дворца на Гранд-канале, а позади него — один из самых больших садов Венеции с очень старыми деревьями. Все прохожие на улице останавливаются посмотреть на причудливые ворота, которые вручную спаяла Клер Фалькенштейн и вставила в них куски муранского стекла



32 Кеннет Макферсон пришел в мою жизнь в тот момент, когда я больше всего в нем нуждалась и когда он больше всего нуждался во мне. Он сразу же дал мне ощущение покоя, и когда он сидел рядом со мной, обнимая меня, я чувствовала себя совершенно счастливой, такой счастливой, какой не была уже многие годы

В моей гондоле

Над книгой работали

Пегги Гуггенхайм

На пике века

Исповедь одержимой искусством

Издатели
Александр Иванов
Михаил Котомин

Выпускающий редактор
Лайма Андерсон

Корректор
Ольга Черкасова

Дизайн
ABCdesign

Арт-директор
Дмитрий Мордвинцев

Дизайн-макет
Татьяна Борисова
Светлана Данилюк

Все новости издательства Ad Marginem на сайте: www.admarginem.ru

По вопросам оптовой закупки книг издательства Ad Marginem обращайтесь по телефону: +7 (499) 763 3227 или пишите на: sales@admarginem.ru

ООО «Ад Маргинем Пресс»
Резидент ЦТИ ФАБРИКА
Переведеновский пер., д. 18,
Москва, 105082
тел.: +7 (499) 763 3595
info@admarginem.ru

notes

Примечания

зале (*ит.*). — *Здесь и далее — примечания переводчика.*

нервным срывом (*франц.*).

3

«Пти-блю», телеграмма на синей бумаге *(франц.)*.

инъекцию (*франц.*).

5

Консервативная женская организация, основанная в 1890 году; ее членами могут стать только прямые потомки участников войны за независимость США.

сформированного мнения (*франц.*).

охоте (*ит.*).

мэром (*ит.*).

танец живота (*франц.*).

10

«Тужьтесь, мадам!» (*франц.*).

начальнику вокзала (*франц.*).

дерьмо (*франц.*).

белошвейку (*франц.*).

14

В сторону Свана *(франц.)*.

15

В сторону Германтов *(франц.)*.

16

Председатель совета адвокатов в Париже.

«Положите сюда» (*франц.*).

18

«Мы все лишь пассажиры на этой земле» (*франц.*).

фирменным блюдом (*франц.*).

лакей (*франц.*).

21

То же, что «выскабливание».

22

«Постойте-ка, эта женщина беременна!» (*франц.*).

23

Перевод А. Я. Сергеева.

распятия (*франц.*).

25

«Напрасно блеском хвалишься, светило!» — цитата из стихотворения Джона Донна «К восходящему солнцу» (перевод Г. М. Кружкова).

26

Шекспир У., «Антоний и Клеопатра» (перевод М. Донской).

27

Жан Робер Боротра — французский теннисист, многократный победитель турниров Большого шлема.

паэлья (*исп.*).

тушеная говядина (*франц.*).

петух в вине (*франц.*).

деклассирована (*франц.*).

32

Коалиция левых политических партий.

«Супружеская скульптура» (*франц.*).

поздравлениями (*ит.*).

подсвечники (*англ.*).

36

Стихотворение Беккета:

они приходят
разные и похожие
с каждой всё по-разному и похоже
с каждой отсутствие любви разное
с каждой отсутствие любви похожее.

37

Лесной орех *(франц.)*.

округе *(франц.)*.

здравствуйте *(франц.)*.

«Ей везде мерещится ад» *(франц.)*.

манией величия (*франц.*).

психиатрическую клинику (*франц.*).

тупике (*франц.*).

эпохи «конца века» (*франц.*).

дядю (*франц.*).

сутенер (*франц.*).

истории (*франц.*).

товарной платформе (*франц.*).

старом порту (*франц.*).

вокзальный буфет (*франц.*).

очаровательный вечер (*франц.*).

ничтожным человеком (*франц.*).

53

Португальская валюта, предшествовавшая эскудо и равная ей по номиналу.

новый нос (*франц.*).

гостеприимный (*англ.*).

56

Обыгрывается каламбур в названии пьесы О. Уайльда «Как важно быть серьезным» («The Importance of Being Earnest»).

сущая катастрофа (*франц.*).

«вступать в брак», «мокрый» (*англ.*).

влечение (*франц.*).

Игра в правду (*франц.*).

61

Штраф! (*франц.*).

умеренным успехом (*франц.*).

63

Пьесы Клиффорда Одетса.

64

Американский актер, участник комедийной труппы «Братья Маркс».

великим мэтром (*франц.*).

«роб де стиль», фасон платья, популярный в 1920-е годы (*франц.*).

67

Намек на парк аттракционов, располагавшийся на полуострове Кони-Айленд.

Мой бриллиант эпохи (*франц.*).

никчемная девица (*франц.*).

танцевальных вечеров (*франц.*).

мелочные (*франц.*).

«Я не знаю эту даму» (*франц.*).

встречей (*франц.*).

остроты, оборота (*франц.*).

В значении «гей».

76

«Кто этот юноша? Он выглядит интересно». — «Он грек». — «Ах, понятно» (*франц.*).

совместной жизни (*франц.*).

режим (*франц.*).

уличного мальчишки (*франц.*).

положении (*франц.*).

81

Оригинальное название — Out of this century *(англ.)*.

хозяина *(ит.)*.

лепнину (*ит.*).

зала (*франц.*).

«Дань уважения Пегги» *(франц.)*.

Кузница ангелов *(ит.)*.

87

Американский промышленник и филантроп.

заседатель (*ит.*).

лошадей (*ит.*), традиционное украшение гондолы.

фигура речи (*франц.*).

шедевру (*ит.*).

суши (*ит.*).

сваи (*ит.*).

тротуаров вдоль каналов (*ит.*).

блаженного безделья (*ит.*).

улочки (*ит.*).

открытые террасы (*ит.*).

парикмахерская (*франц.*).